

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
Институт славяноведения РАН
Уральский государственный университет
им. А. М. Горького

ЭТНОЛИНГВИСТИКА.
ОНОМАСТИКА. ЭТИМОЛОГИЯ

Материалы
международной научной конференции

Екатеринбург, 8–12 сентября 2009 г.

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2009

ББК Ш 100. 04
Э 913

Конференция проводится при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(грант 09-09-14110г)

Редакционная коллегия:

Е. Л. Березович (отв. ред.), К. В. Пьянкова, М. Э. Рут,
Л. А. Феоктистова

Этнолингвистика. Ономастика. Этимология : материалы
Э913 междунар. науч. конф. Екатеринбург, 8–12 сентября 2009 г. / [под
ред. Е. Л. Березович]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2009. – 320 с.

ISBN 978-5-7996-0451-6

В работах исследователей из России и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья рассматривается широкий спектр актуальных проблем этнолингвистики, ономастики, этимологии как общего, так и частного порядка. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия указанных областей языкознания – лингвокультурологическим аспектам ономастики, диалектологии и контактологии, этимологизации и семантической реконструкции нарицательных и собственных имен с опорой на этнолингвистическую информацию и др. Материалом для докладов послужили факты различных языков – в первую очередь русского и других славянских, а также романо-германских, финно-угорских, тюркских и др.

ББК Ш 100. 04

ISBN 978-5-7996-0451-6

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Аллатов В. В.</i> (Москва). Английские топонимы с христианскими ассоциациями	9
<i>Аникин А. Е.</i> (Новосибирск). Из старорусской лексики (<i>бечата́, бисяга, чка</i>).....	10
<i>Антропов Н. П.</i> (Минск, Белоруссия). Этнолингвистические аллюзии белорусского этимологического словаря.....	11
<i>Анциферова О. Н.</i> (Екатеринбург). Иноязычные имена собственные в «Журнале путешествия...» Н. А. Демидова.....	13
<i>Атрошенко О. В.</i> (Екатеринбург). К семантической реконструкции хрононимических дериватов.....	15
<i>Ахметова М. В., Кулешиов Е. В.</i> (Москва). Способы образования неофициальных названий городов.....	17
<i>Багомедов М. Р.</i> (Махачкала). Концепт «верхний/нижний» в ойконимии Дагестана	19
<i>Бардакова. В. В.</i> (Волгоград). Мир ребенка в именах и названиях (на материале сказок Д. Н. Мамина-Сибиряка).....	20
<i>Бартоминьский Е.</i> (Люблин, Польша). «Несчастный дар свободы»: динамика понятия <i>wolność</i> в польском языке.....	22
<i>Белетич М.</i> (Белград, Сербия). <i>Пабрстиѣ</i> : к терминологии обработки конопли	23
<i>Беликов В. И.</i> (Москва). Статистический анализ неофициальной топонимии.....	25
<i>Белова О. В.</i> (Москва). Народная культура о разных конфессиях: номинация, автономинация, оценка.....	29
<i>Беляев А. Н.</i> (Уфа). О древнеевропейской гидронимии.....	31
<i>Березович Е. Л.</i> (Екатеринбург), <i>Седакова И. А.</i> (Москва). «Шкурный интерес»: семантическое развитие <i>*kož-</i> и <i>*skor-</i> в этнолингвистической перспективе	32
<i>Богачева М. В.</i> (Пермь). Отпрозвищные ойконимы как источник аксиологической информации.....	35
<i>Бугаева И. В.</i> (Москва). Сакральная ономастика в религиозном дискурсе.....	37
<i>Бунчук Т. Н.</i> (Сыктывкар). Орнитологический код в «языке» усть-цилемской народной культуры.....	39
<i>Варбот Ж. Ж.</i> (Москва). Из опыта диалектной этимологии.....	41
<i>Варникова Е. Н.</i> (Вологда). К вопросу об ономастическом статусе зоонима.....	42
<i>Васильев В. Л.</i> (Великий Новгород). К вопросу о суффикс-флективном способе топонимообразования.....	45
<i>Васильева Н. В.</i> (Москва). Имена собственные в ассоциативно-вербальной сети...	47
<i>Влаич-Попович Я.</i> (Белград, Сербия). Об обозначениях этажа в славянских языках...	48
<i>Володина Т. В.</i> (Минск, Белоруссия). Телесные девиации в этнокультурном тексте...	50
<i>Воронцова Ю. Б.</i> (Екатеринбург). Из наблюдений над территориальным распределением русских коллективных прозвищ.....	52
<i>Вязовская В. В.</i> (Воронеж). Аспекты изучения ономастикона Н. С. Лескова.....	54
<i>Ганцовская Н. С.</i> (Кострома). Костромской акающий остров в свете этнолингвистических данных.....	56
<i>Голев Н. Д.</i> (Кемерово). Естественная инновационная номинация как эволютивный синергетический процесс.....	58
<i>Голованова Е. И.</i> (Челябинск). Имя пользователя персональным компьютером как объект полипарадигмального анализа.....	60

<i>Голомидова М. В.</i> (Екатеринбург). Проблемы изобретения собственных имен в практике современного книжного нейминга.....	62
<i>Горлова Т. В.</i> (Кострома). К истории древнейших топонимов Нерехты.....	64
<i>Горяев С. О., Пестерева Е. Д.</i> (Екатеринбург). «Внеалфавитные» графические средства в современной русской ономастике (на материале ник-неймов и рекламных имен).....	66
<i>Гридина Т. А.</i> (Екатеринбург). Стратегии прозвищной идентификации в диалектной среде.....	67
<i>Гулиева Л. Г.</i> (Баку, Азербайджан). Топонимия и фоновая информация.....	70
<i>Гура А. В.</i> (Москва). О некоторых названиях свадьбы у славян.....	72
<i>Гура А. В.</i> (Москва). Этнолингвистический комментарий к этимологии * <i>nevěsta</i>	74
<i>Гусева Л. Г.</i> (Екатеринбург). Пермские глоссы в лексике свадебного обряда.....	75
<i>Дарбанова Н. А.</i> (Новосибирск). «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» как источник этнокультурной информации: репрезентация представлений о времени.....	77
<i>Дмитриева Л. М.</i> (Барнаул). Ментально-топонимический стереотип: комплексное описание.....	79
<i>Дмитриева Т. Н.</i> (Екатеринбург). Проблемы этимологизации фамилий коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа.....	81
<i>Добровольская В. Е.</i> (Москва). <i>Платное, бабы дела, ходить в молодые</i> : использование терминов в традиционной культуре Центральной России (на примере Владимирской области).....	83
<i>Доровских Л. В.</i> (Екатеринбург). Наименования территориально-административных единиц и производственных объектов в неолатинском памятнике (на материале « <i>Medico-topographica districtus Ekatherinburgensis et urbis eius descriptio</i> » Тихона Успенского).....	86
<i>Дронова Л. П.</i> (Томск). К типологии языкового выражения понятия «образ, внешний вид».....	88
<i>Едалина А. А.</i> (Новороссийск). «Пищевая тема» в мотивации слов, характеризующих человека по отношению к собственности.....	90
<i>Ефименко И. В.</i> (Киев, Украина). Историческая антропонимия Новгородской земли (по материалам «Новгородских записных кабальных книг»). II.....	92
<i>Жамсаранова Р. Г.</i> (Чита). Явления трансференции и интерференции в топонимической системе Восточного Забайкалья.....	94
<i>Зверева Ю. В.</i> (Пермь). Наименования одежды в пермских говорах как источник этнокультурной информации.....	95
<i>Иваненко А. В.</i> (Киев, Украина). Славянские древности. Демонология. I (<i>потвора, поторбча, потёрчя, потрять</i>).....	97
<i>Иванова Евгения Н.</i> (Екатеринбург). Формулы именованя людей в XVIII в. (на материале памятников деловой письменности).....	99
<i>Иванова Елена. Н.</i> (Вологда). К типологии географических наименований в деловой письменности XIV–XV вв.....	101
<i>Иванова Е. Э.</i> (Екатеринбург). Устаревшие географические термины в топонимии Среднего Урала.....	103
<i>Ивашова Н. М.</i> (Екатеринбург). К типологии ономастических словарей.....	104
<i>Ильина Ю. Н.</i> (Сыктывкар). Отражение обрядовой концептуальной семантики в ключевых словах фольклорного текста.....	106
<i>Кабинина Н. В.</i> (Екатеринбург). К этимологии севернорусского <i>поча</i>	108
<i>Казакова Е. Д.</i> (Екатеринбург). Имя человека в зеркале метаязыковой рефлексии диалектоносителей.....	110

<i>Калезич М.</i> (Белград, Сербия). Еще раз об омонимии в фитонимии: <i>Colchicum, Crocus, Gymnadenia, Iris, Orchis, Sternbergia</i>	112
<i>Калуцков В. Н.</i> (Москва). О ландшафтном подходе в топонимических исследованиях...	113
<i>Карпова Л. Л.</i> (Ижевск). Онимы в географических названиях бассейна средней Чепцы.....	115
<i>Качинская И. Б.</i> (Москва). <i>Дедки-прадедки</i> : обозначения предков в архангельских говорах.....	117
<i>Климова К. А.</i> (Москва). Имя мифологического персонажа: к проблеме идентификации.....	119
<i>Кобелева И. А.</i> (Сыктывкар). Историко-этимологические комментарии как источник информации о русской диалектной фразеологии.....	121
<i>Ковалева Е. В.</i> (Мозырь, Белоруссия). Об особенностях ойконимического переименования (на материале белорусской ойконимии XX в.).....	123
<i>Коган Е. С.</i> (Екатеринбург). К вопросу о региональной специфике фразеологии	124
<i>Кожина А. А.</i> (Минск, Белоруссия). Образ мира в польскоязычных завещаниях, составленных на территории Белоруссии.....	126
<i>Колесник Н. С.</i> (Черновцы, Украина – Прага, Чешская Республика). Национально-культурная специфика номинаций Богородицы в украинском песенном фольклоре	127
<i>Колосова В. Б.</i> (Санкт-Петербург). Образ Богородицы в славянской фитонимике и этноботанике.....	130
<i>Колосько Е. В.</i> (Санкт-Петербург). Имена собственные в Словаре русских народных говоров.....	131
<i>Комлева Н. В.</i> (Вологда). Вологодские фамилии: история и современность.....	132
<i>Коновалова Н. И.</i> (Екатеринбург). Дискурсивная семантизация примет в диалектной речи.....	134
<i>Королева Е. Е.</i> (Даугавпилс, Латвия). Запреты старообрядцев Латгалии.....	137
<i>Костылев Ю. С.</i> (Екатеринбург). Особенности функционирования топонимов в текстах советской массовой военной песни 1920–1930-х гг.....	138
<i>Кречмер А. Г.</i> (Вена, Австрия). Славянский этно- и глоттогенез в представлении православных славян на пороге Нового времени (на материале Славяно-сербских хроник Джорджа Бранковича).....	141
<i>Кривошапова Ю. А.</i> (Екатеринбург). Символика насекомых в народной медицине славян.....	142
<i>Кругликова Л. Е.</i> (Санкт-Петербург). К этимологии оборота <i>старая карга</i>	144
<i>Крылова О. Н.</i> (Санкт-Петербург). Женские головные уборы на Русском Севере: этнолингвистический аспект.....	146
<i>Крюкова И. В.</i> (Волгоград). Ономастическое шаржирование.....	147
<i>Куркина Л. В.</i> (Москва). Термины горения в контексте культуры раннего земледелия	149
<i>Кюришнова И. А.</i> (Петрозаводск). О реконструкции лексики по данным исторической антропонимии.....	153
<i>Лабунец Н. В.</i> (Тюмень). К этимологии топонима <i>Кармак</i>	155
<i>Ланда Ю. А.</i> (Екатеринбург). Образ зайца в русском и прибалтийско-финских языках.....	157
<i>Леонтьева Т. В.</i> (Екатеринбург). Ситуация гошения в языковой картине мира (на материале русской диалектной лексики, производной от <i>гость</i>).....	159
<i>Лома А.</i> (Белград, Сербия). Из топонимии древней Скифии – в поисках страны будинов.....	161
<i>Лоскутова Д. Н.</i> (Тамбов). Образ знахаря в народной медицине: этнолингвистический аспект (на материале Тамбовской области).....	163
<i>Магда-Чекай М.</i> (Краков, Польша). Взаимовлияние восточно- и западнославянской (польской) ономастических систем XIV–XVIII вв.....	165

<i>Макарова А. А.</i> (Екатеринбург). К лексикографическому описанию озерной гидронимии Белозерья: словарь и электронная база данных.....	166
<i>Матвеев А. К.</i> (Екатеринбург). Мансийская топонимия как историко-этнографический феномен.....	168
<i>Мельникова С. А.</i> (Москва). О специфике функционирования модели сгибания в лексико-семантическом поле «Сила, здоровье/слабость, болезнь».....	169
<i>Мечковская Н. Б.</i> (Минск, Белоруссия). О происхождении вербального смешного/комического и о тенденциях в истории смеха (по данным языка и паремииологии).....	171
<i>Михайлова Л. П.</i> (Петрозаводск). Преобразованный анлаут и этимологизация диалектного слова.....	173
<i>Мищенко О. В.</i> (Екатеринбург). Рус. диал. <i>дожить до тюки, дожить до тюы</i>	175
<i>Могила О. А.</i> (Киев, Украина). О некоторых украинско-южнославянских параллелях.....	177
<i>Молчанова О. Т.</i> (Щецин, Польша). Географические имена Алтая на картах XVI–XIX вв.	179
<i>Мординова Н. Г.</i> (Чебоксары). Отантропонимные словесные товарные знаки алкогольных напитков.....	181
<i>Мороз А. Б.</i> (Москва). Имя святого и его фольклорная интерпретация.....	182
<i>Муллонен И. И.</i> (Петрозаводск). Вепские карты в «Топонимическом атласе Карелии».....	184
<i>Мызников С. А.</i> (Санкт-Петербург). Новая жизнь старых источников. (Оштинская лексика в Словаре Куликовского).....	186
<i>Намитокова Р. Ю., Нефляшева И. А.</i> (Майкоп). Черкесский компонент в топонимии Причерноморья.....	188
<i>Напольских В. В.</i> (Ижевск). Передача латинографических онимов в русских переводах: современное состояние, проблемы и задачи научного сообщества.....	190
<i>Небжеговска-Бартоминьска С.</i> (Люблин, Польша). Два опыта этнолингвистического синтеза: московский словарь славянских древностей и люблинский словарь стереотипов.....	192
<i>Неганова Г. Д.</i> (Кострома). Лексика культурного ландшафта: микропонимы, включающие народные географические термины (на материале произведений писателей, связанных с Костромским краем).....	194
<i>Непон-Айдачич Л. В.</i> (Киев, Украина). Значение этимологических данных для реконструкции польского языкового образа цветов.....	196
<i>Никитина С. Е.</i> (Москва). Этноконфессиональная лингвистика?.....	197
<i>Николаева Т. М.</i> (Москва). Город: аура имени.....	199
<i>Островский Б.</i> (Краков, Польша). Балтийская и славянская метеорологическая лексика: семантические различия и сходство.....	200
<i>Палинчуц Е.</i> (Краков, Польша). Языковая интерференция в именах поляков из Кишиньева и его окрестностей в XIX–XX вв.	202
<i>Панченко С. В.</i> (Екатеринбург). Хантыйские лексемы в русских письменных источниках 1870–1930 гг. как дополнения к словарю хантыйского языка В. Штейница.....	202
<i>Пашаева Ф. Ш.</i> (Баку, Азербайджан). К этимологии турецких фамилий.....	203
<i>Пашина О. А.</i> (Москва). Принципы номинации песен в русской народной традиции.....	205
<i>Петлева И. П.</i> (Москва). К этимологии рус. диал. <i>вотумелье</i>	207
<i>Петрович С.</i> (Белград, Сербия). Методические проблемы трактовки тюркских заимствований в этимологических словарях славянских языков.....	209
<i>Пинжакова Ю. В.</i> (Екатеринбург). Особенности номинации предметов по признаку формы.....	211

<i>Пирожкова Е. А., Галинова Н. В.</i> (Екатеринбург). Релятивные прозвища женщин в диалектной среде.....	213
<i>Плотникова А. А.</i> (Москва). Народная демонология Закарпатья в этнолингвистическом аспекте (география ближайших параллелей).....	215
<i>Полякова Е. Н.</i> (Пермь). Закономерности развития русской антропонимии Пермского края в XVI–XVIII вв.....	216
<i>Попов С. А.</i> (Воронеж). Топонимия Воронежской области в культурно-историческом аспекте.....	219
<i>Попова Е. В.</i> (Екатеринбург). Образ границы в советских патриотических песнях 30-х гг. XX в.....	220
<i>Постникова О. А.</i> (Санкт-Петербург). Антропонимы с символикой богатства (на материале английского языка).....	222
<i>Приображенский А. В.</i> (Петрозаводск). Топонимия как материал для реконструкции нарицательной лексики говора.....	224
<i>Пьянкова Д. В.</i> (Екатеринбург). Дисконимы и мелонимы в сфере направления «тяжелый металл» (ономастиологический аспект).....	225
<i>Пьянкова К. В.</i> (Екатеринбург). Славянские гнезда * <i>debel-</i> , * <i>tylst-</i> , * <i>grub-</i> /* <i>grǫb-</i> : особенности семантической организации.....	227
<i>Раемгужина З. М.</i> (Уфа). Башкирские антропонимы в прошлом и настоящем....	230
<i>Разумов Р. В.</i> (Ярославль). Названия районов и микрорайонов в системах урбанонимов провинциальных городов.....	231
<i>Разумова И. А.</i> (Апатиты). Роль саамской топонимии в формировании культурных ландшафтов Кольского Севера.....	233
<i>Романова Т. П.</i> (Самара). Прагматические модели рекламных собственных имен	234
<i>Руденко Е. Н.</i> (Минск, Белоруссия). Этнолингвистические аспекты обозначений счета в старобелорусском языке.....	236
<i>Рузаев С. В., Костылев Ю. С.</i> (Екатеринбург). Имена героев освоения советской Арктики 1930-х гг. в городских топонимических микросистемах (на примере названий улиц Екатеринбургa и Севастополя).....	238
<i>Русинова И. И.</i> (Пермь). Магическая лексика в русских говорах Пермского края	241
<i>Рут М. Э.</i> (Екатеринбург). О некоторых общих проблемах ономастической лексикографии.....	242
<i>Сиднева С. А.</i> (Москва). Этностереотипы в новогреческом фольклоре.....	244
<i>Сироткина Т. А.</i> (Пермь). Этнонимы как объект этнолингвистики (на материале этнонимии Пермского края).....	245
<i>Смирнова О. С.</i> (Екатеринбург). О репертуаре номинативных моделей в эргонимии двух российских городов.....	247
<i>Смольников С. Н.</i> (Вологда). Имя и событие: к вопросу о семантике имен собственных.....	249
<i>Соколова Т. П.</i> (Москва). Типология раннегородских названий (на материале урбанонимов древнего Новгорода и старой Москвы).....	251
<i>Супрун В. И.</i> (Волгоград). Русский антропоним: структура, взаимосвязь компонентов, денотативные и коннотативные аспекты ономастической семантики	254
<i>Теуш О. А.</i> (Екатеринбург). Этимологизация заимствованных финно-угорских словосложений в русском языке.....	257
<i>Тихомирова А. В.</i> (Екатеринбург). Социальная символика одежды в свете русской языковой традиции.....	260
<i>Толстая С. М.</i> (Москва). Стереотип и картина мира.....	262
<i>Узенева Е. С.</i> (Москва). К вопросу о терминологии родства в славянской свадьбе: <i>нанаш/нанашка</i>	264

Федотовских Т. Г. (Екатеринбург). Особенности имяобразования ювелирных брендов.....	265
Фендрих А. Н. (Екатеринбург). Цветок в зеркале русской народной лирической песни.....	267
Феоктистова Л. А. (Екатеринбург). Языковой образ и варьирование личного имени.....	268
Фомин А. А. (Екатеринбург). О различии лингвистического и литературоведческого подходов в исследованиях по литературной ономастике.....	271
Фролова О. Е. (Москва). Библиейские антропонимы в паремиях.....	274
Хоффманн Э. (Вена, Австрия). Евразия и экономика в зеркале ономастики.....	275
Хроленко А. Т. (Курск). Эвристический потенциал фольклорной диалектологии Чёха О. В. (Москва). «Лунные» номинации в греческом народном языке: корень <i>φεγγάρ-/ φεγγ-</i>	276 278
Чижмарова Л. (Брно, Чешская Республика). О методических принципах работы над Словарем микропонимов Моравии и Силезии.....	280
Шабалина Е. В. (Екатеринбург). <i>Половина</i> и <i>полтора</i> в русской и польской языковой картине мира.....	282
Шалаева Т. В. (Москва). К этимологии русского <i>лянуть</i>	284
Шаповал В. В. (Москва). Критерии разграничения цыганских заимствований и вкраплений в русском языке: производные от корня <i>(p)ром-</i> ‘цыган’.....	285
Шапошиников А. К. (Коктебель, Украина – Москва). Семиотический метод описания языкового знака в практике этимологии и ономастики.....	287
Шелепова Л. И. (Барнаул). Диалектный этимологический словарь как источник изучения культуры региона (на материале «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая»).....	289
Шилов А. Л. (Москва). К вопросу о наличии германских заимствований в языках создателей топонимии Заволочья.....	291
Шипкова М. (Брно, Чешская Республика). Словарь микропонимов Моравии и Силезии: теоретический и интерпретационный аспекты.....	293
Шклярник В. А. (Минск, Белоруссия). Названия разработанных под уголья лесных участков в микропонимии одного региона.....	295
Шойбонова С. В. (Улан-Удэ). Ономастикон монгольских романов (этнолингвистический аспект).....	296
Щитова О. Г. (Томск). Прием семантической типологии в процессе этимологизации заимствований: тканеобозначение <i>фарабат</i>	299
Юдин А. В. (Гент, Бельгия). Образ святого Петра в украинских колядках: этнолингвистическая дефиниция.....	301
Юмсунова (Моррис) Т. Б. (Портланд, США). Речевой портрет староверов Орегона младшего поколения.....	302
Юнаковская А. А. (Омск). Формирование этнической модели региона (на материале Среднего Прииртышья).....	304
Якубович М. (Краков, Польша). Из наблюдений над семантической мотивацией (на материале славянских прилагательных).....	306
Якушкина Е. И. (Москва). Лексическое выражение семантики вращения в сербском языке.....	307
Янышкова И. (Брно, Чешская Республика). Вацлав Махек – основоположник брненской этимологической школы.....	308
Словари и источники (с принятыми сокращениями).....	310
ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	315

В. В. Алпатов
Москва

Английские топонимы с христианскими ассоциациями

Религиозное мироощущение пронизывает разные виды деятельности общества, в том числе его номинативную деятельность. Изучение влияния христианства на английскую топонимию показывает, что, помимо названий собственно церковных объектов, наименования большого числа разнообразных географических объектов обладают ассоциациями с христианскими реалиями. Такие топонимы можно объединить в три большие подгруппы с условными названиями «Святые топонимы», «Церковные топонимы», «Библейские топонимы».

Первая группа включает в себя названия святых источников (*Holy Well* «Святой источник», *St Ann's Well* «Источник св. Анны»), опасных, пограничных объектов (некоторые названия с *Holy*- 'святой' и *Cross*- 'крест') и других мест, связанных со сверхъестественными событиями (исцеления, чудеса: *Eyeheld* «Глазной родник», *Bishopstrow* «Древо епископа»), личностями (святые покровители: *St Michael's Mount* «Гора св. Михаила»), а также наименования, данные из побуждений благочестия (*God's gift* «Божий дар», *Vaudey* «Божья долина»).

«Церковные топонимы» образуют наибольшую группу и характеризуются ассоциативными связями с тремя пересекающимися семантическими полями: «Церковное лицо» (*Abbotsbury* «Аббатов город», *Preston* «Священников город»), «Церковный объект или предмет» (*Whitchurch* «Белая церковь», *Chapel Wood* «Часовенный лес», *Candle field* «Свечное поле», *Lampcroft* «Лампадный участок»), «Церковное событие» (*Whitsun Well* «Троицкий источник», *Gospel Brow* «Евангельский холм», *Amen Corner* «Аминь угол»). Такие топонимы могут быть метонимическими или метафорическими (каменные круги *Twelve Apostles* «Двенадцать Апостолов», *Sunkenkirk* «Утонувшая церковь», расселина *Lud's Church* «Ладова церковь»).

«Библейские топонимы» содержат личные имена и географические названия из Священного Писания, причем мотивация топонима основана на библейском контексте. Такие топонимы обычно являются метафорическими и описывают различные качества или оценку места номинатором (*Purgatory* «Чистилище», *Jacob's Ladder*

«Лестница Иакова», *Jericho* «Иерихон», *Bethlehem* «Вифлеем»). Некоторые названия, однако, основаны на метонимии и указывают на церковное владение (*Jerusalem Wood* «Иерусалимский лес»), конфессию общины (*Mount Tabor* «Гора Фавор»), копии Святогробской кувуклии (некоторые названия *Jerusalem* «Иерусалим») и т. д.

А. Е. Аникин
Новосибирск

Из старорусской лексики (*бечатá*, *бисяга*, *чка*)

Бечатá, *бечетá*, *бичетá* ‘самоцветный камень: красный яхонт, лал, рубин либо гранат’ [Даль, 1, 85], *бечетá* ‘драгоценный камень молочно-синеватого цвета’ [СлРЯ, XVIII 1, 20], *бечаты* мн. ‘род рубина’ [СлРЯ XI–XVII, 1, 182–183], *бечеть* ‘драгоценный камень’ XVI–XVII вв., *бечеть* = *бечать* ‘название драгоценного камня’ XVI в. [Срезневский, 1, 85; 3, Дополнения, 14].

Напоминает перс. *bīyāda* ‘красный янтарь’, ‘гранат’, ‘сорт рубина’, курд. *bīyāda* ‘полудрагоценный камень’ [Цаболов, 198]. Фонетические различия заставляют думать о посредстве третьего языка (языков) – возможно, тюркского. Но речь явно не идет о чаг. *bāčäk*, кр.-тат. *bičäk* ‘украшение’ [Фасмер, 1, 162].

Бисяга ‘покрывало’ пск., 1607 [Fenne, 64], *бисяга*, также *бисага* XVII в. [СОРЯМР XVI–XVII, 1, 162], *бисяга* ‘попона под выюки’, *бизага* (8 *попонь бизягъ*), *бисяжныи* [СлРЯ XI–XVII, 1, 186], *бисяга*, *бизага* сиб., XVII в. [Панин, 11].

Несмотря на разницу в значении, едва ли отделимо от укр. *běsáti*, ст.-укр. *bisaga* ‘сума’ XVII в. [ЕСУМ, 1, 176], ст.-блр. *bisaga* ‘переметная сума’ XVI в. [ГСБМ, 2, 6] < польск., ср. *biesaga*, *biesagi*, ст.-польск. *bisagi* мн. ‘переметная сума’ < ср.-лат. *bisaccium*, -а мн. из *bis* ‘дважды’ и *saccus* ‘мешок’ [VWSS, 321–322]. По всей видимости, значение ‘покрывало’ возникло в русском по метонимии из ‘попона (для перекидного выюка)’, а исход слова переосмыслен по аналогии со словами на -яга типа *висяга* ‘цеп, молотило’ [СРНГ, 4, 299]. Колебание типа *c/z* на великорусской почве не редкость.

Сложность состоит в наличии слова *писяга* ‘одеяло на оленьем меху’ в севернорусских говорах [СРНГ, 27, 52], которое было объяснено как производное с суффиксом -яга от ненецкой основы *pīs* (= *pī*) ‘покрывало из шкур или сукна для женских нарт’ [Хелимский, 2000, 356–357]. Ранее *бисяга* было предложено рассматривать как вариант *писяга* [Аникин, 129], что крайне сомнительно. Или между этими словами связи нет, или *писяга*, напротив, вторично по отношению к *бисяга* (< польск.), – и ненецкая этимология неверна. Последняя возможность предпочтительнее, против чего не возражал и Е. А. Хелимский (устное сообщение в ноябре 2007 г.).

Чка. Т. В. Горячева в одной из своих работ обосновала возможность обозначения ‘льдин, льдины’ как ‘плах(и), колод(ы)’ [Горячева, 2007, 37–39]. Эту возможность как будто можно поддержать следующим примером. Судя по данным

Картотеки СРНГ, в русских говорах (преимущественно по течению Волги) весьма широко известно или было известно слово *чка* 'плавающая льдина' симб., яросл., сарат., низовья р. Урал., *чки* 'ледяные поля' астрах. Поскольку те же данные содержат *чка* 'доска' (в курских говорах), естественно считать, что речь идет о диалектном преобразовании того же типа, что др.-рус. *цка* 'доска' = рус. *доска* < праслав. **dъska* [Фасмер, 1, 532; 4, 303]. Учитывая анлаутное *ч-*, а не *ц-*, допустимо предполагать развитие *чка* < **дъшкá*, где *-ш-* как в укр. *дóшка*, блр. *дóшка*, но ударение как в рус. *доска́*.

Предложенные соображения содержатся также в книге: *А. Е. Аникин. Русский этимологический словарь. Вып. 2. С. 230; Вып. 3 (рукопись).*

*Горячева Т. В. Восточнославянские этимологии (рус. бим; блр. галялёць; рус. закрумный; блр. вогяры; праслав. *хута/*хуть; рус. посьтиться) // Этимология. 2003–2005. М., 2007.*

Хелимский Е. А. Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи. М., 2000.

Fenne – Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607. Ed. L. L. Hammerich and R. Jakobson. Copenhagen, 1970. T. 2.

Н. П. Антропов
Минск (Белоруссия)

Этнолингвистические аллюзии белорусского этимологического словаря

Во введении к «Этымалагічнаму слоўніку беларускай мовы» [ЭСБМ, 1, 3–16] тогдашний редактор словаря В. В. Мартынов в качестве обязательных задач будущего издания определил следующие: отражение 1) словообразовательных и семантических архаизмов, 2) инноваций, в том числе территориально ограниченных, 3) заимствованной лексики, 4) экспрессивной лексики, оригинальной и заимствованной, 5) всех доступных данных о географической стратификации лексики. Безусловно, эти задачи (в общем, и естественные, и обычные для этимологической практики), прежде всего относящиеся к семантическим архаизмам, только подразумевают (и только в порядке общей алфавитной очереди) исследовательский интерес к культурной семантике той части тезауруса, в которую входит лексика традиционной духовной культуры. Между тем, как показывают соответствующие работы по крайней мере последнего десятилетия, без учета «культурного контекста» определение этимологического решения – особенно в части его полноты – может в ряде случаев оказаться затруднительным.

В связи с этим небезынтересной представляется словарная этимологическая судьба белорусских названий радуги, исключительно насыщенных в традиционной культуре мифологическим (мифопоэтическим) содержанием. Полный их реестр вкпе с картографической проекцией большей части наименований был опубликован задолго до начала работы над ЭСБМ [ДАБМ; карта № 312: Назвы вясёлкі].

Более того, также до выхода первого тома белорусского словаря буквально все эти лексемы на максимальном широком для начала 1970-х гг. славянском фоне были проанализированы Н. И. Толстым в самой большой статье серии «Из географии славянских слов» [Толстой, 1997 (первая публикация – 1976 г.)]. Тем удивительнее, что первая ссылка на ДАБМ (увы, неточная) появляется только в 5-м т. (1989 г.; *Kісалі́ха* вместо *Kісялі́ха*), а на фундаментальную работу Н. И. Толстого – в 9-м (2004 г.; *Поя́с*). Вообще, из 27 наименований от *асяло́к* до *радаўні́ца*, которые могли бы войти в словарь (некоторая часть – вариантами), в ЭСБМ в 12 отдельных статьях (из них 2 отсылочные) отмечены 15 лексем; еще одна (также неточно: *прóмень* вместо *прóмінь*) в статье с заглавным словом, имеющим более общее значение. Что касается этимологии, то культурный контекст сравнительно полно учтен только в недавних статьях *Поя́с* и *Ра́дуга*; в остальных случаях речь идет об учете исключительно формальных показателей, в том числе, разумеется, и семантических – как правило, возможных, но допускающих и иные версии, если бы были привлечены данные из области традиционной культуры (как, например, в статьях *Kісялі́ха* или *Ключ*). Увы, иной раз, а именно в статье *Меця́лі́ха* (с неучтенным оригиналом *мэ-целі́ха* из архива ДАБМ) привлечение формальных соответствий (здесь *мяце́ль* ‘метель’) носит откровенно произвольный характер.

Но, конечно, хуже, если название вовсе не отражено. Так получилось с уникализмом *бага́тка* (реконструкция; в русскоязычном оригинале читаем *богатка* без ударения), который полтора века назад зафиксировал католический священник Иоанн Берман на западе Минщины [Берман, 1873, 41]. В этимологическом плане наименование выглядит абсолютно прозрачным: от прил. *ба́гаты* < **bogaty*(jъ), далее к **bogъ* [ЭССЯ, 2, 158; SP, 1, 295–296]. В самом деле, в соответствии с записью ксендза Бермана, *богатка* предсказывает продолжение дождя, и таким образом, по мнению Н. И. Толстого, входит – с корректной оговоркой «возможно» – в круг наименований, которыми символично (реконструктивно) манифестируются плодородие и будущий урожай, т. е. собственно богатство. Это коррелирует с обычаями южных славян (македонцев, болгар и сербов), а также албанцев гадать по радуге об ожидаемом урожае [Толстой, 1997, 192; также 193–195, 208–209]. Однако подобная непосредственная апелляция к прилагательному с семантикой ‘богатый, богатство’ является единичной как для белорусских, так и для славянских названий радуги, более того, она вообще уникальна для наименований этого небесного явления. Например, на мотивационной карте I.9 (*Arc-en-ciel*) из первого выпуска «Atlas linguarum Eurorae» (1983 г.) подаются только непрямые, отдаленные и весьма опосредованные ономаσιологические репрезентации мотива ‘богатый, богатство’, который отмечен для нескольких европейских языков, особенно на юге континента. Существенно, что лексически он реализуется не в общем смысле («богатое, много богатства»), а дифференцированно, т. е. «это и то», «много того и того», обычно же как наиболее известный и распространенный тип – «богатство отдельных сельскохозяйственных культур», с цветом которых отождествляются цветные полосы радуги, ср. итал. *pane e vino* («хлеб и вино») или макед. *виножито* [Алинеи, 1988, 114; см. также: Софрониевский, 2007, 386, 388–390].

Поэтому не исключено, что как будто бы очевидная связь с прилагательным пары *бага́тка* // *багаты* является вторичной (как, кстати, и в аналогичном случае

вясёлка // *вясёлы*). Это, как представляется, поддерживается рядом восточнославянских субстантивов с корнем *багат-*, которые продолжают праслав. **bagatje* и **bagaty* [ЭССЯ, 1, 124; SP, 1, 176–177, 179–180] и которых объединяет общий (и также с метафорическими сдвигами/продолжениями) скрытый мотив чего-то особенно ясного и яркого, а поэтому в определенных обстоятельствах сакрального, прежде всего, разумеется огня: купальского, «толочного», последнего и т. п.

Алиней М. О названиях радуги в Европе (карта 17 Лингвистического атласа Европы) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1983. М., 1988.

Берман И. Календарь по народным преданиям в Воложинском приходе Виленской губернии, Ошмянского уезда // Зап. Импер. рус. географ. о-ва по отделению этнографии. Т. V. СПб., 1873.

ДАБМ – Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.

Софрониевский В. *Божилак, виножито, суніца* // Словенска етимологија данас. Београд, 2007.

Толстой Н. И. Из географии славянских слов. 8. ‘Радуга’ // Толстой Н. И. Избр. тр. Т. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 168–216.

О. Н. Анциферова
Екатеринбург

Иноязычные имена собственные в «Журнале путешествия...» Н. А. Демидова

Наблюдения за лексическим составом «Журнала путешествия...» Н. А. Демидова (далее Журнал) позволили выделить довольно большую группу иноязычных имен собственных, по отношению к которым автору приходилось решать вопрос, каким образом передать чуждое русскому слуху имя.

Среди иноязычных имен собственных встретились немецкие, французские, английские и итальянские. Автор Журнала они записывались по-разному. Некоторые написаны латинскими буквами: *замокъ саро-di тонте называемой; домъ, называемой Алла-Crocelle*. Другие названия записаны и латинскими, и русскими буквами: *постоялой дворъ Hotel d'Artois и въ отелъ Дартуга; въ домъ Памфилиевъ и Palazzo pamfli*. При записи имени собственного автор стремился передать звуковой облик иноязычного слова, нередко ошибаясь, ср. название города *Понь де Бонваузенъ* (франц. *Pont-de-Beauvoisin*), где франц. *beau* ‘красивый, прекрасный’ (первая часть сложного слова *Beauvoisin*) воспринято как франц. *bon* ‘хороший, добрый’.

В передаче итальянских имен собственных ощутимо французское влияние, ср.: итал. *Michelangelo* (Микеланджело) – *работы Мишель Анжела; начиная съ Мишель Анжа, украшень по начертаніямъ Мишеля Анжела, сдѣланное Мишелемъ Анжелемъ*. К тому же автор склоняет это имя собственное по образцу русских имен и даже образует от него производные: *Мишель Анжелеву живопись*.

В тексте Журнала встретились не только слитные и раздельные, но и дефисные написания: *мѣсто Камповачино, на площади Кампо-вачино* (итал. *Campro Vascino*). Французские составные наименования представлены в Журнале как имена собственные с неясным для русского человека значением: *на концу мосту Понтъ Ошанжъ называемомъ* (франц. *Pont au Change* «Мост менял»). Иногда автор переводит имя собственное, превращая его в нарицательное: *вздили в большую оперу* (франц. *Grand Opéra* – название знаменитого парижского театра), *рукавъ изъ Кале въ Дувръ* (буквальный перевод названия пролива Ла-Манш, франц. *la manche* ‘рукав’).

Тремя вариантами представлено в тексте имя *Тюльери* (франц. *Tuileries*): *налаты въ Тюлери* (1 фиксация), *перенесены въ Тюльери* (1 фиксация), *подлѣ Тюлери* (2 фиксации). Звуковой облик иноязычного слова передан в написании имени собственного *Коллизе* (*Коллизей*), что соответствует французскому *Colisée*. Французские имена мужского рода на *-é* давали два типа финали при усвоении русским языком: 1) *-е*, прикрытое *j* (*камей, канпей, Коллизей*); 2) *-е*, прикрытое *j*, осложненное флексией *-а* (*камея, канпея, мозоля, дефиля*) [Биржакова и др., 1972, 234]. В данном случае русификации еще не произошло.

Некоторые написания отражают звуковые и буквенные соответствия: *на островѣ Цейланѣ* (фр. *Ceylan* ‘Цейлон’).

Особым случаем представляется написание итальянского имени *Medici* (Медичи): *дому де Медицисъ; строены де Медицисами; статуи, изображающие де Медицевъ*. Очевидно, итальянское имя *Medici* в сознании автора Журнала связывалось с латинским *medicus*, *-ī* ‘врач, лекарь’. Подобные существительные с предлогом *de* в аблятиве имели окончание *-is*, отсюда в подражание латинским формам и возникла форма *Медицисъ*, использованная затем как основа формы творительного падежа – *Медицисами*. Форма же *Медицевъ* образована от реальной (хотя и латинизированной по звучанию) основы.

Употребляя иноязычное имя собственное, автор Журнала изменяет его по падежам: *прибыли въ Ливорну, слѣдуя изъ Сюзы, на (мосту) Ошанжѣ, къ живописцу Волеру*. Имена собственные, оканчивающиеся на согласный, оформляются как существительные женского рода на *-ия*: *Версалия* (фр. *Versailles*), *Булония* (франц. *Boulogne*). Итальянское *Parma* преобразуется в существительное мужского рода под влиянием французского *Parme*: *прибыли въ Пармѣ*.

Иноязычные имена собственные остаются недостаточно освоенными для автора Журнала. Об этом свидетельствует не только разноречивость в их написаниях, но и малое количество производных от них слов: *Луврской дворецъ, Венера Медициская, въ Тюллерійской садѣ, Сорбанская церковь* (фр. *Sorbonne*), *стюартовой фамилии* (*Стюарт*), *Шакеспинова трагедия*. Все дериваты образованы по моделям русских прилагательных, начертаны с большой буквы и имеют одну фиксацию в тексте.

Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л. и др. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в.: Языковые контакты и заимствования. Л., 1972.

Журнал – Журнал путешествия его высокогордия господина статского советника и Ордена Святого Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова по иностранным государствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по возвращение в Россию, ноября 22 дня 1773 года. М., 1786.

К семантической реконструкции хрононимических дериватов*

В русских народных говорах широко функционируют нарицательные слова, формально совпадающие с антропонимами. Для некоторых из них можно реконструировать первоначальную хрононимическую мотивацию, ср. известный в этнолингвистической литературе пример: влг., иркут., моск. *касьян* 'о недоброжелательном человеке' восходит к хронониму *Касьянов день* (29 февраля) и отражает негативные коннотации, связанные с этой датой.

Многие лексемы с «календарной» мотивацией имеют метеорологическую семантику. Ср. ворон., онеж. *кузьма* 'о морозе', влг., олон., карел. *сидор* 'холодный северный ветер': *С севера дует, дак сидор, сиверко*. Данные лексемы могут быть мотивированы хрононимами *Кузьма* '1/14 ноября' и *Сидор* '14/27 мая' соответственно. В пользу хрононимической мотивации для слова *кузьма* говорит его функционирование в составе календарной паремиологии: арх., новг. *Кузьма закует, Михайло раскует* 'о морозах в начале ноября по ст. ст., о потеплении к Михайлово дню'; тамб. *Кузьма закуёт, а Введение сломает*. Дата 1/14 ноября воспринимается в связи с погодными явлениями: *Кузьма-Демьян – кузнец кует лед на земле и на водах; Не заковать реку зиме без Козьмодемьяна; Если Кузьма-Демьян подкуёт, мороз даст, то Михаил Архангел раскуёт, срязь сделает, они через две недели*. Представление о св. Кузьме и Демьяне как о покровителях кузнецов может быть связано с созвучием *Кузьма* и *ковать* либо с погодными явлениями в этот день (морозы, сковывающие водоёмы). Способность «останавливать» реки приписывается и Николину дню: *Кузьма с мостом, Никола с гвоздем* (1/14 ноября и 6/19 декабря), ср. ворон., кемер. *Никола закует, Никола гвозди прибывает* 'о морозе'.

Метеорологические коннотации хрононимов *Исидор*, *Сидор* отражаются в самих названиях и в паремиях: *На Сидора еще сиверко* (холодно); *Пройдут Сидоры – пойдут сиверы; Как пройдут Исидоры, пройдут и сиверы*. Появлению этих коннотаций в немалой степени способствует притяжение *Сидор* ↔ *сивер*.

Как известно, погодные явления нередко персонализируются, ср. обращение к ним по имени (*Мороз Васильевич*). Это дает основания для еще одной мотивационной версии: слова *кузьма* и *сидор* могут быть образованы напрямую от антропонимов (минуя хрононимическую стадию) из-за созвучия *Кузьма* и *ковать* (основная функция мороза), *Сидор* и *сивер* (северный ветер). Скорее всего, мотивационные версии дополняют друг друга.

Аналогичные трактовки можно предложить для костр. *дуни подули, федоты помели* 'о сильном ветре и снеге в марте'. С одной стороны, эти выражения следует соотносить с хрононимами *Дуни* (мн.) '1/14 марта', *Федоты* (мн.) '2/15 марта', что

*Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Русские ономастические словари как источник культурно-исторической информации».

подтверждается непогодой в эти дни, ср.: *На Дуню дунет, весна длинная будет; Федоты-заметалы: если ветер дует, лето худое жди*. С другой стороны, следует учесть созвучие *Дуня ↔ дуть, Федот ↔ метет*.

Фразеологизмы и паремии с участием хрононимов способны функционировать в отрыве от календаря. Так, костромские выражения *федул погоду надул, федула подула* применяются для обозначения сильного и, как правило, холодного ветра (в любое время года), однако по происхождению они связаны, по всей видимости, с днем св. Феодула (5/18 апреля), который носит также название *Федул-ветренник*; ср. *Пришел Федул, тепляк подул; Федул губы надул* ‘о ветре 5/18 апреля’. Связь имени *Федул* с погодными явлениями обусловлена и созвучием *Федул ↔ дуть, федула ↔ подула*.

Хрононимы-агионимы могут переходить в апеллятивы, называющие человека: твр. *федул*, пск. *федул губы надул* ‘об обидевшемся, нахмурившемся человеке’. Имя нарицательное отражает сходство в восприятии непогоды и человеческого поведения.

В СРНГ зафиксирована лексема с неясной мотивацией: *абросим* (без указ. места) ‘о человеке, который важничает’: *Кому до чего, абросиму и праздника нет. Он сам у себя. На то абросим: наш праздник бросил, а своего нет*. Паремия *Абросим праздники отбросил*, по-видимому, относилась ко дню св. Абросима, 7/20 декабря: в данном выражении отражен тот факт, что после дня св. Абросима до Рождества в календаре не было значимых праздников. Вследствие этого появилась семантика «зазнавшегося» человека, т. е. не признающего именины святых после 7/20 декабря.

Помимо хрононимических дериватов-существительных, формально совпадающих с антропонимами, следует отметить глаголы, для которых реконструируется календарная мотивация. Ср. арх. *одемянивать* ‘есть, хлебать’: *Сливок принесешь, дети одемянивают быстро*. Известно, что в день св. Кузьмы-Демьяна в деревнях варили кашу, приглашая святых: *Кузьма-Демьян, приходи к нам обедать, а потом приходи к нам помогать, полоть; Перву ложку мама саламата черпает и кладет в сноп: «Кузьма-Демьян, пособиля жать, так приходи саламат хлебать»*. В русских говорах св. Кузьму и Демьяна называют *кашниками* и считают работниками, трудящимися за угощение. Такое представление могло появиться из-за совпадения окончания полевых работ с днем этих святых – 1/14 июля. Традиция приглашать их на кашу, или «задабривать» для получения хорошего урожая, могла стать мотивирующей для рассматриваемого глагола. Существование такой отхрононимической модели подтверждается словом *николить* арх., перм. ‘праздновать день св. Николая’, (без указ. места) ‘гулять, пьянствовать’ и др.

Способы образования неофициальных названий городов

Разговорные варианты названий городов в русском языке существовали как минимум с XVIII–XIX вв. (*Питер* ‘Санкт-Петербург’, *Рамбов* ‘Ораниенбаум’, *Нижний* ‘Нижний Новгород’), а в советское время они могли приобретать статус полуофициальных (*Минводы* ‘Минеральные Воды’). Массово в бытовой узус неофициальные топонимы начинают входить с 1980–1990-х гг.

Нами было рассмотрено более 600 номинаций (включая орфографические варианты), относящихся к более чем 300 городам России и ближнего зарубежья. В основном неофициальные топонимы употребляются в молодежном узусе; некоторые проникают в публицистику и художественную литературу: «Город Депилс [Даугавпилс], город Депилс! / Я давно с тобою не пил-с» (С. Морейно, «Новое романсеро»), попадают на городские вывески (универмаг «Мончестер» в Мончегорске, кафе «Рамбов» в Ломоносове). Но даже в молодежном узусе есть как общеизвестные, так и субкультурные номинации, например Ижевск: *Ижик*, *Ижоск* (общее), *Ижмуртск* (в среде футбольных фанатов).

Источником послужил Интернет (блоги и форумы, сетевая литература). Этот источник не позволяет во всех случаях установить особенности произношения и расстановку ударений; также не всегда возможно выделить названия, употребляющиеся исключительно в письменной речи (в Интернет- и sms-общении).

Один топоним может иметь несколько неофициальных вариантов, например, *БРН*, *Барни*, *Бромаул*, *Порноул*, *Барнауль*, *Барнеаполь* (*Борнеаполь*), *Барнеуполь*, *Барнео* (*Борнео*) ‘Барнаул’. Несколько городов могут иметь омонимичные неофициальные названия, например *Зелик* ‘Зеленогорск; Зеленоград; Зеленоградск; Зеленодольск (Украина); Зеленодольск (Республика Татарстан)’.

Прототипами для некоторых топонимов являются авиационные и почтовые коды, картографические и библиографические сокращения (для топонимов-аббревиатур), «метафоры провинции» наподобие *Мухосранск*, вымышленные топонимы из художественной литературы и т. д.

Нами было выделено несколько моделей образования топонимов. Ниже приводятся наиболее частотные из них.

И. С о к р а щ е н и е.

1. Буквенная аббревиация:

- а) сокращение до первой буквы (*X(a)* ‘Хабаровск; Харьков’);
 - б) двухбуквенная аббревиация при двухкоренном или двухчастном названии (*БГ* ‘Борисоглебск’; *БЦ* ‘Белая Церковь’);
 - в) трехбуквенная аббревиация, чаще от трех первых согласных (*ВРН* ‘Воронеж’).
- #### 2. Сокращение с сохранением первой и последней буквы (нескольких букв) (*Тотти* ‘Тольятти’, *Новочек* ‘Новочеркасск’, *Кр-ск* ‘Красноярск’).
3. Сокращение одной из частей в двухчастном или двухкоренном слове:
 - а) сокращение первой части до одной буквы (*Е(-)бург* ‘Екатеринбург’, *ГКлюч* ‘Горячий Ключ’);

б) сокращение первой части до первого слога (*Пушгоры* 'Пушкинские Горы');
в) редукция одной из частей, обычно являющейся прилагательным или воспринимающейся как образованная от прилагательного (*Волочек* 'Вышний Волочек', *Гузь* 'Гузь-Хрустальный', *Юганск* 'Нефтеюганск'). Также редуцируется указание на положение города (*Ростов* 'Ростов-на-Дону').

4. Заполнение гласными лакун между сокращенными согласными (*Энэн, НиНо < НН* 'Нижний Новгород', *Бэбск < Б-бск* 'Борисоглебск').

II. М о р ф е м н о - ф о н е т и ч е с к о е и з м е н е н и е .

1. Преобразование первой части или основы:

а) с образованием двухсложного слова с ударением на первый слог (реже трехсложного с ударением на второй слог) в м. р. с суффиксом *-ик* (*Владик* 'Владикавказ', *Владивосток*, *Севастик* 'Севастополь');

б) с образованием двухсложного слова с ударением на первый слог или трехсложного с ударением на второй слог в ж. р. с суффиксом *-к* (*Белка* 'Белая Церковь', *Междурка* 'Междуреченск');

в) первая часть, образованная от прилагательного, отделяется и преобразуется в прилагательное (*Кислый* 'Кисловодск');

г) первая часть отделяется и преобразуется в существительное м. р. с суффиксом *-ак/-як* (*Южак, Южняк* 'Южно-Сахалинск');

д) первая часть или основа во мн. ч. или в ед. ч. м. р. преобразуется в существительное во мн.ч. (*Дубики* 'Дубоссары', *Стрежи* 'Стрежевой');

е) от произвольно взятой начальной части трехсложного или четырехсложного топонима образуется слово в ж. р. с ударением на второй слог (*Челяба* 'Челябинск', *Долгона* 'Долгопрудный').

2. Усечение:

а) с гласным на конце (*Бахчи* 'Бахчисарай');

б) с согласным на конце (*Киши, Кишин* 'Кишинев', *Новосиб* 'Новосибирск').

3. Метатезы разного рода (*Зысрань* 'Сызрань', *Сатана* 'Астана', *Лупарас* 'Сарапул', *Манты-Хансийск* 'Ханты-Мантыйск').

III. С е м а н т и ч е с к о е и з м е н е н и е .

1. Вторая часть двухкоренного слова, оканчивающегося на *-ск*, заменяется на часть, содержащую негативные и (или) «провинциальные» коннотации (*Бокситосранск* 'Бокситогорск', *Электродырск* 'Электргорск').

2. Преобразование слова на основе фонетического сходства для достижения обценного и (или) комического эффекта (*Сундуквар* 'Сыктывкар', *Засратов* 'Саратов').

3. Замена другим топонимом на основе фонетического сходства (*Даллас* 'Дальнегорск', *Питер* 'Петропавловск-Камчатский').

4. Имитация реального топонима на основе фонетического сходства (*Лос-Петрос* 'Лосино-Петровский') или семантической мотивации (*Уран-Батор* 'Железногорск').

5. Замена квазитопонимом на основе фонетического сходства (*Гулькинград* 'Гулькивичи') или семантической мотивации (*Хитроград* 'Биробиджан', *Лужковсити* 'Москва').

6. Исторический топоним (*Вятка* 'Киров').

7. Модифицированный исторический топоним (*Кёниг, Кёник < Кёнигсберг* 'Калининград').

Концепт «верхний/нижний» в ойконимии Дагестана

С точки зрения этнокультурного и языкового многообразия, сложности как историко-генетических, так и современных этнополитических проблем Дагестан является уникальным регионом [Народы Дагестана, 2002, 5–6]. Население республики составляет более 2,5 млн. человек, среди которых представители около ста национальностей. Языки народов, проживающих здесь компактно, принадлежат в основном к трем языковым семьям: кавказской, тюркской, индоевропейской – всего 28 языков. В природно-географическом и климатическом отношении регион характеризуется большим разнообразием.

В Республике Дагестан насчитывается более 1 600 населенных пунктов, в том числе 1 576 сельских, 19 поселков городского типа и 10 городов [Дагестанская АССР, 1980]. Несмотря на пеструю языковую картину, в топонимии Дагестана просматриваются общие для всех языков модели образования географических названий. Примечательным является наличие в ойконимах компонентов «верхний», «нижний».

В языках народов Дагестана понятия «верхний», «средний», «нижний» выражаются следующим образом. Аварский язык: *тласса* – *бакьулъаб* – *гьоркьла*; даргинский: *чебяхI* – *урга* – *убяхI*; лакский: *ялу* – *дяниве* – *лу*; лезгинский: *вини* – *юкьван* (*кьулан*) – *агьа*; табасаранский: *заан* – *кьялан* – *асккан*; кумыкский: *оьр* – *орта* – *тёбен*; азербайджанский: *юхари* – *орта* – *ашагьа* и др.

В микротопонимии эти определения представлены широко, а в ойконимии – реже: авар. *Тласса Гьарадерихь* (Верх. Арадерих) – *БакьулI Гьарадерихь* (Ср. Арадерих) – *Гьоркьа Гьарадерихь* (*ИнцIцIла*) (Ниж. Арадерих); лезгин. *Вини СтIал* (Юхари-Стал, Верх. Стал) – *Юкьван СтIал* (Орта-Стал, Ср. Стал) – *Агьа СтIал* (Ашага-Стал, Ниж. Стал).

В акушинском диалекте даргинского языка и даргинском литературном языке понятия «верхний – нижний» обозначаются словами *чебяхI* и *убяхI*: **ЧебяхI** *Кавкамахь* (Верх. Кавкамахи) – **УбяхI** *Кавкамахь* (Ниж. Кавкамахи), **ЧебяхI** *Цухта* (Верх. Цухта) – **УбяхI** *Цухта* (Ниж. Цухта). В диалектах переданы в следующих формах: **КебяхI** *Лябхъу* (Верх. Лабкомахи) – **УбяхI** *Лябхъу* (Ниж. Лабкомахи) – *Хьарлябхъу* (Карлабко), букв. «верх; верхняя часть Лябхъу», **КибяхI** *МулибкIи* (Верх. Мулебки) – **УбяхI** *МулибкIи* (Ниж. Мулебки), **ЧибегI** *Цурмая* (Верх. Цурмая) – **ГубегI** *Цурмая* (Ниж. Цурмая), **Че** *Убечи* (Верх. Убекимахи) – **ГубяхI** *Убечи* (Ниж. Убекимахи), **Че** *Гьериши* (Верх. Арши) – **Гу** *Гьериши* (Ниж. Арши), **Чеба** *ЧIяхIялице* (Верх. Чиамахи) – **Губа** *ЧIяхIялице* (Ниж. Чиамахи) и др.

Данные понятия выражаются также компонентами *хьар* и *хьар*, но с некоторыми особенностями: *хьар* ‘низ; нижняя часть’, *хьар* ‘верх; верхняя часть’: **Хьар** *МахIаргимахь* (Ниж. Махаргимахи) – **Хьар** *МахIарги* (Верх. Махаргимахи).

В аварском языке в названиях сел понятия «верхний», «наверху», «сверху» (*тласса*, *тIад* (*тIада*), *тIарада*), выражаемые падежными формами наречий, имеют

значение 'над', т. е. они фиксируются в форме локатива, а значение направленности в них утрачено: *Тасса Гьаквари* (Верх. Гаквари) – *Гьоркьа Гьаквари* (Ниж. Гаквари), *Тлад Колоб* (Верх. Колоб) – *Гьоркь Колоб* (Ниж. Колоб), *Парада Чугли* (Орада Чугли) – *Гьоркьа Чугли* (Ниж. Чугли) и др. Для различения одноименных аулов с компонентом *тасса* 'верхний' используются понятия «большой – маленький»: *Клудияб Гурала* (Большой Урала) – *Гьитлинаб Гурала* (Маленький Урала).

Лезгинские аулы в официальных источниках именуется азербайджанскими названиями, но сами лезгины используют свои наименования: *Вини АрхитI* (Юхари-Архит) – *Агьа АрхитI* (Ашага-Архит), *Вини Хьартас* (Юхари-Картас) – *Агьа Хьартас* (Ашага-Картас), *Вини Ярагь* (Юхари-Ярак) – *Агьа Ярагь* (Ашага-Ярак) и др.

В кумыкских ойконимах *Оьркьазаныш* (Верх. Казанище) и *Тёбенкьазаныш* (Ниж. Казанище) выпал указатель принадлежности *-ги*, компоненты слились и образовалось цельное название. Оба села существуют самостоятельно, на определенном расстоянии друг от друга. Селения *Оьрдеги Ишарты* (Верх. Ишарты) – *Тёбенги Ишарты* (Ниж. Ишарты) и *Оьр Джюнгютей* (Верх. Дженгутай) – *Тёбен Джюнгютей* (Ниж. Дженгутай) находятся рядом: чтобы различить их, используется указатель *-ги* или компоненты пишутся раздельно.

В ауле Верх. Катрух живут лакцы, а в Ниж. Катрух – азербайджанцы. Оба села имеют лакское и азербайджанское названия: *Ялу ЧатЛухьы* – *Лу ЧатЛухьы*, *Юхари КлатИрух* – *Ашагьы КлатИрух*.

По одной паре представлены табасаранские и азербайджанские ойконимы: *Заан Яракк* (Верх. Ярак) – *Асккан Яракк* (Ниж. Ярак), *Юхари Жалгьан* (Верх. Джалган) – *Ашагьа Жалгьан* (Ниж. Джалган).

Таким образом, наличие или отсутствие в ойконимах Дагестана понятий «верхний» и «нижний» определяется географическим расположением населенных пунктов. Сравнительно большое количество таких названий даргинских и аварских сел объясняется гористым ландшафтом.

Дагестанская АССР. Административно-территориальное деление. Махачкала, 1980.
Народы Дагестана / Отв. ред. С. А. Арупонов, А. И. Османов, Г. А. Сергеева. М., 2002.

В. В. Бардакова
Волгоград

Мир ребенка в именах и названиях (на материале сказок Д. Н. Мамина-Сибиряка)

Картина мира в сознании ребенка представлена как целостная и многообразная модель реальности. Ребенок в своем индивидуальном развитии проходит в сокращенном виде все этапы эволюции постижения окружающего мира и усваивает знания о мире в формах языка. Для детской картины мира, как и для мифопоэтической, характерны олицетворение природы и антропоморфизм. Детская картина мира

основана на эмоционально-ценностном переживании, чувственном постижении мира. Мир в виде образов, доступных и понятных ребенку, предстает перед ним в сказке.

В современном языкознании и психологии, психолингвистике и онтолингвистике сложилось определенное представление о детской языковой картине мира (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, В. С. Мухина, А. Н. Гвоздев, С. Н. Цейтлин, Г. И. Богин, Ю. Н. Караулов, В. И. Карасик, К. Ф. Седов, И. А. Стернин, В. К. Харченко, И. Я. Чернухина, К. Ф. Седов, Н. А. Лемякина и др.).

Адресованная детям и воссоздающая мир детства книга Д. Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки» уже в названии содержит апелляцию к ребенку и к детскому мифопоэтическому мировосприятию. Детский мир, представленный автором, просматривается через призму имен и названий окружающего ребенка предметного мира. Ономастикон сказок рассматривается нами в качестве репрезентанта концептов «семья», «дом», «мир» и «природа» в детском языковом сознании. Названные концепты соотносимы между собой, о чем можно судить по значениям соответствующих слов.

«Семейная» линия, заложенная уже в заголовке цикла, определяет его композицию и образную систему. Стержнем этой линии является имя героини, дочери писателя – *Аленушка*. В этой форме имя героини звучит в «Присказке», почти в каждой сказке цикла, означая постоянное пребывание ребенка в кругу семьи, родных и близких, в завершающей цикл главе «Пора спать». Имя чередуется с местоимениями (*она, ей, ее, ты*), с апеллятивами *крошка, маленькая девочка*, в том числе и в сочетании с именем *девочка Аленушка*. В прямой речи героини используется личное местоимение я: *Я люблю снежок; А я тебя знаю, дедушка; Папа, я всех люблю*. Это отражает антропоцентричность как художественного текста, так и детского мировосприятия и соотнобразуется с осознанием ребенком своего места в мире.

Антропонимы как ядерная зона ономастикона сказочного цикла представлены личными именами персонажей, сочетающимися либо с терминами родства (*тетя Оля*), либо с другими идентифицирующими и характеризующими дескрипциями (*трубочист Яша, кухарки Паша и Матрена*). Термины родства в самостоятельном употреблении (*папа, дедушка*) или в сочетании с личным именем (*тетя Оля*), а также имена в гипокористической форме (*Лиза*) относятся к личной сфере говорящей героини. Все эти лексемы репрезентируют концепт «семья». К сфере автора-повествователя относятся разъяснения в сносках с указанием полного имени прототипов персонажей сказки и родственных связей с ними героини; апеллятивы *старичок / добрый седой старик, деревенские дети*; антропоморфные имена, репрезентирующими семейно-родственные отношения между действующими лицами сказок (*старая Муха / наша Муха / молоденькая, маленькая Мушка; куклы Аня и Катя, Петрушка / Петр Иванович, его жена Матрена Ивановна, доктор Карл Иваныч; дедушка Комарище, младший брат Комаришко, медведь / мохнатый Миша / Миша / Михайло Иваныч*). Местоимения, дополнительные конкретизаторы, деминутивная форма имени становятся в контексте знаковыми словами.

Составляющие онимическую периферию клички животных и именованья различных пространственных и бытовых объектов делают возможным более полное описание пространства детского мира, в свою очередь отражая осознание ребенком своего места в расширяющемся вокруг него пространстве, себя в этом мире. До-

машный и семейный быт эксплицируется такими лексемами и их сочетаниями, как *котико* (*кот*) *Мурка*, *Ворона*, *Канарейка*, *клетка*, *комната*, *форточка*, *родилась*, *выросла*, *жила*. Игрушки и принадлежащие Аленушке вещи представлены персонафицирующим именным рядом, дополняемым характеризующими дескрипциями: *пузатый деревянный Волчок*, *резиновая Кошечка*, *фарфоровая Собачка*, *деревянные Кубики*, *серебряная Ложечка*, *Аленушкины Башмачки*, *Аленушкина Метелочка* и др.; «дворовое» хозяйство – онимизированными видовыми названиями домашних птиц: *Индюк* и *Индюшка*, *Гусак*, *Петух*, *Утка*, *Курочка*. В совокупности они репрезентируют концепт «дом». Окружающий «мир» и «природа» предстают в разнообразных картинах и лицах. Персонажи получают развернутые характеристики и имена, преимущественно – традиционно фольклорные. В завершающую цикл колыбельную «Пора спать», значительно расширяющую воображаемое пространство, автор включает множество имен – например, названий цветов и мест их «рождения»: *Розы – долины Ширази*, *Гиацинты – Палестина*, *Азалии – Америка*, *Лилии – Египет*. Малышка мысленно «летает» над *полем*, *морем*, *пустыней*, *горами* и *лесами*, возвращаясь домой – к зеленым елочкам, птичкам, родным местам.

Весь мир, созданный писателем, предстает перед маленькой девочкой, которая находится в центре этого мира. Наполненная поэзией картина мира, воссоздающая мифопоэтическое восприятие ребенка, раскрывается детям – читателям сказок Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Е. Бартминьский
Люблин (Польша)

«Несчастный дар свободы»: динамика понятия *wolność* в польском языке

Положение свободы (польск. *wolność*) в польской иерархии ценностей неизменно является очень высоким [CBOS, 1994; Pisarek, 2000; Fleischer, 2003], что обусловлено польской культурной традицией, восходящей к временам Первой Речи Посполитой – с ее девизом «золотой свободы» и дальнейшим сопряжением свободы с идеей борьбы за независимость (польск. *niepodległość*), ср. лозунг *Za wolność naszą i waszą* («За свободу нашу и вашу»). С XIX и почти до конца XX в. свобода (*wolność*) в польском культурно-языковом сознании связывалась в первую очередь с народом [Abramowicz, Karolak, 1991]. Такое понимание польской свободы подвергла тонкому семантическому анализу Анна Вежбицкая, отделившая понятие *wolność* как идеал народный, групповой от понятия *swoboda*, которая трактуется в первую очередь как свобода индивидуальная [Wierzbicka, 1999].

Однако обретение Польшей полной суверенности привело к переменам в понимании свободы (*wolność*), особенно в молодежной среде. Прежде всего появилось осознание, что одного лишь идеала свободы, подвигающего к активной борьбе за освобождение, недостаточно в условиях продвижения к независимости и завое-

вания полной государственной, народной и индивидуальной свободы. Возникает проблема путей использования свободы, вероятность злоупотребления свободой, опасность анархизации общественной жизни и появления в ней лжи, насилия и терроризма. Ощущается необходимость толерантности по отношению ко всему иному и одновременно потребность в установлении границ толерантности. Эта группа этико-правовых проблем нашла свое языковое выражение в использованной Йозефом Тишнером формуле *nieszczęsny dar wolności* («несчастный дар свободы»).

Выявленные изменения в восприятии понятия *wolność* направлены на сопряжение его с правами личности, с понятием *swoboda*, с раскованностью и непринужденностью, со снятием любых ограничений, с лозунгом хорошего самочувствия. Несмотря на то, что в обыденном польском восприятии понятия *wolność* отсутствует описанное Исайей Берлином различие между «свободой от» и «свободой для» (*wolność od* и *wolność do*), в образовательном дискурсе появляется мнение о необходимости такого различия. В католическом дискурсе обсуждается концепция «настоящей свободы» (*prawdziwa wolność*).

Руденко Е., Чернявская Ю. Концепт «свобода» и этнокультурное самосознание белорусов // *Język w kręgu wartości*. Lublin, 2003. S. 383–403.

Abramowicz M., Karolak I. *Wolność i liberté* w języku polskim i francuskim // *Język a kultura*. 1991. № 3. S. 51–59.

Antosiak A. *Obraz wolności* w czasopiśmie młodzieżowym «Bravo Girl» // *Język w kręgu wartości*. Lublin, 2003. S. 361–381.

CBOS 1994 – «*Co nam daje najwięcej szczęścia?*» // *Gazeta Wyborcza*. 1994. № 268.

Fleischer M. *Stabilność polskiej symboliki kolektywnej* // *Język w kręgu wartości*. Lublin, 2003. S. 107–143.

Kolakowski L. *Wolność* // *Kolakowski L.* *Mini wykłady o maxi sprawach*. Kraków, 2004. S. 80–87.

Pisarek W. *Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność*. Kraków, 2000.

Wierzbicka A. *WOLNOŚĆ – LIBERTAS – FREEDOM – SWOBODA*. *Uniwersalne ideały czy specyficzne dla danej kultury jednostki leksykalne?* // *Wierzbicka A.* *Język, umysł, kultura*. Warszawa, 1999. S. 490–521.

М. Белетич
Белград (Сербия)

Пабрстиње: к терминологији обработки конопли

Все славянские народы выращивали и обрабатывали лен и коноплю. Их обработка, с момента уборки до прядения, включала в себя ряд процессов: уборку растений с поля, отделение семян от стеблей, размягчение плотного слоя стеблей, отделение жестких частиц от волокна, расчесывание полученного волокна и приготовление кудели. Эти подготовительные работы представляли собой наиболее длительный и трудоемкий этап домашнего ткачества [Чумакова, 1970, 120]. Естественно,

что терминология обработки льна и конопли богато представлена во всех славянских языках.

К данному лексическому полю принадлежит и сущ. *пáбрстиѣ* из Пирота, ср. *пáбрстиѣ* ‘остатки сломанных и увядших стеблей конопли’ [Златковић, 1988, 652] и *пáбрстиѣ* ‘остатки конопли’ [Живковић, 111]. Очевидно, что приведенные формы не идентичны в отношении ударения и значения. К ним следует добавить также сущ. *пáбрскиѣ* из Црной Травы в значении ‘остатки конопли при трепании («кад се она таре на трлицу»)’ [Златановић, 279].

Учитывая ареал сербских примеров, параллели для них надо искать прежде всего в болгарском языке. Действительно, около Годеча зафиксировано сущ. *пáбрстиѣ* ‘остатки конопли при уборке’, а около Софии и Брезника и формы без *-т-*: *пáбршнияк* ‘остатки конопли при трепании’, *пáбрсник* ‘то же’, *пáбирьськ* ‘то же’ [БЕР, 4, 995].

Изложенный материал ясно показывает, что ударение должно быть на первом слоге, но не вполне понятно, о какой реалии идет речь: об остатках конопли на поле после уборки или об остатках волокна после обработки.

Болгарские формы трактуются как производные от **пáбръсть*, сложения приставки *па-* и *бръст*, *бръстя* [БЕР, 1, 84].

Правильность выделения приставки *па-* в данных формах подтверждается многочисленными параллелями, принадлежащими к той же лексико-семантической сфере, ср. укр. диал. *пáтолоч* ‘остатки после уборки конопли’ < **patolčь*, помен асті от **potelkti*, *-tьlq* ‘поголовч’ [Воруś, 1975, 19], польск. диал. *paczocy*, чеш. *pačesy*, словац. *pačesy*, рус. диал. *пáчеси*, укр. *пáчосы* ‘отходы при чесании льна, конопли’ < **pačesъ*, помен асті от **počesati* ‘почесать щеткой, например, лен, коноплю’ [Там же, 29], рус. диал. *пáтпенки* ‘отходы при трепании льна’, блр. *пáтпан’е* ‘то же’: рус. *пáтпенать* (лен), блр. *пáтпанáць* [Там же, 33], польск. диал. *paklepie*, *paklepy* ‘отходы при трепании льна’: *poklepać* ‘потрепать (лен)’ [Там же, 35].

Однако вызывает сомнение выведение рассматриваемых болгарских слов из глагола *бръстя* ‘кормить скотину древесными побегам’ (= серб. *брстити* ‘обедать побегом’), так как приведенные примеры показывают, что в основе каждого из них лежит один из глаголов, принадлежащих к терминологии обработки льна и конопли, к которой, как известно, глагол *бръстя* не относится. Более подходящим, кажется, является русский глагол *бросать*, ср. *бросать лен* ‘сбивать со льна головки’, вместе с диалектными формами *броснуть* ‘отделять кострицу ото льна’, *брóснуться* ‘очищаться (о льне, конопле)’, *обрóснуть* ‘оборвать (головки льна, листья с веток и т. д.)’, ‘расчесать, раздергать волокно льна, конопли’. Рус. диал. *бросать* представляет собой пример специализации старого славянского глагола **brъsati*, **brъsnqiti*, **brъsati* ‘стирать, соскабливать, смахивать с поверхности’, следы которого сохранились в восточно- и южнославянских языках: болг. *бръсвам*, *бръсна* ‘стирать’, серб. *брисати*, словен. *brisati* ‘стирать, тереть, выгирать’, *brsati* ‘царапать’, укр. *бросити*, рус. *бросить* ‘кинуть’ [Чумакова, 1970, 128].

Этимология праславянских глаголов **brъsati*, **brъsnqiti* подробно, хотя и не однозначно, рассмотрена в [ЭССЯ, 3, 55–57; SP, 1, 398–399].

Можно было бы предположить, что и на южнославянской почве произошла специализация праславянских глаголов **brъsati*, **brъsnqiti*, а также **brъskati* (в [ЭССЯ, 3, 56]

реконструируется и эта праславянская форма), о чем свидетельствуют прежде всего болгарские формы *пáбръшняк* и *пáбрсник*. Их можно трактовать как образования с суффиксами *-jakъ/-ikъ* на базе глагольных дериватов **pabrъsnъ/*pabrъsnъ < *pobrъsnoti*, причем *pa* соответствует глагольному *po*.

Сербская форма *пáбрскиње* образована при помощи суффикса *-inje* от глагольного деривата **pabrъskъ < *pobrъskati*.

Форма *пáбрстиње*, как представляется, того же происхождения, только у нее суффикс *inje* присоединен к форме множественного числа **pabrъsci > *pabrъsti* (диссимиляция *sts > st* как в ст.-слав. *людъстии* наряду с *людъсции* ном. pl. m. 'людские'). Нельзя все-таки исключить возможность, что форма с *t* возникла под влиянием глагола *брстити*, так как глагол *брсати* почти не сохранился в сербском и хорватском языках, ср. однако чакав. *брсиница* 'мужская особь конопля' [РСА]. О возможном родстве данных глаголов см. [ЭССЯ, 3, 58, s.v. **brъstъ*].

Наконец, болг. *пáбиръськ* можно было бы возвести к реконструированному **pabrъskъ*, причем *и* в основе, вслед за [БЕР], следует объяснить как результат смещения с *пáбиръкъ*.

Boryś W. Prefiksacja imienna w językach słowiańskich: Monografie slawistyczne 32. Wrocław etc., 1975.

Златковић Д. Пословице и поређења у пиротском говору // Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1988. Књ. 34. С. 341–683.

Чумакова Ю. П. Глагольные термины, связанные с домашней обработкой волокна, в славянских языках // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и исследования. 1969. М., 1970. С. 120–148.

В. И. Беликов
Москва

Статистический анализ неофициальной топонимии

Кроме официально закрепленных топонимов всегда существовали и неофициальные; статус их различен. Есть именованья стилистически немаркированные, хотя и не использующиеся в официальных контекстах (к таковым, например, относятся старые названия переименованных пунктов), есть разговорные (типа *Питер*, *Владик*), есть явно сниженные, которые многие отнесут к жаргонным (*Засранск* – Саранск). Как кажется, в последние два десятилетия распространенность неофициальной топонимии заметно увеличилась, для многих городов конкурирует несколько таких именованний, различающихся по широте использования и стилистике.

Дать их объективную оценку как внешнему наблюдателю, так и тому, кто регулярно сталкивается с их использованием в повседневной практике, достаточно сложно. В реальных контекстах употребления даже заведомо грубых топонимов иногда трудно усмотреть пейоративную окраску, ср.: *Блин, я так хочу уже поскорее вернуться в Засранск!!!! <...> каникулы вышли какие-то тупые...* (дневниковая запись в Москве 14-летней уроженки Саранска, 09.11.2007).

Априорные соображения мало помогают разобраться в употребимости неофициальной топонимии. Доступность же огромных массивов оцифрованных текстов, как в целом нормативных (например, базы данных периодики), так и близких по стилистике к неформальному устному общению (интернет-блоги), позволяют соотносить частоту использования официальных и неофициальных именовании, дать статистическую оценку конкурирующих неофициальных вариантов.

Заранее трудно предполагать, какие варианты частотнее, *Кырск* или *Крас*, *Новосиб* или *Энск*; за 2007 г. число страниц с этими и официальными топонимами у блогеров, приписанных к соответствующим городам, было таково:

<i>Красноярск</i>	<i>Крас</i>	<i>Кырск</i>	<i>Новосибирск</i>	<i>Новосиб</i>	<i>Энск</i>
Блоггеры Красноярска					
2273	5	75	254	132	0
Блоггеры Новосибирска					
846	21	25	5774	1044	78

Учитывая очевидное и значительное численное превосходство новосибирских блоггеров, вполне очевидно, что *Новосиб* для новосибирцев – вполне стандартное разговорное именование Новосибирска, *Кырск* же для красноярцев – всего лишь «нередкое», но все же красноярцы так зовут свой город чаще, чем новосибирцы *Энском*. Именование *Крас* чаще выступает как экзотопоним, чем внутригородское именование Красноярска.

В блогах Хабаровска этот город на 115 страницах был назван *Хабаром* или *Хабарой* (с официальным топонимом *Хабаровск* – 1287 страниц, всего лишь на порядок больше); примерно в половине случаев (59) контекст не позволяет выявить род разговорного топонима (*в Хабаре*); среди контекстно различных словоформ в четыре раза преобладает мужской род (45 страниц против 11). В блогах Владивостока частотность разговорных именовании выше: *Хабаровск* – 431 страница, *Хабар* (*Хабара*) – 71 страница. Любопытно, что соотношение вариантов иное: *Хабар* – 20, *Хабара* – 35, нейтрализация – 16.

Вскоре после возвращения пятисложного 12-буквенного топонима *Екатеринбург* появились его конкурирующие графические сокращения *Екб* и *Е-бург*. Оба широко распространились и встречаются даже в библиописаниях: *Екб*: *У-Фактория*; *Е-бург*: *У-Фактория*. Первое вполне органично выглядит в названиях акционерных обществ типа «Инвестстрой-Екб» или в игровом названии телепроекта «ЕКБ времен КГБ», однако в СМИ появляется и в контекстах, вроде бы, совсем не требующих сокращений: *Но в чем ЕКБ впереди планеты всей, так это в театре* (Уральский рабочий, 28.12.2005); *Того же Ройзмана послушать – начинаешь понимать: а парень-то реально верит, что со своим фондом практически победил наркоманию в ЕКБ* (Вечерний Екатеринбург, 03.10.2006).

Второе сокращение – *Е-бург* – для неподготовленного носителя русского языка выглядит несколько обценным, однако широко используется в местных СМИ в совершенно нейтральных контекстах типа *Результаты игр, прошедших в среду*:

Урал-Д (Е-бург) – Фанком (Алапаевск) – 1:2 <...> (На Смену!; 23.05.2003), проникая даже в заголовки, где особой нужды в сокращениях нет, ср.: *Энтузиасты из сел покоряют Е-бург; Приключения модных итальянцев в Е-бурге* (Вечерние ведомости, 13.02.2001; 18.07.2001); *Стихи Е-бургу; Старый, новый Е-бург в объективе Вениамина Метенкова* (Подробности, 02.08.2003; 13.03.2004). В СМИ ближних соседей сокращение также давно используется в нейтральных контекстах, ср.: *Новую коллекцию одежды представляет С. Гаврин (Е-бург)* (Вечерний Челябинск, 24.04.1998). Произноситься оно стало в соответствии с написанием, а затем и писаться в соответствии с произношением, в том числе и в явно немаркированных контекстах: *Спросите, например, у Семерякова* (эксперт компании по продажам), <...> *как он делает план по отгрузкам в Ебурге, почти не увеличив клиентскую базу?* (Деловой квартал, Екатеринбург; 2007, № 17). Довольно быстро возник ёрнический вариант этого топонима с акцентуацией обесценных аллюзий – *Ёбург* и его аффертивная орфографическая параллель *Йобург*.

Вне региона любой из этих вариантов вряд ли может быть воспринят как нейтральный, субъективные суждения екатеринбуржцев иногда противоречивы. «Екабэ» – коротко и ... пристойно. Поскольку другой вариант – «Ёбург» – до сих пор заставляет многих смутиться (Евгений Сусоров. Подбросьте нас до Катера! // Вечерний Екатеринбург; 21.09.2007). В том же номере газеты публикуются результаты опроса «случайных прохожих»; студент Николай Лопатин сокращенных топонимов не одобряет, оценивая по-другому: *Екатеринбург <...> постоянно пытаются исковеркать, укоротить: часто говорят Ёбург или, того хуже, просто Екб.* И журналист, и студент обошли вниманием «устоявшийся» вариант Ебург, но и он не для всех нейтрален; «Уральский рабочий», например, назвал его «бравурно-молодежным» (03.03.2007).

Достаточно любопытна статистика использования различных неофициальных именовании Екатеринбургa в блогах. Приводимые ниже цифры – число страниц, найденных при расширенном поиске в Яндекс-блогах. (Непременное написание с прописной характерно лишь для *Екатеринбурга* и *Катера*; поскольку в профиле блоггера пол и возраст может быть не указан, сумма распределений по полу и, особенно, возрасту существенно ниже общего числа страниц.) В процентах указывается общее количество ненормативных наименований Екатеринбургa по отношению к нормативному. Звездочкой («*») отмечены блоги двух мужчин и четырех женщин (от одной до 6 страниц); такой перекоc в сторону одного индивида скорее исключение: в 2004–2006 *Йобург* встретилось по одному разу у 10 блоггеров (5 женщин, 4 мужчин).

Разница в именовании города *Екатеринбургом* и *Ебургом* между мужчинами и женщинами явно значима («показатель по *Ёбургу*» у женщин также чуть выше мужского, но при малых абсолютных цифрах эта разница нерелевантна).

Надо иметь в виду, что женских блогов существенно больше мужских, так что не следует думать, что женщины чаще мужчин используют именовании *Ебург* и *Ёбург*, они просто существенно реже мужчин пользуются в блогах словом *Екатеринбург*.

Возрастную разницу, напротив, следует понимать буквально: чем моложе блоггер, тем с большей вероятностью он назовет родной город *Ебургом* или *Ёбургом*.

Именование	Екатеринбург	екб	Катер	ебург	е-бург	ёбург	ё-бург	йобург	% общ.
Все блоги	3758	426	7	586	310	160	72	12*	30 %
С указанием пола:	3207	383	7	505	263	143	69	12	
мужчины	1981	219	3	257	125	84	33	3	25 %
женщины	1226	164	4	248	138	59	36	9	40 %
С указанием возраста:	1821	210	5	294	169	74	26	8	
11–19	150	23	0	40	34	16	10	0	64 %
20–30	1254	166	2	236	119	56	8	8	34 %
старше 30	417	21	3	18	16	2	8	0	11 %

Именование Екатеринбург в блогах Екатеринбурга (2007)

	Санкт-Петербург	Челябинск	Пермь	Тюмень	Ижевск
Еатеринбург	1235	438	316	265	63
Екб	42	91	33	15	1
Ебург	128	215	118	124	23
Е-бург	76	52	27	36	5
Ёбург	44	59	81	50	4
Йбург	24	13	17	9	2
Еобург	8	3	14	4	1
Всего Йо/е/ё(-)бург	280	342	257	223	35

Именование Екатеринбург в блогах других городов (2007)

Народная культура о разных конфессиях: номинация, автономинация, оценка*

Конфессиональный аспект оппозиции «свой – чужой» является одним из основных факторов самоидентификации, что особенно ярко проявляется в полиэтничных и поликонфессиональных ареалах, где традиция соседства славян-христиан с представителями других конфессий насчитывала несколько веков.

Наличие различных вероисповеданий и их особенности, как они видятся носителям славянской фольклорной традиции, интерпретируются в этиологических легендах, комментируются в меморатах и поговорках. Значительный интерес представляет народная «конфессиональная номенклатура», относящаяся как к своей религиозной традиции, так и к религии этнических соседей.

При этом в номинационных моделях значимыми оказываются следующие аспекты:

1. Преобладающим является мотив праведности «своей» веры и греховности «чужой» (например, рус., укр. *нехристи* как общее название всех иноземцев; *права вяра* ‘католичество’ у болгар-католиков Баната, при этом представители всех других конфессий именуются *кривоверци*). В этом же контексте значимы сравнение «чужих» конфессий с языческими верованиями и соответствующие эмоциональные эпитеты, прилагаемые к обозначению «чужих» вер, безверия или отклонения от «правильной» (своей) веры: рус. *поганая вера* (о нехристианских конфессиях и, в частности, неправославной); рус. *литва поганая, безбожная, беззаконная; немчина хитрая, безверная, басурманская*; укр. *недовірок, невіра* ‘еврей, иудей’, пол. *newiara* ‘москаль’; рус. *песья (собачья) вера*, укр. *пся (собача) віра* (о мусульманах и католиках), пол. *psia wiara*, серб. *насја вјера*, болг. *куча вяра* (о мусульманах); укр. *бисові жиди* и т. п. Параллель эмоционально окрашенным номинативам составляют образы иноземных (иноверных) воинственных противников – *ляхов, панов, литвы, чуди, татар, немцев* и др. – в топонимических легендах и исторических преданиях: представители реальных и мифических народов выступают в роли антагонистов-нехристов, оскверняющих православные святыни и караемых за это слепотой, превращением в камень, потоплением в болоте и т. п. Целый ряд поговорок демонстрирует идею о том, что в глазах православных вера католиков и иудеев одинакова (при этом и та и другая оценивается однозначно негативно): укр. *Жид, лях и собака – все віра однака; Католик и жид, то все едно; Ксёндз, жид та собака – усе віра однака; Жид-жид, катилик, загубив черевик, а я йшов та й найшов, та нас... в та й пишов*. При этом «материальным» подтверждением родства еврейской и католической веры в глазах православных могло служить употребление католика-

* Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

ми пресного хлеба (облагод) при причастии, что вызывало ассоциации с еврейской мацой. По представлениям православных Полесья и Подолии, «родственны» по вере баптисты, адвентисты (*субботники*) и иудеи, в Гродненской области – евреи, мусульмане и баптисты, старообрядцы и баптисты. На Русском Севере приверженцами одной веры («еврейской» или «магометской») оказываются протестанты, евреи и мусульмане.

2. С предыдущим мотивом тесно связаны представления о «чистоте»/«нечистоте» «своей» и «чужой» веры, при этом с понятием «нечистого» связано представление о запахе «чужой» веры (ср. фольклорные эпитеты для христианской веры: «чистая», «благоуханная»; при этом «турецкая вера» расценивается как «собачья», «никакая», «смадная»).

3. Приложение вариантов одного названия к различным конфессиям, когда в пределах одной этнической традиции исповедуются, например, православие и католичество (православные сербы-границары именуют себя *ришћани*, сербы-границары католического вероисповедания называют себя *крићани*). В такой ситуации представители «своего» народа, исповедующие другую религию, зачастую приравниваются к этническим «чужакам», что дополнительно мотивируется этиологическими легендами.

4. Значимость этнического компонента для дефиниции различных конфессий: православие – «греческая», «русская», «сербская», «болгарская» вера; католичество – «польская вера», «римская вера»; протестантизм – «немецкая вера»; мусульманство – «турецкая», «татарская вера»; иудаизм – «жидовская вера», «чухутска вера». О смешении в народном сознании понятий «нация» и «вера», вплоть до полной их идентификации, о жесткой привязке номинации этнической к номинации конфессиональной свидетельствуют многочисленные данные из регионов этнокультурных контактов (в докладе приводятся материалы из Западной Белоруссии и Подолии). Такая модель характерна как для конфессиональных авто-, так и гетерономинаций (рассматриваются восточнославянские примеры из Полесья, Подолии, Белоруссии и примеры из южнославянской традиции – различных областей Сербии и Македонии).

4. При употреблении «своего» термина для номинации чужой религии лексема может получать дополнительные коннотации (рассматриваются такие наименования, как *верующие*, *богомольные*, *староверы*, используемые для обозначения различных конфессий).

5. Целый ряд терминов указывает на особенности «чужой» веры (чаще всего особенность обрядности или быта), которые кажутся этноконфессиональным соседям наиболее значимыми (рус. калуж. *резанцы*, *кулуверы*, курск., воронеж., орлов. *обрезанцы*, яросл., костр. *ляды* – о хлыстах; бел. полес. *кони*, укр. подол. *кацапы* – о старообрядцах).

О древнеевропейской гидронимии

Ономастическая наука в последние десятилетия все больше характеризуется обращением к когнитивно-антропоцентристской парадигме, незаслуженно оставляя при этом этимологические исследования как бы на периферии ономастической проблематики, чему, безусловно, способствовала унаследованная еще от исследователей прошлого века шаткость и ненадежность основных приемов и методов реконструкции ономастического материала, на что неоднократно указывалось в лингвистической литературе. В то же время было бы несправедливо, если бы мы не назвали имена крупнейших отечественных исследователей (В. А. Никонов, Э. М. Мурзаев, А. К. Матвеев, Е. М. Поспелов, Г. П. Смолицкая и др.), добившихся больших результатов в диахронической ономастике. Теоретические достижения диахронической ономастики не могли не оказать положительного влияния на дальнейшее развитие и совершенствование методики этимологической интерпретации топонимов, которая нашла свое практическое воплощение в лексикографических работах.

Вместе с тем, думается, что распространенные в ономастической литературе этимологии некоторых топонимов, в частности гидронимов, нуждаются в уточнении. Это касается прежде всего так называемой «древнеевропейской» гидронимии. В свое время Г. Краэ, выделяя особый слой древнеевропейской гидронимии, имел в виду, что этот лингвистически не дифференцированный слой отражает еще не дифференцированный язык (*voreizelsprachlich*) собственно европейской группы индоевропейского. Иными словами, древнеевропейские гидронимы представляют собой промежуточную ступень между общиндоевропейским языком и отдельными, самостоятельными (*einzelsprachlich*) индоевропейскими языками, выделившись из этой языковой общности (германский, славянский, балтийский и т. п.).

Несмотря на очевидную теперь недостаточность обоснования ряда положений, встречающихся в трудах Г. Краэ, в целом трудно избавиться от впечатлений о серьезной недооценке в последискуссионный период (В. П. Шмид, Ю. Удольф, О. Н. Трубачев, Р. А. Агеева и др.) его концепции поэтапного развития языка. Так, О. Н. Трубачев считает, что древнеевропейская гидронимия явилась скорее порождением последующего сглаживания, нивелировки, наддиалектного развития, а не изначального додиалектного единства, сомнительного самого по себе. Это положение признается большинством отечественных лингвистов. Однако, как нам представляется, современное состояние отечественной и зарубежной гидронимики не позволяет говорить о тенденциях сглаживания, нивелировки древнеевропейских гидронимов. Трудно себе представить, что выработка неких «усредненных» морфологических и фонетических форм могла касаться гидронимов, территориально (точнее картографически) расположенных на значительных расстояниях друг от друга (от Западной Европы до Волги). В противном случае в составе гидронимов, несмотря на их столь консервативный характер, видимо, сохранились бы «следы» их этнической языковой дифференциации.

Едва ли возможно признать справедливой точку зрения тех ученых, которые считают, что древнеевропейская гидронимия – это субстрат, усвоенный различными народами от периода древнеевропейской языковой общности и сохранившийся в эпоху более поздних передвижений отдельных народов, которые перенесли древние индоевропейские названия на новые территории (Р. А. Агеева). Если мы говорим о наличии древнеевропейских гидронимов, например в немецкой языковой области, то, несмотря на значительное количество нарицательных имен неиндоевропейского происхождения в немецком языке, наукой еще не доказано их субстратное происхождение. Следовательно, мы не можем считать древнеевропейские гидронимы субстратом. Что же касается переноса древнейших гидронимов на новые территории, то это вполне допустимо, однако еще не выяснено, где была прародина индоевропейцев и каковы пути их дальнейшей миграции.

Думается, что проблема древнеевропейской гидронимии далека от окончательного разрешения. Мы пока не знаем, какие структурные и семантические типы в ней преобладали. Видимо, следует признать поэтапность и преемственность в развитии древнеевропейских гидронимов, но не в том смысле, который вкладывал в это понятие Г. Краз: поэтапность следует понимать как возможность выделения в древнеевропейской гидронимии некоторых стратиграфических пластов. Древнеевропейская гидронимия представляется нам не отдельным умозрительным синхроническим срезом, а диахронически состоящей из различных пластов, которые еще предстоит выделить.

Е. Л. Березович (Екатеринбург),

И. А. Седакова (Москва)

«Шкурный интерес»: семантическое развитие **kož-* и **skor-* в этнолингвистической перспективе

Гнезда **kož-* и **skor-* в славянских языках демонстрируют широкий спектр значений и богатую фразеологию. Изучение этих гнезд представляет интерес в различных аспектах, например в дистрибутивном: в отдельных языках различна представленность данных корней (так, в болгарском отсутствуют дериваты **skor-*, в украинском редки дериваты **kož-*) и объем значений («кожа человека» – «кожа животного»), «необработанная кожа» – «обработанная кожа», «кожа» – «мех»). Этот аспект останется за рамками настоящего доклада, в котором лексика данных гнезд будет анализироваться с этнолингвистических позиций.

Имея различные этимологические значения («козья шкура» для **kož-*, «кора» для **skor-*), данные корни обладают общей базовой семьей «оболочка», которая конкретизируется в различных направлениях («кожура», «скорлупа», «шкурка», «кора» и др.) и открывает большие возможности для символического переосмысления. Вторичные значения дериватов **kož-* и **skor-* во многом совпадают, но в том

случае, когда в языке представлены оба корня (например, в русском), продолжения **skor*- более экспрессивны и чаще используются в выражениях с негативной семантикой – очевидно, из-за прозрачной соотнесенности с животными, «дикой» природой в противовес культуре, а также звуко-символических возможностей корня (в варианте с начальным *š*).

По своим прямым значениям «кожа» и «шкура» принадлежат к сфере соматики, но занимают в ряду соматизмов особое место: кожа (шкура) покрывает своего носителя целиком (рус. *Человек Божий обшит кожей*), не являясь в буквальном смысле «частью тела». Отсюда метонимические обозначения человека или животного вообще: рус. омск. *кожица* ‘маленький ребенок’, тюмен. *шкура* ‘медведь’, болг. *твоята кожа* ‘восклицание, выражающее сильное недовольство, злость и угрозу’ и др. (ср. также описанную в сказках способность сброшенной шкуры «воссоздавать» своего обладателя).

Кожа выполняет защитную, охранную функцию – и вместе с тем подвержена повреждению, «франима». Она непроницаема и проницаема; отделяема и неотделима от человека или животного. Она служит границей между внешним и внутренним, чужим и своим. «Двусторонность» кожи, ее «пограничность» задает смысловую, мотивационную и аксиологическую **амбивалентность** лексики, образованной на базе **kož*- и **skor*-.

Будучи своеобразным двойником своего «владельца» («носителя»), кожа служит индикатором состояния здоровья (словац. *je v zlėj koži* ‘он болен’, серб. *не бити у доброј кожи* ‘плохо себя чувствовать’; ср. также «группные» пятна на коже, предвещающие смерть), она определяет антропологический статус человека (*цвет кожи* является расовым признаком), а также «работает» на создание эталона красоты (рус. яросл. *кожистый* ‘хорошо сложенный (о фигуре)’, хорв. *koža* ‘о телесной красоте’). Кожа обеспечивает сходство людей друг с другом (болг. *одрал съм кожата на някого* ‘о сходстве – чаще всего с отцом’, рус. перм. *кожа да (и) рожа* ‘вылитый в кого-л., очень похожий’, блр. *пахожы як пантоплі з адной кожи*), и даже их отдаленное родство или «некровную» близость (рус. влг. *кожа* ‘любовник’, костр. *кожа* ‘сосед’, екатеринб. *седьмая кожа не воротъ* ‘о далекой родне’). Через состояние кожи передаются реакции человека на физические проявления внешнего мира (во всех славянских языках ощущение озноба передается через образ «гусиной кожи», ср. также болг. *мравки лазят по кожата ми* ‘об ознобе’, рус. влг. *воронья кожа* ‘о цыпках на ногах’ и др.).

Значения из области психического демонстрируют способность кожи выражать сущность человека, ср. польск. *pokazywać prawdziwą skórę* ‘обнаруживать свою истинную натуру’. Кожей можно испытывать эмоции – как правило, сильные, интуитивные и неподотчетные (укр. *аж шкура болить* ‘о сильных страданиях, переживаниях’, рус. сиб. *шкуру ерошить* ‘о неприятном чувстве страха’, польск. *skóra na kimś cierpnie*, блр. *шкура шэрхне* ‘его охватывает страх, ужас’, макед. *кожата ми се наежи от страв* ‘кожа моя «сжежилась» от страха’ и т. д.), накапливать опыт и знания (болг. *вадена кожа* («дубленая кожа») ‘об очень хитром, практичном и опытным человеке’). Вместе с тем кожа может не пропускать или скрывать, «поглощать» чувства и другие проявления духовной жизни человека (болг. *топя се в кожата си* ‘страдать, сердиться молча, не показывая своих чувств’, рус. перм.

ум ушел в кожу ‘утратилась память’). Сила эмоций ставится в зависимость от толщины кожи («толстокожий» – «тонкокожий»).

Кожа (шкура) может символизировать жизнь: во всех славянских языках слова со значением «кожа», ‘шкура’ входят в состав фразеологизмов с внутренней формой «спасти свою шкуру (т. е. жизнь)», «трястись за свою шкуру» и др., ср. также чеш. *jde mi o kůži* ‘это может стоить ему жизни’, словац. *ujst šo zdravou kožou*, серб. *изнети здраву кожу* ‘остаться живым и здоровым’. В то же время коже присуща и символика с м е р т и: рус. пск. *пора в кожу* ‘пора умирать’, влг. *кожей подарить* ‘умереть’, кашуб. *v ostatně skoře łożęc* ‘быть близким к смерти’, *przepić skorą* ‘пить водку во время поминок за умершего’.

Смысловая амбивалентность проявляется и в выражениях с тождественной внутренней формой, что создает специфическую **образную энантисемию**. Показателен образ «в ы х о д а и з к о ж и». С одной стороны, «выйти, вылезти из кожи» – прикладывать к чему-л. особые, сверхчеловеческие усилия, а также быть в аномальном состоянии, не владеть собой (болг. *излизам из кожата си* ‘выходить из себя, злиться’, блр. *шкуру на сабе не чуць* ‘быть распушенными, хулиганить (о детях)’, рус. влг. *из кожи выскакивать* ‘биться в припадке эпилепсии’ и др.); с другой стороны, «выйти из кожи» – занять взвешенную, зрелую позицию по отношению к себе и своей жизни (рус. пск. *выйти со своей кожи* ‘взглянуть на себя со стороны, объективно оценить себя’, перм. *из кожи вылупиться* ‘созреть; определиться в жизни’). Значит, кожа задает человеку рамки самообладания, но вместе с тем может помешать трезвому самоопределению.

Противоречивы и **оценки**, стоящие за изучаемой лексикой. Так, «у з н а т ь к о г о - л . ч е р е з к о ж у», «п р о н и к н у т ь к о м у - л . п о д к о ж у» – обрести близкого человека – и тогда оценка положительна: серб. *подвући се под кожу* ‘стать очень близким, дорогим кому-л.’, рус. арх. *кожа* ‘лучшая подруга’, хорв. *уз коžu* ‘очень близко (быть к кому-л.)’. Но такое проникновение может означать нарушение личного пространства, дающее негативную оценку: болг. *навирам се под кожата* ‘манипулировать кем-то’, серб. *подвући се под кожу* ‘подольститься к кому-л.’, рус. *лезть под кожу* ‘бестактно расспрашивать, задевать больные места’.

Важный аспект организации изучаемого семантического пространства – **системные отношения** «шкурной» лексики, проявляемые как на уровне парадигматики (болг. *яка ми кожа = яка ми душа* ‘мне предстоит тяжелое испытание’, укр. *тягти жилу з кого-н. = тягти шкуру з кого-н.* ‘сильно эксплуатировать кого-л.’, рус. влг. *кожаный язык* ‘человек, который невнятно говорит’ – арх. *мясной язык* ‘человек с правильной речью’), так и синтагматики (серб. *бити крвав под кожом* ‘быть как остальные люди, иметь людские слабости’, блр. *лой шкуру пад ядае* ‘проявлять норы, капризничать’, болг. *едва му кожата костите държи* ‘он еле стоит на ногах’). Наиболее частые партнеры *кожи* – *кости, жилы, кровь, «роза», мясо, жир (лой), ребра*. Изучив партнерские отношения, можно представить своеобразный наивно-анатомический «поперечный» срез тела, обнаруживающий символические функции кожи в сравнении с другими органами (так, кровь символизирует родство, а кожа – любовь и дружбу). Интересны и междialeктные системные отношения, когда «коже» может соответствовать нулевая позиция или другой соматизм,

ср. макед. *Ја спаси кожата* ‘спасти свою жизнь, выйти целым и невредимым’, ‘унести ноги’ (отметим, что рус. *спасти свою кожу* имеет несколько иную семантику и прагматику).

Языковой образ кожи/шкуры тесно связан с этнографическим – как «материальным», бытовым, так и ритуально-символическим. Словесное описание магического акта (с применением шкуры) может порождать фразеологию: так, болгарское выражение *наложили го в кожи* ‘он сильно избит, весь в синяках’ отражает народно-медицинский прием лечения от ушибов, когда с овцы сдирают кожу и заворачивают в нее ударенного.

В ритуальных практиках кодируются различные свойства шкуры и кожи, которые актуализируют многообразную символику и функциональную направленность обрядов. Шкуры – распространенная «одежда» ряженных, что акцентирует связь с потусторонним миром; на шкуры садятся во время гаданий, пытаясь установить контакт с нечистой силой; шкура, на которой сидят молодожены за свадебным столом, символизирует плодородие и благополучие; и т. п. Особые магические действия с кожей младенца способны запрограммировать ее «правильный» запах и цвет (ср. южнославянский ритуал соления младенца). Воздействие же на кожу умерших (прокалывание пяток, протыкание осиновым колом для нарушения целостности кожного покрова) ставит своей целью предотвратить превращение их в ходячих покойников и вампиров.

В языке, фольклоре и ритуально-обрядовой практике находят отражение также визуальный (цвет, наличие/отсутствие высыпаний), одорический («чужие» запахи), тактильный (гладкость/шершавость, отсутствие/наличие волосяного покрова) образы кожи.

М. В. Богачева
Пермь

Отпрзвищные ойконимы как источник аксиологической информации*

1. Рассмотрен один фрагмент языковой картины мира, отражаемой в именах собственных, – в ойконимии Пермского края. В качестве материала для исследования выбраны онимы, восходящие к лексике тематической группы «Говорение». Говорение – один из наиболее значимых в жизни процессов, что отражается в количественных показателях: выявлено порядка 500 соответствующих топонимов (около 5 % всех названий местных поселений).

2. Исследования Л. М. Васильева, Ф. Л. Скитовой, А. Д. Черенковой и др., а затем

* Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП 2.1.3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты №№ 08-04-82404 а/У, 08-04-82408 а/У, 08-04-82410 а/У, 09-04-82403 а/У).

и наши наблюдения над диалектной лексикой и фразеологией говорения показали, что речь для диалектоносителя – прежде всего ценностно ориентированный процесс. Лексические элементы указанной группы могут характеризовать: 1) речь как процесс, 2) продукт речевой деятельности, 3) субъекта речевой деятельности, 4) вне-речевую действительность.

В диалектной фразеологии в первую очередь оценке подвергается собственно речевой процесс и его продукт, в ойконимии – субъект речи. Подобная лексика попадала в географические наименования преимущественно опосредованно – через антропонимические (главным образом прозвищные) наименования.

3. Перечислим основные факторы, обеспечивающие полноценность коммуникации в соответствии с данными фразеологии: информативность, цельность, доступность, логичность, истинность, правдивость, точность, лаконичность (но не скудность на слово), экспрессивность, прагматичность высказывания, отсутствие дефектов речи у говорящего и некоторые другие. Оценочность выражается главным образом через негативные характеристики речевой деятельности; количество лексем, отражающих положительные качества речи или говорящего, относительно невелико, что, по наблюдениям исследователей, в целом характерно для народной номинации человеческих качеств. В антропонимических ойконимах наибольшей критике подвергается многословие, пустословие, лживость, сварливость (и шире – недоброежелательность), несдержанность, крикливость, наличие дефектов речи.

4. Ценностные характеристики говорящего и его речи актуализируются главным образом через оппозиции типа «многословие – молчаливость», «тихо – громко» и т. п., ср.: *Баландина*, *Баланды* из **баланда* ‘болтун, пустомеля, праздный человек’, *Молчанов (-а, -о)* из **молчан* ‘неразговорчивый, молчаливый человек’, *Жубры* из **жубра* ‘глухо и немом говорящий человек’, *Звонари* из **звонарь* ‘человек, быстро и громко говорящий’, ‘болтун, сплетник’. Но при актуализации этих оппозиций наблюдается асимметрия, возникают лексические лакуны. Например, и во фразеологизмах, и в ойконимах отражается понятие грубости (оскорбительности) речи, но игнорируются проявления вежливости; многочисленны наименования пустословов, но нет наименований людей, ведущих содержательные разговоры.

В абсолютном большинстве прозвищ отражается несоответствие требованиям, предъявляемым диалектоносителями к эффективной речи, причем независимо от «направленности» отклонений – в сторону избыточности или недостатка. Отсюда еще одна характеристика именований – экспрессивность.

5. Лексическому полю «Говорение» свойственна экстравертированность (в терминологии Е. Л. Березович) – пересечение с иными семантическими полями. Весьма активна, например, звукоподражательная лексика, ср.: *Алалыкиных* из **алалыка* ‘тот, кто непонятно, невнятно говорит, бормочет’, *Балалы* из **балала* ‘пустослов’, *Тараторкино* из **тараторка* ‘человек, говорящий быстро, без умолку’, *Чупаши* из **чупаши* ‘человек, говорящий с характерным призывком, причмокивая’, *Щелкуны* из **щелкун* ‘бойкий говорун, болтун’.

6. Семантика лексики, привлекаемой для сопоставления с ойконимами, наталкивает на новые размышления. В частности, в пределах одной лексемы нередко наблюдается наложение отдельных сем или развитие полисемии: *Вотолка*, *Вотолы* из **вотола (ватола)* ‘болтун; человек, говорящий невнятно’, *Дударево* из **дударь*

‘о болтливом и хвастливом человеке’. При этом отмечается регулярный характер взаимодействия некоторых аксиологически значимых признаков речи. Ср. **немко* ‘немой’, ‘заика’, **немта* ‘немой, лишенный дара речи человек’, ‘говорящий невнятно, косноязычный человек’, ‘молчаливый, неразговорчивый’: в пределах одной лексемы соединяются представления о врожденной и приобретенной молчаливости человека, а кроме того, о неправильной речи. Вероятно, это связано с тем, что все три признака социально тождественны, поскольку предполагают отстраненность от жизни, интересов общества.

Именно взаимосвязанные семемы «немота», «дефекты речи» дают, по нашим наблюдениям, наибольшее число производных, ср. *Кумова* из **куим* ‘глухонемой человек’, ‘косноязычный человек’, ‘заика’, ‘молчаливый человек’, ‘нелюдимый, застенчивый человек’, ‘бестолковый человек’. Естественно, что человек с неправильной речью стремится отмалчиваться, а в силу этого сторонится людей (или, что скорее, его сторонятся). Любопытно при этом, что молчаливость и нелюдимость, наряду с болтливостью, рассматривается как проявление интеллектуальной неполноценности (ср. также: *Костарево*, *Костарева* из **костарь* ‘игрок в кости; искусный игрок в бабки’, ‘болтун, бездельник’, ‘психически больной человек’).

И. В. Бугаева
Москва

Сакральная ономастика в религиозном дискурсе

Имена святых, названия храмов и монастырей, церковных праздников, древних и новых икон – огромная и неизученная область лексики, обладающая общим качеством, отличающим все эти наименования от других, – святостью, особой категорией религиозной ментальности. Цель исследования – описать структуру и состав христианского сакрального ономастикона.

Одной из особенностей, характерных для религиозного сознания, является идея сакральности, которую можно трактовать как концептуальную категорию религиозного дискурса.

Когнитивный статус имен собственных связан с объемом хранящейся в нем информации. В агонимах как именах собственных, соотносимых с категорией святости и принадлежащих религиозной сфере, содержится историческая, религиоведческая, культурологическая информация. В силу специфики структуры и значения агонимы занимают особое место в лексической системе языка. «Каждой подсистеме свойственна специфическая лексика и особый подбор и оформление собственных имен. Даже имена, казалось бы, единого церковного списка обретают в устах представителей различных социальных и территориальных групп свою специфику» [Суперанская, 2007, 223].

Для религиозной модели мира реальное выделение сакрального ономастического пространства, единого для всех народов, исповедующих данную религию,

оказывается независимым от национального языка. В отличие от других ономастических полей, разрядов, классов, область сакрального оказывается наднациональной, что с лингвистической точки зрения представляет интерес для сопоставительных исследований. *Агионим* – это составное наименование, служащее для называния лиц или объектов, характеризующееся категорией сакральности. Разряды агионимов представлены сложной системой, куда входят теонимы, агиоантропонимы (имена святых), агиотопонимы (города, села, улицы, названные по агиоантропонимам или экклезионимам), эортонимы (названия церковных праздников), экклезионимы (названия храмов и монастырей), иконимы (наименования икон), которые составляют ономастическое поле, объединенное значением святости [Бугаева, 2006].

Агиоантропонимы занимают центральное место в религиозной модели мира. Многокомпонентный состав агиоантропонима включает в себя как обязательные, так и факультативные элементы, образуя агиоантропонимическую формулу. Агиоантропоним даже в обиходе всегда составная единица, как минимум двухкомпонентная, что является его существенным отличием от антропонима: *Сергий Радонежский, Иоанн Кронштадский, Максим Грек*.

При образовании агионимов разных разрядов используются все известные способы номинации, но основным является синтаксический способ, т. е. образование многокомпонентных составных имен собственных. В этой сложной структуре есть ядерный компонент, околоядерный и периферийные. Околоядерные элементы в речевой практике могут заменять ядерные, брать на себя их функцию, а периферийные обычно опускаются, происходит стяжение путем сокращения, редукции малоинформативных или второстепенных членов номинативной формулы. Одним из основных аргументов, подтверждающих комплексность данных наименований, является их употребление в устных и письменных текстах разных жанров как цельных, неразложимых номинаций.

У агионимов выделяется несколько уровней значений: доагионимический, агионимический, трансагионимический и постагионимический.

Важно отметить, что теонимы и агиоантропонимы являются ономаосновами для наименования только нескольких типов агиотопонимов – полисонимов (*Санкт-Петербург, Борисоглебск*) и гидронимов (*источник прп. Иринарха, колодец прп. Сергия*). Все остальные разновидности агиотопонимов образованы от других разрядов агионимов. Например, многие комонимы, годонимы и агоронимы названы по наименованиям храмов, которые, в свою очередь, названы по агиоантропонимам.

Анализ всех разрядов агионимов, всех имен собственных, связанных со святостью, отражает картину мира верующего человека, его систему ценностей. Выход на картину мира осуществляется путем выявления основных семантических полей, в которые вписываются различные агионимы и их дериваты: «Пространство», «Время», «Праздник», «Храм», «Предметы» и т. д.

Проведенное исследование позволяет выделить в структуре национального ономастикона самостоятельный разряд агионимов, включающий в себя имена собственные, которые объединены категорией святости и образуют сакральное ономастическое поле, структурированное по ядерно-периферическому принципу.

Бугаева И. В. Агионимы в православной среде: структурно-семантический анализ. М., 2007.
Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1973.

Орнитологический код в «языке» усть-цилемской народной культуры

В системе символических средств народной культуры жителей Усть-Цильмы (Республика Коми) птицы занимают особое место. Орнитологические образы, будучи производными славянского мифологического мировидения, в усть-цилемской традиции – возможно, не без влияния соседних неславянских (коми и ненецкой) культур – приобрели актуальное звучание. Материалом для настоящего исследования стали данные «Словаря русских говоров Низовой Печоры», «Фразеологического словаря русских говоров Республики Коми» И. А. Кобелевой, Фольклорного архива Сыктывкарского университета (Усть-цилемское собрание), сборников «Дети и детство в народной культуре Усть-Цильмы» и «Фольклор Усть-Цильмы: пословицы, поговорки, присловья». Актуализация орнитологического кода находит выражение в следующем:

1) в многочисленных детально разработанных наименованиях птиц, преимущественно диких, известных говорам Низовой Печоры: *бугуй, долбык, жилинок, зуй, иванчик, клять, косарь, кряжевик, кряжушка, куглас, куропись, куропатница, кырасиха, лутяш, маракуш, моевна, неровой, острохвост, пеструха, плещечка, польник, ржох, ряб, рячка, савка, сактун, свизь, семендуха, скоба, теглёна, тетёр, токарь, чухарь* и др. Наибольшую номинативную разработанность имеют птицы семейства утиных: в говоре Усть-Цильмы отмечаются гиперонимы для обозначения видов этого семейства – *сухая утка, сырая (водяная) утка, черная утка*;

2) в многочисленных семантических и словообразовательных производных от наименований птиц: *кукиша* ‘лесная птица сойка’ → ‘девочка от года до трех’; *космарь (космарёнок)* ‘утка чернеть хохлатая’ → ‘мальчик до шести лет’; *раха* ‘ворона’ → ‘грудной младенец женского пола’, ‘нерасторопная, забывчивая женщина’; *карыш* ‘коршун, ворон’ → бранно ‘ребенок’, ‘человек небольшого роста’, *карышинный* ‘алчный, корыстолюбивый’; *ворон* ‘крепко заваренный чай’; *турпан* ‘утка’ → ‘белемнит (чертов палец)’; *куруца* ‘женский половой орган’; *оттетерить* ‘избить’; *рябовать* ‘в игре в лапту – ловить мяч’ и др.; сюда же можно отнести прозвища – *Рябок, Рябы, Сова, Бугуй, Чухари* и т. п.;

3) в общих номинациях для птиц и людей (частей тела, действий, свойств, отношений и т. д.): *махало* ‘крыло; рука, предплечье’, *коска* ‘коса; пучок перьев’, *кустик* ‘хохолок на голове птицы; торчащий конец завязанного узлом платка’, *жёнка* ‘супруга; самка птицы’, *немко* ‘немой человек; младенец в утробе; дикий гусь’, *зобать* ‘клевать; есть что-то мелкое’, *реветь* ‘исполнять причитания; петь (о птицах)’, *уркать* ‘подзывать самку (о тетереве); ворчать, брюзжать’, *тарбаркать* ‘(о куропатке) издавать характерные звуки; болтать’, *тринкать* ‘(об утках-чиркунах) издавать характерные звуки; хихикать’, *свиркать* ‘(об утках-свиязах) издавать характерные звуки; быстро бегать, сновать’, *нететь* ‘терять способность говорить; переставать петь (о птицах)’ и др.;

4) в составных наименованиях терминологического характера, фразеологических сочетаниях и фразеологических выражениях (пословицах и поговорках) с участием орнитонимов: *Уточье гнездо* ‘созвездие Плеяды’; *Гусиная дорога* ‘Млечный путь’; *ходить петушьей головой* ‘вести себя задиристо’; *как белой куронопь* ‘о седом человеке’; *в куроначьем чуму ночевать* ‘заблудиться, не найти дорогу домой’; *цепаться как линной гусь* ‘хвататься, цепляться, причиняя боль’; *гусь лапистой* ‘хитрый, ловкий человек, пройдоха’; *высохнуть как чиренец* ‘исхудать’ (чиренец ‘птенец утки чирка’); *смотреть гагарой* ‘быть пологим, прямым’; *каж-ным углом сороки летают* ‘о полном разорении’; *кычкаться как сорока* ‘быстро говорить’; *токовать как токари* ‘(о молодежных гуляниях) собираться вместе, танцевать, веселиться’; *узнать воронью муку* ‘родить’; *когда ворон побелеет* ‘неизвестно когда’; *с воронами клевался – большой пай достался* ‘о грязном, в соплях носе’; *в бане бат уж вороны вымылись* ‘об остывшей бане; *Вороны везде черные; У вороны нету обороны; Ворона над вороной дивуется, а сами обе на одной улице; Не было бы упади, не сажись бы вороны; Зовут зовуткой, а кличут уткой; Чейно рот-от отворил – тетёра залетит* и др.;

5) в арсенале устойчивых поэтических средств в текстах фольклорных произведений различной жанровой природы (причитаниях, лирических и игровых песнях, былинах, заговорах): *сорока загуменная, ворона пустоярая (пустопёрая), ворона нежереблёная, сорока-ворона, лебедь белая, сера утица, кукушица-горюшица, птица-устрица, птица-еретица, соловейко* и др. Некоторые из поэтических формул стали употребляться с иной функциональной нагрузкой – разговорной, например: *Ясный сокол (Мальчик родится, дж отец уж радой, гордится; ему приговаривают: «Ясного сокола ростишь»); Соловюшко (Бывает, люди худо поют, а петь хотят. Дж, чтобы не обидеть, кто ле добрый человек скажет: «Соловюшко, не пой»);*

6) в бытовании легенд, быличек и бывальщин, персонажами которых являются птицы или орнитоморфные существа (например, легенда о *рябчике*, былички о колдуне, превращавшемся в *ворона*, о колдунье *Одке-сороке*, о колдуне, у которого после совершения колдовского действия появлялась *птичка* на плече, и др.), пестушек и докучных сказок и небылиц (например, «*Кычи, кычи, сорока*»), о *братцах Кулике и Журавле*, о *разговоре воробьев* и др.);

7) в приметах, связанных с птицами, – например, приметах на погодные условия (*Кужиши ревут – к хорошей охоте; Кость убитой и разделанной утки рябит – лето дождливое*), на смерть (*Ворона стукнет в окно – к смерти*) и др.;

8) в играх, ср. *куркамка* ‘игра, в которой водящий ловит каркающих игроков’ < *куркать* ‘каркать’ и др.

Анализ лингвистического и фольклорного материала показал, что в устьцилемской народной культуре орнитологические символы в основном концентрируются в нескольких знаковых сферах – небо, иная сторона мира (чужая, опасная, нечистая), рождение (роды, дети). Орнитологический код в устьцилемской народной культуре важен не столько для социальной и даже культурной коммуникации, сколько для осмысления окружающей действительности невербальными средствами.

Из опыта диалектной этимологии

Анализируя определенное слово, этимология, вероятно, в большей степени, чем все другие отрасли языкознания, обращается к материалам так называемого общенародного языка, независимо от принадлежности объекта анализа к определенной сфере этого языка: литературному языку, просторечию, диалектам, даже жаргонам. Вся история этимологии и особенно достижения этимологии русского и славянских языков второй половины прошлого и начала нынешнего веков свидетельствуют о теоретической и методической обоснованности и плодотворности такого подхода. Следует, кажется, обратить внимание (хотя бы и повторно) на некоторые его аспекты.

1. Этимология должна максимально использовать особенность диалектной лексики – вариантность различных формальных характеристик слова, анализ которой обеспечивает снятие изменений первичной формы, обусловленных как общерусскими явлениями, так и особенностями различных диалектов, и различными вторичными преобразованиями, и наибольшее приближение к первичной форме, а соответственно – и ее этимологизацию: ср. свердл. *сверэдить* ‘ссучить, скрутить пряжу в нить’, свердл., перм. *сверэжить*, *сверэживать* ‘то же’ с преобразованиями, свердл., перм. *сдверэжить* ‘сдвоить, ссучить нитки’, свердл. *сдверидить*, свердл., бурят. *сдверяжить*, перм., ср.-урал., новосиб. и др. *сдверяживать*, волог., свердл., новосиб. *сдверядить* ‘то же’ [СРНГ], север. *дверяжить* ‘то же’ и *двурэженный*, *двоерядный* ‘сдвоенный (о нити)’ [СГРС].

2. При этимологизации диалектной лексики (как и литературной) возможно допущение участия в истории слова нерегулярных фонетических изменений, особенно реализующихся в других славянских языках: новосиб. *разнёт* [СРНГ] в фразеол. бран. *разнёт на тебя* может быть преобразованием **разгнет* – ср. ст.-слвц. *roznet* ‘гнойное воспаление подкожных тканей’ (ср. модель рус. разговорн. *паралич на тебя*), производное от праслав. **gněiti* ‘зажигать’ (ср. рус. диал. *разнёт* ‘растопка, лучина’); значение пск. *разнётить* ‘промотать, растратить попусту’ в таком случае – народная этимология (по сближению с *нет*).

3. Возрастающие требования и соответственно усиливающийся акцент на семантической аргументации в этимологии сопровождается массивным использованием диалектных материалов в качестве семантических параллелей для предполагаемых мотивационных моделей или изменений значений в анализируемых лексемах литературного языка. Существенно, что в диалектах обнаруживается актуальность моделей, создавших праславянские слова: ср. праславянский возраст родства *видеть* – *ведать* и совр. волог. *в глазах нет* ‘непонятно, непостижимо’ [СГРС]; праслав. родство *дерево* – *здоровый* и совр. пск. *раздревеёт* ‘стать вялым, расслабленным’ [СРНГ]; праславянское родство *видеть* – *обида* и совр. карел. *озорнутъся* ‘обидеться’ [СРГК]. Однако приходится считаться с возможностью различий в моделировании лексики, обусловленных расхождениями в развитии го-

родской и сельской культур: ср. литер. *топорная работа* ‘грубая’ и алт. *натопорить* ‘разукрасить’ [СРГА]. Из этого следует наложение культурно-исторических ограничений на семантические параллели.

4. Необходима известная доля критичности в обращении к материалам диалектных словарей. Не говоря здесь об ошибочных записях форм, следует априори допускать условность определения, распределения и характеристики значений многозначного слова: селигер. *дорывать*, истолкованное как ‘заканчивать тушить’ [Селигер], судя по контексту (*Музей сгорел, дорывали уже утром*) и практике пожаротушения, обозначает собственно действие растаскивания, *р а з р ы в а н и я* остатков сгоревшей постройки; новг. *повóный* ‘уступчивый, сговорчивый, покладистый; п е р е н о с н. пологий’ [НОС] является производным от *водить* – **поводный* с п е р в и ч н ы м значением ‘пологий’; новг. *окинуть* ‘обленииться’ [НОС] в контексте *Лень ленью, а окить окитью; окинувшие, ничего не хочет делать*, при учете приведенного там же новг. *окинуться* ‘одеться’, скорее значит ‘(раз)одеться’ и является вариантом того же *окинуться*. Соответственно для этимологии необходимо возможно большие контексты.

5. Заслуживает внимания активный процесс вхождения диалектной лексики (и ее моделей) в просторечие и жаргоны: таково происхождение жарг. и просторечн. *сечь* ‘понимать’ (в конечном счете – к и. -е. **sek*^u- ‘следовать’); сибир. *кеплый* экспр. ‘очень старый, дряхлый’ [СРГС] может объяснить просторечн. *теплый, тепленький* ‘пьяный’; ворон. *косить* ‘брить, стричь наголо’ [СРНГ] (при литер. *стричь под горшок, стричь под одну гребенку*) моделировало жарг. *косить под кого-л.*; селигер. *мерзюлька* ‘мерная стопка’ [Селигер] (народная этимология – из *мензурка*) объясняет просторечн. и жарг. *мерзавчик* ‘маленькая бутылочка водки’.

Е. Н. Варникова
Вологда

К вопросу об ономастическом статусе зоонима

Являясь периферийным классом собственных имен, зоонимия оказалась и на периферии внимания ономастов: в сравнении с другими ономастическими классами она изучена сравнительно мало. Не собран и поэтому не исследован в должной мере сам зоонимический материал, и как следствие этого – не определен видовой состав русских зоонимов, не установлена их семантическая, системно-структурная и функциональная специфика, не изучена литературная зоонимия, не разработана зоонимическая терминология.

Специальных исследований по зоонимике в настоящее время очень немного. В известных нам работах рассматриваются либо клички разных видов животных (П. Т. Поротников, А. А. Смирнов, В. М. Мокиенко и О. И. Фоянкова, Н. Г. Рядченко), либо – реже – клички отдельных видов животных: охотничьих собак (Н. Г. Дубова), лошадей (Т. П. Романова). Как правило, зоонимы анализируются в ономасиологическом

или лексико-семантическом аспектах, отмечаются их грамматические особенности. Общие вопросы зоонимики затрагиваются в исследованиях А. В. Суперанской, В. И. Супруна, Н. Г. Рядченко, М. В. Голомидовой, Т. П. Романовой.

Интересным представляется анализ зоонимов с позиций ядерно-периферийных отношений в ономастическом поле, предложенный в докторской диссертации В. И. Супруна. По мнению автора, ядром русской онимии являются антропонимы. В сопоставлении с ними определяется онимичность других единиц. Зоонимы квалифицируются как антропонимоподобный разряд, занимающий наряду с мифонимами, теонимами и др. околоядерное пространство.

В настоящем сообщении определяются некоторые интегральные и дифференциальные свойства антропонимов и зоонимов. При этом используются материалы и результаты ранее названных исследований, а также клички коров, собранные нами и под нашим руководством на территории ряда районов Ярославской и Вологодской областей (более 3 000 единиц). К анализу привлекаются также клички лошадей Вологодского конного завода (около 700 единиц).

Близость зоонимов к антропонимам определяется по ряду показателей.

1. Как и антропонимы, зоонимы обозначают живые существа в их индивидуальности и являются одушевленными существительными (в отличие от других разрядов онома). Антропонимы служат для обозначения лиц, зоонимы – для обозначения животных. У тех и других отмечается семантический компонент пола: у антропонимов это значения мужского и женского пола, у зоонимов – значения ‘самец’ – ‘самка’. Поэтому зоонимы, как и антропонимы, всегда маркированы по роду. При этом в антропонимии женские имена часто образуются на базе мужских (*Александр – Александра*), сходные явления отмечаются и в зоонимии (*Орфей – Орфея*).

2. В процессе лексико-семантического анализа мотивированных зоонимов устанавливается почти буквальное сходство их с нехристианскими русскими именами и современными прозвищами. Впервые на этот факт обратил внимание автор статьи «ИЗ зоонимии Горьковской области» А. А. Смирнов. При рассмотрении зоонимов исследователь воспользовался классификацией древнерусских антропонимов А. М. Селищева и обнаружил точное совпадение выделенных групп. Выводы А. А. Смирнова полностью подтверждаются и на нашем материале. При наличии сходства в группировках производящих для антропонимов и зоонимов отмечается более широкое взаимодействие последних с апеллятивной лексикой. В ряде случаев, очевидно при недостатке производящих, создаются искусственные зоонимы: *Гивса* (от *Гаскони* и *Сервиза*), *Рван* (от *Робости* и *Панпурса*). Подобная номинация антропонимии не свойственна.

3. Сближаются эти разряды и в функциональном отношении. Как и антропонимам, зоонимам свойственны все основные функции имен собственных: номинативная, идентифицирующая, дифференцирующая и др. В повседневной речи зоонимы обычно выполняют вокативную функцию. При выполнении этой функции зоонимы, как правило, повторяются, уподобляясь подзывным словам: *Васька-Васька-Васька* и *к-к-к-к*, *Семка-Семка-Семка* и *серы-серы-серы*, *били-били-били*, *чиги-чиги-чиги* и пр. Повторение антропонимов в вокативных предложениях возможно лишь в ситуации эмпазы.

4. По-видимому, под воздействием функциональной схожести зоонимы ведут себя по образу и подобию антропонимов. Возможно, этим отчасти объясняется, во-первых, массовое проникновение антропонимов в зоонию. Во-вторых, как и антропонимы, зоонимы образуют гипокористические формы, которые функционируют наряду с официальными, «паспортными» именами. Однако по составу и количеству звательных форм зоонимы значительно уступают антропонимам. В-третьих, в сфере зоонимов (чаще иппонимов), как и среди антропонимов, употребляются прозвища.

5. По структуре антропонимы и зоонимы различны. Личные именованья трехкомпонентны, состоят из имен, отчеств и фамилий. Клички животных, как правило, однословны. Но и в структурном отношении зоонимы могут сближаться с антропонимами: *Михайло Потапыч, Лиса Патрикеевна, Хина Марковна, Бром Исаевич* и под. Однако такие образования имеют специфическую коннотацию: если имена людей, употребленные с отчествами, имеют оттенок уважительности, то клички животных, сопровождаемые «отчествами», обретают оттенки ироничности и шутовливости.

6. По грамматической форме имена людей являются существительными, среди зоонимов нередко встречаются субстантивированные прилагательные: *Верный, Быстрая, Веселая* и др. По мнению Н. Г. Рядченко, это одно из существенных отличий современных зоонимов от антропонимов. С этим утверждением трудно не согласиться. Однако важно помнить, что в древнерусской антропонимии структуры типа *Смирной, Грязной, Веселой* были весьма обычны. Кроме того, они встречаются и в современных прозвищах: *Серый, Жирный* и т. п.

7. В словообразовательном отношении зоонимы, как и все она (и антропонимы в их числе), вторичны, образованы на базе апеллятивной лексики. Поэтому ведущим способом зоонимобразования является лексико-семантический, представляющий собой ономатизацию апеллятивов и трансонимизацию. Особенности словообразования отдельных видов зоонимов изучены недостаточно. В частности, в кинонимии отмечается морфолого-синтаксическое отглагольное словообразование существительных (*Догоняй, Хватай, Карай*), в иппонимии – субстантивация прилагательных и т. д. Возникает вопрос о специфических «зоонимических» суффиксах. По мнению Н. Г. Рядченко, такими суффиксами являются *-ан, -ун, -уна, -уха, -уша*. Однако все эти суффиксы первично известны антропонимам, а суффикс *-ан* в настоящее время переживает в определенных речевых сферах второе рождение. По-видимому, было бы уместнее говорить о формировании русской зоонимии под воздействием антропонимии. Некоторые антропонимические явления как бы инерционно продолжают в зоонимии.

Перспективно изучение и самих зоонимов в ядерно-периферийном аспекте. Какие виды зоонимов окажутся в центре? Какие – на периферии? Каким в сравнении с другими языками предстанет русское зоонимическое поле?

К вопросу о суффикс-флексивном способе топонимообразования*

Вопрос образования географических названий при помощи так называемых суффикс-флексий (термин А. А. Реформатского) практически не обсуждался в отечественной топонимике. В работах, посвященных топонимическому словообразованию (Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, М. В. Горбаневский и др.), данный феномен, кажется, даже не упоминается. Между тем речь идет о способе деривации, результаты которого заметно представлены в региональной топонимии, например в топонимии Русского Северо-Запада (далее РСЗ).

Суффикс-флексии в топонимии – это морфологические элементы, которые сигнализируют о принадлежности названий не только к определенной парадигме склонения, но и к определенному денотативному разряду (река, ручей, озеро, село, деревня и некоторые другие). О разряде свидетельствует соотношенность морфологического рода названия и опорного термина, обозначающего топообъект (*Перетна* – река, *Пакомо* – село, *Мдо* – озеро, но *Мда* – река). Данная корреляция отражает адаптацию названия, переживавшего процесс становления, к морфологическому роду опорного термина. Доказать наличие суффикс-флексий удастся тогда, когда вполне эксплицитны деривационные отношения между производящими и производными лексемами. В топонимии выявление деривационной соотносительности лексем и (особенно) вектора производности сопряжено, очевидно, с большими сложностями, нежели в сфере апеллятивной, где многое подсказывает лексическая семантика.

Два главных типа деривационных отношений выявляются при анализе суффикс-флексивной модели топонимов на РСЗ: апеллятив > топоним и топоним > топоним. Первый тип хорошо иллюстрируют дериваты от апеллятивов-субстантивов: *волочкь* > оз. *Волочко*, *переходь* > р. *Перехода*, *глина* > оз. *Глино* и т. п. Чаше, однако, имеет место семантическая топонимизация апеллятивов, в процессе которой не происходила мена родовых флексий (эта мена была необязательна либо случилась еще на дотопонимической стадии): *песь* ‘песок’ > р. *Песь*, *сухое* (озеро) > оз. *Сухое*, *береза* > р. *Береза* и т. п.

Значительно более заметен в регионе РСЗ второй тип, обнаруживаемый во множестве топонимических микросистем, относящихся к смежным топообъектам. В подавляющем большинстве эти топонимические микросистемы складываются для озер и вытекающих из них рек и ручьев (ср. оз. *Перетно* – р. *Перетна*, оз. *Сухое* – р. *Сухая*, оз. *Черное* – р. *Черная* или руч. *Черный*, оз. *Мдо* – р. *Мда*, оз. *Луко* – р. *Лука*, оз. *Лучко* – р. *Лучка*, оз. *Клетно* – р. *Клетна*, оз. *Полисто* – р. *Полиста*, оз. *Ужо* – р. *Ужа*, оз. *Шлино* – р. *Шлина*, оз. *Меглино* – р. *Меглина*,

*Исследование поддержано РГНФ (проект № 08-04-00283а).

оз. *Нево* – р. *Нева*, оз. *Псково* – р. *Пскова* и мн. др.), изредка для водоемов и селений на их берегах, для озер и крупных островов на них (ср. р. *Ракома* – село *Ракомо*, оз. *Бebro* – остров *Бeбор*), не исключено участие и других топообъектов. Словообразовательная квалификация подобных пар затруднительна в отличие от первого типа, где деапеллятивный вектор производности налицо. Такие примеры, формально равноправные, относили к случаям «ко-номинации, когда номинация двух географически связанных объектов строится на равных основаниях, а не на отношениях подчинения одного объекта (и названия) другому» [Агеева, 1989, 98].

Это утверждение сомнительно. Вообще говоря, номинация не происходила на всем пространстве озера и реки одновременно, она являлась точечным актом и сопровождалась дальнейшей трансгидронимизацией – распространением гидронима на смежные водоемы. При этом в регионе РСЗ гидронимы, рассматриваемые мною в качестве суффикс-флексивных, распространялись, как правило, от озер на вытекающие из них реки и далее от верховий рек к низовьям. Доказательства кроются в специфике самой гидронимической номинации на РСЗ, которая в подобной схеме переносов (озеро > озерная река) деривационно подчиненным звеном регулярно показывает названия рек, а не озер. Передкие примеры, такие как оз. *Березай* – р. *Березая*, оз. *Валдай* – р. *Валдая*, оз. *Поньрь* – р. *Поньря*, подразумевают первичность озерных названий, распространившихся на вытекающие реки с закреплением характерной речной суффикс-флексии. Еще более отчетливо о приоритете озер свидетельствует эволюция словообразовательных структур в таких озерно-речных микросистемах. Развитие, судя по сравнению старой и новой гидронимии в регионе РСЗ, регулярно наблюдается от исходных формально равноправных суффикс-флексивных отношений, выступающих наследием далекого прошлого, к более позднему, современному деривационно неравноправным суффиксальным отношениям, при которых производность названий рек самоочевидна. Примеры последних многочисленны: оз. *Сухое* – р. *Суховка*, оз. *Черное* – р. *Чернянка*, *Черновка*, оз. *Перетно* – р. *Перетенка*, оз. *Белое* – р. *Белка*, оз. *Боровно* – р. *Боровенка*, оз. *Клетно* – р. *Клетенка*, оз. *Меглино* – р. *Меглинка*, оз. *Полобжа* – р. *Полобжанка*, оз. *Вялое* – р. *Вялка*, оз. *Пелено* – р. *Пеленовка*, оз. *Нисо* – р. *Нижица* и мн. др.

С учетом сказанного замечу, что и название великой русской реки Волги следует считать распространившимся некогда с верховий – от крупного оз. *Волго*, локализуемого в регионе РСЗ.

Суффикс-флексивные названия характерны для дославянского гидронимического субстрата, равно как для архаической (позднепраславянской и древнерусской) гидронимии. Деривация с помощью суффикс-флексий – один из весомых критериев архаичности топонимической структуры. Появление топонимических суффикс-флексий в целом отсылает к тем ранним этапам развития славянских языков, когда морфологическая разница между именем прилагательным и именем существительным была существенно меньшей, чем сегодня. Со временем эта модель часто замещалась более продуктивными сейчас суффиксальными моделями.

Агеева Р. А. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989.

Имена собственные в ассоциативно-вербальной сети

В языкознании имена собственные (ИС) традиционно рассматривались в двух пространствах – пространстве языка (это называлось грамматикой ИС) и в линейном пространстве речи (текста, дискурса), когда исследовалось реальное функционирование ИС. В настоящее время, благодаря авторам Русского ассоциативного словаря [РАС], появилась возможность рассмотреть ИС в новом пространстве – в ассоциативно-вербальной сети (АВС), отражающей организацию языковой способности человека. В словаре подобного типа содержится информация, «которая относится ко всем трем уровням языковой личности: грамматико-семантическому (т. е. “языковому” в узком смысле слова), когнитивному (или уровню знаний о мире) и прагматическому» [Караулов, 2002, 753]. Таким образом, словарь открывает новые перспективы и для ономастики, поскольку позволяет изучать способы хранения ономастической информации в сознании среднего носителя данной лингвокультуры. При этом в качестве «единиц хранения» выступают не только и не столько прецедентные имена, которые прекрасно отслеживаются в корпусе РАС, сколько обнаруживаемая в паре «стимул – реакция» взаимная информация, которую можно представить в виде отношений. Эти отношения демонстрируют большое разнообразие и специфику по сравнению с парами, не содержащими ИС.

Представляется, что у когнитивной ономотологии могут быть два источника и две составных части. Во-первых, работы в области когнитивной психологии, прежде всего, исследования, посвященные моделированию представления имен и просто слов в общем семантическом пространстве [Burgess, Conley, 1999], запоминанию и забыванию ИС в сравнении с обычными словами и – если речь идет об антропонимах – с лицами людей [Cohen, 1999], а также посвященные тем же процессам у людей разного возраста и при разных видах афазии. Целиком встать на позиции психолога лингвист, очевидно, не сможет, но познакомиться с ценным научным материалом, полученным в результате экспериментов, представляется необходимым.

Ономастограм как лингвистам, безусловно, ближе та «когнитивность», которая связана с отражением в языке образа мира, национальной культуры, отсюда тезис об именах как носителях культурной памяти. И здесь одним из эффективных инструментов когнитивной ономотологии могла бы стать ассоциативно-вербальная сеть. Из работы французских историков Ю. Н. Караулов заимствует выражение «места памяти» (*les lieux de memoire*) – важные составляющие национального менталитета: «Места памяти – крупные явления национальной истории и культуры, известные большинству носителей данного языка и культуры, хранящиеся в памяти поколений и связанные, как правило, с именами собственными – антропонимами и топонимами» [Караулов, 1999, 149]. Но если французские историки в своем труде фактически сами сконструировали объем и содержание исторического национального самосознания французов, то данные АВС позволяют выявить объективно существующие и спонтанно проявляющиеся в языковом сознании русских данные.

Таким образом, при помощи РАС процесс «выявления арсенала мест памяти» может обрести столь желанную независимость от сознания исследователя.

Таким образом, тема «ИС в АВС», контуры которой представлены в настоящем докладе, отличается от темы «ассоциативный эксперимент с ИС», или «ассоциативная семантика ИС», поскольку она предполагает изучение ИС не только как стимулов, но и как реакций. При всем наблюдаемом интересе к ИС как носителям культурной памяти (прецедентные имена), такой взгляд нельзя считать единственным возможным вариантом когнитивного подхода к ономастическому материалу. Поскольку РАС – это модель сознания человека, то, используя понятие когнитивной ситуации, можно выявить их типы и установить, в качестве каких компонентов ИС в них выступают, а также сравнить с аналогичными ситуациями для нарицательных имен. Такое исследование может служить вкладом в еще не сформировавшуюся, но уже готовую это сделать когнитивную оноματοлогию.

Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. М., 1999.

Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности // Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Русский ассоциативный словарь. Т. 1. От стимула к реакции. М., 2002. С. 750–782.

Burgess C., Conley P. Representing Proper Names and Objects in a Common Semantic Space: A Computational Model // *Brain and Cognition*. 1999. V. 40. P. 67–70.

Cohen G. Why is it difficult to put names to faces? // *British Journal of Psychology*. 1999. V. 81. P. 287–297.

Я. Влаич-Попович
Белград (Сербия)

Об обозначениях этажа в славянских языках

В настоящей работе анализируются наименования этажа в славянских языках. Особое внимание уделяется сербскому термину *спрат*, выделяющемуся как на славянском фоне (формально и семантически), так и в рамках самого сербского языка, поскольку в последнем отсутствуют лексико-семантические связи, позволяющие найти для этого слова убедительную этимологию. При рассмотрении данного термина не только решается вопрос о его происхождении, но и разрабатывается методика этимологизации слов такого типа.

1. Большое количество и разнообразие обозначений этажа в славянских языках можно интерпретировать как естественное отражение того внелингвистического факта, что древние славяне жили не в этажных домах, а в землянках, и что они довольно поздно, после разделения славянского языкового сообщества, начали строить более сложные здания. Иногда названиями этажа становились обозначения отдельных частей строений (например, стрехи, стропил, потолка и т. п.), а в ряде случаев наименование заимствовалось вместе с заимствованием новой реалии. По этой же причине и в каждой форме существования языка (литературном языке,

социолектах и диалектах) нет единого обозначения этажа, а их многообразие отражает различные пути и эпохи влияния других языков.

Типологически обозначения этажей, как и некоторые другие строительные и ремесленные термины, можно разделить на три (четыре) группы: а) заимствованные названия (например, в рус. галлицизм *этаж*, в хорв., болг. турцизм *кат* и т. д.); б) древние исконные названия, как правило ограниченного, необщеславянского ареала, указывающего на то, что перед нами праславянский диалектизм: например, юго-западный и северо-западный (ср. серб. диал., чеш., польск., рус. диал. континуанты праслав. **petro*), южный (ср. ст.-слав., болг. континуанты праслав. **strop* 'потолок'); в) исконные названия неизвестной древности, имеющие узкий ареал, локальные формы и даже, возможно, являющиеся кальками с иноязычных источников (укр. *поверх*, словац. *poshodi* и др.); г) названия неизвестного происхождения (серб. *спрат*).

2. Обратимся к названиям последней группы. При отсутствии внешнего источника заимствования или калькирования наиболее перспективным оказывается поиск связей внутри самого сербского языка.

2.1. Прежде всего следует отказаться от попытки истолковать термин *спрат* как результат метатезы согласных в частично синонимичном ему сущ. *спрон*, поскольку адекватно не объяснены причины изменений, не определена территория, где оно происходило, а также субстратный язык, давший импульс изменению, например: «с наслонем на н е к у ријеч», «преко н е к о г облика... као у далматороманском», «вокализам *o > a* може представљати утјечај н е к о г супстрата» и т. д. [см.: Putanec, 2003, 244–245], там же – исчерпывающая история вопроса].

2.2. Название *спрат* функционирует в широком ареале штокавского наречия сербского (и хорватского) языка и отсутствует в кайкавском и чакавском диалектах. Его семантика всегда ограничена одной и той же реалией, деривация на его основе стандартна и почти минимальна (*спратни*, *спратност* и др.), метафоры – банальны.

2.3. Тот факт, что слово не представлено в словаре («Српски рјечник») Вука Караджича, является значимым не только для определения времени его возникновения, но и его природы: *спрат* является ненародным словом, функционируя в герцеговинских говорах, которые легли в основу литературного сербского языка. Между тем это не исключает возможности его возникновения в иной части сербской территории, где *спрат* победил в конкуренции с турцизмом *кат*.

2.4. В формальном плане сущ. *спрат* можно соотносить единственно с созвучным ему глаголом *спратити* (*се*) 'поместиться'. Этимология этого глагола до сих пор не совсем ясна, однако при внимательном рассмотрении семантики кажется возможным его родство с гл. *пратити* '(по)сылать, сопровождать' (< праслав. **portiti*).

2.5. Учитывая совпадение ареалов глагола и имени, а также возможное отглагольное происхождение существительного, необходимо объяснить, каким образом осуществлялась семантическая специализация отглагольного *nomen loci* в *terminus technicus*, проявившаяся около двух веков назад (первая письменная фиксация относится к 1815 г.).

2.5.1. К сожалению, непосредственной семантической параллели данному сдвигу значения нет. Большинство известных нам славянских и неславянских названий этажа связаны с семантикой потолка: они воплощают идею покрытия, крыши как

через соответствующую глагольную семантику (слав. **reŭi*, **рьно* > **petro*), так и через именные репрезентации – ‘палка, доска’, ‘ребро’ (нем. *Stock, Stockwerk*, греч. *ῥοφοϛ* < *ἑρέφω*, в конечном счете имеющие значение ‘ребро’) и т. д.

2.5.2. Мы предполагаем, что серб. *спрат* как дериват глагола *спрамити* – хотя и является формальным и ономастиологическим гапаксом на славянском уровне – в рамках сербского языка объясняется при помощи мотивационной параллели, представленной в синонимичной паре *спремити* > *спрем(ни)ца*. Это слово воплощает идею помещения вещей на чердак (в противоположность подвалу).

Putanec V. Etimološki prinosi (27–35) // Razprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 29. Zagreb, 2003. S. 225–258.

Т. В. Володина

Минск (Белоруссия)

Телесные девиации в этнокультурном тексте

В этнокультурных представлениях и в речи, прежде всего диалектной, телесные девиации (слепота, глухота, немота, горбатость, кривизна, лысина) имеют сходные смысловые свойства и включаются в подобные культурные контексты. К ним примыкают и в отдельных случаях соединяются с ними наименования переменных признаков человека (нагота, босота, чрезмерное оволосение и т. д.), которые в русле мифопоэтической аксиологии также приобретают черты оценочных и нормативных. Как правило, отступление от нормы вызывает повышенный интерес и соответствующий всплеск языковой активности. Особое же значение приобретает тот факт, что любое нарушение нормы в народных представлениях понимается как отклонение в сторону «чужого» в противовес «своему», т. е. нормативному, освоенному (усвоенному, присвоенному). Это же «чужое» может конкретизироваться как опасное, демоническое, темное, злое.

Моделирующая функция телесной ущербности в этносемиотической перспективе чрезвычайно актуальна и продуктивна. Актуализация физической неполноценности начинает применяться для характеристики человека здорового физиологически, но имеющего определенные особенности в плане поведения и отдельных характеристик личности. Так, для наименования человека с социально неприемлемым поведением употребляются наименования семантического поля девиаций: слепота – бел. диал. *пулусьвет* ‘одноглазый’ и ‘развратный’; рус. диал. *близорукий* ‘назойливо ухаживающий за женщиной’; глухота – бел. *глушэц* ‘равнодушный человек’; босота как одна из составляющих «наготы асоциальной» – бел. *басятніцаць* ‘вести себя распущенно’, рус. диал. *босойга* ‘негодная женщина’, *босовик* ‘развратник’; пол. *bosówka* ‘девушка, родившая вне брака’; лысина – бел. *Калі ўродзіцца з лысінкай, дык і памрэ з лысінкай; і ні лысы* ‘прикидываться невиноватым’; *На Барыса баба лыса* и др.

Рядом с несовершенством морально-этическим в терминах ущербности с довольно широким диапазоном значений характеризуются в языке и культуре недостатки интеллектуальные: от необразованности – бел. *слепата* – через ограниченность восприятия – бел. *Што глухі, што дурны* – к отсутствию разума вообще (в некоторых славянских языках немой одновременно значит ‘глупый’, ср. словен. *net*). Популярна характеристика лысого человека как умного: *Лыс да умён, два угодья в нём*, – однако этот ум в контексте негации любой избыточности вызывает определенные предостережения: *Бойся лысых ды рыжых: лысы дужа разумны, а рыжы надта хітры*.

Горб у человека в целом становится символическим сосредоточением черт характера его владельца, причем, разумеется, негативных: *Сундук с бельём, да невеста с горбом* ‘жена с богатым приданым, но некрасивая или с плохим характером’; бел. *Чым больш кошку гладзіш, тым больш горб падымае; Сваіго гарба ніhto не бачыць*; укр. *Тому й горбатый, що на грех багатый*, см. также любопытное бел. *за гарбатую бабу пайшоў* ‘о муже, который живет в доме жены’.

Обозначения физического безобразия – как стандартного примера внешней инакости – закономерно развивают семантику демоничности. Недаром демоны сплошь ущербны, ср., например, *лыс бес, черт лысый, корми дьявола лысого*, бел. *чорту лысаму* ‘неизвестно кому’, *Лыско, лысый* ‘черт’. Аномалии речи – такой же признак представителей иного мира, как и аномалии конечностей, ср. рус. пск. *бес немой*, волог. «Бадя – это некто страшный..., чаще *немой* или гугнивый, *безрукий*, иногда *хромой*». В заговоре даже вредоносные ветры предстают как «*голья, босяя, касматыя, лахматыя*, лесавыя, балотныя, ветраныя, дваровыя, палуношныя, заравыя – ветры злыя»; нагота выступает как идентифицирующий атрибут для демонического персонажа, ср. бел. полес. «Не дывыся у колодец, бо тые *голобаба* утягне». У белорусов горбатыми изображались водяной и злыдни. В этой же плоскости объясняется увечье колдунов.

Сама Смерть, безжалостная к своим жертвам, представляется слепой – *Смерть сослепу лютует*. Согласно известному поверью, если сразу не закрыть покойному глаза, Смерть воспользуется ими, чтобы высмотреть новую жертву. В польских верованиях Смерть была наказана Богом и потеряла слух: *Śmierć jest głucha, nikogo nie słucha*. У моравов встречаем табуизированное наименование смерти *Holá: Přide Holá, pod' do doła*. К сфере смерти обращены и такие наименования как бел. *жмурк, жмур* ‘покойник’, *сляпая баба* как персонаж игр и т.д.

Как представители иного мира традиционно воспринимаются ряженные, которые не только подчеркивали внешние увечья в своем облике (к примеру, «Вожделение Кральки» на Гомельщине, которую представляла девушка в облике карлицы с двумя горбами), но и приобретали показательные наименования – *горбунёц, глушкі*.

Увечье маркирует сферу социально иного, что актуально и для современного языкового нонстандарта, ср. *жмурка* ‘босяк’, *слепой, слепенький* ‘беспаспортный бомж’, *горбач* ‘разбойник’. Телесные девиации десоциализируют человека; человек, сам поставивший себя вне рамок социума, представляется этим социумом как физически неполноценный.

Из наблюдений над территориальным распределением русских коллективных прозвищ*

Завершена работа над «Словарем русских коллективных прозвищ» – неофициальных неогтопонимических названий жителей какой-либо территории, населенного пункта (*клюковники* ‘жители Владимира’, *слепороды* ‘жители Вятской губернии’, *тряпичники* ‘жители деревни Гора Коношского района Архангельской области’). Источниками материала стали русские диалектные словари, неопубликованные картотеки полевых материалов (по территориям Русского Севера, Среднего Урала и др.), фольклорные тексты и этнографические исследования XIX–XXI вв. В качестве приложения к словарю составлен индекс, подающий описываемые факты по идеографическому принципу – от объекта именованного к прозвищу. Индекс наглядно демонстрирует неравномерность распределения словарного материала по территории России. Представим количественные данные о таком распределении:

Архангельская область – 1101; Вологодская область – 688; Костромская область – 294; Кировская область – 200; Свердловская область – 101; Республика Карелия – 94; Ярославская область – 59; Республика Татария – 42; Нижегородская область – 38; Ростовская область – 37; Владимирская область, Пермский край – 35; Новгородская, Тверская области – 29; Московская область – 28; Кемеровская область – 26; Мурманская область – 23; Республика Коми – 22; Курская область – 17; Воронежская, Калужская области – 16; Рязанская, Смоленская области – 15; Орловская, Тульская области – 13; Псковская, Тамбовская, Челябинская области – 12; Чувашская Республика – 11; Астраханская, Тюменская области – 10; Ленинградская, Томская области – 9; Волгоградская область, Забайкалье – 8; Алтайский край, Самарская область – 7; Ивановская, Иркутская, Саратовская области – 6; Республика Башкирия, Удмуртская республика – 5; Белгородская область, Республика Мордовия, Ненецкий Автономный округ, Оренбургская область – 4; Еврейская Автономная область, Заонежье, Пензенская область – 3; Амурская, Брянская области, Республика Бурятия, Краснодарский, Красноярский края, Омская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский Автономный округ – 2; Курганская, Липецкая, Магаданская, Читинская области, Марийская Республика, Республика Якутия – 1.

Полученная картина, по нашему мнению, зависит как от субъективных, так и объективных причин. Основной субъективный фактор, обусловивший неравномерность «покрытия» прозвищами карты России, – это, безусловно, различия в традициях сбора прозвищ на отдельных территориях, разная степень внимания диалектологов, ономастов и фольклористов к тем или иным регионам страны. Так, факты прозвищной ономастики на территории Архангельской области

*Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Русские ономастические словари как источник культурно-исторической информации».

фиксировались как лексикографами, фольклористами и этнографами XIX в., так и современными экспедициями (Уральского, Московского, Поморского университетов, Российского гуманитарного университета), освещались в трудах Н. В. Дранниковой, В. Н. Калущкова, А. А. Ивановой, А. Б. Мороза, а также в наших работах. «Повезло» и Вятской губернии, где материал собирался и осмыслялся Д. К. Зелениным, а также некоторым областям Центральной России, где работал В. И. Даль (помимо Русского Севера). Значительное количество материала собрано Топонимической экспедицией УрГУ: Кировская, Костромская, Свердловская, Ярославская области, Русский Север.

Следует отметить также объективные факторы экстралингвистического характера, определяющие неравномерное распределение прозвищ.

Среди этих факторов – тип поселений. К примеру, на севере Архангельской области население проживает преимущественно в крупных селах, которые нередко удалены друг от друга на значительное расстояние; здесь нет характерной для некоторых других областей интенсивной «филиации» населенных пунктов, когда на базе какой-либо деревни возникают хутора, починки и т. п., что обуславливает подвижность границ объектов номинации. Напротив, эти границы весьма устойчивы, объекты номинации четко выделены, – тем самым создаются условия для появления коллективных прозвищ.

Другой фактор – особенности хозяйственного уклада. К ним относятся, к примеру, артельные способы организации труда – промысел морского зверя и рыболовецкий. Это создает ситуацию интенсивного контакта жителей соседних поселений (который обычно не бывает настолько активным при традиционных сельскохозяйственных работах, «привязанных» к ближней к дому территории). Во время общей промысловой деятельности возникает единое географическое и экономическое пространство, следовательно, и номинативное пространство становится общим, что приводит к необходимости дифференциации и номинации соседних коллективов. Такого рода причины обусловили появление ареалов повышенной «номинативной плотности» на побережье Белого моря, а также в зонах, где имеются обширные и значимые с промысловой точки зрения озера: бассейн Белого озера, Кубинского озера и озера Воже. К факторам хозяйственного уклада относится также организация товарообмена. Так, на территории Центральной России чаще, чем в других зонах, устраивались ярмарки, где каждый небольшой городок демонстрировал свой особый товар и продавал его соседям. Это создавало условия для встречи жителей уездных городов и, соответственно, появления коллективных прозвищ. Показательно, что на этой территории редко фиксируются коллективные прозвища жителей деревень; преобладают именно прозвища тех, кто проживает в уездных центрах.

Еще один экстралингвистический фактор – этнический (социальный) состав населения. Он наиболее ярко проявляется в тех случаях, когда коллективы номинаторов и номинируемых проживают в зонах активных этнических контактов (Казанская губерния, Вятская губерния и др.). В такой «пограничной» ситуации коллективные прозвища служат одним из способов реализации оппозиции «свое – чужое»: номинатор отмечает чуждость соседей в их речи, гастрономических привычках, одежде и обуви и др. Сходная ситуация складывается там, где встречаются коллективы переселенцев и коренных жителей (районы Урала, Сибири).

Аспекты изучения ономастикона Н. С. Лескова

Одним из первых ученых, кто поднял вопрос об отношении Н. С. Лескова к именам собственным, был Л. П. Гроссман. По его мнению, на творчестве писателя не могла не сказаться та среда, в которой он вырос: «К впечатлениям детства относятся столь детально развернутые впоследствии Лесковым сведения о происхождении фамилий русского духовенства» [Гроссман, 1945, 272].

Обзор фамилий персонажей и заглавий произведений Н. С. Лескова вынесен в отдельные рубрики в монографии В. Гебель «Н. С. Лесков. В творческой лаборатории». Автор утверждает, что «фамилии и имена действующих лиц, так же как и заглавия и эпиграфы, подготовлялись писателем обычно еще до написания произведения» [Гебель, 1945, 108].

Одной из центральных тенденций всего творчества Н. С. Лескова является стремление писателя к документализации для достижения эффекта правдоподобности. Это доказывается в работах исследователей, касающихся и ономастической системы писателя, например, Р. М. Алексиной, А. М. Лужановского, Н. Шахова [Алексина, 1997; Лужановский, 1980; Шахов, 1990], а также других, которые отмечают приверженность Н. С. Лескова к автобиографическим онимам.

А. Б. Пеньковский считает, что Н. С. Лесков продолжает традицию использования имен собственных для обозначения абстрактных понятий, действий или предметов, ср.: «Нельзя всем построить собственные домики и безмятежно жить в них, пока двужильный *Захват Иванович* сидит на большой коробке да похваливается, а свободная человеческая душа ему молится». Этот же прием именования встречается в творчестве многих русских классиков. Например, у Н. В. Гоголя профессиональный шулер Ихарев называет свою колоду крапленых карт *Аделаидой Ивановной* [Пеньковский, 2004, 320].

Одним из быстро развивающихся направлений филологии последнего десятилетия стало изучение «евангельского текста» в литературе. Ономастика здесь дает ценнейшие наблюдения и способствует более полному прочтению творческого наследия Н. С. Лескова, см. работы, посвященные анализу онимов Н. С. Лескова в свете религиозных представлений [Барковская, 2002, 2004, 2005; Долженков, 2002; Пушкарева, 2000; Хмелева, 2004].

В настоящее время почти все исследования направлены в основном на антропонимикон текста, ср., однако, анализ названия иконы *Благое молчание* как лингвистического средства выражения авторского подтекста в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник», осуществленный В. В. Наседкиной, а также работу «Наименования икон в произведениях Н. С. Лескова» Л. Ю. Еловской [Наседкина, 2006; Еловская, 2001].

Особо отметим исследование Ю. Н. Ковалевой «Онимы как средство формирования концепта “путь” в повести Н. С. Лескова “Запечатленный ангел”» [Ковалева,

2002], в котором затрагивается одна из актуальных проблем ономастики – хромотопичность онимов в художественном тексте. Автор приходит к выводу, что любой сакральный оним хромотопичен, так как восходит к Священной истории, которая отражает процесс реализации воли Провидения, ведущего людей к объединению и, в конечном счете, к спасению, что и составляет содержание концепта «путь» в повести Н. С. Лескова.

Прозвищные наименования персонажей Н. С. Лескова рассматриваются в работах [Гебель, 1945; Евсеенко, 2002; Кузьмин, 2003; Лихачев, 1987; Мудрова, 2002].

Ярким доказательством возросшего интереса к ономастической системе писателя является немалое количество исследований по онимам Н. С. Лескова – более сорока (по данным библиографического указателя [Ковалев, 2006]). Несмотря на это, А. А. Фомин, сопоставив работы по авторам одного периода, пришел к выводу, что проза Н. С. Лескова в ономастическом плане изучена слабее, чем проза Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького. Заполнение этой лакуны, по его мнению, – дело будущего [Фомин, 2004, 116].

Алексина Р. М. Орловские источники сюжетов Лескова (по документам государственного архива Орловской области) // Неизданный Лесков: В 2 кн. Кн. 1. М., 1997. С. 594–611. (Литературное наследство. Т. 101).

Барковская Ю. В. Тенденция в выборе имени библейского героя («Гора» Н. С. Лескова) // Тенденции в системе номинации и предикации русского языка. М., 2002. С. 208–211.

Барковская Ю. В. Имя Господа Иисуса Христа на страницах Н. С. Лескова // Язык. Культура. Личность: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. «Язык и культура в контексте культуры»: В 2 ч. Ч. 2. М., 2004. С. 79–81.

Барковская Ю. В. Мифологические и христианские имена собственные в поздних текстах Н. С. Лескова: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005.

Гебель В. Н. С. Лесков в творческой лаборатории. М., 1945.

Гроссман Л. П. Н. С. Лесков: Жизнь – Творчество – Поэтика. М., 1945.

Долженков П. Н. «Запечатленный ангел» Н. С. Лескова: «Очеловеченное евангелие» // Филологические науки. 2002. № 2. С. 233–260.

Евсеенко Т. В. Прозвищные наименования в произведениях Н. С. Лескова // Начало пути. Сб. науч. работ молодых ученых и аспирантов филол. фак-та ВГУ. Воронеж, 2002. Вып. 1. Языкознание. С. 20–24.

Еловская Л. Ю. Наименования икон в произведениях Н. С. Лескова // Средства номинации и предикации в русском языке. М., 2001. С. 149–151.

Ковалев Г. Ф. Библиография ономастики русской литературы. Воронеж, 2006.

Ковалева Ю. Н. Онимы как средство формирования концепта «путь» в повести Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» // Ономастика Поволжья: Тез. докл. IX международной конференции. Волгоград, 2002. С. 70–72.

Кузьмин А. В. Инородец в творчестве Н. С. Лескова: проблема изображения и оценки. СПб., 2003.

Лихачев Д. С. Особенности поэтики произведений Н. С. Лескова // Лихачев Д. С. Избр. работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 327–337.

Лужановский А. В. Документальность – жанровый признак рассказов Лескова // Вопр. литературы. 1980. № 4. С. 144–150.

Мудрова Н. В. Поэтика онимов повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» // Ономастика Поволжья. IX. Волгоград, 2002. С. 61–63.

Наседкина В. Н. О лингвистическом выражении авторского подтекста в художественном произведении. (На материале повести Н. С. Лескова «Очарованный странник») // Русская классика: проблемы интерпретации. Мат-лы XIII Барышниковских чтений. Липецк, 2006. С. 300–305.

Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М., 2004.

Пушкарева В. С. Христианская символика имени героя в повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» // Литература и христианство. Белгород, 2000. С. 59–61.

Фомин А. А. Литературная ономастика в России: итоги и перспективы // Вопр. ономастики. Екатеринбург, 2004. № 1. С. 108–120.

Хмелева О. М. Библейские имена в концептуальном пространстве «Соборян» Н. С. Лескова // Проблемы региональной ономастики. Майкоп, 2004. С. 244–247.

Хмелева О. М. Ономастикон «Соборян» Н. С. Лескова // Филология, журналистика, культурология в парадигме современного научного знания. Ставрополь, 2004. Ч. 2. Лингвистика. С. 144–146.

Шахов Н. Н. С. Лесков и Курский край // Политический диалог. 1990. № 24 (1078). С. 17–21.

Н. С. Ганцовская

Кострома

Костромской акающий остров в свете этнолингвистических данных

Костромской акающий остров (КАО) представляет собой ту часть русских говоров, статус которых, особенности формирования и взаимодействия с окружающим большинством возможно понять только при комплексном изучении их языковых и этнокультурных особенностей. Тогда становится решаемой «загадка» появления и многовекового существования этого инстратного акающего включения с афронтальными территориальными и менее определенными временными границами в «море оканья». Этнолингвистический анализ делает жизнеспособной гипотезу о глоттогенезе и этногенезе КАО, связанную с событиями Смутного времени на Руси и выдвинутую впервые деятелями МДК Н. Н. Виноградовым и Н. Н. Соколовым [Виноградов, 1918; Соколов, 1917], и подтвердить мнение о смешанном характере говоров КАО – севернорусском его основы (все ярусы системы, кроме безударного вокализма) и южнорусском наложении (аканье и яканье) – подобном говорам Подмосковья. Другие гипотезы появления изолированного аканья в глубине северновеликорусского наречия (документами это зафиксировано лишь с 20-х гг. XVII в.) рассматриваются нами или как несостоятельные, или как дополнительные по отношению к основной причине.

Ареальная этнолингвистическая характеристика помогает не только уточнить статус тех или иных говоров в диалектной системе языка, определить их место среди центральных и периферийных русских говоров, но и увидеть их специфику и в более широком масштабе – в пределах Славии при разграничении «архаических» и «неархаических» зон славянско-неславянской языковой интерференции. См.

об этом, в частности, у Н. И. Толстого [1999, 22], в работах И. А. Букринской и О. Е. Кармаковой [Букринская, Кармакова, 2004, 22–23].

В данном исследовании мы сосредоточим внимание на характеристике релевантных признаков (факторов), моделирующих КАО как этнолингвистический объект. За основу подобного построения мы берем те системообразующие факторы, которые перечисляет А. С. Герд [2005, 47]. Эти факторы формируют КАО как этнолингвистический объект и отличают или не отличают его от окружающих окающих костромских говоров, в первую очередь, и в более широком масштабе – от других севернорусских и среднерусских окающих. При этом будем употреблять следующие знаки для маркировки факторов: 1) «←», если фактор совершенно нерелевантен для характеристики этноса; 2) «*», если фактор релевантен для широкого этнического массива (в пределах наречия и переходных говоров), куда входит данный этнос; 3) «+», если фактор имеет место в КАО и в окружающих костромских окающих говорах, но не маркирует первые; 4) «++», если фактор является важным маркером для характеристики КАО как особого этнического образования.

Признаков со знаком «←» среди рассмотренных 26 факторов оказался один (степень развитости двуязычия и многоязычия), а со значком «*», удостоверяющим включение данного этноса в более широкие этнические образования, как бы растворение в нем, – 7 (биосфера; ландшафт; климат; антропологический тип; мимика, жесты; тип религии; формы, стереотипы поведения, вежливого обращения). Значок «+» в определенной степени выделяет данный этнос среди других. Таких факторов оказалось 6 (осознание себя; тип традиционной духовной культуры; тип информационных связей; отношение к своему этническому прошлому; степень развитости культуры). Значок «++» является маркером, в наибольшей степени показывающим отличие данного этнического коллектива от других. Как правило, он включает в себя языковые признаки. Выделим группы с маркером «++».

1. Язык, отношение к языку и к разным формам его существования. «Аканье», т. е. манера *агафонить* (местное обозначение аканья), говорить «свысока», и различные типы яканья (говорить на «а» или говорить на «и»), замечаются как «окальщиками», так и «акальщиками» внутри острова.

2. Самоназвание. Релевантно по отношению к более мелким группировкам внутри этноса (*агафоны, каюры, шихвосты, чухломичи* – в Парфеньевском районе название разных групп «акальщиков»).

3–5. Тип семейных связей. Тип социальных отношений. Тип брака. Как известно, отходничество повлияло на существование особого типа семьи «питерщика». Это формально достаточно крепкая семья, но супруги в ней разлучены на многие месяцы, а иногда и годы. Отсюда и особый тип социальных связей в деревне, которые ведут к эмансипации женщины и повышению ее социального и экономического статуса. Жизнь в определенной степени становится настроенной на городской лад.

6. Типы традиционной материальной культуры, чаще всего имеющие словесную манифестацию в виде изосем в составе изолекс, характеризующих более широкие ареалы.

7. Отношение соседей, отношение к соседям, название этноса другими, соседями. Это яркий фактор идентификации этноса, но по отношению к КАО его нельзя преувеличивать, так как все же это зона не особого языка и не другого народа. Однако факторы подобного рода есть. Судайские «акальщики» (д. Шартаново) называют соседей-«окальщиков» с особым укладом жизни *турдиятами*, парфеньевские «окальщики» называют парфеньевских же «акальщиков» *агафонами-рябинниками* и *каюрами* и т. д.

8. Осознание своего родного языка, фольклора.

9. Типы этнонимии и топонимии важны для идентификации КАО как особой диалектной и этнографической зоны.

Таким образом, мы полагаем, что КАО представляет собой по многим параметрам особую этнокультурную зону, где лингвистические показатели являются одной из важнейших характерологических черт.

Букринская И. А., Кармакова О. Е. К изучению говоров центральной диалектной зоны // Проблемы современной русской диалектологии: Тез. докл. междунар. конф. 23–25 марта 2004 г. М., 2004.

Виноградов Н. Н. Причина и время возникновения аканья в Чухломском крае // Изв. ОРЯС. 1918. Т. XXII, кн. 2.

Герд А. С. Введение в этнолингвистику. 2-е изд. СПб., 2005.

Соколов Н. Н. Акающие говоры Костромской губернии // Рус. филолог. вестник. Пг., 1917. Т. LXXYIII, № 3–4.

Толстой Н. И. О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Толстой Н. И. Избр. тр. М., 1999. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию.

Н. Д. Голев
Кемерово

Естественная инновационная номинация как эволютивный синергетический процесс

1. В современной лингвистике данный вопрос о номинативных новообразованиях обретает принципиальную значимость в связи с усилением активности лингвокогнитологического способа описания явлений языковой динамики.

2. Главным энергетическим импульсом номинативных инноваций обычно называется момент *н о в и з н ы*, отождествляемый с *и н т е н ц и о н а л ь н о с т ь ю* новообразовательного акта. Такой статус признака новизны для естественно-речевых инновационных процессов в лексике, на наш взгляд, преувеличен.

2.1. Сама ситуация неожиданного возникновения в обыденной жизни рядовых носителей языка принципиально нового предмета явно экзотична, новое означаемое обыкновенно не появляется вдруг. Для естественной номинации типичной является долгая коммуникативная актуализация того или иного предмета, ведущая к эволютивному процессу возникновения устойчивого имени для него.

2.2. Одним из фундаментальных признаков естественной номинации является стремление избегать новизны и обходиться прежним запасом номинативных средств. В сфере стихийной номинации приоритет отдается отождествляющим номинациям, а если все-таки требуется особо выделить данный предмет, то говорящие оказывают предпочтение описательным наименованиям, которые являются менее энергоемкими, несмотря на большую «материалоемкость».

3. Столь же преувеличена в лингвокогнитологии субъективно-целеполагающая роль мотивировки. А. В. Суперанская в одной из своих работ заметила, что имя, конечно, несет информацию о предмете, но возникает имя не для того, чтобы эту информацию нести. Тем самым подчеркивается следовый характер мотивировки имени, возникающего по сугубо коммуникативным (во многом техническим), а не ментальным потребностям. Формирующееся название предмета в естественных условиях выдерживает конкуренцию других номинативных вариантов, обозначающих данный предмет и базирующихся на разных мотивировочных признаках. Имя *выключатель* могло стать *включателем*, *включальником* или *выключальником* – никаких ментальных противопоставлений для этого нет и не может быть. Вариантные названия естественным образом становятся узальными в различных языковых коллективах. В мотивировке, осуществляющейся в естественной номинативной деятельности, нет сколько-нибудь жесткой предопределенности, она во многом произвольна и случайна, а значит, и нет мотивировочной модели, которая предопределяла бы видение мира в неогумбольдтианском смысле. В сфере стихийной номинации наличие мотивировочной и классифицирующей интенции – открытый вопрос.

4. В связи с новообразовательной интенцией в докладе рассматривается пример: *Он купил не большой коттедж (коттеджик) в 50 км от городской квартиры*. Какие интенции определяют здесь выбор номинативной единицы (словосочетания или слова): информативные или стилистические? Мы полагаем – вторые. Существенно ли то обстоятельство, что производное слово *коттеджик* уже употреблялось говорящим или произведено по случаю? Воспринимается ли *маленький коттедж* как создаваемая единица – и, если «да», воспринимается ли она как новая? Наш ответ отрицательный для обоих вопросов: интенция новизны в обыденном текстопорождении (а новообразование – его часть) не участвует.

5. В этом плане предлагается пересмотреть роль мотивировки (мотивировочного суждения), которому в когнитивных моделях придается особый статус – как поискового механизма формы новообразования. Любое возникающее слово проходит долгий путь, в ходе которого решаются вопросы его мотивировки и на собственно словообразовательном этапе происходит лишь *формальное* их закрепление. Ничего ментального в этом акте не происходит, и о новизне как интенциональной категории говорить здесь не приходится. Типовой эволютивный путь можно представить как движение по схеме от знака-сообщения к устойчивой номинативной единице: *елань, где растет земляника*, – *земляничная елань* – *земляничная* – *Земляничная* – *Землянуха* или *город на Симбирских горах* – *Симбирский город* – *Симбирск*. Энергетика таких цепочек на завершающих звеньях заключена отнюдь не в стремлении к новизне, а в потребности в компактном означающем для общестных коммуникативную значимость означаемых.

6. Формирование означающего представляет собой конкуренцию уже готовых номинативных вариантов (отождествляющих, описательных, метафорических) по отношению к которым лексический дериват представляет лишь частный случай. Ни его возникновение, ни закрепление не предполагает когнитивных процедур. Энергетическое поле конкуренции является коммуникативным: стилистическим и ортологическим. Нормативным может оказаться любое название, независимо от внутренней формы.

7. Признак новизны обнаруживает свою гносеологическую недостаточность и по другим параметрам. Например, неубедительно его определение через понятие зафиксированности слова в словарях. Интернет в своих поисковых системах обнаруживает реальное бытие огромного массива незафиксированных словарями лексем. Таковы, например, *возражатель, спрашиватель, повторятель*, квалифицированные Е. А. Земской как потенциальные. Первое из них представлено в Интернете на 2 452 страницах, второе – на 934, третье – на 477.

Е. И. Голованова
Челябинск

Имя пользователя персональным компьютером как объект полипарадигмального анализа

В языке современной культуры особый интерес представляет такое массовое явление, как имена компьютерных пользователей, функционирующие в локальных сетях, сетевых форумах, чатах. Каждое подобное имя выступает знаком самопрезентации и идентификации автора, связано с творческими способностями личности, выявляет ее коммуникативные интенции, а потому может быть рассмотрено с ономаσιологических, социолингвистических, культурологических, лингвокреативных и коммуникативных позиций.

Для обозначения имен компьютерных пользователей нами предложен термин *персоним* (от лат. *persona* ‘маска’). Это номинативная единица, выполняющая функции индивидуализации и идентификации пользователя компьютером, имеющая авторский характер и адресованная широкой аудитории в пределах компьютерного пространства. В отличие от псевдонима персоним создается в сфере неинституционального общения. Поскольку персоним репрезентирует творимый человеком имидж, в нем переплетается вымышленное и реальное, действительное и желаемое.

В ономаσιологическом аспекте все персонимы условно можно разделить на две группы: и м е н о м е т р и ч е с к и е (содержат информацию о собственном имени пользователя компьютером) и х а р а к т е р и з у ю щ и е (репрезентируют особенности его внутреннего или внешнего облика).

Даже если в качестве основы персонима используется реальное имя, оно подвергается «остранению» с помощью различных механизмов: 1) замены узуального имени экзотическим: *@antonio, Alessandro, Helga, K@TRIN, Lori*; 2) усечения имени:

Aleks (< Александр, Алексей), *Const* (< Константин), *DEN* (< Денис); 3) карнаваль-ной переделки имени: *dimko*, *Димитриус*, *Vovansiy I*; 4) переразложения имени: *RUS-LAN*, *Alex_Under*, *Il Dar*; 5) графической модификации имени за счет передачи кириллицы латиницей: *-=КиРyИЛЛ=-*, *ВиКТОР*; использования символов: *ВиТ@/uИЙ_74*, *\$ereg@*, *Konst@nt/n*; звукописи: *HyKuTOZZZ*, *max-sSs*; аббревиации: *К.О.Л.Я.*, *B.U.K.A.*; игровой фонетизации имени: *Пафка*, *Maffka*.

Вторая группа персонимов отражает стремление авторов эксплицировать ин-формацию о своем социальном статусе, ценностных установках и культурных пред-почтениях. Наиболее отчетливо проявляются три направления характеризующего наименования: антропометрическое, социометрическое и природнометрическое.

В а н т р о п о м е т р и ч е с к и х наименованиях актуализируются био-физиологические и психологические свойства человека: 1) пол: *Леду Н*, *badboy*; 2) возраст: *Малышка*, *ata*, *Oldharder*; 3) внешность: *Блондиночк@*, *Рыжий*, *Лысый мужик*; 4) части тела человека: *БОРОДА*, *нога*, *Zub*; 5) интеллект, опыт: *crasy™*, *Estet*, *profe*; 6) характер, темперамент, настроение: *ВеСёЛаЯ*, *Вредная*, *НеЖна_Я*, *Прикольный*, *Бодрый*, *псих*, *егоза*, *#Хулиган#*, *Романтик*, *МРАЧНЫЙЙ*.

С о ц и о м е т р и ч е с к и е наименования выявляют значимые отношения в сфере социальной действительности: 1) оппозиция «свой» – «чужой»: *СВОЙ*, *Stranger*, *Mr_Drugroy*; 2) топонимические ассоциации: *Гондуракис*, *derbent*, *panama*, *Rim*, *buhara*; 3) национальные признаки: *M[e]TIS*, *BAD_RUS*, *Grek*, *тамарин*; 4) отношение к семье, роду: *Testja*, *DED*, *FreeBOY*; 5) отношение к труду: *пАрАзИТ*, *Bitch*; 6) профессия: *оружейник*, *<StoMAToloG>*, *k@Sk@dyor*, *psyho_log*, *stalevar*, *TANKIST*, *ХиМуК*, *Штурман*; 7) чин, звание, должность: *MAGistr*, *Doctor*, *Instructor*, *BOSS*; 8) титул: *Graf*, *DON*, *Император*; 9) род занятий: *geisha*, *H@nter*, *IgRog*, *Killer*, *Studentka*; 10) принадлежность к группе: *Hippi*, *Punk*, *Skinhead*; 11) отноше-ние к государству: *AnarH.ist*, *ГБ*, *ПУТИН*, *СССР*; 12) склонности, увлечения: *Gamer*, *ЗажуГан_14*, *ugarnik*; 12) отношение к собственности, деньгам: *ХОЗЯИН*, *BANKIR*, *Rich*, *Bosiak*. Кроме того, в названиях проявляется апелляция к различным сферам человеческой деятельности: письменность: книга; счет: *СТО 1*, *Смо!*; музыка: **Laima**, *Modern Talking*, *Ozzy*, *Smoke*; история кино: *flini*, *CHAPLIN™*; театр: *Misterion*, *Шмыга*; религия: *САТАНА*, *Матфей*; наука: *СОКР@Т*, *Edison*; произ-водство: *autogen*, *molot*, *dizel*; военное дело, история: *Stels*, *WerWolf*; техника: *Wertolet*, *Q_ОруЗНук*, *Deltaplan*, *sensor*; быт: *Tanketka*, *ламинат*; спорт: *Sportman*, *shaiba*, *BoKSeR*; имена исторических персонажей: ***Sadam***, *LeNiN*; имена писателей: *Skott*, *Свифт*, *Rustavelli*; литературных героев: *Lup*, *alibaba*, *Ger@sIm*, *Romeo*, *Герда*, *Soyer*; мифологических: *ATLANT*, *Leviafan*, *GeFFesT™*, *_MoRfey*; фольклорных: *DED MOROЗ*, *Kolobok*, *ДОМОВОЙ*; библейские имена: *eva*, *Serafim*, *Kain*; персона-жи мультфильмов: *Leopold*, *Fiona*, *SHREk74™*, *Chester*, *Фунтик*, *Mamba*, *Наффан-Я*; кино- и телеперсонажи: *Ogri*, *Штырлиц*, *Bortan*, *мимино*, *Telepuzik*, *масяня*.

П р и р о д н о м е т р и ч е с к и е номинации: 1) обозначения пространства и времени: *-=COSMOS=-*, *PredeL*, *Kwant*; 2) первоэлементы: *AQUA*, *WATER*, *FIRE*; 3) природные состояния, явления: *Мрак*, *sy^LR@k*, *<Storm>*; 3) особенности ландшафта: *river*, *Берез Истины-2*; 4) стороны света: *Sever*, *vostok*; 5) метеорологиче-ские явления: *DoGdb*, *_СнеЖОк_*, *Tuman*; 6) астрономические объекты: *Млечный Путь*, *SUN*, *Star*; 7) свет, свечение: *LIGHT*, *svet*, *кварк*; 8) календарные циклы:

fevral'; 9) цветовые оттенки: *Black, Indigo*; 10) химические элементы, металлы, минералы: *Золото, ONIX, SILVER*; 11) растения: *Flower, M@rgaritik@, Romashka*; 12) животные: *Mamont MKII, Panda, ВОРОН, ЁЖ, КАБАН, Ягуар* и др.

Проявлениями креативности языковой личности выступают: каламбурное переразложение апеллятивной лексики: <<*Ami.go*>>, *onnuMISSmka, GoodWin, БлондиНОЧК@*; разработка локальных микропарадигм: *CrAzY_CrAb – _Crazy Town_, Crazy ZVER, Crazy Ivan*; переключки имен: *КИТ – не kum, Pivo2000 – Водка2007*; анаграммирование: *b-dog, DVB, Rnt, v-ma (rus), ddw, o_z, G.A.M.E.*; телескопические слова: *ЮлИсА (Юля + лиса)*; каламбурные псевдоимена: *N.E.O.N*; звуковая образность: *ПьянНуица, antichehhh, ORELL*; квази-имена (искусственные образования): *Nilta, Vikorn, Divin, smamr*; усечение: *orfo, RELAKS, CRIM*; паронимическая аттракция: *det_mатрос, ПыХмАчОк*; звуковая или графическая мимикрия: *WuSheNka*; звукоподражания: *Трям, Охffff, хыгх, бззз*; переделка оригинала: *\$@\$, AllegrA*; словообразовательные инновации: *Гондурасик, НеПоСеДка*; ремотивация: *Pri<SOS>ka*; номинации-трюки: *2loop, Квак, Ко-ко, кики, АПЧХУ_АПЧ_ХИ_АПЧХА*; обратное словообразование: *калю4а (< колючка)*.

С социолингвистической точки зрения интерес представляет отражение в персоне элементов современных социолектов: жаргона наркозависимых (*DoZza, GEROJN, Rastaman-plan, yo-moloko, анаша*), студенческого жаргона (*симка, Ма4о, 4el, Прикольный, Melkiy, FanaT, Перчик*), компьютерного жаргона (*COMP, haker, Gamer, Nick, VinT, Юзер, смайлик, аццкий красавчег*), воровского аргю (*Shuher, Шепель, ПАХАН, !Тюлька!, Jalo*), а также жаргонизированного просторечия (*Телочка, bratok, kachok, Vlatnoy, ЮЧирукЮ*).

Будучи тесным образом связанными с массовой культурой, персонимы характеризуются анонимностью, эклектичностью, нелинейностью, открытостью и мозаичностью. Эклектичность персонима формируется за счет обращения к различным культурам (элитарной, городской, традиционной) и дискурсам (медицинскому, спортивному, политическому, историческому, техническому и др.). Разрушение линейности достигается путем совмещения в пределах номинативной единицы элементов различных шрифтов и символических систем, неузуального употребления прописных и строчных букв, парцелляции слова посредством точки, пробела, подчеркивания, апострофа, а также разнообразного сочетания названных приемов.

М. В. Голомидова
Екатеринбург

Проблемы изобретения собственных имен в практике современного книжного нейминга

Коммерческая номинация, или нейминг, – термин относительно молодой, появившийся в связи с необходимостью описания процессов и результатов именуемой деятельности, подчиненной задачам маркетинговой коммуникации. Под ней-

мингом подразумевается целенаправленное изобретение названий для объектов, продвигаемых на рынке, поэтому результаты такой именуемой деятельности принято определять в терминах *коммерческие названия* или *коммерческие имена*.

Рассматриваемые с точки зрения маркетинга, имена печатных изданий, предлагаемых потребителю-читателю, не составляют в этом отношении исключения. Не случайно сочинение книжного имени является предметом особой заботы авторов и редакторов, оценивающих его восприятие читательской аудиторией. Область решаемых в этом случае номинативных задач нередко обусловлена не только содержанием либо форматом издания, но и частными вкусовыми предпочтениями и актуальными тенденциями книжной бизнес-моды.

Оценивая практику современного книжного нейминга, можно выделить в ней несколько зон проблемной напряженности: а) сложности номинативного креатива; б) вопросы адекватного и корректного применения стимулов психологического воздействия; в) проблемы, относящиеся к плану функционирования знаков в культурном пространстве и гармоничного либо деструктивного воздействия на сложившуюся систему культурных ценностей.

В докладе на материале библиоимов, названий отечественной книжной продукции, популяризирующей идеи и технологии личностного роста, рассматриваются смысловые ориентиры, актуализируемые в номинации в связи с предлагаемым читателю мировосприятием и мироотношением. Выявляются вербальные средства, выполняющие функцию «якорей» воздействия на покупательское поведение.

Ядерную позицию в семантическом поле, связанном с продуцируемыми представлениями о гармоничном мире, занимает концепт «успех», ср.: *«Аура успеха»*, *«17 Мгновений успеха: стратегии лидерства»*, *«Я привлекаю успех»*, *«Величайший секрет, как достичь успеха»*, *«Формула успеха»*, *«Империя успеха, или 21 ловушка на удачу»*, *«Ваш сияющий путь к успеху»*, *«Простые правила успеха»*, *«Технология успеха. Курс начинающего волшебника»*, *«Нестандартный путь к успеху. Из Иванушки-дурачка в Ивана-царевича»*.

По отношению к базовому концепту располагаются все остальные ориентиры, дающие ответы на вопросы «К чему?», «Посредством чего?» и «Как?» следует стремиться. Личностный рост оценивается главным образом через показатели успешности человека в решении вопросов карьеры, материального достатка, здоровья, сексуальных отношений, ср. *«Работа, деньги и любовь. Путеводитель по самореализации»*.

Главным психологическим основанием в борьбе за эти блага выступает чувство уверенности и любви к самому себе – *«Как выработать здоровый пофигизм, или 12 шагов к уверенности в себе»*, *«Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе»*, *«Диагностика оптимизма как стилия объяснения успехов и неудач»*.

Пропагандируемая активная жизненная позиция – это позиция лидера, готового к преобразованию окружающей человеческой среды в своих интересах – *«Заяц – стань тигром!»*, *«Искусство управленческой борьбы»*, *«Партизанская война с работодателем. Как заставить начальника платить тебе больше»*, *«Командовать или подчиняться»*, *«Мужчина и методы его дрессировки»*, *«Правила съема. Правила лидерства»*.

Названия с доминирующей информативной функцией, прозрачно раскрывающие содержание книги, как правило, сопровождают издания, рассчитанные

на специалистов: «Практикум по межличностным отношениям: помощь и личностный рост», «Психологические игры и упражнения. Развитие общительности. Преодоление застенчивости. Снятие агрессии». Менее популярны неконнотируемые заголовки в продукции для массового читателя, и в численном отношении они занимают периферийную зону общего потока.

В заголовках подавляющего большинства книг для массовой аудитории очевидно просматриваются приемы манипулирования покупательским поведением. Обещание чудесного преобразующего эффекта после знакомства с текстом эксплицируется с помощью словесных обозначений: а) «рецептов успеха» – законов, формул, правил, техник, технологий; б) тайного знания – таковым выступает магия, волшебство, секреты, тайны; в) магии чисел – 9, 10, 12, 21, 100.

Рассматриваемые с точки зрения реализации рекламной функции, направленной на то, чтобы привлечь, заинтересовать и вызвать положительную реакцию потребителя, заголовки обнаруживают действие двух тенденций. Одна из них проявляется в стремлении удивлять читателя и поражать его воображение. Вторая – в тяготении к некоему «модельному ряду», конъюнктуру в котором определяют прежде всего образцы переводной литературы.

В целях проверки читательского восприятия в ходе исследования был проведен эксперимент по методике опроса фокус-групп, составленных из молодежи в возрасте 18–20 лет. Его итоги убеждают в том, что оценка структурных и семантических качеств библионимов с помощью подобных замеров может служить полезным инструментом для номинативной корректировки и уточнения стратегии продвижения конкретной книжной продукции.

Т. В. Горлова
Кострома

К истории древнейших топонимов Нерехты

Топонимия города Нерехты, расположенного на юго-западе Костромской области, между Костромой и Ярославем, начала складываться в первой половине XIII в. В Летописце Переяславля-Суздальского под 1214 г. впервые упоминается название *Нерехта*: «Лета 6722 паки зача Костянтин рать: отгят у Георгия Соль Великую, а Кострому пожьже, а у Ярослава отгя *Нерохт...*» [ПСРЛ, 41, 131]. Более ранних сведений о Нерехте не имеется, так как раскопки на данной территории не проводились. Тот факт, что Нерехта стала причиной междоусобной борьбы в это время, свидетельствует о значимости города во времена средневековой Руси [Алексеев и др., 1997; Демидов, Кудряшов, 1996].

Город *Нерехта* назван по имени реки *Нерехта*, которая делит его на две части. Предполагается, что гидроним *Нерехта* является субстратным мерянским топонимом (как известно, летописная меря населяла Волго-Окское междуречье и Костромской край), означавшим 'река в низкой болотистой местности' [Большаков,

Михеев, Бадин, 1989, 3]. Отметим созвучие топонима *Нерехта* и именованя племенн *меря* (*Мерехта* как возможный фонетический вариант).

Типичное для многих русских городов расположение вдоль реки позволяет говорить о линейности освоения пространства. Река в данном случае является организатором пространственных связей: по мнению Е. Л. Березович [2000], эта особенность проявляется в топонимии Русского Севера.

В рукописной книге М. Я. Диева «История города Нерехты» содержатся сведения о городских названиях XVII в. Автор упоминает топонимы: *Мокрая слобода*, *Верхняя слобода (слободка)*, *Заречье (Заречная слобода)*, *Колотиха* [Диев, лл. 18–20]. Поселения *Верхняя слобода* и *Мокрая слобода* располагались по правой стороне реки *Нерехта*: *Верхняя слобода (слободка)* – вверх по течению реки, *Мокрая слобода (слободка)* – ниже по течению. Приведенные названия позволяют определить ситуацию, в которой функционируют топонимы, как «гидрографическую», т. е. связанную с привязкой к реке: «Данная ситуация предполагает объективацию и вынесение точки отсчета вовне, что соответствует современной научной географической системе» [Березович, 2000, 109]. Если топоним *Верхняя слобода* прямо характеризует объект (поселение, расположенное в верхнем течении реки), то топоним *Мокрая слобода* возник на основе метафорического переноса, ср.: «...семантическое поле в топонимии существует в двух плоскостях – “прямых” значений... и метафорических...» [Матвеев, 2006, 114].

Застройка левого берега реки *Нерехта*, организующей пространственные связи, начинается в конце XVI в. Новая часть города стала именоваться *Заречье (Заречная слобода)*, что связано, по-видимому, с позицией номинатора, находящегося в старой части города. Топоним *Заречье* имеет «прямое» значение и сориентирован относительно реки.

В труде М. Я. Диева встречается и более древнее название *Заречной слободы* – *Колотиха*. Данное наименование, по-видимому, связано с обозначением характера рельефа местности, ср.: «*Колотный, колотливый, колкий путь*... тряская дорога; колотко...» [Даль, 2, 141]. Осваивая территорию, поселенцы наверняка строили дороги; возможно, это были так называемые «торцовые дороги», сделанные из вбитых в землю торцами поленьев. Езда по такой дороге была довольно тряской, «колотливой», отсюда, как можно предположить, возникает и метафорический перенос на название местности *Колотиха*. В настоящее время топоним *Колотиха* забыт, а название *Заречье* употребительно до сих пор.

Алексеев С. И., Комаров К. И., Леонтьев А. Е., Ошибкина С. В., Рябинин Е. А. Археология Костромского края. Кострома, 1997.

Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте. Екатеринбург, 2000.

Большаков И., Михеев Е., Бадин В. Нерехта. Ярославль, 1989.

Демидов С. В., Кудряшов Е. В. Нерехта. М., 1996.

Диев – Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Отдел рукописей, ф. 7756, Титов А. А. № 3999. Рукопись книги М. Я. Диева «История г. Нерехты».

Матвеев А. К. Оноματοлогия. М., 2006.

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей. М., 1995.

«Внеалфавитные» графические средства в современной русской ономастике (на материале ник-неймов и рекламных имен)

В последнее время набирает силу тенденция графической фиксации имени собственного с помощью символов, выходящих за рамки современного русского алфавита. Такие символы мы будем называть внеалфавитными, с оговоркой, что они находятся вне русского алфавита, но не обязательно вне алфавита какого-либо иного языка, хотя последнее не исключено.

Для ономастики эта традиция не нова. Она проявлялась в сфере псевдонимов, для которых традиционны такие внеалфавитные средства, как «точка» и «звездочка», употребляемые в разных комбинациях с буквами или самостоятельно. С появлением же Интернета область использования псевдонимов существенно расширилась, поскольку сформировался особый разряд псевдонимов – ник-неймы.

Есть еще одна группа собственных имен, для которых естественным является «номинативный волонтаризм» автора номинации, в том числе графический. Это прагматимы (обозначения товаров, товарных марок), а также близкие к ним иные разряды собственных имен, функционирующие в коммерческой сфере деятельности, прежде всего эргонимы (в последнее время для этих разрядов онимов закрепился предложенный И. В. Крюковой термин *рекламное имя*).

Таким образом, тенденцию к использованию внеалфавитных графических средств в ономастике могут проиллюстрировать имена различных разрядов – как находящиеся на периферии ономастикона (рекламные имена), так и близкие к ядерной области ономастического пространства – антропонимической (ник-неймы).

Представим типологию расширения набора графических средств русского языка. Мы выделяем три уровня графического новаторства, а в рамках каждого из них – три степени «графического волонтаризма» номинатора.

Первый уровень – графическое новаторство, не выходящее за рамки русской графики в широком понимании последней. В данном случае создатель имени использует не столько внеалфавитные, сколько внеорфографические средства. По степени «орфографической свободы» можно выделить: а) принципиальное употребление буквы *ѐ*: например, раздел *Ё* на сайте журнала «За рулем» (кстати, на этом же сайте периодически появляются критические отзывы читателей, требующих введения в сам логотип буквы *ѐ* и написания через *ѐ* имени главного редактора *Петр*); б) возрождение символов дореволюционного алфавита как своеобразная стилизация: подсолнечное масло *Аведовъ*, газета *Ъ*; в) сознательное нарушение существующих орфографических норм и правил русского языка для достижения эстетического, прагматического, эпатазирующего эффекта: неправильное написание орфограмм (группа *Аукцион*), игра прописными и строчными буквами (конфеты *Кара-БУМ*), нарушения правил слитного и раздельного написания слов (ник-нейм *СимфонияГлюка*).

Второй уровень – обращение в рамках одного языка к графическим средствам другого языка. К этому разряду мы относим случаи смешения латиницы и кириллицы. Только эти два алфавита известны в нашем языковом сообществе настолько, чтобы вступить в отношения своеобразной конкуренции. «Графическая вольность» проявляется в следующих шагах: а) употребление кириллицы для иностранных заимствований – традиционный путь, во многих случаях ускоренный отсутствием официального введения имени в узус (в словарях, авторитетных периодических изданиях): магазин *De юре*, ник *Смайл*, мороженое *Смайл*; б) привлечение для графической фиксации онима латиницы, при исходном кириллическом написании лексической единицы, которая легла в основу онима: ник *Partizan*, магазин *Pelikan*, водка *Smirnoff* (это написание конкурирует со *Смирновъ*). Отметим, что многочисленные случаи использования в рамках русской языковой среды иноязычных названий в оригинальном написании также иллюстрируют данную тенденцию, но не рассматриваются нами, поскольку графическое заимствование здесь вторично; в) объединение в одном названии графических средств разных алфавитов (в основном в целях языковой игры) или имитация средствами одного алфавита знаков другого: сухарики *Хрустteam*, портал *Yandex*, ник-нейм *CaЛaMaHдPa* (здесь характерна имитация кириллической *Л* с помощью сочетания *Л* и *l*).

Третий уровень – привлечение для графической фиксации онима небуквенных символов (преимущественно цифровых, но не только). Этот процесс, в отличие от предыдущих, только набирает силу: а) введение в оним цифр (в технических целях или целях экономии): ник-нейм *Nad5151*, зубная паста *32-норма*; б) использование цифр в роли букв: ник-нейм *4yDo*; в) использование иных знаков: компьютерный салон *@льфа*, ник-неймы *Жив@я_Пчёлк@*, *(Chat°)_-_Ganjik_-*.

Апофеозом графического волонтаризма в ономастике можно считать широко освещенную СМИ попытку родителей зарегистрировать в качестве официального, «паспортного» имени своего ребенка *БОЧ рВФ 260602*.

Выбор неалфавитных графических средств в незначительной степени обусловлен техническими причинами (поскольку уже стоит вопрос о написании кириллицей Интернет-адресов), чаще всего он продиктован эстетическими, идеологическими, прагматическими и иными соображениями. Ономастика становится основным «полигоном» для испытания новых графических средств языка.

Т. А. Гридина
Екатеринбург

Стратегии прозвищной идентификации в диалектной среде

Современный диалектный социум представляет собой весьма неоднородное образование с точки зрения реализуемых в нем практик речевого поведения (общения). Вместе с тем в коммуникативном регистре разных групп сельского населения

присутствуют прозвищные номинации, выступающие специфическим средством идентификации микроколлективов и отдельной личности в рамках диалектного сообщества. Стратегии прозвищной идентификации определяют выбор оснований для создания (использования) неофициальных «имен» в соответствии с социометрическими и культурно-возрастными приоритетами носителей говоров. Охарактеризуем некоторые из таких стратегий на материале прозвищ, бытующих в речи деревенских жителей Талицкого района Свердловской области.

1. Стратегия прозвищного переосмысления оттопонимических названий жителей. Номинация группы лиц по «территориальной привязке» имеет в таких случаях подчеркнuto экспрессивный характер, обусловленный особенностями использованной структурной модели и/или характерологической актуализацией внутренней формы исходного (производящего) топонима: Ср.: *поротята* – прозвище жителей д. *Поротниково* (суффикс *-ята*, указывающий на совокупное множество лиц, характеризуемых по принадлежности к одному месту жительства, обладает коннотацией уменьшительности/ласкательности): *Поротниковских поротята зовут, ласковое такое прозвище; коновалы* – жители д. *Коновалово* (оценочные коннотации прозвищной номинации связаны с прямым и переносным употреблением слова *коновал*, выступающим апеллятивной основой исходного топонима). Мотивация подобных оттопонимических дериватов не всегда осознается современными диалектоносителями и может переосмысляться под влиянием системы характерологических кодов прозвищной номинации. Ср.: *кобылицы* – прозвище жителей д. *Красногорка*, актуализирующее связь с прежним названием деревни – *Кобылино*. «Стертый временем» исходный мотив способствует осмыслению данной номинации в одном ряду с «популярными» в Талицком районе отзоонимными экспрессивно окрашенными коллективными прозвищами (см. ниже).

2. Стратегия прозвищной идентификации, выявляющая исторически сложившийся коллективный «образ» жителей того или иного населенного пункта, характеристику их по доминирующим чертам поведения, быта, особенностям хозяйственной деятельности, внешнему виду и т. п. В рамках данной стратегии реализуются разные номинативные коды образной и/или экспрессивно-оценочной прозвищной идентификации:

- «зоономический» код, использующий для идентификации жителей одного населенного пункта названия домашних животных: *Кабаны, кобылицы, козлы, да телята, да бараны* – это жители разных деревень. *Козлы* – это упоровские (д. Упорово), *телята смолинские* (д. Смолинское) и т. п. Несмотря на то, что эти коллективные прозвища широкоупотребительны и стабильно используются в речевой практике, не все местные жители могут объяснить причину их появления: *Козлы да козлы. Ой, говорят, козел, об упоровских. А почему так зовут, не знаю* (подобные комментарии типичны). Можно предположить, что данные прозвища имеют метонимическую природу и связаны с мотивом разведения (содержания) жителями той или иной деревни разных видов домашнего скота; ср. контексты типа: *Катарацкие коров дёржат; Дак, у кого телята, у кого козы да бараны – у всех скотина здесь была и щас дёржат*. Вместе с тем отмечается и экспрессивно-оценочное образное осмысление местным населением отзоонимических коллективных прозвищ на основе ассоциаций по сходству поведенческих черт животного и человека: *Телята, те шибко простодушные, как говорят «ни украсть, ни покарау-*

лить»; Бараны (жители д. Буткино Озеро) по характеру упрямые, живут обособленно, им в бабку ничё не долбишь, оне на своём стоят; Козлы своенравные такие, да еще блудливые (закрепленные в национальном сознании русского народа оценочные константы зооморфных образов «подпитывают» восприятие и использование соответствующих им прозвищных номинаций в характерологической функции);

- «орнитологический» код, служащий источником образования «семейных» прозвищ: голуби, грачи, гагары и т. п. В сознании местных жителей восприятие таких прозвищ связано с мотивом родства, «множества», принадлежности к одной «породе»: Грачи да голуби да гагары. Это родовые все названия, оне (носители прозвища. – Т. Г.) все родственники. Относительно номинации гагары (в силу ее единичной фиксации, в отличие от грачи, голуби) можно предположить ассоциативную «щепочную» актуализацию модели в ситуации припоминания и «подкрепления» диалектоносителем мотивации реально функционирующего прозвища. Коннотирующим оценочным фактором образного осмысления прозвищных номинаций этого типа, по-видимому, выступает аналогия с характером «групповой» жизни птиц и отличительными чертами их внешнего облика и «поведения»: Грачи – порода така, оне все как есть черные (черноволосяе и смуглые). Подобные коллективные прозвища могут использоваться и для идентификации конкретного представителя обозначенной «родовой» общности: Коля Грач, у его дети не грачи (жена-то светлая дак), а братья и отец все черные;

- «посудный» и «пищевой» коды коллективной прозвищной идентификации жителей, связанных отношениями родства и общими особенностями быта: кринки, грудки, чугунок, чугунята, шабальята (ср.: грудка ‘творог’, кринка ‘круглый глиняный горшок для хранения молочных продуктов’, чугунок ‘вид посуды, чугунный горшок’, шабала ‘поварешка’). Объяснения мотивации подобных прозвищ носят «сценарный» характер (трактуются, в частности, на основе «легенд» из истории заселения региона): В деревню пришли старообрядцы со своим скарбом, ели общим столом, каждый должен был принести свое из посуды и еды: кто кринку, кто чугунок, кто шабалу. Отсюда и прозвища родовые пошли: чугунята (Вся родня чугунята зовут: Саня Чугун да Нюрка Чугунка), шабальята. Кринки да грудки да – так буткинских зовут. Грудка – это творог, то, что наверху, где сметану уберут, кверху чё поднимется, вот это грудка. В сочетании с личным именем собственным такие прозвища нередко получают образно-характерологическое осмысление: Толя-грудка – он толстенький такой, белолицый, и правда, как грудка;

- «одежный» код, используемый для коллективной прозвищной идентификации жителей одного населенного пункта: зипунята, зипунники (д. Вихляево);

- «профессиональный» код, используемый для характеристики групповых объединений жителей по виду их деятельности: Тележники – зарубинцы (жители с. Зарубино), телеги делали, так их поэтому прозвали;

- «произносительный» код, используемый для характеристики жителей населенного пункта по особенностям их речи: чёкальники (жители д. Озеро Дубровное). Названы так, возможно, по привычке «чёкать»: Мы чём знаем? Говорят «Ой, чёкальник»; Аксинья Титиха сказывает: «Чё садишь?» – «Да ничё». – «Ну, вот ничё у тебя и неросло (шутливая приговорка). Не исключено, однако, что объяснение данного прозвища имеет народно-этимологический характер.

3. Прозвищная идентификация по гендерному семейному статусу. Таковы, например, прозвища, которые получают только замужние женщины. Источник их образования – имя мужа. Способ образования – суффиксация с использованием «женского» форманта *-их(а)*. Мотивирующей основой служит чаще всего уменьшительная (неполная, неофициальная) форма мужского имени (*Колыха, Сашиха, Толыха*). Такие прозвища могут употребляться как самостоятельные (ср. шутивную приговорку: *От, сошлись жо Ларион да Лариха*), но чаще выступают как вторая часть личного женского имени, идентифицируя «замужнюю женщину»: *Маня (Марья, Манька) Петиха, Аксинья Титиха* и т. п. Возможно, данная стратегия прозвищной идентификации – отголосок патриархальных отношений в крестьянской семье, где хозяином считался мужчина (муж), а женщина занимала подчиненное положение. Ср. единственный случай образования мужского прозвища по имени матери: *Миша Дунькин (Его так зовут по имени матери. Она всю жизнь жила без мужа, а мужчина ее жил на две семьи. Ее всегда Дунька звали, а не по имени и отчеству. Слишком простовата она. Потому и сын Миша Дунькин)*.

Каждая стратегия коллективной прозвищной номинации задает свой ценностный регистр в системе социально значимых параметров идентификации личности.

Л. Г. Гулиева

Баку (Азербайджан)

Топонимия и фоновая информация

В последнее время в ономастических исследованиях заметный уклон делается в сторону лингвокультурологического направления. Онимы относятся к тому слою лексики языка, который обладает наибольшей информативностью. Как отмечает В. И. Супрун, «семантическое наполнение онима включает весь объем информации о номинированном объекте, которую дает язык... Если лексическая семантика имен собственных специфична, существенно отличается от апеллятивов, то разного рода коннотативные и фоновые значения, а также примыкающие к ним этимологические, ассоциативные, сакральные и пр. семы наличествуют у онимов в значительной степени...» [Супрун, 2008, 206]. Лингвокультурологическая информация онимов является фоновой. Взаимосвязь языка и культуры отражает ментальную сущность восприятия человеком окружающего мира.

В онимах аккумулируется опыт человека (сохраняются знания человека о денотате), в них находят отражение в языковой форме та или иная область материальной и духовной культуры народа. Онимы хранятся в памяти человека, являются транслятами культурной информации. Языковое значение онимов охватывает энциклопедическое знание о предмете, связано с фоновой информацией.

Русская топонимия Азербайджана как определенный стратиграфический пласт [см. об этом: Гулиева, 2008], имеющий хронологически ограниченный период су-

шествования и функционирования на данной территории, непосредственно связанная с культурой русского народа, с его мировидением, с его картированием окружающего мира. Изучение русской топонимии Азербайджана, как и любой системы онимов, с когнитивных позиций позволяет показать, как в ней репрезентируется языковая картина мира [см.: Гулиева, 1984; 1990].

Культурологический аспект изучения русских топонимов выявляет основные концепты, формировавшие русскую региональную топонимическую систему, оторванную от своей метрополии, возникшей и существующей в иноязычном ономастическом пространстве, в тюркской среде. Совокупность концептов создали целостную концептосферу онимов, которые используются в определенном регионе, тесно соприкасаются с диалектными концептами (русским островным говором Азербайджана) и носят универсальный характер. Русский человек в другой, незнакомой ему среде, пространстве, создал такую же систему топонимов, семантически и структурно связанную с русской (славянской) ономастической системой в целом. В то же время происходил процесс заимствования как на уровне апеллятивном, так и на проприальном: заимствование чужих слов было обусловлено заимствованием новых предметов и понятий. В русскую систему онимов включаются и заимствованные онимы, оформленные русскими элементами.

Репрезентация топонимических концептов в языке народа, соседствующего с другим этносом на одной и той же территории происходит следующим образом: создается оним на своем языке, дающий представление об основных ценностях (духовной жизни, памяти, традициях и т. д.) в сознании человека. Ономастикон формируется из единиц нарицательной лексики (входящих в местный говор, отражающих местные реалии), имеющих практическую значимость в жизни человека. Русская топонимия Азербайджана создавалась на базе русского островного говора, южно-русского по своей основе [см.: Гулиева, 1984, 52–87], хотя это не единственный источник ее образования. В русской топонимии доминируют онимы, образованные от имен и фамилий первопоселенцев: *Алексеевка, Александровка, Андреевка, Владимировка, Гавриловка, Григорьевка, Ермолаевка, Илларионовка, Кобелевка, Козляковка, Михайловка, Николаевка, Павловка, Суловка, Шатиловка* и др. Появление подобных топонимов не является случайностью: они отбираются из концептосферы русского языка (в данном случае говора), они представляют собой знания об определенном ониме, являются номинативными универсалиями, связывающими их с ономастической системой метрополии. Они как единицы культурологического фона несут этнопсихологическую и социологическую информацию. При сопоставлении их с другой топонимической системой на том же ономастическом пространстве они позволяют выявить типологические особенности семантической структуры в разнородных языках. Так, концепт «человек» доминирует в обеих топонимических системах (тюркской и славянской) на территории Азербайджана. Помимо этого, в обеих системах репрезентируются следующие концепты: «фауна и все, что с ней непосредственно связано»; «флора и все, что с ней непосредственно связано»; «то, что можно ощутить, воспринять, запомнить, осознать»; «неорганический мир, вещества».

Русская топонимическая система Азербайджана, которая в нынешнее время представляет собой нивелирующийся, закрытый пласт, отражает культурологическую ситуацию в определенный исторический период. Заключенная в ней фоновая информация сохранится, несмотря на изменившийся статус.

Гулиева Л. Г. Русская топонимия Азербайджана. Баку, 1984.

Гулиева Л. Г. Типология семантической структуры топонимиконов разносистемных языков (на материале топонимии Азербайджана). Баку, 1990.

Гулиева Л. Г. Статус русской топонимии Азербайджана на стыке веков // Ономастика Поволжья: Мат-лы XI Междунар. науч. конф. Йошкар-Ола, 2008. С. 33–36.

Сунрун В. И. Русские антропонимы в языке и речи // Ономастика Поволжья: Мат-лы XI Междунар. науч. конф. Йошкар-Ола, 2008. С. 206–210.

А. В. Гура
Москва

О некоторых названиях свадьбы у славян*

Название ⁺*svatǔba* встречается во всех группах славянских языков. Широко представлены диалектные варианты этого названия с диссимилятивной заменой на стыке морфем первого из двух шумных взрывных (*d* перед *b*) на сонорные *r*, *l*, *n* или *j*: рус. *свар(ь)ба*, словац.-укр. *svárba*, чеш. *svarba*, *svarby*, в.-луж. *swarba* (ср. также словен. прекмур. *posvarbica* ‘девушка, дружка невесты’); рус., укр. *свальба*, словац. *svaľba*, болг. *свалба*; рус. вят. *сваньба*; рус., укр. *свайба*, словац. *svajba*, чеш. *svajba*.

Особого внимания заслуживает предположение, высказанное еще В. Ягичем, о связи рус. *сварьба* с глаголом *сварить*, *сваривать* ‘сковывать’ (**svariti* ‘сковывать что-л. горячим’), к которому в Древней Руси возводилось и название языческого божества Сварога. Об этом свидетельствует отождествление славянским переводчиком Хроники Малалы античных богов Гефеста («Феосты») со славянским Сварогом и Гелиоса («Солнца», «сына Сварогова», т. е. Сварожича) с Дажьдбогом в Повести временных лет под 1114 г. (по спискам Ипатьевской летописи). В этом летописном пересказе Хроники «Феосте» (а следовательно, и Сварогу) приписывается одаривание людей умением ковать металл («въ время царства его спадоша клѣщѣ съ небесѣ, нача ковати оружье, прѣже бо того палицами и камениемъ бяхуся») и введение единобрачия («Тъ же Феоста законъ устави женамъ за единъ мужъ посагати», «единому множу едину жену имѣти и женѣ за одинъ мужъ посагати; аще ли кто переступить, да ввергуть и в пещь огнену». «Сего ради прозваша им Сварогомъ»). Кроме того, согласно «Слову некоего христороубца» (предположительно XI в.), Сварог связан с огнем, а также, по всей вероятности, с петухом, приносимым ему в жертву: «Коуры рѣжють, и огневи молятъ же ся, звуче его сварожичьмъ». Петух своей ярко выраженной солярной символикай косвенно подкрепляет соотнесенность Сварога с солнцем (небесным огнем). Огненная символика и кузнечная функция до сих пор сохраняются в новгородской диалектной лексике: *сварог* ‘огонь’

* Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

и *полевой свáрог* ‘кузнечик’ (архаические следы почитания кузнечика, наделяемого демоническими свойствами, восходят, возможно, еще к балтославянской эпохе).

Связь с небесным огнем (солярная функция) была свойственна и почитаемому в Ретре богу балтийских славян Сварожичу-Радгосту. По созвучию слова *кузня* и т. п. с именем *Кузьма* функции Сварога как божества огня и небесного кузнеца были перенесены на христианских святых Косму и Дамиана, часто представляемых в народной традиции как один божественный кузнец *Кузьма-Демьян*. У него мы находим тот же набор символических характеристик, что и у Сварога. Этим святым присуща кузнечная функция: «Кузьма-Демьян – божий кузнец», в легендах и сказках Кузьма и Демьян – небесные кузнецы, куют плуги и раздают их людям, выступают как кузнецы-змеборцы, куют звезды на луне, куют ледяные цепи и заковывают в ледяные оковы дороги и реки. Они выполняют и брачную функцию: Кузьма и Демьян – свадебные кузнецы, сковывают своими молотами браки, куют свадебные венцы и брачные узы – цепи, ср. смол. *кузьма* ‘свадебная песня’. Через кузнечное ремесло Кузьма и Демьян связаны с огненной стихией: в сказке (СУС 300А) из Черниговской губернии Кузьма и Демьян раскаленными щипцами защемляют язык змеихи и убивают ее молотами; деньги, вырученные с «обетных» работ ко дню Кузьмы и Демьяна, тратились на покупку свеч к иконам; с почитанием огня связан и куриный праздник на Кузьму и Демьяна. В качестве атрибута святых выступает петух: праздник *кочетятник* в честь св. Кузьмы и Демьяна (1.XI); «На Кузьму-Демьяна куриная смерть»; обычай резать петухов и кур в жертву Кузьме и Демьяну как покровителям кур; ворон. *кур молить, курмолить*; ярославский обычай рубить в овине голову петуху на Кузьму и Демьяна и бросать его ноги на крышу избы для того, чтобы водились куры.

Таким образом, в семантическом поле *свар-* фокусируются несколько связанных между собой символических значений – относящихся к браку, ковке, огню и солнцу. Брачная семантика запечатлена, в частности, в русской диалектной лексике, прежде всего в глаголе *сварить* ‘устраивать, слаживать (свадьбу и т. п.)’, а также в его семантических дериватах: *сварить* кого-л. с кем-л. ‘помирить, сдружить кого-л. с кем-л.’, *свариться* ‘связаться, сблизиться, сдружиться с кем-л. для неблагоприятных дел’, псков. *сварить* ‘сшивать полотна рыболовных сетей’. Все это позволяет считать термин **svar̥ba* не поздним фонетическим новообразованием, а достаточно древним названием свадьбы, но что указывает и распространение этого термина в разных славянских языковых группах – восточнославянской и западнославянской, а также в одном периферийном словенском говоре.

Названия свадьбы подвергаются вторичной семантизации, получая значение ссоры, что подтверждается некоторыми фольклорно-этнографическими данными: *+svar̥ba* сближается с такими названиями ссоры, как рус. *сварка* ‘ссора, свара’, чеш. *svár* ‘ссора, раздор, распря’ и т. п.; *+svad()ba* народно-этимологически осмысливается как производное от **stvāditi* (ср. рус. *свадить*, стар. *свадиту* ‘поссорить кого-л.’, *свадиться* ‘сориться, браниться, враждовать’).

Этнолингвистический комментарий к этимологии **nevěsta**

В традиционных представлениях невеста в решающий период обрядового «перехода» наделяется чертами сакральности: святостью, полезными или опасными магическими способностями, даром прорицания и демоническими свойствами, сближающими ее с мифологическим персонажем. В момент утраты прежних социальных связей и еще не установившихся новых невеста близко соприкасается с демоническим миром. Белорусы воспринимали невесту в этот переходный момент как «нечистого человека». В белорусских и украинских свадебных песнях люди в церкви и ее мать не узнают обвенчанную невесту. У белорусов, украинцев, хорватов, чехов в песнях или в самом обряде матери жениха сообщают, что ей привезли некое демоническое существо: завернутого черта, черта с болота, медведя или волчицу из темного леса («на народ як глянєць, дык народ аж вянець»). У приморских словенцев по прибытии молодых к дому жениха приезжих спрашивали: «Что вы привезли? Мы вас не знаем. Вы не здешние».

Неузнавание невесты в ее новом качестве согласуется с этимологией самого слова **nevěsta* как «неизвестная» [Фасмер, 3, 54–55]. Мотив опознавания невесты имеет и ритуальную форму выражения в свадебном обряде, обычно после венчания или других ритуальных действий, символизирующих заключение брака, причем препятствием для опознания чаще всего является новый (женский) головной убор невесты. В Заонежье такой ритуал происходил после перемены невесте прически и головного убора в доме жениха после венчания. Ему подавали зеркало и просили посмотреть, его ли это молодая. В восточной Словакии и в юго-восточной Болгарии молодым давали посмотреть в зеркало также после перемены невесте головного убора. До бракосочетания же невесте нередко запрещалось смотреть в зеркало, например у поляков – с момента одевания в венчальную одежду. Характерно, что и у болгар, и у словаков, и у русских молодые чаще всего смотрелись в зеркало обвенчанными, когда они уже считались супругами. Это не только должно было принести им удачу и взаимную любовь, но и имело смысл отождествления личности в новом статусе, восстановления и ритуального подтверждения своей идентичности.

В западной Болгарии, когда невесту привозили к жениху, лицо ее все еще было закрыто, молодые не должны были видеть друг друга. В Варненском округе невесте не раскрывали лицо и на второй день свадьбы: когда на нее приходили посмотреть родственники и односельчане жениха, они не должны были видеть ее лица, для них она должна была еще оставаться внешне неизвестной. С той же целью лицо

* Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

невесте закрывали покрывалом при выведении ее к приехавшим родственникам также в украинском Полесье. На Волини к родственникам молодой за стол сажали сначала одну за другой двух подменных («невест»), а когда наконец выводили настоящую невесту, пели песню, в которой представляли ее неузнаваемой: «Ведемо тура в хату, / А ти пізнавай, тату: / Чи тур, чи туриця, / Чи хороша молодиця». Причиной неузнавания был новый головной убор (покрывало замужней женщины), по сравнению с тем, в каком еще вчера ее видели родители. У словаков Зволена родители, приезжающие на свадьбу в дом жениха, также отказываются признавать невесту в женском уборе за свою дочь. У словаков Спиша после перемены невесте головного убора она спрашивала родителей жениха, узнают ли они ее в новом виде, а в районе Зволена сразу после завивания вызывали к невесте жениха и спрашивали, узнает ли он ее. Мотив опознавания невесты в шуточном, игровом виде присутствует и в выведении жениху подставной, мнимой «невесты», лицо которой обычно было закрыто платком. Например, у кашубов от того, удастся или нет жениху распознать невесту, зависело, удачным будет его брак или нет. Мотив неузнаваемости применительно к невесте выступает также и в мотивировке обычая из юго-восточной Болгарии: когда молодая вечером через день после свадьбы впервые отправляется в гости к своей матери, лицо ей снова закрывают покрывалом, а свекровь надевает на нее поверх одежды свою рубашку и выводит в таком виде невесту под зонтиком из дома, чтобы ее не узнали и чтобы «звезды ее не видели». В северо-восточной Болгарии на второй день свадьбы невесту с закрытым лицом отводили в родительский дом. Если она была из другого села, не все родственники ее могут узнать, но лица ее видеть не могут. При попытках приподнять покрывало невеста укрывается и никому не позволяет увидеть свое лицо.

Семантика неопознаваемости невесты, вскрываемая в этимологии ее наименования, связана с обрядовым «переходом», которому подвергается невеста, с символической смертью ее в прежнем качестве и «воскресением» в новом. Существенно и то, что этот «переход» сопровождается апотропейным по своей функции закрытием лица невесты, необходимого при идентификации внешности. Мотив неузнавания в связи со свадьбой и смертью встречается в новгородской примете: *Обознаться в человеке – к свадьбе или к покойнику*. Неопознанные внешне ассоциировались с отходящими в мир иной или вступающими в брак, которых объединяет отсутствие статусности в момент ритуального «перехода».

Л. Г. Гусева
Екатеринбург

Пермские глоссы в лексике свадебного обряда

Свадебный обряд – в том виде, в каком он существует сейчас, – значительно упрощен. Все меньше остается людей, знающих от своих дедов и прадедов о старинной свадьбе, помнящих строгую последовательность всех ее этапов, – вот почему

необходимо бережное отношение к каждому слову, отражающему различные грани этого поистине удивительного явления в жизни русского народа.

Сравнение лексики свадебного обряда, зафиксированной только в говорах на территории бывшей Пермской губернии (по данным различных письменных источников XIX – начала XX в., в том числе и лексикографических) и представленной в Словаре русских народных говоров (СРНГ), с материалами современных уральских словарей (СРГСУ, СРГСУ-Д, СПГ, АС) позволяет говорить не только о круге слов, которые живут в пассивном лексическом запасе диалектоносителей старшего поколения, но и о лексемах, которые совершенно вышли из употребления и в уральских словарях отсутствуют.

К ним, очевидно, относятся следующие слова и словосочетания:

Вставáльное яство ‘последнее блюдо на свадьбе’. Перм. (год и автор неизвестны) [СРНГ, 5, 213].

Вы́сватанье ‘сватанье, высватывание’: *Вено или за́прок... берут... с жениха при высватанье*. Шадр. Перм., АГО [СРНГ, 6, 17].

Захлебётник ‘посторонний зритель на свадьбе’. Охан. Перм., 1930 [СРНГ, 11, 149].

Захребётник ‘в свадебном обряде – тот, кого отец невесты посылает к жениху’: *Дружкам песни поют по отъезде уже свадьбы, так как они здесь (в доме невесты) остаются дожидать «послан», захребетников, каковых отец невесты посылает к жениху от двух иногда до восьми человек сыновьев и зятьев своих*. Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. уч. арх. комис., 1913, вып. 10 [СРНГ, 11, 162].

Зва́та ‘в свадебном обряде – женщина, приглашающая родственников невесты для обсуждения свадебных вопросов’. Чердын. Перм., 1859 [СРНГ, 11, 211].

Ковáнец златоверх ‘старинный женский чепец’. Добрян. Перм., 1930 [СРНГ, 14, 26].

Меньша́нка ‘одна из подруг невесты, одевающая ее к венцу’. Перм., Богословский [СРНГ, 18, 111].

Мы́льня ‘мытье невесты в бане перед свадьбой’. Перм., 1930 [СРНГ, 19, 55].

Мыть в снегу́ ‘толкать в снег, натирать снегом новобрачных в первый понедельник Великого поста’. Шадр. Перм., 1930 [СРНГ, 19, 66].

Наго́вор ‘стих, песня, исполняемые во время свадьбы дружкой, «продавца-ми» и т. п.’. Чердын. Перм., 1930 [СРНГ, 19, 202]. Ср. *наговóр* ‘то же’. Костром., 1904 [Там же].

Нагрéвша́я сва́ха ‘в свадебных обрядах – сваха, выполняющая обряд с согреванием постели новобрачных’. Красноуфим. Перм. Миртов [с пометой «стар.»], 1930 [СРНГ, 19, 213].

Пирóжный день ‘угощение пирогами, приготовленными молодой на второй день свадьбы’. Следующий день (после свадьбы) зовется *пирожным*, потому что новая хозяйка жарит пироги из говядины и угощает ими всех гостей. Кунгур. Перм., архив РГО, 1848. *Пирóжный стол* ‘праздник на второй день свадьбы’. Перм., 1860. Когда на пирожном столе подают блины, жених бросает тарелку из-под блинов на пол. Перм., Архив РГО, 1987. *Пирóжные столы́* ‘праздник на третий день свадьбы в доме родителей молодой, которая угощает гостей пирогами’. Прикам., нач. XX в. [СРНГ, 27, 42].

Данные пермские глоссы в лексике свадебного обряда являются местными, территориально ограниченными названиями фрагментов русского свадебного обряда. Наряду с ними зафиксированы 3 лексемы, значение которых неясно:

Барцевый (удар.?) и *барцовый* (знач.?). Жениху в день брака дружки привязывали сзади к шее распущенные большие красные барцовые платы. Чердын. Перм., 1850 (Зеленин). На голову <женщины> надевали шелковую клетчатую шамшуру, а по бокам ее вокруг головы повертывали сложенный узенько «барцевый» платок с завязанным на лбу шанежкой узлом, а поверх всего этого головного убранства покрывались фатой. Красноуфим. Перм., Тр. Перм. губ. уч. Арх. ком., 1913 [СРНГ, 2, 123].

Братовство (удар.?) ‘часть свадебного обряда’: *Еще велел наш новображной... спросить у вас, да у вашей милости: сватовство, братовство, рукобитье и обрученье было ли?* (из присказок-прибауток дружки на свадьбе). Красноуфим. Перм., 1913 [СРНГ, 3, 160]. Возможно, семантически слово *братовство* как обозначение фрагмента свадебного обряда связано с обл. *братовство* ‘братские отношения, братание’: *Король повеле учинити ему казнь – отсечь главу. Обозревся он семо и овамо реки предстоящим: «Прошу вас, братия моя, отдать мне долг братства».* Шл. сын (М), 301 [СРЯ XVIII в., 2, 129].

Кутіны (знач.?). *Кутіны-полатины* [знач.?]. При приезде молодых в дом родителей невесты на полатях избы ребятишки кричат: «Кутины-полатины». Урал, Миртов, 1930 [СРНГ, 16, 169].

Н. А. Дарбанова
Новосибирск

«Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» как источник этнокультурной информации: репрезентация представлений о времени

Диалектные словари являются одним из основных источников изучения региональной этнокультурной специфики, исследование которой может дать более полное представление о мировосприятии русского человека.

В докладе представлены результаты исследования метрической темпоральной лексики как средства языковой экспликации представлений о времени, существующих в сознании забайкальских старообрядцев (семейских). Источником фактического материала послужил «Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» (Новосибирск, 1999). В нем предложено лексикографическое описание говоров семейских – специфической этноконфессиональной группы, которая сформировалась на территории Забайкалья во второй половине XVIII в. и сохранила до наших дней культурно-языковое своеобразие.

Цикличность и дискретность времени. В говорах семейских реализуются линейная и цикличная темпоральные модели с преобладанием последней: время осознается носителями языка как последовательность «точек» на ненаправленной градуированной замкнутой круговой линии (цикличное время) либо как последовательность «точек» на направленной градуированной прямой

линии (векторное время). Под «точкой» на этих градуированных линиях подразумевается явление или событие, являющееся координатой, по которой устанавливается «место» события в ряду других и его протяженность во времени, и временным ориентиром, с которым соотносятся другие явления или события. В суточном цикле семейских в качестве таких «точек» выступают некоторые части суток – *зарянка* ‘заря (утренняя или вечерняя)’, *свет* ‘рассвет’ и др.; время моления – *часы: утренний начал* ‘утренняя молитва’, *повечерница* ‘вечерняя молитва’ и др.; трапезы – *чаёвка, чаевая пора*. «Точки» ограничивают временные интервалы: *утрень* ‘промежуток времени от рассвета до полдня’; *уповод/уповодь, упряжка* ‘промежуток рабочего времени от перерыва до перерыва’.

В обыденном представлении время дискретно – это чередка работы и отдыха, поэтому оно в сознании семейских (и в целом в традиционной крестьянской культуре) разделено на периоды работы: например, день делится на промежутки рабочего времени от перерыва до перерыва – *уповоды, упряжки*; год – на периоды по виду сельскохозяйственной деятельности: *вёшная* ‘посевная’, *страда* и т. п. В восприятии семейских сутки, год предстают как пунктирная круговая линия, постоянно повторяющаяся: *дни*, наполненные работой, перемежаются с перерывами в трудовой деятельности – *ночами*, «отсутствующими» для нее. Поэтому *день* для семейских – светлая часть суток, предназначенная для выполнения работы, *ночь* – темная часть суток, перерыв между периодами работы. Таким образом, в сознании семейских предназначение времени – быть временем активного производительного труда.

Размытость границ временных интервалов и неопределенность их протяженности. В представлениях семейских время статично, скалярно, мир и наблюдатель динамичны: *Дак ишо дожить надо до Паски*; время динамично, мир и наблюдатель статичны: *Последнее столетие доходить, будить Страшный суд*. Время движется навстречу: *Вот сейчас настает пос (пост), а четвертого – это Родителя, Родительский день*. Время может перемещаться в одном направлении вместе с миром и наблюдателем, однако скорости их движения могут не совпадать: время движется быстрее, чем мир: «Время такое пристигло».

Динамичность времени в диалектной картине мира сопряжена с размытостью границ темпоральных отрезков. Событие может перемещаться по неподвижной шкале времени (например, *Паска*). Если такая «точка» является ограничителем какого-либо временного интервала, то его протяженность неопределенна.

Многозначность единиц измерения циклического времени и совмещение разных систем измерения времени. Единицы годового, недельного циклов воспринимаются двояко: с одной стороны, они обозначают события, которые соответствуют определенной дате (единице измерения времени) официального астрономического календаря; с другой стороны, они сами являются временными ориентирами, единицами измерения времени народного календаря. В представлениях семейских эти календари не дифференцируются, смешиваются и совмещаются в единую систему исчисления времени: *Свели нас у мае, а на Троицу справили свадьбу*.

Для времени как фрагмента языковой картины мира забайкальских старообрядцев характерны универсальные признаки: относительность, дискретность,

подвижность; признаки, свойственные восприятию мира диалектоносителями: относительность и приближительность хронологии, размытость границ временных отрезков и неопределенность их протяженности, многозначность единиц измерения времени, использование разных календарей для измерения времени и их смешение. Региональная специфика проявляется на уровне репрезентации данного фрагмента языковой картины мира в диалектной лексике.

Л. М. Дмитриева
Барнаул

Ментально-топонимический стереотип: комплексное описание

В настоящее время одним из предметов различных гуманитарных исследований становится стереотип – сложное лингвосоциопсихологическое явление, изучение которого ранее считалось прерогативой психологии. Повышенный интерес к данному феномену объясняется отнесением его к разряду регулирующих начал социального и языкового поведения личности. Поэтому различные области научного познания, в том числе и области лингвистического знания, могут указывать, какой тип признаков будет включен в семантическую компетенцию термина *стереотип*. Стереотипы – один из исследовательских путей поиска смысла бытия, а события, формирующие их, характеризуют нас и наш обыденный мир.

Следует сказать о терминологическом «континууме», в котором используется понятие стереотипа. Современной науке о языке известны различные определения к слову *стереотип*: оценочный, концептуальный, когнитивный, культурный, национальный, этнический, ментальный.

Можно отметить три особенности изучения стереотипов сознания. Первая из них состоит в том, что выделение многих видов стереотипов объясняется узкими контекстами их изучения и описания. Вторая особенность связана с когнитивным подходом к языку, когда основное внимание уделяется тем компонентам знания, которые, участвуя в организации мышления, не даны субъекту непосредственно. В рамках лингвистики любое использование термина *стереотип* сопряжено с языковым сознанием и языковой ментальностью. Наконец, третья особенность связана с методами выявления стереотипов, которые определяются ролью языка в функционировании стереотипов сознания.

Показательны исследования стереотипа в топонимической науке. При описании региональной топонимической системы в ментальном аспекте нами введен термин *ментально-топонимический стереотип*, который применим к языковой и познавательной деятельности человека, отражающего в своем сознании информацию относительно объектов окружающего мира. Под ментально-топонимическим стереотипом мы понимаем фрагмент представления знаний, изменяющийся с течением времени комплекс стандартов восприятия окружающей действительности. Здесь

следует сказать о принятом нами положении, согласно которому языковая ментальность – это в некотором роде «манера» языкового представления мира (манера языкового мышления). Языковую ментальность формирует некоторый набор стереотипов восприятия мира.

Образование стереотипов напрямую связано с явлением преемственности, которая наследует исторический опыт духовной жизни, заключающий в себе определенный мыслительный потенциал. Передача и использование накопленного мыслительного, духовного опыта составляет содержание духовной преемственности как необходимого условия и внутренней детерминанты развития сознания, а следовательно, и топонимической системы.

Стихийная преемственность отражает непреднамеренное, неконтролируемое социальное наследие. Оно, как правило, осуществляется на уровне обыденного сознания и представляет собой реализацию наследования чаще всего без попытки проникнуть в сущность явлений. Сознательный тип преемственности характеризуется освоением культурных ценностей с заранее поставленной целью.

Явление стихийного образования стереотипов особенно существенно для топонимической системы. Оно позволяет рассматривать ее с позиций самореализации языковой материи. В этом отношении топонимическая система предстает как самостоятельный универсум, способный к развитию и самоорганизации. Таким образом, динамическое существование единиц системы на ментальном уровне происходит во флуктуирующей среде, которая порождает ментальные модели, организующие и сохраняющие результаты совместных когнитивных и речевых усилий.

Топонимическая система в своей основе имеет набор базовых стереотипов, которые связывают единицы всех классов имен и уровней языка между собой и со сферой внеязыкового опыта, внутренне организуют топонимическую систему. В топонимии Алтая можно выделить четыре функционально сильных стереотипных комплекса: 1) антропоцентрический, 2) временного соположения, 3) пространственного соположения, 4) отражения внутренних свойств.

Механизм образования стереотипов включается в действие, когда топонимическое название становится новой информацией для человека – и он начинает вписывать его в свой круг знаний, сформированных в ходе духовно-практической деятельности. На этом этапе идет процесс стереотипизации, организующий топонимическую систему по определенным моделям.

Например, при реализации стереотипа отражения внутренних свойств в основе топонима лежат конкретные физические признаки именуемого объекта, такие как цвет, форма, размер, флора, фауна и т. д. Ср. мотивировки названия р. *Катун* (Краснощекровский район, с. Березовка), объединенные стереотипом отражения внутренних свойств: *Наверное, когда весной вода разливалась, река словно катилась; Эта река текла у лога и была очень чистая. Весной из нее воду брали пить. Название, вероятно, связано с р. Катунь в Бийске, потому что в Бийской Катунь вода тоже была очень чистая.*

Для первого варианта характерно зрительное восприятие объекта, потому что информант сам видел, как разливается река, и он соотносит свое впечатление со звуковым обликом топонима, отсюда возникает предположение о причинах наименования. Для другого информанта актуальным оказывается признак чистоты воды, и он соотносит наименование со своими знаниями о реке Катунь в Горном Алтае.

Ментально-топонимические стереотипы уравнивают очевидную нестабильность системы.

Говоря о стереотипах как средствах конструирования ментального бытия топонимической системы, следует сказать и о событийности. У каждого человека, находящегося в позиции воспринимающего, есть свой собственный фон познаваемого континуума. Однако степень актуализируемых при этом событий указывает на модели одних и тех же стереотипных ситуаций в сознании жителей нашего региона. Что касается конкретного содержания событийного стереотипа, то здесь вся трудность заключается в обнаружении этого стереотипа. Он возникает в результате соотношения топонима с событийным континуумом, который существует с позиций воспринимающего. Очевидно, что для нас представляют большой интерес события универсального типа.

Понятие ментально-топонимического стереотипа как организующего элемента системы выводит нас на синергетически значимый уровень, так как речь идет о процессе самоорганизации, базовом составляющем синергетической концепции.

Т. Н. Дмитриева
Екатеринбург

Проблемы этимологизации фамилий коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа

Антропонимия коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа до сих пор мало изучена. Отдельные имеющиеся работы только намечают подходы к этой теме [см., например: Дмитриева, 2007], которая дает необыкновенно интересный, но в то же время и чрезвычайно трудный для интерпретации материал.

Работа над составлением Словаря фамилий коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа начата в ральском университете группой авторов во главе с доктором исторических наук А. Г. Мосиным. Словарь основан преимущественно на письменных источниках XVIII–XIX вв. При необходимости привлекаются материалы XVII и XX вв. В настоящее время определен словарь фамилий (их свыше 2500) и проведено первичное составление словарных статей на буквы А–П.

В процессе работы над словарем стало очевидно, что, наряду с этимологически прозрачными случаями, нередко толкования останутся гипотетическими и огромное количество фамилий не поддается этимологизации.

Известно, что фамилий в собственном смысле слова у хантов, манси и ненцев не было до прихода русских в Сибирь, но были семейные, родовые именованья, переходящие из поколения в поколение. Фамилии у ясачного населения стали широко фиксироваться с XVIII в. в ревизских сказках, а в связи с массовой христианизацией Югры – и в церковных документах. В основе фамилии, оформлявшейся по русскому образцу, чаще всего был патроним, восходящий к личному (в том

числе и христианскому) или родовому имени, но фамилии аборигенам могли даваться русскими и произвольно.

Как свидетельствуют письменные источники, одна и та же фамилия с течением времени могла быть записана иначе, чем раньше, и в разных вариантах; фамилии заменялись, подвергались русской адаптации, передавались с ошибками и искажениями.

Многие фамилии, зафиксированные в документах XVIII в., позже в списках уже не появлялись и ныне неизвестны. Но часть фамилий в тех же или близких формах сохранилась до настоящего времени. Как показывает практика, носители некоторых из них легко могут объяснить их происхождение на основе родного языка, с привлечением семейных преданий, но антропонимическая информация на данной территории, к сожалению, до сих пор целенаправленно не собиралась. В то же время наиболее эффективным способом получения сведений о фамилиях коренных жителей округа мог бы стать фронтальный опрос населения, и даже народно-этимологические толкования представляли бы большой интерес.

При этимологизации фамилий изучаемой территории обязательен учет языковых критериев (определение языка и диалекта-источника; фонетический, словообразовательный, семантический критерии) и внелингвистических факторов (территория бытования фамилии, географические условия и особенности традиционной культуры местного населения).

Приведем пример на материале фамилий ханты *Аренгов*, *Арнахов*, *Ареховский*, *Арахпаев*. Первые три фамилии зафиксированы в конце XVIII в. (1794 г.) в Березовском уезде.

В основе фамилии *Аренгов* (юрты Серегорские Естыльской вол.) [Соколова, 1983, 205] мог быть антропоним, восходящий к хант. низям., шерк. *ar* ‘песня’ (ср.: ирт. *ärä*, казым. *ar* ‘песня’; вост-хант. *ärəγ*, *ärəχ* ‘песня, старинная песнь, былина’) + суф. прилаг. *-əŋ* + низям., шерк. *χu* (казым. *χü*, ирт. *χoj*, *χuj*, вост-хант. *ku*, *ko*) ‘мужчина, человек’ [DEWOS, 165, 423].

Фамилия *Арнахов* (Тугьянские юрты Казымской вол.) [Соколова, 1983, 179] дает возможность восстановить аналогичный антропоним: хант. казым. *arəŋ χü* – из *ar* ‘песня’ + суф. *-əŋ* + *χü* ‘мужчина’. Существование такого антропонима может показаться маловероятным с семантической точки зрения, однако известно, что у казымских ханты *аранг хоят* – это ‘человек, знающий много песен’ [ХРС, 14].

Фамилия *Ареховский* (юрты Сумрины Белогорской вол.) [Соколова, 1983, 217], имеющая формант *-ский*, могла бы быть русской по происхождению, в частности образованной от прозвища по названию местности или населенного пункта, ср. *Орехово* – селение на р. Кульеган, притоке, впадающем в Обь слева, ниже Мегиона. Однако и топоним типа *Орехово* мог образоваться от хантыйского антропонима. Источником для фамилии жителя Белогорской волости можно, скорее всего, также считать ‘песенный’ хантыйский антропоним *arəŋ χu*. Основа фамилии *Ареховский* может быть сопоставлена и с отмеченным С. Паткановым у иртышских ханты фольклорным именем *Cr-jəχ* (‘Ар-народ’) – «Так назывался древний народ, живший по берегам Оби, у остояков в северной части Тобольского и пограничной части Березовского округа (русск.: чудь)», аналогично: тр-юг., юг. *ärəχ-jäγ* ‘исполинский

народ в сказках' (букв. «песенный народ») [DEWOS, 165]. Таким образом, «песенным народом», или «народом древних песен», называют ханты своих древних предков.

На смежной территории – на р. Васюган (соврем. Томская область) – с конца XVIII в. (1794) отмечена фамилия *Арахпаев* [DEWOS, 1699]. Во 2-й пол. XIX в. она фиксируется в юрте Арахпаевы Васюганской волости [Соколова, 1983, 281], во 2-й пол. XX в. – в пос. Новый Васюган [Лукина, 2004, 13], на рубеже XIX–XX вв. записана К. Карьялайненом в юрте Антины в варианте *Аракпаев* [DEWOS, 1699]. В основе фамилии можно также предполагать хантыйский антропоним, первый компонент которого соотносится с васюг. *äräy* 'песня, былина'. Второй компонент неясен, но ср., например, васюг. *paj* 'богатый' (< тоб.-тат.) [DEWOS, 1101] – т. е., возможно, «богатый песнями» (?).

Как известно, ханты относили исполнителей песен к категории лиц, пользовавшихся особым уважением. Это обычно были лучшие знатоки и хранители традиционной культуры. Многие песни исполнялись хантыйскими мастерами в сопровождении струнного музыкального инструмента, причем исполнитель нередко перед началом съедал несколько грибов (мухоморов) и пел в иступленном состоянии, вспоминая давно забытые сказания. Исполнителю мифологических и героических песен приписывалась способность предсказывать, излечивать, что они делали при помощи музыкальных инструментов. Люди, исполнявшие священные песни, могли быть и шаманами. По полевым данным Н. В. Лукиной, записанным в 1969 г. в пос. Новый Васюган, «бубнов здесь не знали, шаманы играли только на домбрах, которые здесь называют *нанан юх*... Местная остячка *Устинья Семеновна Арахпаева* играла на *нанан юх*, вероятно, она была шаманкой» [Лукина, 2004, 13].

Дмитриева Т. Н. К изучению антропонимии коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа // Проблемы лингвистического краеведения: Мат-лы Всерос. науч. конф., посв. 75-летию проф. Е. Н. Поляковой (27–29 ноября 2007 г.). Пермь, 2007. С. 108–115.

Лукина Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья: Источники по этнографии. Томск, 2004. Т. 1. Васюган.

Соколова З. П. Социальная организация хантов и манси в XVIII–XIX вв. Проблемы фратрии и рода. М., 1983.

В. Е. Добровольская
Москва

Платное, бабы дела, ходить в молодые: **использование терминов в традиционной культуре** **Центральной России (на примере Владимирской области)**

На территории Владимирской области встречается несколько терминов, обозначающих регулы. Наиболее распространены лексемы, связанные с одеждой (*платное, на рубахе*), и эвфемизм *бабы дела*. Затем следуют выражения *на себе, реже* –

цветное и *гости*. Наиболее пожилые исполнительницы, говоря о первых месячных, используют термин *ходить в молодые*, а применительно к месячным у молодых девушек – *в сарафан прыгнула*. Прекращение месячных также имело свои названия (наиболее употребительные – *ушли, отмылась* и *снять рубаху*).

Казалось бы, такое многообразие синонимичных терминов может свидетельствовать о том, что данная территория является зоной влияния нескольких локальных традиций. Действительно, фольклорная традиция Владимирщины формировалась под влиянием целого ряда факторов: финно-угорское влияние, существование которого связано с проникновением восточных славян и балтов на территорию, заселенную местными финно-уграми (мурома и меря); нахождение данного региона на границе трех русских субареалов – Поволжья, Мещеры и Рязани; сосуществование на Владимирщине сарабрядческой и православной конфессий. Однако при более детальном анализе становится ясным, что обилие терминов, связано не с историко-географическими особенностями региона, а с различными контекстами бытования того или иного понятия.

Наиболее распространенный термин *платное* обычно используется для обозначения принадлежности к группе женщин фертильного возраста – *У нее еще платное – молодая ещо* или *Пока платное есть – баба считается* (*бабой* в данном регионе называют только тех женщин, которые с точки зрения социума способны к деторождению; утрата данной способности переводит женщину в категорию *старух*). Эвфемизм *бабы дела* ‘регулы’ используется для обозначения самого физиологического состояния (*У меня бабы дела в тот день были*), а также при объяснении прескрипций, связанных с месячными (*Вот пока у бабы бабы дела, она в церкву не должна ходить, а как ушли – тут уж все знают, раз баба все время в церкви, значит ушли, уж не баба – старуха*).

Термин *на рубахе* обычно употребляется в контексте, связанном с родильным обрядом. Так, если у замужней женщины не наступает беременность, о ней говорят: *У ей все еще на рубахе*. О наступлении беременности сообщают так: *Уже вторую неделю не пришло на рубаху. Видать беременна*. Используется этот термин и для обозначения первых после родов месячных: *У меня-то после родов на седьмой неделе только на рубаху пришло*. Значительно реже термин используется для обозначения первого дня менструации: *«У меня сегодня на рубахе», когда первый день бабы дела на рубахе, говорят*. Термин *на себе* используется преимущественно при указании времени цикла: *У меня на себе каждые двадцать шесть дней, как часы*.

Термин *цветное* – так же, как и термин *платное*, – указывает на принадлежность женщины к определенной возрастной группе – девушкам: *У девок «платное» не говорят, говорят «у ей цветное»*. Более того, термин используется только по отношению к тем девушкам, которые еще не могут рассматриваться общиной как невесты, т. е. тем, которых в данный момент нельзя сватать: *Когда цветное пришло, у девки «платное» не говорят, говорят «цветное», она уже не растет вверх, а только вишь, у ей титки растут, попа там. Ее еще сватать нельзя – у ей цветное. А как уже оформилась, тут уж говорят «платно», заневестилась девка, в сарафан прыгнула, у ей платное, значит, сватов можно засылать*.

Эвфемизм *гости* крайне редок в использовании и обычно употребляется при сообщении о нарушениях цикла: *Уж как она мучилась. У ей гости приходят все-*

гда нежданно. То сорок дней, а то и пятнадцать. Когда так вот – говорят «гости», а не «бабы дела», тут уж не дела, тут нежданно пришли.

Термин *ходить в молодые* используется в данном регионе для обозначения не только первых месячных, но и обрядового действия, которое в изучаемой традиции приурочивалось к первым регулам. При их наступлении старшие подружки обливали девушку водой или валяли в снегу, а затем выбирали из старших девушек «жениха» и оставляли пару на ночь в овине или пустой избе:

– Вот как у девки ходили в молодые пришли, тут подружки все собираются, все девушки, вся роца. Подрощу не звали. Как собираются, так рубашку ее хватают, жгут ее, а девку, если лето – водой обливают, а зимой – в снег. Валяют в снегу ее. Затем старшую выбирают и говорят «жених», а она, значит, невеста. Они идут в овин и там ночуют. Болтают там обо всем. Потом уж девушка начинает ходить с роцей, а до этого в подроще ходила. Знают все, что у девки ходили в молодые пришли.

Собиратель: – А как называется то, что с девушкой делают?

– Так этот обычай назывался «ходить в молодые». Сейчас это не делают, а все равно говорят – «к девке ходить в молодые пришли». У ней цветное началось. Таким образом, название обрядового действия перешло на название первых регул.

Аналогичный процесс наблюдается и с термином *в сарафан прыгнула*. Это обрядовое действие практически не сохранилось даже в памяти наиболее пожилых исполнителей. Однако еще в начале XX в. Г. К. Завойко описывал обряд прыганья в сарафан. П. В. Шейн приводит аналогичный материал, зафиксированный в соседней Нижегородской губернии. Данный обряд значительно чаще фиксировался на юге России, однако, как свидетельствуют материалы XX в., его элементы можно было наблюдать в Поволжье и Центральной России. Самые пожилые исполнительницы вспоминают, что подобный обряд проводится с их старшими сестрами в 1910-х – начале 1920-х гг. Родители водили девушку по лавке и просили ее прыгнуть в сарафан. Из воспоминаний исполнительниц видно, что данный обряд совершался позже, чем «хождение в молодые». Девушка уже была членом старшей возрастной группы и имела право участвовать в молодежных гуляниях. Однако до совершения обряда «прыганья в сарафан» к девушке не могли засылать сватов. Наши исполнительницы говорят о том, что девушка *прыгала в сарафан* по окончании того периода, когда о ней говорили, что у нее *цветное*:

– Вот у девки цветное пришло, она вся цветет, к ней свататься еще нельзя, а потом она заневестится, ее раньше вот в сарафан прыгнуть заставят, тут уж о ней не говорят «цветное», тут скажут – «в сарафан прыгнула», у ей в сарафан прыгнуло пришло. И так вот сколько-то говорить будут, месяца три-четыре, может, а потом уж будут говорить «платное пришло».

Собиратель: – Так когда о месячных говорят, что у нее *в сарафан прыгнуло пришло*?

– Ну, «в сарафан прыгнуло пришло» говорят, когда она ей еще сватов не заслали, но уже можно, коротко так говорят. Сейчас уж почти нет.

Термины, называющие окончание менструации, различаются тем, что слово *ушли* употребляется при обозначении конца ежемесячных регул, а *отмылась* и *снята рубаху* – при наступлении менопаузы. Термин *отмылась* интересен в данном слу-

чае тем, что не имеет пары, называющей собственно месячные. Нами не зафиксировано ни одного выражения, включающего в себя лексему со значением 'мыть' или 'стирать' и соотносимого с обычаем омовения и стирки белья.

Выявленное нами разграниченное применение разных слов для обозначения одного и того же состояния в различных ситуациях является характерной приметой архаического словоупотребления и подвергается эрозии при разрушении традиционной культуры.

Л. В. Доровских
Екатеринбург

Наименования территориально-административных единиц и производственных объектов в неолатинском памятнике (на материале «Medico-topographica districtus Ekatherinburgensis et urbis eius descriptio» Тихона Успенского)

Среди новолатинских текстов, свидетельствующих о связи русской образованности с длительной традицией европейской культуры, есть сочинение, созданное в Екатеринбурге: это «Medico-topographica districtus Ekatherinburgensis et urbis eius descriptio», написанное екатеринбургским уездным врачом Тихоном Феофилактовичем Успенским, видным деятелем медицины Урала первой половины XIX в. «Медико-топографическое описание Екатеринбургского горного округа и его города», завершённое автором 5 декабря 1833 г., было выпущено в свет типографией Московского императорского университета в 1835 г.

Т. Ф. Успенский, родившийся в 1803 г. в семье священника, окончил в 1825 г. Московское отделение Медико-хирургической академии и был назначен уездным врачом в Екатеринбург. Связав свою дальнейшую жизнь с уральскими горными заводами, Тихон Успенский стремился сочетать практическую врачебную деятельность с научными разысканиями. Вступив в 1827 г. в Московское общество испытателей природы, он начинает всестороннее изучение города Екатеринбурга и его уезда. Результатом этой работы и стало «Медико-топографическое описание», содержащее геолого-географический, биологический, демографический, санитарно-бытовой очерк района. Отметим, что *топография* в XIX в. – это «описание местности, города, края во всех отношениях» [Даль, 4, 417]. Сочинение же Тихона Успенского считается первым обстоятельным научным трудом о развитии медицины на Урале [см. об этом: Селезнева, 1955, 142].

Само время написания столь позднего латиноязычного текста, а также региональный характер памятника требовали определенных лексических средств. Новые социально-политические и экономические связи, новые понятия могут передаваться в средневековых и неолатинских текстах и употреблявшимися в классической латыни словами, получающими новое семантическое наполнение, и новообразова-

ниями, использующими возможности не только латинского языка [см. об этом, например: Садукова, 1972].

Статус территориально-административных единиц в русском языке имеют такие наименования как *губерния*, *провинция*, *округ*, а также названия населенных пунктов – *город*, *слобода*, *деревня*, *крепость*. Т. Успенский находит им латинские эквиваленты:

gubernium ‘губерния’ – только в сочетании с собственным именем: *a gubernio permiano* (7 – здесь и далее цифра в скобках указывает номер страницы в используемом издании 1835 г.); *gubernio orenburgensi adscriptis* (8); *in gubernio orenburgensi* (9, 10); *in toto Permiano gubernio* (105);

provincia ‘провинция, область, округ’: *partem Provinciae Toboliensis* (111); *de caeteris amplissimi Russorum Imperii provinciis* (124);

districtus ‘округ, уезд, дистрикт’ (слово *дистрикт* появилось в русском языке в XVIII в.): *districtus ekatherinburgensis* (7); *Inter octo itaque circulos prehensus districtus ekatherinburgensis* (8); *quae hodiernus Districtus Ekatherinburgensis est* (111); *in districtu Ekatherinburgensi* (121); *in disrictu nostro* (107);

circulus ‘округ’: *ab Oriente Circulis Kamischloviano ac Schadriano* (8); *Ad septentrionem autem et Occidentem Circulos* (8); *in circulo jam irbitano* (16);

urbs ‘город’: *Urbem Ekatherinburg* (7); *historia urbis Ekatherinburg* (110); *istam urbem militibus armisque munivit* (112); *ab urbe Ekatherinburg* (110); *urbem cum arce* (111); *urbs – Ekatherinburg* (112);

vicus ‘слобода’: *vicum Aramil* (45); *prope vicum: Koltzedan* (49); *Ad vicos: Kirgischan et Grobovo* (47); *vicus Glinskoë* (44);

rus ‘деревня’: *prope rus, Kolzedan dictum* (109); *prope rus: Brusianam* (44); *Prope rus: Istock* (45); *rus Kosoy Brod* (47);

arx ‘крепость’: *arcem Zmeynogorsk* (48); *usque ad magneticam arcem* (10); *urbem cum arce* (111).

Производственные объекты называются терминами, известными в классической латыни: *fodīna* ‘рудник, копь, каменоломня, карьер’; *fabrica* ‘мастерская’; *officina* ‘мастерская’.

Термин ***fodīna*** сохраняет свое значение: *in fodina gumeschevensi* (105); *in fodinis marmoreis Hornoschitensibus* (109); *auri aliorumve metallorum fodinas* (9); *Quibusque omnibus insuper fodinas rura septuaginta novem adscripta sunt* (121); *in fodinis ferries* (105).

Термины ***fabrica*** и ***officina*** наполнены новым содержанием – они используются как наименования уральских заводов и в ряде случаев сопровождаются уточняющим определением: а) *ad flumen Isaet juxta officinam Kamensk* (109); *jam officinis metallurgicis hic illic institutis* (111); *in officinas nempe caesareas* [казенные заводы] (117); *in officinas Dominales* [частные заводы] (117); *prope officinas schaytanensem et bilimbayvensem* (10); *juxta officinam Sysert* (10); *in centro-medio officinarum, a se constructarum* (111); б) *Fabrica marmorea* [Мраморный завод] (118); *prope fabricam marmoream* (11); *Hae sunt, quae in districtu Ekatherinburgensi officinae et fabricae metallurgicae* (121); *fabricas coriarias instituunt* (125); *ad fabricam marmoream et rus: Kosoy brod dictum* (47). Ср. также *istam regionem plurimis fodinis, fabricis ac officinis inoculavit* (111), где последние термины использованы для обозначения различных объектов.

«Медико-топографическое описание Екатеринбургского горного округа» Тихона Успенского – не только русский памятник неолатинского языка первой половины XIX в., но и документальное свидетельство развития уральской науки.

Садукова В. Д. Об административно-политической терминологии в латинском языке раннего средневековья (VI–VII вв.). (По произведениям Григория Турского и Фредегара) // Античность и современность. К 80-летию Федора Александровича Петровского. М., 1972. С. 426–433.

Селезнева В. Т. Очерки по истории здравоохранения на дореволюционном Урале. Молотов, 1955.

Л. П. Дронова
Томск

К типологии языкового выражения понятия «образ, внешний вид»

Понятие «образ» играло очень важную роль в византийской философско-религиозной системе. Византийская теория образа через переводы христианско-богословских текстов была перенесена на Русь: образы земные есть отражения, отпечатки небесных явлений, подобно как человек сотворен «по образу и подобию божию». Как отрефлексовал становление столь значимого понятия русский язык? Какова логика его формирования в языке?

Начиная с ранних древнерусских текстов, кроме основного лексического средства выражения этого понятия – слова *образъ* в значениях ‘вид, образ; внешний облик’, ‘изображение; изваяние; икона’, ‘подобие кого-, чего-л.; прообраз, пример’, ‘способ, образ (действия)’ и однокорневых ему образований – еще ряд лексем был связан с выражением понятия «образ». Этот ряд включал такую лексику, как *видъ* (XII–XIII вв.) ‘внешний вид, облик; образ, подобие’, *видь* ‘вид; видение, образ чего-л.’ (XIII–XIV вв. ~ XI в.), *видѣние* (XIII в.) ‘вид, облик, наружность; образ, подобие’, *виѣшняя* (XVII–XII вв.) ‘внешний облик, внешность’ (*Не зри виѣшняя моя, но возри внутренняя моя...*), *лицо, лице* ‘лицо; личность’ (XI в.); ‘щека’ (XV в.) и ‘внешний вид, наружность, облик’ (XII в.), ‘способ, вид, образ (действия)’ (XVI–XII вв.), ‘изображения, рисунки (мн. ч.)’ (XVII в.), *личение* ‘вид, обличие’ (XI в.), *обличие* ‘вид, образ, облик’, ‘подобие, изображение’ (...*приписавъ на неи обличие лица Александрова*), *обличение* ‘вид, образ; облик’ (XI в.), ‘проявление; признак, знак’, *истукание* ‘резное изображение; статуя, изваяние’ (XVI–XI вв.), *истуканъ* (XIII в.) ‘скульптурное изображение божества, идол’ (ср. *истукати* ‘высекать, вырезать из камня, дерева или на камне, дереве’), *творь* ‘вид, наружность’; более поздно зафиксированы *прикладъ* ‘пример, образец’, диал. *ружь* ‘внешность, образ, вид; облик, лицо, лик; масть (в картах)’ (волог.; *У него ружь-то видная*).

Часть этой близкой по значению слову *образ* лексики имеет прозрачную внутреннюю форму – ‘видимая, внешняя (часть, сторона человека, предмета)’: *видь*,

видь, видѣние (с самыми широкими славянскими и индоевропейскими связями), *внѣшняя* (затем *внешность*). Подобный мотивировочный признак, вероятно, реализуется рус. диал. *ружь* ‘внешность, образ, вид; облик’ (ср. рус. диал. *ружа* ‘просвет’, ‘прозор’, ‘наружная сторона’, *наружу, снаружи* и т. п., лтш. *raugs* ‘зрачок; глазное яблоко’).

Спорным остается происхождение и, соответственно, определение исходной семантики однокорневых дериватов *лик, лицо*. Большинство исследователей считает старшим для славянских континуантов значение ‘щека’: ст.-слав., др.-рус. *лице, лицо* ‘лицо’, ‘щека’, ‘личность’, ‘перед’, ‘образ’, ‘вид’, словен., чеш. *lice* ‘щека’ (‘лицо’ – словен. *obraz*, чеш. *obličej*), в.-луж., н.-луж. *lico* ‘щека’, ‘лицо’, польск. диал. *lice, lico* ‘щека; боковая часть лица’, рус. диал. *личико* ‘щека’; типологически подобно лтш. *vaïgs* ‘щека’ и ‘лицо’, литов. *vėidas* ‘щека’, *veidai* ‘щеки’.

Праслав. **likъ* возводится предположительно к и.-е. < **leik-* ‘гнуть, изгибаться; изгиб’, как и прус. *laygnan* (< **laik-nan* < **lik-nan*) ‘щека’, др.-ирл. *lecco*, ирл. *leaca* ‘щека’ (ср. лат. *obliquus* ‘боковой’, ‘косой’, *imago obliqua* ‘профиль’). Излагая подобный взгляд на генетические связи праслав. **likъ*, В. Н. Топоров в словаре «Прусский язык» обращает особое внимание на формально-семантическую близость славянских и прусских языковых фактов (общая родовая оформленность – ср. р., иное лексическое представление этого понятия в восточно-балтийском ареале, ср. литов. *skriostas*, лтш. *vaïgs* ‘щека’ и ‘лицо’). Иной точки зрения придерживается О. Н. Трубачев, считающий, что слав. **likъ*, **lice* следует рассматривать как славянские новообразования, производные с суффиксом *-k-* от глагола **liti* и исходно связанные с понятием «формовать литьем», подобно литов. *lytis* ‘форма’.

Следуя этимологическому истолкованию О. Н. Трубачева, в ряду однокорневых образований можно привести и другие балтийские соответствия, среди которых литов. *lytis* ‘глыба льда, льдина’, лтш. *lieta* ‘вещь’, ‘дело’. Из предположения о связи понятия, исходного для слав. **likъ*, с понятием «формовать литьем» и из сопоставления балтийских коррелятов следует вопрос: разграничивались ли исходно понятия собственно формы и ее наполнения, содержания (иначе: образца, отпечатка как следствия использования формы, получаемой в результате вещи, предмета)?

Для ответа на этот вопрос можно сослаться на семантику др.-рус. *творь* ‘вид, наружность’, которое поддерживается чеш. *tvář* (*lice*) ‘щека’, *tvar* ‘форма (тела, носа), форма, вид (предмета)’, *tvor* ‘существо’, словц. *tvár* ‘лицо; облик’, блр. *tvar*, польск. *twarz* (*oblicze*) ‘лицо (человека)’, соотносимыми с др.-рус. *тварь* ‘творение’, ‘изделие’, рус. *творить, твердый*, литов. *tvėrti* ‘огораживать’, ‘прикреплять’, ‘придавать форму’, *āptivaras* ‘ограда’ (< и.-е. **tuer-*: **tuor-* ‘хватать(ся), охватывать; обрамлять’). В приведенных примерах значения ‘вид, облик, форма’, ‘лицо’, ‘существо’ есть результат развития общего значения ‘то, что со-творено’ из конкретного ‘то, что охвачено, схвачено’ (ср. *схватилось* ‘затвердело’). Частично сходна с этим случаем типология лат. *facies* ‘внешний вид, наружность, внешность’, ‘образ, подобие’, ‘лицо; лик’, однокорневого с *facio* ‘делать, производить, формировать’ (родственно рус. *-дети, дело*).

На уровне вторичного абстрактного значения с др.-рус. *творь*, лат. *facies* можно сопоставить и др.-рус. *образъ*, производное от гл. *образити* ‘воплотить, создать, образовать’. Но гл. *образити* известен и в значении ‘повредить, разбить

ударом', и эти противоположные значения способны объединяться, ср. диал. *обра́зить* 'обрабатывая, придать нужную форму'. Семантика производящего *разить* и родственного ему *резать* позволяет определять исходное значение как 'придавать форму резьбой'.

А. А. Едалина
Новороссийск

«Пищевая тема» в мотивации слов, характеризующих человека по отношению к собственности

Лексика пищевой сферы является одной из самых продуктивных и удобных инструментов познания действительности. Это обусловлено как традиционной значимостью пищи для человека, так и наличием довольно четкой и проработанной структуры, организующей данную лексическую группу. Ситуации проникновения пищевой лексики в сферу обозначений человека многочисленны (см. об этом в работах Г. И. Кабаковой, К. В. Пьянковой, Е. И. Якушиной, С. М. Толстой, И. А. Седаковой, Е. Л. Березович) – в том числе это характеристики человека по отношению к собственности.

В докладе анализируется семантическое поле «Характеристика субъекта собственности», которое можно разделить на два блока: «Качественная характеристика субъекта собственности» ('скупой', 'жадный', 'корыстолюбивый', 'щедрый', 'бережливый', 'расточительный') и «Характеристика человека по признаку наличия/отсутствия имущественной собственности» ('бедный', 'богатый'). Материалом для анализа стала лексика русских народных говоров.

Качественная характеристика человека по отношению к собственности. Здесь особо подчеркивается такая смысловая линия, как отношение скупца к еде. При характеристике человека актуализируется мотивационный признак «пищевые пристрастия в связи с отношением к собственности». Скупым признается человек, который ограничивает себя в хорошей, вкусной еде из-за чрезмерной бережливости, боязни лишних затрат, включает в свой рацион и отходы (ср. *кишечник* 'жадный человек, скряга, кто ест кишки, хотя бы мог есть и говядину').

Однако другая крайность – расточительность, проявляющаяся в пищевых излишествах и кутежах. Это качество, как и чрезмерная бережливость, в народной культуре не приветствуется, ср. *сáхар (медóвич)* 'о том, кто неразумно тратит, проматывает деньги, имущество; мот, расточитель'.

Мотивационные модели, связующие слова с «пищевой» семантикой и лексику поля «Жадность», высвечивают другой набор релевантных признаков. В номинациях отражается поглощение как можно большего количества еды при непреходящем чувстве голода. Акцент на количестве еды представлен, в частности, в слове *жа́бркий* 'жадный' и др., на чувстве голода – в слове *голода́й* 'испытывающий чув-

ство голода, голодный человек', 'бедный человек', 'ненасытный, прожорливый, жадный человек' и др.

Сферы «Жадность» и «Еда» опосредованно связываются и через область семантики. В номинациях, соотносимых с лексикой, обозначающей физические данные человека, особое внимание уделяется описанию горла, глотки и рта, т. е. тех органов, которые так или иначе участвуют в приеме пищи и ее переработке. Это также свидетельствует о наличии в народном сознании представлений о тесной связи жадности и процесса потребления пищи. Данная линия представлена мотивационной моделью «такой, который активно работает горлом, глоткой» → «жадный» (*злот жадный человек*) и др.

Знаменательно использование в качестве мотивирующей основы лексемы *ад*, которая, в отличие от литературного языка, в диалекте имеет значения 'пасть', 'горло', 'глотка', 'рот', ср. *адина* 'об обжоре, жадном человеке'.

Вторая мотивационная модель («такой, который наполнен чем-л., будто орган, связанный с процессом питания» → «жадный») реализуется, к примеру, в номинации *броушина* 'о жадном, прожорливом человеке' и развивает представление о том, что жадный человек стремится «положить» в свой живот максимальное количество еды.

Характеристика человека по признаку наличия / отсутствия имущественной собственности. Представления о богатстве тесно связаны со сферой еды. Наиболее продуктивным при обозначении состоятельного человека оказывается признак наличия еды как таковой, реализуемый номинациями с корнем *ест-//ед-* и др. В качестве дифференциального выступает признак качества еды, реализуемый в модели «имеющий возможность есть хорошую пищу» → «богатый» и представленный, в частности, номинацией *пшеничник* 'о человеке, живущем с достатком (употребляющем в пищу пшеничный хлеб)'.

В народном сознании основными показателями материальной несостоятельности человека являются: 1) отсутствие еды у бедного человека (при наличии таковой у богатого), 2) испытываемое поэтому чувство голода, 3) невозможность позволить себе хорошую, качественную еду. Мотивационные модели, реализующие данные признаки, следующие: «не имеющий еды, пищи в достаточном количестве» → «голодный» → «бедный». Характеристика бедного человека дается также и через указание на употребляемые им некачественные продукты питания. Такой человек не имеет возможности хорошо питаться (к примеру, ест лепешки из мерзлого картофеля, пирожки с начинкой из стеблей дикорастущих растений, пьет только воду, употребляет в пищу куски, огрызки): *водохлёб* 'бедный человек', *окусовало* 'нищенка, бродяжка'.

Следствием отсутствия своей еды у бедного человека является его стремление питаться за чужой счет, кормиться у других людей. Этот мотив (житья/питания за чужой счет) оказывается доминирующим в рамках модели «такой, который кормится у других» → «нищий», ср. *покормушка* 'нищий, побирушка'.

Еще один вариант взаимодействия пищевой лексики и характеристик отсутствующего человека заключается в том, что при номинации бедняка используются слова, означающие пищевые отходы, негодные остатки, ср. *ошóша* 'мусор, отходы, отбросы', 'собр. о пустых, никчемных людях', 'собр. пренебр. о бедняках'. Мотивирующим признаком в данном случае становится признак негодности чего-либо.

Таким образом, семантическое поле «пища» можно считать донорским для поля «характеристика субъекта собственности» и признать данную базовую семантическую модель продуктивной и регулярной для анализируемого сегмента лексики.

И. В. Ефименко
Киев (Украина)

Историческая антропонимия Новгородской земли (по материалам «Новгородских записных кабальных книг»). II

Представленный ниже словарный материал является фрагментом этимологического анализа фамильных прозваний новгородцев начала XVII в., проведенного в рамках научной темы «Сравнительное исследование восточнославянской исторической антропонимии (на материале черниговских и новгородских памятников письменности XVII в.)» [см.: Ефименко, 2002; Ефименко, 2004]. В основе этимологизируемых антропонимов прозвищного происхождения (самобытных по своей структуре и семантике) лежат диалектные апеллятивы, большинство из которых восходит к праславянскому слою лексики.

Базанин (Григорья Офонасьев сын *Базанин*, 1602 г., Шелонская пятина) – производное с притяжательным суф. *-ин* от прозвища *Базан(я)* (ср. Олеша *Базан*, 1629 г.). Относительно мотивации антропоосновы ср. рус. диал. (волог.) *базáнья*, *базан* ‘крикун, говорун, хвастун’, соотносимые с глаголом *базáнить* ‘громко кричать; громко плакать, реветь; шуметь; громко разговаривать; болтать и т. д.’ < прасл. **bazaniti*.

Воропанов (Семен Григорьев *Воропанов*, 1604 г., Новгород) – патроним на *-ов* от прозвища **Воропан*, которое восходит к праформе **voɣpanь*. Относительно гипотетической семантики антропонимной основы ср. генетически родственное блр. *varanai* ‘несообразительный, бестолковый человек’, ‘слепой человек’.

Дубасов (Алексей Копосов *Дубасов*, 1604 г., Бежецкая пятина) – производное с possessивным суф. *-ов* от прозвища *Дубас* (ср. Мацко *Дубас*, XVI в.), мотивированного рус. диал. (волог.) *дубáс* ‘дурак, балбес, дубина’ < прасл. **dobasъ*.

Жеглов (Иван Федоров *Жеглов*, 1608 г., Новгород) – патроним на *-ов* от прозвища *Жеглый* или *Жегло* (ср. Андрей *Жогла*, 1506 г., Новгород). Изначальную семантику антропоосновы помогают восстановить рус. диал. (курск.) *жéглый* ‘поджарый, с длинным туловищем, на высоких ногах (о животном)’, (ворон.) *жéгла* ‘очень дерзкая, бранчливая женщина; выскочка’, восходящие к основе прасл. **žegl-*.

Забелин (Григорья *Забелин*, 1602 г., Никифор Темофеев сын *Забелин*, 1602 г., Андрей Меньшого *Забелин*, 1604 г., Бежецкая пятина) – притяжательная форма на *-ин* от прозвища *Забела* (например, Мишута *Забела* Андронов сын, 1491 г., Переяславль).

Относительно возможной мотивации антропонимной основы ср. рус. диал. (костром.) *забѣла* ‘о человеке, служащем украшением семьи, общества или кружка’.

Колыгин (Овдийко прозвище Первуша Иванов сын *Колыгин*, 1602 г., Бежецкая пятина) – производное на *-ин* от прозвища *Колыга* (Гришка *Колыга*, 1639 г.), мотивированного рус. диал. (тверск., псков.) *колыга* ‘скряга, сквалыга’, деривационно связанным с *кол* < прасл. **kolъ*.

Куров (Сафка Васильев сын *Куров*, 1602 г., Деревская пятина) – патроним на *-ов* от прозвища *Кур* (ср. Ивашко *Кур* и Михалко *Кур*, 1495 г.; Иван Федоров сын *Кур*, 1605 г.). Относительно вероятной мотивации антропонимной основы ср. рус. диал. (твер.) *кур* ‘петух’, (псков.) ‘о женихе’ < прасл. **kurъ*.

Мазилев (Иван Гордеев *Мазилев*, 1602 г., Новгород) – посессивная форма с суф. *-ев* от прозвища *Мазило* (ср. Иван *Мазило*, 1564 г., Олонец), мотивированного рус. диал. (перм., твер., псков., вят.) *мазіло* ‘грязнуля, пачкун; маляр; плохой иконописец; плохой охотник, делающий промахи на охоте; льстец’ < прасл. **mazidlo*.

Огарышев (Фетка Микифоров сын *Огарышев*, 1602 г., Деревская пятина) – производное на *-ев* от прозвища *Огарыш* (ср. Иван *Огарыш*, 1498 г., Новгород), мотивированного рус. диал. (псков., арханг.) *огáрыш* ‘об очень смуглом или сильно загоревшем человеке’, (твер.) ‘о толстом низкорослом человеке’, которое деривационно связано с *огар* < прасл. **obgarъ*.

Отяев (Яков Дмитриев сын *Отяев*, 1602 г., Шелонская пятина) – дериват с суф. *-ев* от прозвища *Отяй* (ср. Федор Борисович *Отяй* Хвостов, начало XV в.). Относительно семантической мотивации ср. рус. диал. (новг.) *отяй* ‘прозвище’, (арх., псков.) *утя* ‘лентяй, лентяйка’, соотносимые с глаголами *отяти/обтяти* ‘отбить, отломать, отсечь, отрезать, отрубить’ < прасл. **o(b)tęti*.

Паршаков (Василий Игнатъев сын *Паршаков*, 1602 г., Деревская пятина) – патроним на *-ов* от прозвища *Паршак* (ср. *Паршак*, 1545 г., Новгород), мотивированного рус. диал. (смол.) *паршáк* ‘о слабосильном человеке’, которое деривационно связано с прасл. **pъrša* (< **pъrx-j-a*).

Переpečин (Третьяк Ондреев сын *Переpečин*, 1602 г., Бежецкая пятина) – притяжательная форма на *-ин* от прозвища *Перепеча* (ср. Иван Мартемьянович *Перепеча*, 1526 г., Суздаль). Относительно возможной мотивации антропонимной основы ср. рус. диал. *перепѣча* (курск.) ‘о ленивом человеке, бездельнике’, (заурал.) ‘о толстой неповоротливой женщине’, (смолен.) ‘о важной, надменной женщине’.

Шуйгин (Агей и Андрей Фомины *Шуйгины*, 1600 г., Новгород) – дериват с посессивным суф. *-ин* от прозвища *Шуйга* (ср. Ивашко *Шуйга*, 1500 г.; Ходор *Шулга*, 1601 г.; Васка *Шулга*, 1629 г.) – фонетически видоизмененная форма, восходящая к прасл. **szlga*. Относительно мотивации антропоосновы ср. рус. диал. (перм., арх.) *шуйгá* ‘левая рука; левша, культя’.

Щербачев (Сулеша *Щербачев*, 1602 г., Шелонская пятина) – патроним на *-ев* от прозвища *Щербач* (ср. Дмитрий *Щербач*, 1495 г., Новгород), который мотивирован соответствующим апеллятивом, ср., например, блр. диал. *шчарбáч* ‘беззубый человек’ < прасл. **ščrbačъ*.

Сфименко І. В. Етимологічні нотатки з антропонімії давньої Новгородщини (за матеріалами «Новгородських записних кабальних книг») // Студії з ономастики та етимології. 2002. Київ, 2002. С. 93–104.

Ефименко И. В. Историческая антропонимия Новгородской земли (по материалам «Новгородских записных кабальных книг») // Сельская Россия: Прошлое и настоящее. Докл. и сообщ. IX Рос. науч.-практ. конф. (Москва, декабрь, 2004). Вып. 3. М., 2004. С. 464–465.

Р. Г. Жамсаранова
Чита

Явления трансференции и интерференции в топонимической системе Восточного Забайкалья

Доклад посвящен явлениям трансференции и интерференции в топонимической системе, где наблюдается исторически обусловленная этнолингвистическая преемственность топонимов. Идеографическое описание массового микротопонимического регионального топонимикона позволяет обнаружить явление трансференции, обуславливающее процесс перехода из поколения в поколение, от народа к народу географических названий отдельной территории. Интерференция имеет место тогда, когда элементы структуры одного языка проникают в другой, что вполне естественно в условиях межэтнических и языковых контактов. Эти языковые явления по-разному отражают ситуацию номинации, оказывая при этом свое влияние на семантику заимствованного названия. Кроме того, они способны опосредовать вторичную номинацию топонима в синхронном аспекте.

Любой региональный ономастикон обнаруживает языковые явления интерференции и трансференции, обусловленные естественностью лингвоэтнических контактов. Топонимическая система Восточного Забайкалья, как и топонимия любого другого региона, представляет собой сложную систему географических имен собственных, включая и названия субстратного происхождения. Несомненный интерес вызывает деэтимологизация субстратных топонимов, где всегда есть место моментам семантического переосмысления.

«Восстановить» первичный смысловой и лексический облик субстратного топонима возможно и более вероятно при осмыслении явлений трансференции и интерференции. Географическая терминология является в большинстве случаев основой топонима, переходя в некоторых случаях и в терминологический корпус контактного языка, даже неродственного. Данное явление также обуславливает возникновение каких-либо «новых» номинативных признаков. Эти очевидные, просто объясняемые номинативные признаки на поверку оказываются одним из механизмов «приспособления» иноязычных топонимов к гетерогенной региональной топонимической системе.

В региональной системе Забайкалья при лексико-семантическом описании монгольского стратиграфического пласта обнаружили явления интерференции, ког-

да местные географические термины бурятской языковой принадлежности оказались сопоставимы с таковыми самодийского происхождения. В среде коренного населения Забайкалья, согласно полевым материалам 2006 г., функционирует термин *кажал*, обозначающий сырое, низменное место. Представляется, что данный термин мог проникнуть к тунгусам Забайкалья в относительно давний период, по-видимому, как результат лингвоэтнических контактов. Маньчжурское *халчи* ~ *хали*, эвенское *калтаку* ~ *халтаку*, эвенкийское *калген*, селькупское *калж* ~ *кальже* ~ *калжезан* обозначают низменные, сырые места с трясинной, болото. В словаре русских говоров Забайкалья зафиксирован термин *калтус* 'болотистое место, болото', 'кочковатый, сырой луг'. Эти термины стали топонимической основой забайкальских топонимов, подтверждающих языковые явления трансференции и интерференции в региональной топонимике.

Ю. В. Зверева
Пермь

Наименования одежды в пермских говорах как источник этнокультурной информации*

Издавна одежда занимает важное место в жизни человека. Она выполняет знаковую функцию, позволяющую различать людей по полу и возрасту, по территории, этнической и социальной принадлежности. В названиях одежды находят отражение культура, традиции и обычаи русских крестьян, проживавших на территории Северного Прикамья.

Настоящее исследование основано на данных картотеки «Словаря чердынских говоров», материалах «Словаря русских говоров Коми-Пермяцкого округа», «Словаря говора деревни Акчим Пермской области» и «Словаря пермских говоров».

В пермских говорах выявлено свыше 200 диалектных слов и составных наименований, обозначающих различные виды одежды. Тематическую группу наименований одежды можно разделить на следующие подгруппы: 1) общие обозначения одежды, 2) названия разных видов одежды, 3) наименования украшающих одежду деталей, 4) обозначения одежды для отдельных частей тела.

Среди общих наименований одежды преобладают лексемы, называющие плохую, изношенную одежду: *барахліна*, *барахнўлки*, *болўхмотье*, *вўносок*, *изнўсок*, *клепў*, *кочубьё*, *латанўшка*, *лўпень*, *лоскутьё*, *ремкі*, *ремўга*, *рўза*, *шалабўлина*, *шалаиўолье*, *имотанўна*. Обилие подобных лексем объясняется тем, что приобрести новую одежду крестьянам было трудно: *Семья большая была, дак че я носила – котики, да еще выноски; жди, когда новы-то сошьют; Я взамуж вышла, у меня ни одних базарских чулков не было*. В некоторых случаях у общих наименований

* Исследование выполнено при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП 2.1.3/483, РНП 2.1.3/2175), РГНФ (проекты №№ 08-04-82404 а/У, 08-04-82408 а/У, 08-04-82410 а/У, 09-04-82402 а/У, 09-04-82403 а/У).

одежды развивается также семантика плохой, старой одежды, ср. слово *лопотня*: *Мы раньше лопотно всяку носили*.

Названия верхней одежды в большинстве своем являются общерусскими либо встречаются в севернорусских говорах: *азям, борчатка, гуня, дипломат, дубленка, малахай, пониток*. Некоторые названия верхней одежды многозначны. Так, слово *гу́ня* в пермских говорах может обозначать стеганую верхнюю одежду, шубу из овчины, покрытую материалом, рабочую одежду, а также любую верхнюю одежду: *Были раньше гуни. Гуня была стяжёная из холста; Гуни-те дублёны были, ешо холщовиной покрывали их; Гуни шли в лесу робить. Осинишь холст и шьёшь гуню. На поля, в лес идешь – всё в гуне; Одежду гуней зовём*.

Наименования верхней зимней одежды можно разделить на слова, обозначающие одежду из меха (шубы) и одежду из разного вида тканей. Наименования шуб представлены следующими лексемами и словосочетаниями: *борча́тка, голая шуба, голуха, дублёнка, копчёная шуба, косокли́нка, пятишóвка, тата́рка, троекли́нка*. Большинство приведенных лексем имеют прозрачную внутреннюю форму, в основе номинации обычно лежат особенности кроя либо материала, из которого сшит данный вид одежды. Названий верхней зимней одежды, сшитой не из меха, в пермских говорах относительно немного, они обозначают стеганую одежду: *диплома́т, куфа́йка, туфа́йка, стеже́нка*.

Большинство названий обуви обозначают кожаную и валяную обувь. Традиционно жители Пермского края охотились, занимались рыболовством, поэтому в пермских говорах фиксируется несколько наименований высоких кожаных сапог: *бахи́лы, босво́рты, брóдни, боло́тники*. Суровые зимы привели к распространению среди крестьян Прикамья валяной обуви. Для ее обозначения используется как общерусское слово *валенки*, так и диалектные: *ва́леги, ва́лешки, ка́танки, ка́тыши, пимы́, че́санки*.

Давнее соседство русских на территории Северного Прикамья с финно-угорскими народами, в первую очередь с коми населением, обусловило появление в лексике пермских говоров некоторого количества коми-пермяцких, а также мансийских по происхождению слов. Так, в чердынских говорах фиксируются коми-пермяцкие по происхождению слова: *вешья́н* 'штаны из домотканого материала' (*А штаны – вишьян. А тоже исоткут материал, холст соткут, на края сошьют, вот и вишьян*), *чешья́н* 'платок' (*Платки чешья́н звали, юбки – кубэ́л*). Основы некоторых лексем, обозначающих обувь, также заимствованы из финно-угорских языков: *кысовики́, ня́ры, у́паки, шули́ки*.

Таким образом, в названиях одежды отражаются культурно-бытовые особенности русских, проживающих на территории Пермского края, а также контакты носителей диалекта с представителями других народов.

Славянские древности. Демонология. I (*потвора, поторóча, потёрчá, пóтрать*)

В докладе анализируются народные обозначения нечистой силы, о происхождении которых имеются различные мнения, что дает возможность проследить судьбу этих слов в славянских языках. Все этимологизируемые далее лексемы, большая часть материала и этимологических версий извлечены из «Этимологічного словника української мови» [ЕСУМ, 4–5].

Потвора. Анализируя слово, мы опираемся на малоизвестную, предложенную еще 150 лет назад П. А. Лавровским, этимологию *потворь* ‘зелье, отравы’ < *творить* ‘смешивать’ (= ‘месить (о тесте и т. д.)’). В свою очередь, значение смешивания исследователь связывал с семантикой перемены, развившейся в производных с приставкой *по-*: рус. *потвор* ‘урод, выродок’, пол. *potwarzić* ‘клеветать, злословить’, *potwora* ‘урод’, *potworny* ‘уродливый’.

На наш взгляд, псл. **potvorь*, **potvora* первоначально должны были означать ‘превращенный’, символизируя переход из мира явного в мир скрытый, что подтверждается и др.-рус. *потворение* ‘перерождение’, где *по-* имеет семантику ‘пере-’ (ср. в качестве аналогии лтш. *pa* ‘под, через, пере-’). Под влиянием страха перед обитателями загробного мира эти слова стали означать нечто страшное, уродливое.

Поторóча ‘привидение; чучело, призрак’, ‘выкидыш’, ‘внебрачный некрещеный, брошенный (убитый) ребенок’, ‘ребенок-оборотень (подкинутый чертом)’. Ср. еще однокоренные: рус. *поторóча, пóторочь* ‘встреча, случай, событие’, ‘подробный рассказ’, ‘притча’, ‘неожиданный несчастный случай, слез’, ‘препятствие’, ‘высочка, тот, кто всюду лезет’; блр. *поторóча* ‘страшилище, чучело’, пол. *potorocza, patarocza, potoroce, potorok* ‘страшилище; карлик, малыш’. Происхождение *потороча* в ЕСУМ трактуется как неясное. (Ранее лексему *потороча* А. А. Потехина соотносил с *потерча*, М. Фасмер – с **potьrča* ~ *торкать*, А. Маченауэр – с лит. *taŕti* ‘говорить, рассказывать’; Т. Б. Лукинова соотносит ее с лит. *pratarkne* ‘предисловие’).

Часть анализируемой в ЕСУМ лексики семантически можно непосредственно соотнести с нечистой силой (ее воздействием), часть – лишь опосредованно. Зафиксированные в словаре слова со значением ‘малыш, карлик’ и т. д. следует рассматривать в контексте лексики, обозначающей существо маленького роста, а значение ‘высочка’ объяснять лексикой, указывающей на семантику быстрого движения, свойственную многим континуантам псл. **ter-/tor-*, либо на (вторичную) семантику ‘мешать, надоедать’.

Таким образом, можно уточнить предложенную Ж. Ж. Варбот этимологическую связь псл. **potorča* (если говорить о привидении) с **tьrčati* ‘стоять, выдаваясь вперед или вверх; тянуться вверх’: приведенные в качестве аргументации рус. диал. *поторочье* ‘помеха, препятствие’, *потороча* ‘встреча, случай, событие’, а также лексику со значениями ‘мешать’, ‘помеха’ и т. д. следует считать результа-

том наложения однокоренных образований с иной (разной степени родства) семантикой. В частности, по одному из народных преданий, изгнанное из дому на погибель дитя превратилось в некое невидимое существо, чиня всяческие помехи и безобразия в доме обидчика.

Мы предлагаем происхождение *потороча* связывать с семантически близкими (но производными от **po-t(ь)рати(ti)-* < и.-е. **ter-*, **tr-*) образованиями: укр. *náprati* ‘вынимать внутренности из убитого животного; общипывать перья’, *napráti* ‘рвать (овощи, фрукты, траву)’, с.-х. *nòtratiti* ‘уничтожить, погубить’ и т. д.

Потёрчá ‘потерянный или вообще чужой ребенок; ребенок, умерший некрещеным’, ‘выкидыш’, ‘внебрачный ребенок, карлик’, *поті́рок* ‘выкидыш; ребенок, умерший некрещеным’, ‘внебрачный ребенок, карлик’, *поті́р* ‘искалеченное существо, страшный и неестественно рожденный ребенок’, *потирча* ‘умерший некрещеным ребенок’, рус. *пoтepчúк* ‘ребенок, умерший не своей смертью’, пол. *poterczę, potyrczę* ‘выкидыш’ – слова, связываемые в ЕСУМ с *потеря́ти* ‘потерять, утратить’ < *теря́ти* ‘терять’ (менее убедительной в словаре признается версия Т. Б. Лукиновой о *потерчата* < **пoчepятa* ~ *чepт*).

С другой стороны, в славянских языках, и прежде всего в украинском, имеются лексемы, отражающие идею ‘резать’, ‘разрезáть’: укр. диал. *трачувати* ‘распиливать бревно на доски’, рус. диал. *тpать* ‘тереть’ ~ *тереть* ‘скоблить, скрести, пилить терпугом’. Не потому ли в украинских верованиях *потерчата* (под Новый год) преследуют свою бабу-повитуху, что именно она могла неким подобным образом причинить им смерть?

Пóтpать (укр. диал.) ‘тень, привидение’ в ЕСУМ рассматривается в связи с *тpáтити* – с замечанием о том, что его первоначальное значение и дальнейшее развитие могут быть такие же, как и у *потёрчá*, ср. ст.-сл. **тpатити** ‘уничтожать, губить’, укр. *тpáтитися* ‘теряться, исчезать’, *стpáч* ‘аборт’, *стpáча* ‘казнь’, *стpáчá* ‘преждевременнo родившийся ребенок’, *стpáччúк* ‘преждевременно родившийся ребенок; покинутый ребенок; черт, который губит людей’. Мы допускаем происхождение псл. **trata* < **trati* < и.-е. **ter-* (**tr-*). Сюда же добавим укр. диал. *тpáтити* ‘терять, губить’, ‘казнить, лишать жизни’, *тpáтитися* ‘наложить на себя руки’, с.-х. *тpáтити* ‘тратить, расходовать’, ‘терять’.

Изначально *пóтpать* также должно было означать умершего ребенка (иногда – парня или девушку). Значение же ‘привидение’ возникло под влиянием народных представлений о неприкаянной душе, ср. д.-р. *тpатати*, *тpамати*, *тpацу* ‘преследовать’, ‘домогаться’, болг. *търчá* ‘бегать’, ‘бежать’, *поті́ря* ‘гнать, преследовать’, с.-х. *пóтepa* ‘погоня’, *пóтepати* ‘погнать’, ‘выгнать’, *пoтpчати* ‘побежать’, ‘побегать’. Эти же слова можно считать способствующими объяснению *потороча*, *потёрчá*.

Таким образом, анализируемая лексика имеет четко выраженный системный характер: *потороча* < псл. **potorča* (< **po-torčiti/torčati* < **torč-* < и.-е. **ter-*) – полная ступень вокализма *o*-ряда; *потёрчá* < псл. **potърčá* (< **po-търčiti/търčati* < **търč-* < и.-е. **ter-*) – ступень редукции; *пóтpать* < псл. **pot(ь)ratъ* (< **po-t(ь)ratiti-* < и.-е. **tr-*) – нулевая ступень вокализма. Структурная системность поддержана системностью семантической: общим для всей лексики выступает значение ‘резать’, связанное с ‘крошить’, ‘ломать’, ‘разбивать’, ‘дергать, выдергивать’ и т. д. Затемнение же первоначальной семантики дальнейшими семантическими наслоениями произошло значительно позднее.

Формулы именованя людей в XVIII в. (на материале памятников деловой письменности)

В XVIII в. система делопроизводства претерпела значительные изменения по сравнению с предшествующей приказной традицией. В частности, количественно возрос документооборот, и это повлекло за собой возникновение новых жанров (видов) документов. Для того чтобы упорядочить обилие документов, с начала века стали вырабатываться специальные формуляры для каждого типа [см.: Косов, 2002]. Не последнюю роль среди реквизитов официальных документов играли модели именованя людей, поскольку требовалось обозначить определенное лицо, идентифицировать его. Официальная письменная традиция предполагает необходимое и достаточное число элементов без избыточной вариативности. Иными словами, экстралингвистическая природа называня людей к началу XVIII в. уже диктовала выбор трех основных компонентов в структуре антропонима: имени (И), отчества (О), т. е. имени отца, и фамилии (Ф). Наиболее интенсивным периодом становления русских фамилий (оформившихся позднее, чем имена) считается XVIII в.

Доклад посвящен особенностям функционирования моделей именованя людей в официальном делопроизводстве XVIII в. Материалом послужили Документы Тюменского нижнего земского суда (1782–1796) [см.: Голованова, 2008]. Для сравнения привлекаются документы последней трети XVIII в., опубликованные в Тюмени [см.: Трофимова, 2002], а также документы первой и второй половины XVIII в., авторами которых являются крупный уральский заводовладелец Акинфий Никитич Демидов (1678–1745) и его старший сын Прокофий Акинфиевич (1710–1786). Наблюдения за функционированием моделей именованя людей основываются на обширном и разнообразном архивном материале (дела из центральных и провинциальных канцелярий).

В первой половине XVIII в. в официальных документах отмечается четырехкомпонентная модель со словами *сын/дочь: Акинфей Никитин сын Демидов, Орена Кирилова дочь Петрова*. Кроме того, используется трехкомпонентная формула именованя представителей привилегированного сословия со специальными суффиксами в форме отчества: *Елисавет Петровна, Анна Иоанновна, Василий Никитич Татищев, Акинфий Никитич Демидов*. Такое оформление отчества приобрело узкосословный характер. Именно в этот период отмечаются колебания в модели именованя людей других сословий. Например, в обращении к своему приказчику А. Н. Демидов использует формулы *Григорей Сидоров* (более частотна) и *Григорей Сидорович* (менее частотна). При указании на крепостных крестьян и мастеровых используются только прозвища – *Горшок, Медведь, Коза*.

Во второй половине XVIII в. также отмечается четырехкомпонентная формула: *Прокофей Акинфиев сын Демидов, Авдотья Алексеева дочь... подполковника Яковлева жена* (в ед. ч.), *дворяня Прокофей, Григорей и Никита Акинфиевы дети Демидовы* (во мн. ч.). Единичны колебания в оформлении отчеств: *Иван Васильев*

*Шнидеров и Иван Васильевич Шнидеров. Ср. Иван Иванович Бецкой (дворянин) и Семен Семенов Прошняков (купец). Прозвища в этих документах не встречаются. Например, при перечислении крестьян (44 человека) в купчей крепости у них указываются имена и фамилии глав семейств: *Василья Ермолаева з'дет[ь]ми Ивановъ, Михаилом, Тихоном.**

В документах Тюменского нижнего земского суда отмечается та же официальная модель (И О сын/дочь Ф) именованья со своеобразным «вводом»: *Лесников зовут ево подлинно Василей Кондратьев сын Лесников.* Формула используется для официальной идентификации субъекта однократно и, как правило, помещается в начале текста документа. Далее возможны варианты: именование по имени и фамилии (И Ф), по фамилии (Ф), по фамилии с приложением (*он*, Ф). В документах количество вариантов минимально, что согласуется с принципами формирующегося официально-делового стиля – однозначностью и недвусмысленностью лексического выражения.

Действующие лица судебных документов – в основном крестьяне, реже мещане. Для их именованья и используется вышеприведенная формула и выявленные варианты. Представители дворянства именовются по модели со специфическими суффиксами в форме отчества: *Алексей Андреевич Волков* (генерал-губернатор Пермского и Тобольского наместничеств), *Петр Иванович Толстых* (помещик, граф), *Дмитрий Петрович Шмыгин* (капитан-исправник).

К концу XVIII в. еще обнаруживаются следы прозвищ, особенно в тех случаях, когда для различения людей недостаточно имени, отчества и фамилии: *Михайло Васильев Воронов Малой, Иван Васильев сын Пушкиников Большой, Осип Данилов Большой.*

Фамильные суффиксы представлены весьма разнообразно: *-ов* (*Головков, Данилов*), *-ев* (*Жеребятьев, Пекарев*), *-ин* (*Васютин, Жулебин*), *-ский* (*Загорский, Любимский*), *-их/-ых* (*Долгих, Черных*).

В собственноручной подписи (самоименовании) к документам на протяжении всего XVIII в. используется модель имя (И) – фамилия (Ф) независимо от сословных различий.

Таким образом, к концу XVIII в. в качестве официальной модели именованья людей всех сословий утверждается четырехкомпонентная – И О сын/дочь Ф. Официальный характер этой модели и устойчивость ее в канцелярской практике отмечается вплоть до XIX в.

Допустимыми вариантами этой модели следует считать именованья по имени и фамилии (И Ф), по фамилии (Ф), по фамилии в составе приложения (*он*, Ф, *ему*, Ф). Именованье по имени-отчеству не характерно для деловых документов, а скорее является знаком особого уважительного отношения к тому или иному человеку, обладающему достаточно заметным положением в обществе.

Прозвища как таковые перестают использоваться в памятниках деловой письменности для именованья людей. Некоторые из них закрепились в форме отчеств (прозвище отца), другие – стали основой фамилий.

Голованова Е. И. Документы Тюменского нижнего земского суда (1782–1796). Тюмень, 2008.

Косов А. Г. Специфика стандартизации текстов деловых документов в XVIII веке (на материале Государственного архива Челябинской области) // Русский язык: история и современность: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. памяти профессора Г. А. Турбина (23–24 октября 2002 г.). Челябинск, 2002. С. 76–89.

Трофимова О. В. Книга. II. Памятники тюменской деловой письменности 1762–1796 гг.: Из фондов Государственного архива Тюменской области. Тюмень, 2002.

Елена Н. Иванова
Вологда

К типологии географических наименований в деловой письменности XIV–XV вв.

В работе выявляются основные типы географических названий, зафиксированных в актовой письменности Белозерья конца XIV–XV вв.

В документах XIV–XV вв. для номинации географических объектов использовались описательные конструкции. Все многокомпонентные наименования можно разделить на две группы: устойчивые сочетания, получившие закрепление в социолекте, и топонимические дескрипции, которые носили речевой характер и возникали в деловом тексте.

Именованье земельного владения, являвшегося объектом купли-продажи, дарения или обмена, как правило, создавалось в тексте: *...даль есмь поустошь деревенку в Кивоице Петроковскоую...* [АСВР, 104, 1448–70]. При описании границ отчуждаемого земельного угодья обычно использовались устойчивые наименования, функционировавшие в живой повседневной речи: *А отвод той пустоши: от Кузьминские пустоши по Меленку по речку до бродку...* [АСВР, 86, 1435–47].

Для устойчивых сочетаний характерна повторяемость, вариативность в текстах. Устойчивые именованья могли служить базой для формирования собственно топонимов: дер. *Горнчарова* [АСВР, 223, 1473] – дер. *Горнчарово* [АСВР, 290, 1492].

Многокомпонентные номинации-дескрипции, создаваемые в памятниках письменности, могли включать в свой состав только аппеллятивы: *деревенька, что росекль на молодежи Калинка, а у речьки у Тыкинки* [АСВР, 281, 1489–1506]. В ряде именованний аппеллятивы присоединяются к топониму или устойчивому топонимическому сочетанию: *деревня Новоселки на Угле* [АСВР, 242, 1476–82].

В текстах монастырских актов отмечены сложные номинативные комплексы: *пожня от Толдовского озера вниз до кривые березы, от той березы прямо к Шохне на краи Тресты* [АСВР, 39, 1397–1427]. В подобных именованьях локативные определители выполняют функцию межевой формулы, которая в большинстве актов представляет собой самостоятельное предложение (*А отвод той пустоши от... до...*).

Для именованья географических объектов в памятниках письменности использовались однословные топонимы, образованные по сформировавшимся топонимическим моделям. Высокой частотностью в текстах отличались аффиксальные образования с топоформантами *-ово/-ево, -ино*: дер. *Сычево* [АСВР, 267, 1485].

Топонимы на *-ово/-ево, -ино* могли создаваться прямо в тексте. Составители текстов «подравнивали» бытовые географические наименования под сложившуюся топонимическую модель: *дал яз... в дом святей Богородице ... Пружинино*, да *Корневское*, да *Пробудово*, да *Шуклинское*, ... да *Трофимово*, да *Полтино*, да *Добрилово* [АСВР, 223, 1473].

В исследуемых текстах частотны географические названия на *-ое*: пустошь *Высокое* [АСВР, 290, 1492], деревня *Старое* [АСВР, 267, 1485]. Таким образом, флексия среднего рода в памятниках письменности играет роль универсального показателя топонимического значения.

В актовой письменности Белозерья однословные топонимы также представлены безаффиксными образованиями: деревня *Починок* [АСВР, 282, 1490–99], пожня *Плесо* [АСВР, 168, 1455–75], земля *Марозеро* [АСВР, 165, 1455]. В деловой речи наблюдается тенденция преобразования топонимов в топонимические дескрипции: земля *Липник – земли Липенские* [АСВР, 164, 1455], земля *Марозеро – земли Марозерские* [АСВР, 165, 1455]. Топонимические сочетания, возникшие в результате переоформления безаффиксных топонимов, имели речевой характер и функционировали только в деловом тексте.

В исследуемых текстах выделяется группа составных топонимов, образованных на базе устойчивых топонимических сочетаний: дер. *Красная Горка* [АФЗХ, 307, 1453], дер. *Глухая Лохтина* [АСВР, 260, 1482]. Устойчивые сочетания *Красная Горка*, *Глухая Лохтина* отличаются высокой степенью спаянности элементов. Это подтверждается наличием вариантов именовании в текстах: земля *Глухие Лохтины* [АСВР, 290, 1482], дер. *Красные горки* [АФЗХ, 309, 1511].

Таким образом, в деловой письменности Белозерья конца XIV – XV в. для именовании географических объектов использовались топонимы, образованные по сформировавшимся топонимическим моделям, и описательные именовании, которые представляли собой устойчивые словосочетания или топонимические дескрипции речевого характера.

Создание типологии древнерусских географических наименований требует решения вопроса о соотношении языковых и речевых номинаций в сфере топонимической лексики памятников письменности. При вычленении топонимических типов необходимо учитывать вариативность географических названий, которая в одних случаях отражает естественный процесс формирования онимов, в других – является следствием искусственного преобразования топонимических единиц.

АСВР – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1958. Т. II.

АФЗХ – Акты феодального землевладения и хозяйства. М., 1951. Т. I.

Устаревшие географические термины в топонимии Среднего Урала*

1. В силу различных социокультурных преобразований сегодня происходит интенсивное размывание диалектов. Многие диалектные слова перестают употребляться или переходят в пассивный запас. Однако некоторые исчезнувшие и исчезающие слова закрепились в составе топонимов.

2. Диалектные географические термины также выходят из активного употребления. Именно этот разряд диалектных слов наиболее активно переходит в разряд топонимов. Поэтому обращение к топонимии, а особенно к микротопонимии региона, позволяет обнаружить географические термины, утраченные в лексике говора.

3. Можно выделить следующие группы географических терминов, отсутствующих в современных уральских говорах.

А. Семантические «историзмы»: слово известно в уральских говорах, но с другой (нетерминологической) семантикой. В говорах Среднего Урала есть слово *вачега* ‘большая рукавица’ [СРГСУ, 1, 68]. Однако в «материнских» архангельских говорах это слово фиксируется также в значении ‘болотистое место’ [СГРС, 2, 35]. Судя по топонимам *Вачега*, бол., руч. (Ирб.), ур. (Артем.), и на Урале у слова *вачега* могло быть значение географического термина.

Б. Словообразовательные «историзмы»: слово неизвестно в уральских говорах, но в них встречается однокоренная лексема со сходным значением. В уральских говорах зафиксировано слово *изголовь* ‘место, прилегающее к мысу’ [СРГСУ, 1, 199]; ‘выдающаяся сторона острова, мыс’ (урал.) [СРНГ, 12, 119]. В то же время в топонимии Урала встречается географический термин *сголовь*, не зафиксированный ни одним словарем: *Большая Сголовь*, мыс и ур. (Гар.), *Узкая Сголовь*, мыс и ур. (Гар.). Судя по характеру реалий, слово имело то же значение.

В. Лексические «историзмы»: слово не встречается в современных уральских говорах, но зафиксировано на тех территориях, откуда шло заселение Урала. В топонимах *Лагмаз*, камень (Камышл.), пок. (Бер.), *Залагмаз*, пок. (Камышл.) отражен устаревший географический термин *лагмаз*, который продолжает употребляться на территории Архангельской области в значении ‘низкое болотистое место, поросшее труднопроходимым лесом, кустарником’, ‘возвышенное место’ [КСГРС].

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08-04-83402 а/У.

К типологии ономастических словарей*

Отечественными лексикографами предложено несколько типологий словарей, в которых систематизация лексикографических источников осуществляется в соответствии с разными принципами. Наиболее распространенной является типология словарей с точки зрения предмета лексикографирования. На основании того, что предметом описания в словаре выступает имя собственное (оним), в ряде классификаций выделяется тип словарей собственных имен (ономастических словарей) [Алешина, 2002; Апажев, 1998; Козырев, Черняк, 2000; Протченко, 1996; Шимчук, 2003].

Разработаны и другие принципы классификации словарей, по которым ономастические словари включены в различные типологические схемы.

В. В. Дубичинский относит ономастические словари к поясняющим или объяснительным словарям, а также включает их в подраздел словарей, описывающих словарный состав языка с культурологической точки зрения, и помещает в один ряд со «страноведческими» и словарями по культуре речи и литературной норме [Дубичинский, 2009, 71].

Э. Г. Шимчук подробно рассматривает ономастические словари в разделе «Лингвистические диахронные словари», а также в подразделах «Что такое исторический словарь» и «Этимологические словари» [Шимчук, 2003, 171–173, 184–186].

Наличие в словарном корпусе онимов Л. В. Алешина считает жанровой особенностью словарей. По данному признаку в ее типологии выделяются ономастики, апеллятивы, смешанные словари [Алешина, 2002, 12].

А. М. Цывин разрабатывает несколько классификационных схем словарей, в каждой из которых словари делятся «на основании одного дифференциального признака на подклассы нескольких ярусов». На основании признака «проприальность»/«нарицательность» словари апеллятивов противопоставлены ономастиконам [Цывин, 1978, 102].

В. В. Морковкин разрабатывает три основания для типологии словарей: что-основание, как-основание, для кого-основание. «Что-основание <...> дает возможность построить ж а н р о в у ю классификацию словарей, основанную на особом осмыслении лексической системы языка, <...> в пределах которой выделяются три класса единиц: простые, составные и совмещенные. Словари собственных имен выделяются автором в раздел словарей, описывающих совмещенные единицы лексической системы, т. е. “однотипно маркированные лексические пласты”. “Маркированность” в данном случае, обусловлена “ориентацией на язык <...> апеллятивности”» (более точно не выражено. – Н. И.) [Морковкин, 1994, 6–18].

Внутренняя типология ономастических словарей в рамках предлагаемых типологических схемах представлена не во всех случаях. Чаще типологии ограничива-

*Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Русские ономастические словари как источник культурно-исторической информации».

ются «ономастическими словарями». В более подробных классификациях картина следующая.

М. Л. Апажев внутри всего комплекса лингвистических словарей выделяет класс ономастических словарей, которые подразделяются на следующие типы: словари личных имен; словари фамилий; словари прозвищ, кличек; словари топонимов; словари гидронимов; словари названий жителей; словари этнонимов; словари лингвонимов [Апажев, 1998, 25]. По мнению А. М. Цывина, ономастические словари делятся на антропонимические / неантропонимические; антропонимические – на словари этнонимов и собственных имен. Дальнейшее подразделение неантропонимических словарей отсутствует. «Краткий топонимический словарь» В. А. Никонова автор относит к неантропонимическим ономастиконам [Цывин, 1978, 102].

Некоторыми авторами словари собственных имен в словарные типологии не включаются по причине краткости изложения типологических принципов или неполного приведения примеров для пояснения типов и жанров словарей [Новиков, 1973; Якимович, 1972].

Выявление статуса ономастических словарей в общих словарных типологиях позволяет определить их специфику как лексикографических источников особого типа и выработать четкие типологические критерии для их внутренней классификации.

Алешина Л. В. Словарь авторских новообразований в контексте современной отечественной лексикографии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Орел, 2002.

Апажев М. Л. Типология словарей и читательских запросов к ним: Мат-лы к спецкурсу «Русская лексикография». Нальчик, 1998.

Дубчинский В. В. Лексикография русского языка: Учеб. пос. М., 2009.

Козырев В. А., Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях русского языка. СПб., 2000.

Морковкин В. В. Типология филологических словарей // *Vocabulum et vocabularium*. Вып. 1. Харьков, 1994. С. 13–23.

Новиков Л. А. Типология учебных словарей // Учебные словари русского языка: Второй междунар. конгресс преподавателей рус. яз. и лит.-ры. Варна, 1973. С. 3–24.

Протченко И. Ф. Словари русского языка: Краткий очерк. М., 1996. 2-е изд., испр. и доп.

Цывин А. М. К вопросу о классификации русских словарей // *Вопр. языкознания*. 1978. № 1. С. 100–108.

Шимчук Э. Г. Русская лексикография. М., 2003.

Якимович Ю. К. Типология словарных изданий // *Книга. Исследования и материалы*. М., 1972. Т. XXV. С. 22–30.

Отражение обрядовой концептуальной семантики в ключевых словах фольклорного текста

При когнитивном подходе к изучению фольклорного текста он сам трактуется как результат особого способа восприятия и организации мира, частный вариант его концептуализации, а узловые мотивные слова фольклорного текста – как центральные точки, узлы концептуального текстового пространства. Мотивные слова фольклорного текста, рассматриваемые как средства доступа в ментальную область, как представляется, неоднородны. Среди них можно выделить, с одной стороны, «прагматико-ключевые» слова текста, с другой – слова «понятийно-ключевые».

Под прагматико-ключевыми понимаются такие слова фольклорного текста, которые выражают особенности прагматики и определяемой ей структурно-семантической организации фольклорного текста. Иначе говоря, «прагматико-ключевые» слова аккумулируют в своей семантике важнейшие прагматико-смысловые координаты фольклорного текста – его концепт, исходный замысел, который является предметом памяти фольклорного текста. К понятийно-ключевым словам фольклорного текста относятся лексемы, семантика которых позволяет реконструировать традиционные понятия, базовые для данного конкретного текста. Понятийно-ключевые слова разных фольклорных текстов представляют собой вербальную реализацию различных идей, соответствующих референтной специфике конкретного фольклорного текста.

Похоронно-поминальная обрядность самым непосредственным образом связана с представлениями о смерти и жизни, поэтому соответствующие понятия являются базовыми для текстов похоронно-поминальных причитаний, они обозначают доминантные элементы жанровой картины мира. В соответствии с этим семантическое пространство причитаний складывается из двух базовых семантических макрополей: макрополе «Смерть», связанное с умершим, и макрополе «Жизнь» (макрополе «Сиротство»), связанное с живыми участниками обряда. Остановимся на анализе некоторых лексем макрополя «Смерть», наиболее проработанного в текстах севернорусских похоронно-поминальных причитаний.

Значительное место в группе глаголов с общим значением действий и состояний умершего занимают глагольные лексемы, обозначающие смертельный исход и его причины. По сравнению с прямой, предельно отвлеченной или нулевой номинациями смертельного исхода наиболее активно в причитаниях используются глагольные обозначения, которые реализуют семантическую модель «смерть – дорога». К ним относятся глаголы, обозначающие разные этапы пути умершего по направлению к иному миру: сборы в дорогу, в том числе перемену одежды (*наладиться, снарядиться, собраться, сокручаться, сподобиться, справиться*); собственно перемещение в пространстве (*направиться, отправиться, удалиться, уйти/пойти/сойти, уехать/поехать, убраться, укатиться/покатиться*); сопутствующее пе-

ремещению действие удаляющегося относительно родственников (*оставить, бросить, покинуть*).

Понятийно-ключевые лексемы данной группы глаголов моделируют представление об особом способе преодоления дороги по направлению к «тому» миру (*укатиться/покатиться/приукатиться*) и его локализации – внизу (*укатиться, отпасть*), а также о расположении умершего относительно живых (в зависимости от наблюдателя) – сзади (*от(о)стать*) или впереди (*оставить*).

В ряду указанных глагольных лексем, обозначающих смерть как пространственное перемещение, выявлены также прагматико-ключевые слова похоронно-поминальных причитаний, аккумулирующие в своей семантике концепт этих фольклорных текстов, их прагматико-смысловое ядро.

Исходная семантика и прагматика погребального обряда – обеспечить правильный переход человека из мира живых в мир мертвых, успешное прохождение предназначенного традицией пути и восстановить однородность двух миров, гарантирующую дальнейшее благополучное существование социума, – реализуется как в самой базовой для причитаний семантической модели «смерть – дорога», так и во внутренней форме глаголов, обозначающих сборы в дорогу.

Кроме того, ряд лексем севернорусских похоронно-поминальных причитаний включает концептуальную идею о том, что обрядовое преобразование кризисной для социума ситуации осуществляется только посредством контакта, взаимодействия двух миров (своего и чужого). К ним относится прежде всего глагол *убраться*, обозначающий смертельный исход, а также составляющие других лексических микрогрупп причитаний: существительное *займище* со значением ‘могила, кладбище’ и глаголы (*при(у)брать, взять* и т. п., синтагматически соотносимые с существительными, обозначающими или опосредующее звено между мирами, или представителей чужого, «того» мира: *земля, собственно смерть, а также Бог и Богородица*.

Указанные лексические образования от **brati* включаются в качестве обязательного звена в словообразовательный и семантический ряд, элементы которого соответствуют важнейшим точкам «синтагмы» человеческой жизни: *бремя, беременная* (рождение) – *брак* (свадьба) – *брат, прибрать, убраться* (смерть). Таким образом, семантическая структура глагола *убраться*, обозначающего в контексте похоронно-поминальных причитаний смертный исход, оказывается сложно организованной: помимо семы ‘перемещение в пространстве’, в фольклорном тексте реализуется сема, которая отражает обрядовую концептуальную семантику и прагматику, представляемую в категориях «давать» – «брать». Указанные лексемы этимологических гнезд **bʀati* и **ʃeti* актуализируют представление о составляющем суть любого обряда жизненного цикла обмене ценностями, диалоге двух миров (человеческого социума и сверхъестественных, высших сил), между которыми установлены отношения своеобразной взаимности.

К этимологии севернорусского *поча*

Слово *поча* известно на Русском Севере в качестве географического термина (*поча, почча, потча, потиша*) и топонимического детерминанта (*-поча, -пуча, -повча*). Наричательное *поча* имеет значения ‘старица’, ‘рукав реки’, ‘залив’ [КСГРС; Даль, 3, 360]; топонимы с детерминантом *-поча* квалифицируют главным образом старые речные русла, ручьи, заливы [ТК ТЭ УрГУ].

В этимологическом отношении слово является дискуссионным. Первоначально оно сопоставлялось с вепс. *poht* ‘небольшой залив озера или реки’ и *poža* ‘грязь’, *pože, poža* ‘топкое место; лужа; яма на лугу, заполненная водой; омут в реке’ [Матвеев, 2001, 222] – очевидно, что эти сопоставления фонетически и семантически неполны. А. Л. Шилов считает русск. *поча* древним прибалтийско-финским («чудским») реликтом [Шилов, 1997, 14–15], что по существу поддерживает Е. А. Хелимский, который на основе финских и саамских данных реконструирует западнофинскую лексему **počja* [Хелимский, 2006, 46–47]. А. К. Матвеев, учитывая дифференцирующую саамскую основу *Нюх-* (< *нюхч* ‘лебедь’) в названии *Нюхпоча*, предполагает саамское происхождение термина. По его мнению, термин может являться метафорическим и соотноситься, например, с саам. норв. *bosse*, патс. *potts*, сонг. *poatts* ‘труба’ [Матвеев, 2001, 223]. В недавно вышедшей монографии финского исследователя Я. Саарикиви предлагается другая «саамская» версия: русск. диал. *поча* автор связывает с саам. **puca* ~ приб.-фин. *pudas* ‘рукав реки’ [Saarikivi, 2006, 56].

По существу гипотеза Я. Саарикиви близка нашей, однако представляется, что слово *поча* следует соотносить не только с реконструированным **puca*. Оно может быть сопоставлено также с «живыми» восточносаамскими лексемами: патс. *põutas* и ногоз. *pāutas* ‘более мелкий рукав реки, протока’ [KKLS, 401; SKES, 623].

При достаточно давнем русском усвоении слов, фонетически близких к этим восточносаамским лексемам, первый слог может быть передан как *пов-*, *пу-* или *по-*, на что указывают исторические примеры русской передачи собственно саамских топонимов Кольского полуострова: ср. саам. *Saun* > русск. *Совна, Tālm^a* > *Толмея, Talwijok* > *Толва* [KKLS, 1013, 1020] и др. Второй слог является заударным, вследствие чего гласный при русском усвоении мог выпасть (диэреза гласного могла произойти уже в самом языке-источнике, на что указывают, например, наблюдения Г. М. Керта, касающиеся упрощения основ в собственно саамских топонимах: *kaarek* > *kark*, *rappes* > *raps* и т. п. [Керт, 2002, 50]). Согласные *t* и *s* в этом случае дали бы твердый русский *ц*. Тем самым при передаче саамского слова возможна форма **поц-* (> **поч-/ *потти-*) – ее оформление финально *-а* в свете многих фактов подобной морфологической адаптации не представляет ничего необычного. В рамках этих метаморфоз объясняются и варианты *-пуча* (*Верпуча*) и *-повча* (*Сенотповча*), отражающие, по-видимому, разные пути русской передачи саамского дифтонга *ou/āu* (*põutäs, pāutas*).

Не менее вероятной представляется нам связь русского диалектного *поча* с д е м и н у т и в н ы м и формами указанных восточносаамских лексем: патс. $po\chi t^{(A)}säž$, нотоз. $pa\chi t^{(A)}s š'$ ‘рукавок, проточка’ [KKLS, 401]. Заударные гласные в этих формах редуцированы уже в самом саамском (, ^(A)), вследствие чего финаль слова для воспринимающего языка представляется сложным стечением согласных. В силу комбинаторных изменений, которые в этом случае неизбежны, появление *ч/ми* вполне закономерно: $tsš' > tš'$ (> русск. *ч* или *ми*; возможен как твердый, так и мягкий вариант – ср. в связи с этим русские диалектные варианты *поча/потуа*). Саамский χ , который представляет собой артикуляционно слабый заднеязычный глухой спирант, при русском усвоении мог утратиться, ср., например, аналогичное изменение, отраженное в вариантах *Чухчерема – Чучеремская* (вероятный рефлекс спиранта можно усматривать в форме *-повча*, если она возникла из *попча* < $po\chi t^{(A)}säž$, $pa\chi t^{(A)}s š'$ – подобно тому, как в топонимии русск. *пивк-* < приб.-фин. *pihk-* [см. Kalima, 1919, 41–42; Матвеев, 2001, 147]).

Таким образом, несмотря на ограниченность восточносаамских диалектных данных, в них хорошо просматривается возможность передачи форм типа *pōutas*, *pāutas*, $po\chi t^{(A)}säž$, $pa\chi t^{(A)}s š'$ русским *поц-/поч-/ному-/нуч-/новч-*.

Немаловажно, что предложенное сопоставление является весьма точным с семантической стороны: выше уже отмечалось, что для нарицательного *поча* значение ‘рукав реки’ – одно из основных. В топонимических материалах ТЭ шесть из 11 названий с детерминантом *-поча* записаны как ручьи и старые речные русла – в связи с этим стоит заметить, что старицы обычно образуются из рукавов, а при квалификации ручьев в условиях полевого сбора не всегда уточняются географические детали, т. е. и «ручьи» на деле могут являться малыми речными рукавами. Вполне очевидно также, что семантическое развитие в направлении «рукав реки → ручей, старица → залив, болото, лужа» более естественно, чем какое-либо иное в пределах этого же ряда значений. Тенденцию к подобному развитию дает и семантика лексемы *пудас* (~саам. *pōutas* и др.), известной в западной части Беломорья и олонекских говорах, ср. *пудас* ‘залив, узкий пролив’, ‘рукав, проток реки’, ‘ручей, вытекающий из болот, впадающий в реку’, ‘река, заросшая травой’ [СРНГ, 33, 107].

Керт Г. М. Применение компьютерных технологий в исследовании топонимии. Петрозаводск, 2002.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Екатеринбург, 2001. Т. 1.

Хелимский Е. А. Северо-западная группа финно-угорских языков // *Вопр. ономастики*. 2006. № 3.

Шилов А. Л. Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволоческой Чуди // *Вопр. языкознания*. 1997. № 6.

Saarikivi J. Substrata Uralica. Tartu, 2006.

Имя человека в зеркале метаязыковой рефлексии диалектоносителей

В докладе рассматриваются особенности восприятия различных именовании человека (личных имен, прозвищ) в русском народном языковом сознании, которые отражены в диалектной и общенародной метаязыковой терминологии, а также в метаязыковых высказываниях диалектоносителей.

«Законным» именем считалось то, которое дано при крещении: *крестное имя, истовое имя, по угоднику, по-крещеному, ангельское*. Ему противопоставлялось имя, полученное вне обряда крещения: *имя, наимя, прозвание, не по-крещеному*. Ср. в словаре Даля: «*Рекло* давалось по святам, а *имя* по обычаю, нередко языческое». Для диалектоносителей эта оппозиция смыкается с оппозицией официального – неофициального имени: свердл. «У меня два званья – по-крещеному и так, кто как называют», костр. «Если мать назначит како имя ребенку, так и называют. Бывало, крестятся, а она все по-старому и называт». В современной традиции официальность имени связывается с закрепленностью его в документах (паспорте): *имя по пачпорту, договор* ‘имя, отчество, фамилия’.

Полное имя противопоставлено бытующим в речевой практике неполным именам, ср. перм. «*Коренно*-то имя Александра, а зовут её Шура»; арх. «Жанкой звали, *детскими* именами. Два Сашки были, обоих Канками звали». Использование неполного имени может быть обусловлено традицией (ср. кубан. *полуимя* ‘неполное, уменьшительное имя’, арх. *цело имя* ‘основное имя’: «У нас в деревне не на цело имя, а на полуимя зовут»), необходимостью различения тезок (арх. «В одной деревне 3 Федора было, надо ведь их различать. Одного звали Фёдор, другого Федюня, третьего Феденька), а также трудностями в произношении имени (влг. ««Серёга» трудно ему было говорить, вот и звал Серёгу “Рога”»).

Особо отмечены в языковом сознании диалектоносителей прозвища. Ср. также набор обозначений прозвищ в русском жаргоне, широта которого обусловлена экспрессивностью этого разряда имен собственных: жарг. *кликуха, кличуха, системное имя, шем, погоняло, погремуха, псевдо, рота* и др.

Прозвище противопоставлено основному именованию человека по своему происхождению и условиям употребления: если имя дается в семье (и там же преимущественно используется, то прозвище дается и употребляется извне, на «улице» (пск. *улична кличка*), и может перерасти в *уличную фамилию*.

Диалектоносители разграничивают прозвища по их функции, выделяя именованья *по старейшему* и *курьезные*: свердл. «Были прозвища и не по старейшему, а просто где-то кем-то данные. Курьезные, что ли, нехорошие в какой-то степени. От дразнил и оставалось прозвище-то». Таким образом, разводятся прозвища, идентифицирующие человека, вводящие его в род, семью, и прозвища – закрепившиеся *дразнилы*, дающие характеристику своему носителю (как правило, экспрессивную).

Диалектоносители разграничивают прозвища с точки зрения о б ъ е к т а н о м и н а ц и и (коллектива носителей). Выделяются прозвища (*обзывы, назывица, назывы*), дающиеся жителям соседних деревень (ср. перм. «Тут у нас всякия *назвица*: шалапужката (это из Кузвы), резгунята, воронята, – кого только как не зовут», перм. «У Пальнинских *называ* – горожана де»), представителям определенной семьи (перм. «У нас прапрадед еще был Тихон Тихонович, вот нас и называют “Тихоновские”»), арх. «*Фамилия* Петрушины, а *дом* Вдовкинцами назовут, так уж дома по деревне назывканы»), иной по статусу социальной группы (забайк. *приветное (привадное) имя* ‘прозвище’: «Крестьяне за что-то не любили казаков, дав им привадное имя – гураны»). Внутренняя форма термина *приветное имя* указывает на особенности функционирования таких прозвищ: их использовали при приветствии.

Таким образом, система именовании лиц, выделяемая диалектоносителями, оказывается достаточно разветвленной. Но ее основным функциональным элементом является личное имя. Выбор имени активно оценивается и осмысливается диалектоносителями.

Имя может оцениваться с позиции старое – новое (арх. «Внук у меня Данил, *прежнёе* оно тоже имя, раньше Данько звали»), русское – нерусское (арх. «Да у тебя имя-то како-то *нерусское, неистовое* <не соответствующее нормам>»), влг. «Раньше у нас здесь жили *поляки*, паны-то. От их фамилии остались: *Тонковский, Нефедовский, Назаровский*»).

Выделяются нетипичные, н е о б ы ч н ы е и м е н а, которые могут получать негативную оценку: арх. «Папа дал какие-то *странные* имена моим сестрам: *Кириена, Крискентия, Макрина*»; арх. «У меня 17 девок было, последних назвали *Крестя* да *Пестя*. Все смеются, имен не хватило, девку пестерём <*пестерь* ‘заплечный берестяной короб’> прозвали».

Наделение ребенка «мудреным» именем может связываться с нарушением установленных норм во время крещения ребенка, ср. костр. «*Алина* хоть бы или *Кристина, Орестина* даже и в святцах нет». По народным представлениям, «плохое» имя поп может дать ребенку, родители которого его чем-то разозлили или не одарили достаточно щедро: арх. «Даровой поп крестил да *Окулина* имя дал, без пути-то я», арх. «Если поп недоволен, сердит, то такое имя может дать – *Хавронья, Филарет* там», свердл. «Раньше попы ездили по деревне, славлено собирали. Им хто овса, пшенисы, хто щё. Если хто мало вынесет, он обязательно имя плохое дас ребёнку. Всякие, всякие там имена. Вот *Фарафон*. Батюшка сказал, что это собащье имя – Фарафон». Отношение к этим именам во многом определяется их «чужим», непривычным для русского уха звучанием. Кроме того, такие имена в дворянской и купеческой среде считались именами простолюдинов.

Плохими именами было принято называть незаконнорожденных детей: арх. «Незаконнорожденным детям давали плохие имена, например, *Макар, Пантелей*. Презирали таких почему-то», арх. «Незаконнорожденным давали премудрые имена: *Марфа, Федот* – заковыристые». «Заковыристые», редкие имена становились маркером незаконности ребенка. Ср. отмеченная в среде русского дворянства традицию давать незаконнорожденным детям искаженные фамилии отцов: *Пнин* – сын *Репнина*, *Востоков* – сын *Остенбека* и др.

Еще раз об омонимии в фитонимии: *Colchicum, Crocus, Gymnadenia, Iris, Orchis, Sternbergia*

Для народной ботанической таксономии характерно наличие омонимических отношений. Появление омонимии обусловлено переносом названия с одного вида растений на другой, относящийся к тому же или иному семейству и роду. Омонимия осложняет лингвистам задачу точной идентификации растения, т. е. определения референта с его отличительными свойствами (о дифференциальных свойствах растений, инициирующих процесс номинации см.: [Séguy, 1953, 292]), а следовательно, и отнесение фитонима к соответствующему семантическому типу и его дальнейший формально-этимологический анализ. Точная ботаническая идентификация одинаково названных растений помогает выявить причины появления омонимов и установить, идет ли речь об омонимичной полисемии, омонимичной генерализации или о том, что Стромберг называл *Verwächslung* (путаница, смешение) [Strömberg, 1940, 15]. Сейдиу, следуя за Сеги (Séguy), понимает под омонимичной полисемией такой перенос названия, который обусловлен общими или сходными свойствами одинаково названных растений, а под омонимичной генерализацией – перенос названия, причиной которого явилось отсутствие специфических, отличительных свойств этих растений [Sejdiu, 1984, 352].

Перенос названий наиболее характерен для номинации сорняков, специфические ботанические черты которых трудноопределимы [подробнее см.: Đokić, 2000]. В докладе ставятся следующие задачи: 1) представить корпус сербско-хорватских синонимичных лексем, называющих сорные растения из рода *Colchicum, Crocus, Gymnadenia, Iris, Orchis* и *Sternbergia*; 2) определить причины появления идентичных названий; 3) установить ситуацию номинации, которая обусловила появление идентичных наименований растений, имеющих общие или сходные свойства, и 4) охарактеризовать способы образования фитонимов: семантическая и аффиксальная деривация, словосложение, заимствование [Шпис-Ђулум, 1995, 12, сноска 15].

Поскольку значение сорных растений для человека не так велико (людьми они используются не часто или вообще не используются), сфера их номинации дает большую свободу для речевого выражения. Для них характерно «переплетение» названий: сорные растения могут иметь несколько обозначений, некоторые из них переносятся на другие виды, в свою очередь носящие несколько названий. В работе анализируются этимологически непрозрачные номинации, которые еще не становились предметом серьезных исследований (с.-х. *кађун, брндуша, козлџи, сабыџе, желењак*). Некоторые из них упоминаются в славянских этимологических словарях, однако предложенные этимологические решения могут быть пересмотрены с учетом не только фонетико-морфологического, но и ономазиологического аспекта. Остальные фитонимы, относящиеся к рассматриваемой группе, будут привлекаться в качестве фона.

С целью более точного определения происхождения и мотивационных признаков фитонимов в работе используются методы сравнительно-исторического, мор-

фемного, фонологического и ономазиолого-семасиологического анализа. Результаты данного исследования значимы не только для создания типологии признаков фитонимов, но и для сербско-хорватской и славянской этимологической науки в целом.

Шниц-Бурум М. Л. Фитонимиа југозападне Бачке // Српски дијалектолошки зборник. 1995. XLI. С. 397–490.

Dokić M. R. O homonimiji u fitonimiji: stgr. *ἁνδράχνη* и sh. *jandrašika* // Јужнословенски филолог. 2000. LVI/1–2. С. 411–420.

Séguy J. Les noms populaires des plantes dans les Pyrénées centrales. Barcelone, 1953.

Sejdiu Sh. Formalna i semantička podudaranja u denominacionim postupcima u fitonimiji romanskih jezika s albanskom i hrvatskosrpskom fitonimijom: Doktorska teza u rukopisu. Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet. Zagreb, 1984.

Strömberg R. Griechische Pflanzennamen. Göteborg, 1940.

В. Н. Калуцков
Москва

О ландшафтном подходе в топонимических исследованиях

П о с т а н о в к а п р о б л е м ы. Концептуальной основой географических исследований топонимии в 1960–1970 гг. являлось понимание топонима как «слова на географической карте». Такая концепция топонима была рассчитана на «мелкомасштабное» использование, при котором топоним является точкой, не имеющей территориального измерения. Многочисленные исследования локальных культур, выполненные в 1970–1990 гг. диалектологами, этнографами, фольклористами, топонимистами и географами, показали, что на локальном уровне исследования топоним перестает быть «точкой», приобретая пространственные и территориальные характеристики. При этом с позиции географического видения таких исследований возникает ряд методологических вопросов.

Во-первых, с какими географическими объектами соотносится топоним? Если только с местами («топономастика – наука о собственных именах мест»), то как быть с «неместами» – угожьями, урочищами, территориями, природно-территориальными комплексами, регионами? Во-вторых, как соотносятся «географический объект» и топоним, образуют ли они новое качество или должны рассматриваться по разным «ведомствам»?

В рамках л а н д ш а ф т н о г о (культурно-ландшафтного) подхода топонимия (шире – ономастика) рассматривается как подсистема культурного ландшафта. Иные ландшафтные подсистемы – природная среда, селитьба, хозяйство, сообщество, духовная культура. Данная объектная модель культурного ландшафта обладает значительным эвристическим потенциалом и может использоваться как в моно-, так и междисциплинарных исследованиях [Калуцков, 2004; 2008].

Один из аспектов культурно-ландшафтного подхода связан с субъективизацией культурного ландшафта. Любой культурный ландшафт уже имеет своего

коллективного исследователя: человеческое сообщество организует, поддерживает и осмысляет свой культурный ландшафт в различных арте- и ментефактах – хозяйственных угодьях и урочищах, предметах материальной культуры, диалектах, топонимии, в устной истории места и т. д. Такой подход позволяет различать внешнюю и внутреннюю исследовательские позиции относительно культурного ландшафта (и его топонимии), которые не совпадают. «Внешний» ландшафт отражает восприятие культурного ландшафта внешним наблюдателем, «внутренний» – местным сообществом, он описывается исследователем-знаком его языка и особенностей культуры. Заметим, что «внутренний» культурный ландшафт имеет свою собственную организацию, функционирование, собственные системы номинации.

Топос в ландшафтно-топонимических исследованиях. Культурно-ландшафтные исследования проводятся в основном на локальном уровне, что соответствует крупномасштабной картографической основе. В такой исследовательской ситуации топоним приобретает вполне определенные территориальные очертания, соотносится с конкретными географическими объектами – и с небольшими местами, и с площадными объектами – урочищами. В качестве единицы крупномасштабных ландшафтно-топонимических исследований мы рассматриваем *топос*. Представление о топосе реализует ландшафтный подход к топонимии, в котором важнейшим элементом анализа выступает территория, пространство.

Топос – поименованная территория (место, угодье, урочище) определенного культурного ландшафта. Топос позволяет учитывать аутентичность местной культурной традиции, «внутренний» культурный ландшафт. Можно утверждать, что топос – это территориально локализованный топоним.

Простейшая формула топоса: топос = территория + топоним. В вертикальной структуре топоса территория представляет собой материальную основу, или основание топоса, а топоним – его идеальную основу, или «вершину» топоса. Вместе с тем реальная ситуация более сложная: и топоним, и место как бы проникают друг в друга, образуя новое качество. Отметим один важный «парадоксальный» момент: в принципе любое безымянное место, угодье, урочище уже имеет свое протонимия (прототопоним), которое содержится в типе места, угодья. Этот прототопоним может стать топонимом: так, городище становится *Городищем*, а пожня – *Пожней* или *Поженкой*.

При смене одного топоса другим, например в связи со сменой хозяйственного использования, старый тип угодья может сохраниться в топониме. Так, *новина Ивана Петровича* становится *полем Новина Ивана Петровича*, а оставленная *девяня Петровка* – *полем Деревня*. Это важный момент динамики топоса.

Ландшафтно-топонимическое картографирование. Топос представляет собой элементарную пространственно-территориальную единицу культурного ландшафта, обладающую территориальными, визуальными, семантическими и другими свойствами, которые могут быть выявлены и осмыслены в контексте определенного культурного ландшафта. Поэтому топос принимается в качестве основной единицы ландшафтно-топонимического картографирования.

По форме выделяются площадные, линейные и точечные топосы. По происхождению все топосы делятся на две группы – культурные, возникшие под влиянием хозяйственной деятельности, и природные, связанные с освоением и осмыслением природных особенностей местности. Выделяются топосы с жесткими и размытыми территориальными границами. Определенность границ топоса зависит от «жесткости» границ соответствующего места или урочища и от его положения в пределах культурного ландшафта. Территориальные границы сельскохозяйственных топосов обычно более определены, чем, например, лесных. То же можно сказать и о центральных топосах конкретного культурного ландшафта по сравнению с периферийными.

Легенда ландшафтно-топонимических карт строится на региональной типологии топосов. Например, для Русского Севера характерны следующие топосы, в совокупности отражающие особенности природы и хозяйственного освоения региона: комплексные, сакральные, селитебные, сельскохозяйственные, лесные, речные, озерные, болотные, дорожные и граничные.

Калуцков В. Н. Топологическая организация традиционного культурного ландшафта // Культурный ландшафт как объект наследия. М.; СПб., 2004. С. 116–132.

Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М., 2008.

Л. Л. Карпова
Ижевск

Онимы в географических названиях бассейна средней Чепцы

В последнее десятилетие объектом исследований автора являлись говоры удмуртов, населяющих бассейн среднего течения р. Чепца. Наряду с диалектологическим материалом, собранным во время экспедиций, нами зафиксирован также определенный корпус топонимии, который и послужил источниковой базой данной работы. Топонимия среднего течения Чепцы до настоящего времени не являлась объектом специального анализа.

В среднечепецком регионе топонимы, образованные от собственных имен (антропонимов, топонимов и микропонимов), составляют одну из самых многочисленных групп.

1. О т а н т р о п о н и м и ч е с к и е т о п о н и м ы .

1. Названия, возникшие от личных имен. Личные имена чаще всего встречаются в наименованиях населенных пунктов, полей, лугов, лесов, оврагов. По происхождению одни из них являются удмуртскими, другие восходят к заимствованиям из тюркских и русского языков: поле *Бад'он'выр* < удмуртское личное имя *Бад'он* + *выр* 'холм, возвышенность, буторок', букв. «возвышенность Бадёна», т. е. «поле Бадёна, расположенное на возвышенном месте»; поле *С'эн'а'шур* < русское личное имя *Сеня* + *шур* 'река, речка; ручей; родник', т. е. «поле, принадлежавшее Сене»; лес *Мустай'цаца* < тюркское личное имя *Мустай* + *цаца* 'лес', т. е. «лес, принадлежавший Мустаяю» и др.

2. Названия, образованные от патронимов. Для рассматриваемого ареала характерны наименования, возникшие от личных имен с прибавлением патронимичного элемента *ни* 'сын, сыновья, дети': луг *Кунати/воз* < *кунати* (тюркское имя *Куна, ни* 'сын') + *воз* 'луг', т. е. «луг потомка Куная»; луг *Ортэмэйни/нук* < *ортэмэйни* (*Ортэмэй* < русское имя *Артемий, ни* 'сын') + *нук* 'лог, овраг', т. е. «лог потомка Ортемея» и др.

В небольшом количестве зафиксированы патронимические названия, в основе которых *корканим* (букв. «название дома»): поле *Изэм/пкчинка/луд* < *Изэм/пкчинка* (< *изэм* – прич. от гл. *изънь* 'спать', *пкчинка* 'починок, выселок') – название дома + *луд* 'поле', т. е. «поле, семейства Иземпочинка»; поле *Попика/луд* < *попика* (рус. *поп, -ик* – уменьшительно-ласкательный суффикс) – название дома + *луд* 'поле', т. е. «поле семейства Попика» и др.

3. Названия, образованные от фамилий. В наших материалах представлено всего 3 названия этой группы: луг *Симан/вуко* < *Симан* (< *Симанов*) + *вуко* 'мельница', т. е. «луг, где находилась мельница Симанова»; лог *Лопат'ин/шур* < *Лопат'ин* (< *Лопатин*) + *шур* 'река, речка; ручей; родник', т. е. «лог Лопатина»; поле *Бакл'ов/луд* < *Бакл'ов* (< *Бакл'ев*) + *луд* 'поле', т. е. «поле Бакл'ева». Малочисленность отфамильных микротопонимов по сравнению с названиями, производными от личных имен, объясняется тем, что фамилии у удмуртов появились довольно поздно – во время их массового крещения, которое началось с первой половины XVIII в.

II. Оттопонимические микротопонимы.

В данной группе выделяются отойконимические микротопонимы и названия, образованные от других микротопонимов.

1. Отойконимические микротопонимы составляют довольно большую группу. Они встречаются в названиях полей, лугов, речек, лесов, оврагов и указывают на расположение рассматриваемых объектов относительно поселений или на их принадлежность какому-либо населенному пункту: лес *Нурь/цацца* < *Нурь* – неофициальное название д. Кер-Нюра + *цацца* 'лес', т. е. «лес, принадлежащий д. Кер-Нюра»; поле *Комак/шур* < *Комак* – неофициальное название д. Комакгурт + *шур* 'река, речка; ручей, родник', т. е. «поле с небольшим логом, принадлежавшее д. Комакгурт»; поле *Поркар/луд* < *Поркар* – название деревни + *луд* 'поле', т. е. «поле, принадлежавшее д. Поркар» и др.

2. Оттопонимические и отмикротопонимические названия. Они образуются от топонимов и микротопонимов путем прибавления к ним апеллятива: возвышенность *Вашка/шай/вэрьыл* < кладбище *Вашкала/шай* (< *вашкала* 'древний, старинный', *шай* 'кладбище', т. е. «древнее кладбище») + *вэрьыл* 'возвышенность, холм, бугорок', т. е. «возвышенность, где находится древнее кладбище»; овраг *Ты/шур/гон* < родник *Ты/шур* (< *ты* 'озеро', *шур* 'река, речка; ручей; родник', т. е. «озерный родник») + *гон* 'овраг, ложбина', т. е. «овраг, откуда начинается родник Тышур»; поле *Йар/шур/луд* < лог *Йар/шур* (< *йар* 'берег', *шур* 'река, речка; ручей; родник') + *луд* 'поле', т. е. «поле у лога Яршур» и др.

Дедки-прадедки: обозначения предков в архангельских говорах

В докладе мы рассмотрим лексемы, обозначающие предков, в современных говорах Архангельской области. В данном случае предки – «старшие родственники, живые и умершие, становившиеся объектом почитания, предметом специального культа» [Мифы народов мира, ст. «Предки»].

1. Интересующая нас группа представлена однословными лексемами (как правило, во мн.ч.): *деды, прадеды, правдеды, дедки, прадедки, бабки, прабабки, старухи, родители, прародители, отцы, мамы, преды, предки, старики, старость, старина*; сочетаниями: *дедки-прадедки, деды-правдеды, бабки-прабабки, бабки да матки, отцы да деды, отцей отцы*, ранешние (*старые, старинные, старопрежние, давношные, дотогошние, досельные, древние, первошние*) *люди, старинный (старый, дотогошный, досельный, допотопный) народ, старый люд, старый (старинный, прежний) человек, старое человечество*, ранешние *прадедки, вековечные прадеды, старые (дотогошние) старики, дотогошные старухи (старушки), старинные бабушки, старики-старухи, древняя старуха, досельна родня*; субстантивами: *прежние, старые, дотогошние, допотопные, досельные, древные*.

Наблюдается непрерывный «континуум родства» от далеких предков-прародителей к современности через три поколения старших родственников. Провести границу между «близкими» прародителями и «далекими» бывает довольно сложно: «Люди жыли, наши *детки-прадетки*»; «*Правдетки – старины деды, отцей отцы*»; «Мы из новгородьска отродья – каки ле *вековецьни прадеды*».

Предки обладали особыми качествами, которыми уже не отличается современное поколение: «*Раньш стар-от люд* долго жыл». Они знали и умели многое, что теперь либо забыто, либо делается хуже: «*Старинныйе люди, первошныйе, фсё знают*», «*Нокоть бьют – ту болезнь как-то старики-старухи лечили*», «У нас мамы кроф кидали». Они отличались мастерством: «*Стары-то люди* деловы были, фсё делали». Предки являлись создателями традиции: «*Кто фсё это придумал – деды ли, прадеды давношны-давношны*», «*Где как старинныйе люди завели*». Им принадлежат правила и запреты, которые соблюдаются и сегодня: «*Крупы кругом могилы трусиш, поминаэш когда, надо протиф сонца итьти, это от старых идёт правило*»; «*Стары-ти люди в баню пойдуд, забудут кресьтик снять, дак они в роте йего держат, пока моюца*».

Ссылка на предков является обращением к высшему авторитету и достаточным объяснением, почему что-то делается так, а не иначе: «У нас так принято *из родителей*», «*Я от старых людей* наслушалась», «*Идёт по наслухам от старинных людей*». От предков шло обучение важным знаниям и умениям: «*Так привыкли от прадеткоф*», «*Мы чюйем, люди-ти стары* говорят, мы творим», «*Йещё пока стары йесё люди, надо удевать – распрашивать*».

Предки наделяли именами окружающий мир: «*Старина* раньшэ фсё придумывала». Они обозначали пространство: «*По старикам* ишло мы звали: Пилкино болото, сенокосы да Раксора да», «Я каг жыву, дак Подозерьёво, по старинному по прозвишшу, *по баткам да по маткам да*». Давали односельчанам имена и прозвища, которые шли *по родителям, по предкам, по прадедкам, из отцев, из природы*. Называли предметы, которые теперь могут зваться так же или по-другому: «Названо так у *старикоф* пошто-то, и мы таг зовём». Они *примечали* приметы: «Теперь никак и примечам. Раньшы-ти *старики* большэ примечали». Передавали потомкам свое представление о мире: «Это фсё *старинны* люди росказывали. *По старым людям* легенда, сама не видела».

Знания, идущие от предков, обладают особой убедительностью: «Не нами сказано, *стариками*», «Нашы *детки-прадетки* фсё говорили...», «*Деды-правдеды* говорили...», «*Детки-прадетки* сказывали...». После такого включения может идти пословица, примета, указание на то, как надо правильно себя вести: «Раньшэ *старики*-то говорили: люди намечают, а Бох отмечяёт», «У *старых* поговорка была: не тебя посылают, а ты беги».

Выражается сожаление по поводу того, что поколение предков ушло или стремительно уходит: «*Старыйе люди* вымерли»; «А шшас *стары люди* извелися, а новы-то чё».

Человек, который застал старые порядки и сохраняет их в быту, достигнув преклонного возраста, сам относит себя или своих односельчан к поколению «предков»: «*Старинныйе веть люди*, так много знаем мы», «Петровна, ну-ка говори ребятам, ты *старинной человек*, ты знаеш, ты жысь пережила». Может оказаться, что кто-то еще не готов считать себя «предком» – как правило, когда в селении живо более старшее поколение: «Мне семьдесят только лет, не такая уж древняя. Там более *древние люди*». Отказ от статуса «предка» может объясняться не только возрастом, но и разрывом с традицией: «Я не *старинна*, со старыми не жыла, ничего не знала». Традиционная культура противопоставляется новой: «Есь и изменифшы нарот, но есь и те, кто по традиции *родителей*».

2. Почитание предков и стариков выражается в уважении к традициям, к информации, идущей из прошлого, в обязательной заботе о собственных стариках, а также в поминании родителей. Повсеместно справляются *родительская суббота (пятница), родительская радомица (радуница, радовеница), родительский день (денёк, праздник), родительское поминанье*. В разных деревнях день поминовения предков может приходиться на разные даты: на субботу перед Дмитриевым днем (8 ноября), на субботу перед масленицей, на второй вторник после Пасхи, на субботу (или пятницу) накануне Троицы, около Иванова дня и около Петрова дня и т. д. В этот день ходят на кладбище, на могиле оставляют крупу, крошат хлеб, яйца, особую выпечку (шаньги). Как правило, семья ходит на кладбище поминать предков раз в год, хотя *родительских дней* в году оказывается достаточно много: «Родительский динёк – нать накормить на гот». В дни поминовения родственников существуют некоторые запреты (например, запрет топить баню: «В родительски субботы запрещаэца до обеда баню топить»).

Приведенный материал извлечен из 13 выпусков «Архангельского областного словаря» (АОС), из картотеки АОС, хранящейся на кафедре русского языка Филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, из текстового корпуса «Электронная картотека АОС» и собственных полевых записей автора.

Имя мифологического персонажа: к проблеме идентификации

Проблеме идентификации славянских мифологических персонажей (далее – МП) посвящены многие труды как отечественных, так и зарубежных исследователей [см.: Виноградова, 2000]. Л. Н. Виноградовой и С. М. Толстой была разработана схема описания МП [Виноградова, Толстая, 1994, 40–44], однако до сих пор не существует единой классификационной системы, которая позволяла бы четко относить МП к тому или иному разряду. Для новогреческой мифологической системы этот вопрос также остается без ответа. Как, например, быть с определением МП, который описывается как «прекрасная женщина, которая красиво танцует и очень сладко поет и живет на берегу моря» [Ξηροτύρης, 1987, 216, 218] и имеет название *Λάμια*, если в другой греческой локальной традиции персонаж с этим же именем описывается как страшное демоническое существо женского пола, нападающее по ночам на людей и душашее спящих младенцев [Πολίτης, 1871, 196–200]?

Имя или название МП традиционно считается его главным идентифицирующим признаком, при этом для одних МП этот признак более значим, чем для других. На основании этого признака в системе персонажей новогреческой мифологии можно выделить несколько категорий.

1. МП с четкой идентификацией по имени, т. е. персонажи, объединенные общим именем, а также одинаковым набором признаков, свойств и характеристик: МП, наделяющие новорожденного судьбой, предсказывающие будущее (*Μοίρες* [míres] ‘мойры’); МП, олицетворяющие удачу, везение (*Τύχη* [tíhi] ‘удача’), морские русалки (*Γοργόνες* [gorgones] ‘горгоны’); МП, вредящие роженицам и новорожденным (*Ανεμικές* [anemikes] ‘ветряные’, *Αερικές* [aerikes] ‘воздушные’), а также духи болезней, эпидемий, смерти (*Πανούκλα* [panukla] ‘чума’, *Χολέρα* [holera] ‘холера’, *Βλογιά* [vlogja] ‘оспа’, *Χάρος* [haros] ‘харон, смерть’).

2. МП с вариативной идентификацией, т. е. персонажи, которые объединены общим именем, но их локальные характеристики могут как совпадать, так и значительно различаться. По степени возрастания вариативности выделяются: святочные демоны *Καλλικάντζαροι* [kalikandzari] ‘каликандзары’, *Νεράιδες* [nedaides] ‘нереиды’, *Βρικόλακας* [vrikolakas] ‘вурдалак’; дух природного локуса *στοιχείο* [stihjo] ‘стихью’, *Λάμια* [lamja] ‘ламия’ и др. К этой категории относится большинство персонажей новогреческой мифологии.

3. «Родовые» названия МП: *φαντάσματα* [fandazmata] ‘привидения’, *στοιχειά* [stihja] ‘стихью’ (с размытой, неясной характеристикой образа), *κακά πνεύματα* [kaka pneumata] ‘злые духи’, *δαμόνια* [demonia] ‘демоны’, *ζωτικά* [ksotika] ‘привидения’. Эти названия, с одной стороны, могут обозначать группы МП с неясным обликом и неопределенными функциями, с другой – могут применяться в отношении практически любого МП, а также являются собирательными для всех персонажей новогреческой системы. В эту же категорию входит и МП *διάβολος* [djavolos] ‘дьявол’.

С одной стороны, это обобщенная фигура, «родовой» МП, который свободно может замещать собой практически любой МП. Вокруг этого персонажа концентрируется значительная часть общих демонологических мотивов, выраженная в разных локальных традициях различными комбинациями. Дьявол олицетворяет «нечистую силу», а другие персонажи низшей мифологии (особенно нереиды, каликандзары, вурдалаки, всевозможные стихью, привидения, духи-хранители) в народных представлениях также ассоциируются с «нечистью», поэтому дьявол выступает в качестве «родовой» фигуры в системе греческой демонологии, являясь вне- или даже надсистемным персонажем. С другой стороны, это некий цельный МП, обладающий особыми признаками, в то время как многие распространенные мифологические функции ему не свойственны. Например, этот демон не происходит из покойников, умерших неестественной смертью, не живет в доме, не предсказывает судьбу и т. д.

4. В отдельную категорию следует выделить МП с ослабленной субстанциональностью, состоящие практически из одного имени. К ним относятся персонажи-«устрашители», которыми пугают непослушных детей: *Μπουμπούλας* [bubulas] ‘бубулас’ и др. Для этой категории характерно отсутствие каких-либо иных признаков, кроме имени: не существует описания внешнего облика, характерных занятий или свойств «бубуласа», есть только его имя и его единственная функция – забирать непослушных детей, что фиксируется в формуле «*Θα σε πάρει ο Μπουμπούλας!*» <Тебя заберет бубулас>.

Для каждого МП можно выделить определенный набор идентифицирующих признаков: имя, некоторые функции, время и место появления, характеристики внешнего облика, позволяющие относить персонаж к тому или иному классу. Именно совокупность этих признаков помогает классифицировать МП: ни одна отдельно взятая характеристика, даже такая важная, как имя, не может быть абсолютным и единственным условием идентификации МП.

Виноградова Л. Н., Толстая С. М. К проблеме идентификации и сравнения персонажей славянской мифологии // Славянский и балканский фольклор. М., 1994. С. 16–44.

Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 2000.

Ἐηροτόρης Ζ. Ἐθίμα καὶ δοξασίαι τοῦ λαοῦ μας. Τ. Α΄. Αθήνα, 1987.

Πολίτης Ν. Γ. Μελέτη ἐπὶ τοῦ βίου τῶν Νεωτέρων Ἑλλήνων. Τόμος πρῶτος. Νεοελληνικὴ μυθολογία. Μέρος Α΄. Ἐν Αθήναις, 1871.

Историко-этимологические комментарии как источник информации о русской диалектной фразеологии

В монографии Г. Г. Мельниченко «О принципах составления областных словарей», которая увидела свет еще в 1957 г., впервые была высказана мысль о желательности введения в структуру словарных статей, описывающих ту или иную диалектную фразеологическую единицу, «этимологических справок относительно данного фразеологизма (если их могут дать составители словаря)». Однако эта рекомендация была воспринята и реализована лишь спустя несколько десятилетий.

Согласно замечанию А. Ф. Журавлева, диалектный словарь является своего рода посредником между разными культурными типами и занимает промежуточное положение между толковым одноязычным и переводным двуязычным словарями. Сказанное заставляет внимательнее относиться к закрепленным в диалектной фразеологии представлениям о предметах быта, обрядовых действиях, взглядах, традициях и т. п., характерных для той или иной этнографической зоны. Так, прояснение внутренней формы диалектных фразеологических единиц позволяет, по наблюдениям А. К. Бириха, высветить бытовые и этнографические стереотипы и эталоны, отражающие народное видение мира.

Компонентный состав диалектных фразеологизмов представлен преимущественно словами общенародного языка, а территориально ограниченная лексика в составе диалектных фразеологических единиц встречается значительно реже. Однако именно в последнем случае пользователю диалектного словаря (как человеку, не знакомому с лексическим составом говора и с особенностями духовной и материальной культуры его носителей) требуется комментарий, который не только поддержит толкование фразеологизма, но и поможет понять мотивирующий его фон. Такие комментарии культурологического характера, способствующие выполнению посреднической миссии, явились дополнительным параметром в структуре словарной статьи в новейших диалектных фразеологических словарях: «Словаре псковских пословиц и поговорок» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной (2001), «Материалах для идеографического словаря новгородских фразеологизмов» Л. Н. Сергеевой (2004), «Фразеологическом словаре русских говоров Республики Коми» И. А. Кобелевой (2004) и в сводном словаре «Человек в русской диалектной фразеологии» М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусовой, О. И. Литвинниковой (2004).

Этимологические ремарки актуализируют внутреннюю форму описываемых диалектных фразеологических единиц, сопровождая разработку таких фразеологизмов, компоненты которых восходят к собственно диалектным лексемам, обозначающим:

1) мифических персонажей: *веснуха пристала* 'кто-либо стал ленивым, предпочитает поспать, нежели заняться делом' < *веснуха* 'полудница' [МИСНФ]; *как лешман ржать* 'о человеке, очень громко смеющемся' < *лешман* 'леший' [ЧРДФ];

2) животных: *жорав сапоги дал* ‘о появлении цыпок’ < *жорав* ‘журавль’ [СППП]; *ни бес, ни хохла* ‘о ком-л., имеющем непристойный вид’ < *хохла* ‘мускусная крыса’ [ЧРДФ];

3) этнореалии: *не воз, а волочужку* ‘небольшое количество чего-л.’ < *волочужка* ‘небольшой или неполный воз’ [ФСРГРК]; *все на один намет скроены* ‘все одинаковы’ < *намет* ‘шаблон для кроя обуви’ [ЧРДФ];

4) части тела: *надуть бембы* ‘рассердиться, обидеться’ < *бембы* ‘губы’ [ФСРГРК]; *норку набок* ‘о спесивом, зазнавшемся человеке’ < *норка* ‘нос’ [ЧРДФ];

5) природные явления: *ждать у моря поветрия* ‘бездействовать’ < *поветрие* ‘попутный ветер’ [МИСНФ]; *как чёрный морок* ‘очень много’ < *морок* ‘туча, облако’ [ФСРГРК];

6) географические объекты: *авдош с сорокового бора* ‘разбойник’ < *Сороковой бор*, лес в районе с. Елизарова [СППП]; *на Петропавловку пора* ‘настолько немощен, что близок к смерти’ < *Петропавловка*, местное кладбище [МИСНФ] и т. д.

Отметим, что и в общем «Экспрессивном словаре диалектной личности» Е. А. Нефедовой (2001) встречаются словарные статьи, в которых разработка некоторых фразеологических единиц сопровождается указанием на значения слов, ставших компонентами фразеологизмов, ср.: *как поле без огорода* ‘о женщине, оставшейся одинокой’ < *огород* ‘изгородь’ и др.

В некоторых случаях необходимо истолковать не только культурологически ценный компонент фразеологизма, но и национально-культурную семантику оборота в целом, поэтому в рассматриваемых словарях русских говоров встречаются расширенные комментарии, ср.: *поднимать на вершельные вилы* ‘чрезмерно возвышать кого-л. в глазах окружающих’: «Опять Соньку на вершельны вилы поднимают: грамоту дали, орден дали, “заслуженного” дают, а ей-то за что?» < *вершельные вилы* ‘вилы, которыми вершат стог; вершить стог доверяли самым опытным и умелым работникам’ [ФСРГРК].

Особого внимания требуют «ложные друзья переводчика» – семантические диалектизмы, без пояснения которых невозможно достоверное проникновение в ассоциативно-образные основания фразеологических единиц, ср.: *попасть в бирку* ‘попасть в неприятное положение’ < *бирка* ‘маленькая корзинка’ [МИСНФ]; *невеста без места, жених без штанов* ‘материально несостоятельная молодая пара’ < *место* ‘постель; перина’ [ФСРГРК] и др.

Итак, разработка фразеологического материала в современных диалектных словарях позволяет адекватно воспринимать мотивацию фразеологизма благодаря пониманию его внутренней формы и демонстрирует образное видение ситуации, обозначенной фразеологической единицей.

Об особенностях ойконимического переименования (на материале белорусской ойконимии XX в.)

Для ойконимии Белоруссии XX в. характерны процессы переименования, вызванные сменой государственного строя и становлением новой идеологии после событий 1917 г. На явление реноминации в белорусской ойконимии обращали внимание в своих исследованиях Э. К. Бирилло, В. П. Лемтюгова, Л. М. Лыч, А. М. Мезенко, В. В. Шур и др. Новые онимы, по их наблюдениям, образовывались с нарушением норм белорусского языка и использованием большого количества русских апеллятивов. Особенно интенсивно процессы переименования протекали в 1930-е и 1960-е гг.: именно в эти годы традиционные названия населенных пунктов массово заменялись на ойконимы, соответствующие требованиям советского узуса.

Вопрос о возвращении части старых названий в топонимическую систему страны регулярно ставится в обществе, о чем свидетельствуют статьи в белорусских периодических изданиях.

По мнению Е. М. Поспелова, процесс переименования мотивирован стремлением заменить название, связанное с прежними реалиями, на новое, отражающее идеологические стереотипы [Поспелов, 1990, 54]. В Белоруссии XX в. около 900 населенных пунктов было переименовано: большинство новых названий было образовано от апеллятивов, обозначающих коммунистические идеологемы. Они называли символы и идеалы того времени (н. п. *Бальшавік*, н. п. *Камсамольская*), праздники (н. п. *Першамайскі*), увековечивали память политических и государственных деятелей (н. п. *Леніна*, н. п. *Свярдлова*) и др. В то же время заменялись те ойконимы, которые казались оскорбительными, неблагозвучными (*Халуі*, *Кабаны*) или непонятными (*Вурада*, *Мачулы*), соотносились с этнонимами (*Жыдаўка*), напоминали о религии (*Папоўка*), привилегированных классах (*Князі*, *Каралі*), реалиях прежней жизни (*Маёнтак*, *Ліхтэрня*) и др.

Около 6 % замененных ойконимов содержат топоосновы, которые соотносятся с географическими терминами, указывающими на особенности местности. Например, название н. п. *Іван Бор*, созданное на базе апеллятива *бор* 'хвойный лес, который растет на высоком месте' [СБГ–Мацкевіч, 1, 206], было в 1939 г. заменено на русскоязычное словосочетание *Красны Акцябр*, отражающее революционные события 1917 г. Населенный пункт *Чорная Лаза*, название которого образовано от *лаза* 'заросли *Salix viminalis* L. i *Salix fragilis* L.; лозовые места' [Яшкін, 2005, 390], в 1939 г. был переименован в *Чырвоны Усход*, что символизировало новый образ жизни. Ойконимы-ориентиры *Залясок* (с 1976 г. *Перадавы*), *Залессе* (с 1955 г. *Бумажкова*), возникшие на основе апеллятива *залессе* 'местность за лесом, по ту сторону леса' [Яшкін, 2005, 395], заменили на ойконимы-символы. В первом случае апеллятив называется идеологический стереотип (н. п. *Перадавы* < *передовой* 'такой, который находится впереди остальных'); во втором – увековечивает имя Героя Советского Союза Т. П. Бумажкова.

Название н. п. *Крыница* образовано от гидрографического термина *крыница* ‘поток воды, который бьет из-под земли, подземная вода, которая выходит на поверхность’ [Яшкін, 2005, 371]. Этот ойконим в 1930 г. был заменен на *Новы*, символизирующий революционные преобразования новой эпохи (хотя традиционно компонент *новы* в составе топонимической единицы указывал на время возникновения населенного пункта). Ойконим-ориентир *Забалацце* мотивирован номенклатурным термином *балота* ‘низинное пространство, заполненное водой’ [Толстой, 1969, 144], *забалацце* ‘то, что находится за болотом’ [Яшкін, 2005, 267]. В 1964 г. населенный пункт переименовали в *Заслонаўка* – в честь Героя Советского Союза, одного из руководителей партизанского движения в Белоруссии К. С. Заслонова. Название населенного пункта *Качай-Балота*, образованное от географического термина *качай-балота* ‘трясина, топкое болото с растительностью на поверхности’ [Там же, 352], в 1962 г. было заменено на идеологически окрашенный оним *Рассвет* (бел. *золак*). В современной ойконимии Белоруссии топооснова *качай-балота* не встречается.

Таким образом, часть ойконимов, утраченных в XX в. в результате переименований, указывала на местонахождение объекта в пространстве и физико-географические особенности местности. Думается, что большая часть этих единиц может быть возвращена в ойконимическое пространство Белоруссии.

Поспелов Е. М. Переименование городов и сел в СССР // Топонимика СССР. М., 1990. С. 54–73.

Толстой Н. И. Славянская географическая терминология. М., 1969.

Е. С. Коган
Екатеринбург

К вопросу о региональной специфике фразеологии

Фразеология считается одной из наиболее национально-самобытных областей языка. Специфика фразеологических единиц часто обусловлена экстралингвистическими факторами, влияющими на их образность. Исходя из этого, особый интерес представляет контрастивное изучение фразеологии разных народов.

Поскольку образность зависит от внешних условий, в том числе от географической («привязки»), интерес представляет также и исследование фразеологической системы русского языка в зависимости от региона. Можно предложить рабочую гипотезу, согласно которой образность фразеологии имеет региональные особенности.

В данном докладе предлагается пробный вариант решения проблемы. Материалом послужили фразеологизмы, характеризующие злого/рассерженного человека в русских говорах на территории Восточной Сибири и Республики Коми (использованы данные фразеологических словарей данных территорий) и в языках, контактных для каждой зоны, – соответственно якутском и коми.

Выделяются следующие модели характеристики злого человека и злости как негативного состояния.

1. Зоономическая модель. В данном случае человек сравнивается с животным, злость воспринимается как нечеловеческая, животная черта, отожделяется с агрессивностью. При этом русские преимущественно используют образы домашних животных (*худая собака* ‘человек, склонный к ссорам; задира, хам’ [ФСРГРК, 284], *не гладь kota против шерсти* ‘о злом, вспыльчивом человеке’ [ФСРГС, 41]), в то время как в якутской фразеологии более частотны образы диких зверей (*бөрө [эһэ] тириитин кэт* ‘в волчью (медвежью) шкуру одеваться’ ‘быть в гневе, испытывать злость’ [ЯРФС, 1, 139]). Специфичным для якутов является использование понятия «зверь вообще» (*кыыла киирбит* ‘зверь его вошел’ ‘о том, кто не в духе, проявляет злой нрав’ [Нелунов, 1, 278]). Следует отметить также повсеместное распространение рус. фразеологизма *жить как кошка с собакой*, в том числе его заимствование в якутский и коми языки.

2. Соматическая модель. К данной модели относятся фразеологизмы, которые имеют в своем составе лексику, называющую части человеческого тела. Наиболее частотным для всех народов является использование образа сердца, воспринимаемого как своеобразное вместилище сильных чувств, не только положительных, но и отрицательных: *сердце разошлось* ‘кто-л. рассердился, разозлился; кого-л. переполнили возмущение, гнев’ [ФСРГРК, 232], *сердце взяло* ‘рассердился’ [ФСРГС, 176], *вымещать сердце* ‘срывать злобу, досаду на ком-л.’ [Там же, 37], якут. *таас муус сүрэх* ‘каменное, ледяное сердце’ ‘бессердечный, жестокий’ [Григорьев, 1976, 75].

В якутской фразеологии используются также образы диафрагмы и крови: *хаана быһытталанна* ‘кровь его порвалась на части’ ‘кипеть глухой ненавистью, еле сдерживаемым негодованием’ [ЯРФС, 2, 307], *өрөһөтө эрэ хайдыбат* ‘диафрагма его чуть не лопнула’ ‘сердиться, считать себя обиженным, оскорбленным; обижаться’ [Там же, 2, 75]. При этом важным становится и «количественный» фактор: когда человек злится, эмоции «переполняют» и «расширяют» его тело. Количественная семантика проявляется и во фразеологии русских на территории Республики Коми: *сердце больше себя* ‘кто-л. имеет крутой, решительный, суровый характер’ [ФСРГРК, 230].

3. Температурная модель. Злость соотносится с холодом, низкими температурами, льдом: *таас муус сүрэх* ‘каменное ледяное сердце’ ‘бессердечный, жестокий’ [Григорьев, 1976, 75], *ледок на сердце* ‘кто-л. бездушен, отличается черствостью, невнимательностью к людям’ [ФСРГРК, 116].

4. «Вещественная» модель. Данная модель реализуется во фразеологии русских сибиряков и в якутской фразеологии. Представление о злости воплощается в образе какого-либо твердого вещества – камня, льда, железа: якут. *таас муус сүрэх* ‘каменное ледяное сердце’ ‘бессердечный, жестокий’ [Григорьев, 1976, 75], *сүрэхэ халыч* ‘сердце его каменное’ ‘неотзывчивый, бездушный, черствый’ [ЯРФС, 2, 155], *тимир тириитин кэппит* ‘он надел свою железную шкуру’ ‘о том, кто раздражен, пришел в ярость’ [Там же, 2, 191], рус. *из камня камень* ‘о жестком, суровом человеке’ [ФСРГС, 90].

Следует отметить, что тема злости (и человеческих качеств в целом) на территории Коми разработана подробнее, чем в сибирском регионе. Однако в целом материал свидетельствует скорее о различиях между языками и пока не дает оснований для разграничения разнотерриториальных русских фразеосистем.

А. А. Кожина
Минск (Белоруссия)

Образ мира в польскоязычных завещаниях, составленных на территории Белоруссии

Актовые книги XVIII века Брестского, Минского, Полоцкого и Гродненского земских судов, хранящиеся в Национальном историческом архиве Белоруссии, содержат большое количество текстов польскоязычных завещаний. Этот до сих пор не исследованный корпус материалов (обработка текстов сделана О. Корсак) дает представление об образе мира, который возникает в сознании человека, готовящегося к концу своего земного существования. Шаблон составления завещания предусматривал определенные юридические формулы, однако в его границах завещатель имел достаточно места для выражения своего представления о мире. В завещаниях можно выделить сакральную (содержащую рассуждения о Боге и смысле жизни) и профанную (содержащую описание завещаемого имущества) составляющие. Во всех текстах обнаруживаются сходные позиции, которые складываются в некоторую единую аксиологическую схему.

Жизнь в сознании человека, настраивающегося на вечность, приобретала нечеткие, изменчивые и смазанные очертания: *natým mizernym Swiecie niemasz nic wiecznego Ani trwalego, ale kazda rzecz Przypadkom y skazitelnosci podlega* «в этом ничтожном мире нет ничего вечного и постоянного, но каждая вещь случайности и испорченности подлежит» (Brest. 1741).

Бог призывает человека (*Bog wszechmogący... do Chwały swey Świętey powołac mnie ztego Swiata raczy* «всемогущий Бог... к славе своей святой позвать соблаговоляет») (Grodn. 1755)), и мир вместе с человеком приходит в движение, причем это движение заметно на самых различных уровнях:

– меняются краски: *Swiat y Zycie w nim Ludzkie ze tylko kolor iest y nikczemna... farba, w krotkim czasie wszystkim podlega odmianom a nic stalego niema* «мир и человеческая жизнь в нем – только цвет и ничемная краска, за краткое время все подвержено изменениям, а ничего постоянного нет» (Brest. 1741);

– двигаются тени и реальные предметы: *A zywoť iednak Ludzki Iako cien przemija, y Iako kwiat więdnije* «а человеческая жизнь как тень проходит и как цветок вянет» (Polock. 1778); *człowiek iest piłka wręku Panskich wgurę rzucić ynadół Iako Panu wolno iest* «человек – это мяч в руках Господа, вверх бросают и вниз, как Господь пожелает» (Polock. 1778);

– уходят вещи и люди: *a przy smierci wszystkie rzeczy Iwszyscy przyiaciele opuszczą* «а при смерти все вещи и все друзья покинут» (Polock. 1778).

Изменячива не только земная, но и небесная жизнь, единственной неизменной точкой здесь является слово: *Pamiętaięc tez na Słowa przedwieczney Mondrosci ze niebo y Ziemia przeminą nie słowa Pana zastempow nie przeminą lecz trwac nawieki*

będę «памятует о словах предвечной Мудрости, что небо и земля преходящи, но слова Господа не преходящи, а будут существовать вечно» (Brest. 1741). Интересно, что в земной жизни также есть два неизбежных пункта, которые удерживают ускользающую реальность: это момент смерти (*każdy człowiek natym mizernym świecie żyjący dług smiercielnosci koniecznie wypłaci musi i nic sobie pewniejszego obiecywać nadsmierc nie może* «каждый человек, на этом ничтожном падоле живущий, долг смертности непременно заплатить должен, и ничего вернее смерти обещать себе не может» (Polock. 1778)) и момент составления завещания: *iednak na pamięci y umysle zostając zdrowy takowy ostatniej woli moiey Testamentowey czynię rozporządzenie* «однако, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, такое последней мой волей в завещании делаю распоряжение» (Grodn. 1755, 1).

В профанной, собственно завещательной части документа, взгляд на мир кардинально меняется. Мир в его имущественной ипостаси представляется твердым и неизбежным, шляхтич, только что говоривший о преходящем характере не только земной, но и небесной жизни, уверенно пишет: *daruie y w i e c z n e m i c z a s y zapisuie Jpu Jozefowi Błockiemu Bratu memu rodzonemu Pas Stambulski czapkę z Siwym baranem wiszniową Szable w czarney oprawie* «дарую и на в е ч н ы е в р е м е н а записываю п. Юзефу Блоцкому, брату моему родному, пояс стамбульский, шапку с седым бараном вишневою, саблю в черной оправе» (Brest. 1741). Будущее представляется ясным и неизменным: *na opłatę tego Jan Iastrzębski Łowczy wszkatule mey dębowey Zielonym Suknem okrytey pod łozkiem mym stojącey naydzie ynalezycie podług mey woli y przeznaczenia wraz pozgonie moim wypłaci* «на оплату этого Ян Ястжемски, ловчий, в шкатулке моей дубовой, зеленым сукном покрытой, под кроватью моей стоящей найдет и соответствующим образом по моей воле и назначению сразу по кончине моей выплатит» (Minsk. 1769).

Именно в профанной части завещания представлены основные жизненные ценности человека. Так, в реестре передаваемого (*pięć talarów bitych, pas jedwabny, palasz, obrazek w srebro oprawiony, suknie, cyny misa jedna, półmisków cztery, talerzy jedenaście, łyżek pięć, koń, wół łysy, byczek czarny, gniady byk* и т. д.) можно усмотреть такие очевидные и фундаментальные ценности, как бережливость, хозяйственность, даже любовь матери, разделившей наследство, прося детей: *gdyby po mey smierci miłość Braterską w sobie mieli* «чтобы после моей смерти братскую любовь между собой имели» (Minsk. 1769).

Н. С. Колесник
Черновцы (Украина) –
Прага (Чешская Республика)

Национально-культурная специфика номинаций Богородицы в украинском песенном фольклоре

В последнее время возрос интерес славянских ономастов к изучению собственных имен как источника реконструкции культурно-языковой картины мира.

Идеальными для подобного рода исследований в украинской ономастике мы считаем фольклорные тексты, представляющие собой парадигму образцовых текстов национальной культуры, заложивших в свое время вектор развития национально-культурного пространства и сформировавших шкалу ценностных ориентаций и стереотипов.

Существуют собственные имена, без которых невозможно себе представить национальный фольклор (например, украинский – без *Киева*, Днепра, русский – без *Москвы*, *Волги* и т. д.). Но есть фольклорные онимы в определенной степени универсальные: во всем славянском мире широко употребляется лексема *Дунай*, наименования Богородицы и др. В то же время их универсальность не отрицает определенной национальной специфики в каждой из национальных фольклорных систем.

Собственные имена для обозначения Богородицы пришли в славянский фольклор вместе с христианством и соответствующим фондом энциклопедических знаний. Религиозная концептуальная модель не только повлияла на общее восприятие Богородицы, но и определила традицию ее именования, выбор сфер отождествления при номинации.

В песенном фольклоре украинцев наименования Богородицы не являются самыми употребительными, но все же встречаются довольно часто. Так, в сборнике «Богородиця в українськом фольклорі» (2006) приведено более 150 песен, в которых засвидетельствованы номинации Девы Марии. На долю обрядовых песен (колядок, щедровок и свадебных песен) выпадает более 70 % всех употреблений имен Богоматери.

К анализу мы привлекали народные песни только в записях XIX – начала XX в., поскольку тексты этого времени не лишены окончательно своей обрядовой функции и тесно связаны с ритуалом. Например, в записях этого времени вследствие возрождения религиозных традиций вторую жизнь получили колядки церковного происхождения, которые содержат немало сложных наименований Богородицы, полностью соответствующих церковной традиции ее названия. Для сопоставления с фольклором иных славянских народов нами также использовались в основном записи XIX в.

Мы проанализировали 75 текстов песенного фольклора украинцев, засвидетельствовавших более 100 номинаций Богоматери. Наиболее часто в украинском фольклоре фигурируют двухкомпонентные названия *Божа(я) Мати/Мати* (*Матір*, *Матінка*) *Божа* (24), *Пречиста(я) Діва* (11), а также субстантивированное прилагательное в превосходной степени сравнения *Пречиста(я)* (9). Встречающиеся формулы *Пречистая Мати* (2), *Пресвята Мати* (1), *Пресвята Діва* (3), *Свята Діва* (2) по смысловой наполненности примыкают к вышеуказанным двухкомпонентным моделям, а трехкомпонентные названия *Пречиста Діва Мати*, *Пречиста Діва Марія*, *Свята Божая Мати*, очевидно, представляют собой расширенный вариант частотных двухкомпонентных формул *Божа(я) Мати* или *Пречиста Діва*. Таким образом, в украинском фольклоре главными моделями именования Девы Марии являются двухкомпонентные и однокомпонентные названия, в составе которых основными, опорными словами выступают лексемы *мати*, *діва*, *пречистая*. К примеру, в русском фольклоре (проанализировано более 5 тысяч текстов из собраний П. В. Киреевского, А. И. Соболевского, П. В. Шейна) названия Богоматери

используются редко: всего 8 фиксаций, в 6 из которых ключевым словом является *Богородица*. В белорусских песнях из собраний И. И. Носовича и П. А. Бессонова (собрание П. В. Шейна пришлось исключить из анализа, поскольку, по свидетельству самого П. В. Шейна, более трети песен он записал от дочери униатского священника, по происхождению украинки) названия Богородицы засвидетельствованы 10 раз. Самыми употребительными из них являются *Пречистая/Прячистая* (5), а также формулы, в составе которых есть это прилагательное: *Пречистая Богородица* (1), *Пречистая Маці* (1), *Святая Пречистая* (1). В болгарских народных песнях бесспорно лидирует формула *Божя майка* (14 фиксаций из 21 названия в сборнике Н. Атанаса XIX в.), в македонских – *Marija* (4 из 8).

В фольклоре славян, принявших католичество, также нет единства в употреблении названий Богоматери. Например, в польских песнях самым используемым является оним *Najświętsza Panna (Panienka)* [см. Bartmiński, 2004; Klak, 1959], в чешских – *Panna (Paněnka) Maria/Maria Panna* (17) (выводы сделаны на основании собраний песен XIX в. Ф. Сушила и В. Бартоша), в словацких – *Maria* (15), *Panna (Panienka) Maria/Maria Panna* (11), *Matka/Matička* (8) (записи XVII–XX вв. под редакцией О. Демы). В песнях словен (собрание народных песен 1889 года Й. Шейнига, содержащее примерно 900 текстов из Каринтии) бесспорно лидирует оним *Marija* (17), затем идут *Marija Devica* (4), *Devico Marijo* (4). Хорватские народные песни (более 1,5 тыс. текстов) из собрания М. Павлиновича (1876) засвидетельствовали сравнительно небольшое количество наименований Богородицы – 21 оним. По разнообразию формул называния, а также использованию в качестве ключевых лексем *majka* и *diva/divica* они довольно близки украинской традиции: *Marija* (3), *Divica* (2), *Diva/Divica Marija* (5), *Divica Plenienita* (1), *Slavna Diva Nebeska* (1), *Majka* (3), *Bože majka* (1), *Majka Božja usinjena* (1), *Majka Boža i Kralica* (1), *Boga majka Hristova* (1), *Hrista Boga majka* (1), *Marija majka* (1). Ср. *Божя(я) Мату/Мату* (*Матир, Матінка*) *Божя, Пречиста(я) Діва, Пречистая Мату, Пресвята Мату, Пресвята Діва, Свята Діва*, а также *Свята Пречиста, Панна Марія, Панна Чиста, Діва Марія, Христова Мату, Матка Христова, Свята Марія*.

Анализ моделей, используемых в украинском фольклоре для номинаций Богородицы, в сопоставлении с подобными моделями в фольклоре других славян, позволяет сделать выводы о том, что, несмотря на тесную связь этих номинаций с религиозной эдификцией (в данном случае православной), в национальном фольклоре существуют свои установки видения Богоматери, что последовательно реализуется в конкретных номинативных моделях. Примерно треть всех фольклорных названий Девы Марии – это модель *Божя(я) Мату*: в украинском фольклоре довольно сильно ориентация на материнство Богородицы. Второй по популярности выступает модель с определением *Пречиста/Чиста*.

Таким образом, во многих украинских фольклорных онимах реализуется идея материнства и чистоты Девы Марии, закрепляются номинативные модели, отражающие национальное видение идеального мира, одной из базовых составляющих которого является культ женщины, матери.

Bartmiński J. Matka Boska w polskiej tradycji ludowej // Przegląd powszechny. 2004. № 5–6.
Klak T. Matka Boska w poezji ludowej // Matka Boska w poezji polskiej. Lublin, 1959.

Образ Богородицы в славянской фитонимике и этноботанике

В ряду различных кодов традиционной культуры, связанных с миром растений, стоит и библейский код, в рамках которого наиболее активен образ Богородицы.

В этиологических легендах какие-либо свойства растений возникают вследствие как благословения, так и проклятия Богородицы. Так, осина вечно дрожит из-за того, что шелестела листьями, когда под ней укрылась во время бегства в Египет Мария с младенцем; ель же, спрятавшая беглецов, благословлена – и с тех пор в нее не бьет гром.

Часто связь растения с Богородицей выражается лишь в фитониме. В большинстве случаев он мотивирован формой цветка или растения в целом. Иногда имя Богородицы в составе фитонима подвергается заменам. Так, форма корня ятрышника шлемоносного мотивировала название *ладошка Богоматери*, но это же растение получило названия *соломонидина ручка*, *богова ручка*, *чертова ручка*. Однако какой-либо признак растения может актуализировать представления, связанные именно с Богородицей. Тогда фитониму сопутствует этиологическая легенда, которая объясняет происхождение растения и его названия, а часто и использование растения с той или иной целью. Так, в сербской традиции красные пятнышки на листьях зверобоя – это кровь Богородицы, которая во время менструации капала на листья, потому ему дали имя *богородичина трава*, *госпино цвеће*, *госпина трава*. Этот этиологический рассказ объясняет и употребление зверобоя при нарушениях менструального цикла.

Белые пятна на листьях расторопши пятнистой появились из грудного молока Богородицы, которое падало на листья растения во время кормления младенца Иисуса. Это растение называется «чертополохом Богородицы»: пол. *osetek Najświętszej Panny, Marie mlecz, oset Panny Mary*. В Охриде иерихонскую розу называли *рака од Пречиста*; полагали, что она появилась в Назарете, где Мария родила Христа и оперлась рукой о землю, поэтому сушеное растение клали в воду и, когда оно распускало веточки, давали его пить роженице.

Большую группу фитонимов составляют словосочетания с внутренней формой «богородицны слезы». Так, пол. *matki boskiej lezki* ‘трясунка’, словен. *solzice Marijine*, по поверью – слезы Марии, которая плакала по Иисусу во время его мук. Та же легенда записана в Словении, а аналогичные фитонимы – в Архангельской обл. Названия *богородицны слезки*, с.-х. *suznica*, чеш. *slzowka* относятся к бусеннику обыкновенному. Прозрачные вместилища эфирного масла на листьях зверобоя стали причиной названия укр. *Матери Божіей слезы*, а цветы ландыша купенового – *пречистья слезы*. Чеш. *slzičky Panny Marie* ‘гвоздика лесная’ (с белыми пятнышками), как считается, хранит следы слез Марии и наделяется свойством лечить болезни глаз, если весной, увидев ее в первый раз, трижды потереть ею глаза, поцеловать и бросить через голову. Действие сопровождается заговором.

Согласно польской легенде, темные крапинки на ятрышнике произошли из слез Марии, которая плакала над участью своего сына; скрученник (*Izy Matki Boskiej*) вырос из слез Богородицы, что падали с ее лица и впитывались в землю. В день погребения Богородицы он высовывает стебельки, чтобы посмотреть на Богородицу, которую несут на погребение. Растение наделялось способностью вылечить всякую боль; кроме того, считалось, что расти эти цветы могли только на лужайках при дороге, по которой идут толпы пилигримов за гробом с деревянной статуей Богородицы. Сюжет о Богородице, оплакивающей своего сына, ассоциируется и с названием *плакун-трава*.

Большое значение при соотнесении растения с образом Богородицы имеет цвет. Белор. название цикория *сукенка Маці Боскай* связано с преданием: цветки цикория приобрели небесно-голубой цвет, когда Богородица задела их подолом платья. В польской культуре в формировании символики лилии как цветка Богородицы решающую роль сыграл белый цвет. Культурная коннотация чистоты эксплицитовалась в сравнении *czysty jak lilia*, на что повлияло и звуковое подобие слов *lilija* и *Maryja*.

Для обозначения растения может использоваться и готовое словосочетание, например, *сон Богородицы* – название апокрифа, в котором рассказывается о сне Богородицы, предсказывающем судьбу ее сына. Из-за склоненной, поникшей формы разные виды ветрениц и прострелов получили названия *Божай Мацеры сон*, *сон-трава* и под. Растение *сон Пресвятой Богородицы* ‘царь-зелье’ применяли в гадании об исходе болезни; в надежде на излечение текст апокрифа, написанный на листке бумаги, клали больному под подушку.

Как правило, с образом Богоматери связываются растения полезные, лекарственные. В Польше *osetek Najświętszej Pani* ‘татарник колючий’ служит для окуливания, когда вымя коровы вздуто после отела; в западном Полесье акацией желтой (*kosa bożej maciery*) моют волосы.

Е. В. Колосько
Санкт-Петербург

Имена собственные в Словаре русских народных говоров

Дифференциальный принцип отбора материала для диалектного словаря требует ограничений в подаче лексики, поэтому в Словаре русских народных говоров не включаются собственные имена людей и географические названия, входящие в состав общенародной, литературной лексики. Тем не менее, в Словаре представлены диалектные слова, происхождение которых связано с различными видами собственных имен.

В диалектной лексике функционируют антропонимы, развивающие эмоционально-оценочные значения. В СРНГ включаются имена, имеющие вторичные значения, связанные с характеристикой человека. В лексико-семантической группе пренебрежительных наименований людей преобладают краткие формы личных имен

с суффиксом *-ка* и фонетические диалектизмы: *Дунька, Грунька, Софрон, Елеся* (от *Елисей*), *Ахрамей* (от *Варфоломей*).

Имена известных исторических личностей или персонажей героического эпоса представлены в составе немногочисленной группы слов и словосочетаний с переносными значениями: *Батыева дорога* ‘Млечный Путь’.

Диалектные составные прозвища и производные оценочные наименования людей, в которых одним из компонентов является имя собственное, также включаются в Словарь русских говоров: *Ваня-репа, Ваня-хлын*.

Интересны для лексикологов и отчества, развивающие вторичные значения и входящие в новые синтагматические отношения: *Карповна* ‘ворона’, *соха Андреевна, мороз Иванович, оспа Ивановна*.

В Словаре русских народных говоров фиксируется большая группа диалектных вариантов имен святых и наименований календарных праздников. Последние имеют различные произносительные, фонематические и словообразовательные варианты: *Рухли, Рухманы* ‘день поминовения святых Агафьи и Руфа’.

В составе диалектной лексики много наименований мифических персонажей, которые отражают христианские и более древние языческие верования. Общепризнанные мифонимы отсутствуют в СРНГ, но приводится производная лексика: *каценочек* ‘исхудалый человек’, *каинит* ‘непослушный ребенок’. Небольшое количество мифотопонимов включается в Словарь в составе сочетаний с переносными значениями: *Буян* ‘открытое возвышенное место; торговая площадь’, *Буянова гора*.

Псевдоантропонимы – слова, образованные по типовым антропонимическим моделям, – представлены многочисленной группой слов, образованных от русских, иноязычных, библейских имен, а также от глагольных основ: *Маргафона* ‘простак’ и *Маргафонтьевна* ‘ленивая, неисполнительная женщина’ < гл. *маргафонить* ‘моргать’.

Исследование русской ономастической лексики может быть весьма плодотворным на базе диалектного материала, собранного коллективом ИЛИ РАН в Словаре русских народных говоров (выпуски 1–41, 1965–2008 г.).

Н. В. Комлева

Вологда

Вологодские фамилии: история и современность

К изучению частотности русских фамилий обращались многие исследователи русской ономастики. Не теряет актуальности изучение фамилий в отдельных регионах страны, позволяющее установить частотность современных фамилий и проследить историю формирования фамильного имени жителя данной местности.

1. О времени возникновения фамилий вологжан.

В XVII в. в Вологде известны дворянские фамилии – *Плещеев, Бутурлин, Головин* и др., а также целые династии крупных купцов: *Алачугины, Верещагины, Гладышевы, Белавинские, Глазуновы, Желвуцковы*.

В ономастике существуют разные мнения по поводу того, в какой период возникают фамилии городского населения Русского государства. Учитывая, что могут считаться родственниками люди, жившие в XVII и начале XVIII в. в одном районе города и имевшие одинаковый последний компонент именованья, приведем несколько примеров фамильных прозваний вологжан, отмеченных переписчиками в первой половине XVII в., во второй половине XVII в. и начале XVIII в. У л . Б о г о р о д с к а я : Гришка *Бобошин* [ПКВ 1629, 173], Ивашка Федоровъ с. *Бобошинъ* [КПВ 1678, 168], Иван Семенов *Бобошин* [ПКВ 1711, 133 об.]; З а р е ч ь е : Ивашка *Козулин* [ПКВ 1629, 183], Якушко Фодоровъ с. *Козулинъ* [КПВ 1678, 259], Иван и Борис Яковлевы дети *Козулины* [ПКВ 1711, 162]; В е р х н и й Д о л : Петрушка *Тебенков* [ПКВ 1629, 175], Серешка Фалеевъ с. *Тебенковъ* [КПВ 1678, 181], Елфим Алексеев *Тебенков* [ПКВ 1711, 142 об.].

В среде ремесленников и торговцев формируются профессионально-должностные фамилии: Патрекейка *квасник*, бобыль [ПКВ 1629, 107] и Захарко Патрекевъ с. *Квасников* [КПВ 1678, 287].

Помещичьи крестьяне Вологодского уезда в основной своей массе не имеют фамилий. Фамильные прозвания отмечены у большинства монастырских крестьян, а также у помещичьих крестьян в тех случаях, когда того требовали фиксирующие их именованья документы – челобитные, поручные грамоты, купчие крепости и т. п.: Ивашко Поликарпов с. *Ключарев* [Пам. 1629 ГАВО, ф. 1260, оп. 10, № 50], Осташко Ивановъ с. *Чебунинъ* (челоб. 1629) [Сторожев 1906, № 18, 270].

Фамилии у того или иного сословия формировались по мере развития официально-деловых отношений внутри членов данного сословия.

2. Состав современных вологодских фамилий с некалендарными именами в основе на фоне антропонимии XVI»XVIII вв.

В качестве исследуемого материала выступают современные фамилии жителей Вологды, источником которых послужил телефонный справочник 2000 г. «Вологда и Вологодский район: наши абоненты» (ОАО «Электросвязь» Вологодской области).

Всего в справочнике зафиксировано около 10 тыс. фамилий абонентов. Из них путем сплошной выборки извлечено 4 184 фамилии с некалендарными именами в основе.

Наиболее частотны фамилии, мотивированные некалендарными прозвищными именами, восходящими к именам существительным со значением лица (внешний вид или особенности поведения): *Крутков, Пискунов, Рындин, Сахаров* и др. Всего 2 371 фамилия.

На втором месте – фамилии, мотивированные некалендарными прозвищными именами, образованными от названия профессий: *Квасников, Осначев, Сальников, Свинобоев, Солеников*. Всего 1 163 фамилии.

На третьем месте – фамилии, мотивированные топонимами и этнонимами: *Ваганов, Кокшаров, Мезенцев*. Всего 382 фамилии.

Отмечено всего 268 фамилий, мотивированных внутрисемейными некалендарными личными именами: *Баженов, Жданов, Нечаев, Смирнов*.

Сравнительный анализ фамильных прозвищ и прозваний населения города Вологды показал, что многие антропонимы XVII – начала XVIII в. семантически соотносимы с основами фамилий XX в.: *Жилин* – Оилка Емельяновъ с. *Жилин* [КПВ

1678, 288], *Копосов* – Матюшка Иванов с. *Копосов*, детеныш [КПВу I 1678, 371], *Оконичников* – Родіонко Даниловъ с. *Оконичник*, бобыль [ПКВ 1629, 145], Мелешка Онофріевъ с. *Оконичников* [ПКВ 1629, 73], Ивашко Марковъ с. *Оконичникъ* [ПКВ 1629, 66] и др.

Общий удельный вес прозвищных имен XVII в., восходящих к именам нарицательным, которые относятся исключительно к группе вологодских говоров, невелик (5 % всех прозвищных имен). Однако наибольшее количество прозвищных имен с вологодскими диалектными корнями сосредоточено в двух лексико-семантических группах: «Свойства, характер, поведение человека» и «Внешний вид человека». Фамилии с диалектными основами почти полностью сохранились до наших дней: *Ваганов*, *Варганов*, *Галибин*, *Глотов*, *Клепиков*, *Лагунов*, *Лоскутов*, *Рохлин* и др.

КПВ 1678 – Книга переписная г. Вологды 1678 года стольника Петра Голохвастова и подьячего Ивана Саблина. РГАДА, ф. 1209, ед. хр. 14741.

КПВу I – Книга переписная Вологодского уезда 1678 года стольника Петра Голохвастова и подьячего Ивана Саблина Заозерские половины поместные. РГАДА, ф. 1209, ед. хр. 14733.

ПКВ 1629 – Список с писцовой книги г. Вологды 1629 года // Источники по истории Вологды. Вологда, 1904. Вып. I.

ПКВ 1711 – Книга переписная г. Вологды переписи и меры И. Шестакова и В. Пикина 1711 года. ГАВО, ф. 652, оп. 1, № 37.

Сторожев В. Н. Материалы для истории делопроизводства поместного приказа по Вологодскому уезду в XVII веке. СПб., 1906. Вып. I.

Н. И. Коновалова
Екатеринбург

Дискурсивная семантизация примет в диалектной речи

В когнитивных стратегиях представления познанного в тексте примет лежит стремление обнаружить и интерпретировать знак как символ какого-либо события, в большей или меньшей степени поддающегося рациональному осмыслению.

Семантика народной приметы характеризуется разной глубиной осмысления опыта освоения действительности, который может представлять когницию, с одной стороны, как обыденную (профанную) бытовую ситуацию, с другой – как мифо-символическую, вписанную в систему архаической народной культуры. На этом основании и формируется стереотипный образ, который актуализируется всякий раз при использовании (употреблении, произнесении) приметы.

Для приметы обязательным является одно условие произнесения: всегда к случаю (конечно, если это не искусственно смоделированная ситуация ее репродукции). Приметы, как правило, вписаны в ситуацию, и эта «дискурсивность», с одной стороны, способствует их десакрализации, погружению в сферу профанного, обыденного, с другой – суггестивному программированию повседневного быта, что не предполагает рациональной оценки содержания текста. Сугге-

стивное воздействие примет основывается в значительной степени на устойчивых ассоциациях, связанных с символикой элементов окружающего мира, «обработанных» традиционной культурой в рамках типовых тактик (гадательных, прогностических и др.) включения сакрального текста (СТ) в дискурс. Ср. вариант апотропеических примет – развернутое объяснение причины запрета и «рецепт» действия-оберега:

«Никогда не плюй на правый бок, на праву сторону, потому что ангел-хранитель при правом боке, а дьявол при левом: на него и плюй, говори: “Аминь” и растирай ногой» (Богдановичск.р-н Свердловск. обл.);

«Родится теленок, ягненок, хоть кто, первый раз идешь смотреть, надо взять в рот соломинку, чтоб не обáйкать. Вот берешь в зубы-то и помалкивашь, а скажешь: “Ай, какой теленок родился!” – и обáйкаешь. У знакомых второй год пропадают телята, потому что бабушка сразу обрадуется, обáйкает, у ей, может, глаз тяжелый или слово како нехороше» (Талицк. р-н Свердловск. обл.).

Заметим, что такие пояснения нетипичны для повседневного употребления примет при общении односельчан друг с другом и отмечаются, как правило, в специально смоделированной ситуации направленной рефлексии (опроса информанта), когда, например, диалектоноситель объясняет «чужому» смысл приметы. Ср. игровые вербальные обереги, сопровождающие табу:

«На дорогу не спрашивают: “Куда идешь?”. Если кто спросит, то говорят: “На Кудыкину гору” (или: “На Кудыкину гору воровать помидоры”, “На Кудыкины горы за высоки заборы”, “На Кудыкину гору попроведать Федору” и т. п.), чтоб глазу не было или чё-нибудь не повезло» (повсеместно);

«Как первую рыбу поймашь, нельзя радоваться, надо говорить: “Попалась, да не та”. Дедушка-то у меня рыбак, вот мы поедем с ним, рыбу поймашь, я радуюсь, а он говорит, не радуйся, скажи: “Попалась, да не та”. Я говорю: “Как не та, большая ведь”. А он говорит, что если сказать так: “Попалась, да не та”, – то еще крупней попадет» (Талицк. р-н Свердловск. обл.).

Это особый тип высказываний, который можно условно обозначить как *дискурсивная семантизация*. Дискурсивное мышление – форма мыслительной стратегии, в которой происходит последовательный перебор различных вариантов решения задачи, чаще всего на основе связанного логического рассуждения, где каждый последующий шаг обусловлен результатом предыдущего. В этом смысле дискурсивная семантизация диалектоносителями сакрального содержания предполагает его соотнесение с целым рядом ситуаций как профанных, так и сакральных, которые в сознании носителя традиционной культуры часто синкретичны.

Такого рода толкования не предполагают собственно формулирования смысла выражения, текста. Информанты объясняют смысл СТ, вписывая его в ситуацию собственной жизни, опыта своих родных или знакомых, иллюстрируя его (СТ) конкретными примерами. Приведем типичный пример пояснения, сопровождающего примету-констатацию:

«Порча есть – значит, знаткóй посмотрел. Вот и говорят: “Ой, она знаткá!”. Вот у нас старик был такой, говорили: “Дедушко-то у Шахуриных знаткой, от его никаки семена не растут и никака скотина не ведётся, он слово како-то знает”. Мы сами у его гусей покупали, дак не могли развести, гусиха насносила яич, а парить

не села на их, они пропали, остыли дак. Потом семена ещё у его покупали, он в деревне торговал, это ещё в 70-е годы было, когда не продавали в магазине ничё, а у его всё росло, гусей были стада, до сотни, овцы плодились, всё-всё. Ещё так говорят про женщин: “Она знатка. Не знаткая, а знатка”. Так и говорят, они при-сушками всякими любовников присушивают. Знаткíх-то не любят, это не то, что лекарка или знахарка, здесь с нечистой связано, после их слов плохо людям бывает. К примеру, девчонка не любила парня нисколько, а бабушка-то прошла, её по волосам провела, погладила, и та сразу согласилась взамуж, потому что она знатка, знат чё-то» (Талицк. р-н Свердловск. обл.).

Примета в таком случае – только отправная точка пояснительного дискурса. Записи СТ подобного рода от информантов разного возраста, разных говоров дают основания говорить о существовании особой формы представления приметы в сознании современных диалектоносителей. Это регламентация повседневного быта, осмысленная в соответствии с традицией в равной степени на житейском опыте и мистических представлениях. Ср. объяснение приметы-запрета:

«Нельзя продавать молоко непроверенному человеку. Начнешь молоко продавать, да хоть чё, надо знать, кому, а то молоко пропадет. Кто-то скажет: “О-о, како у тебя молоко-то жирно, вкусно!” – и все, изведет. У моей знакомой опять кур много, она в школе продала, у нее куры все сдохли. Кто-то, видно, сказал: “Сколь яиц-то у ей, даже продает!”». Позавидует или чё, черной завистью, и все хозяйство у другого-то нарушит, человек сам-то, может, не подозревает, а позавидует-то не с добра. Вот так у нас чаще всего говорят, а даром что за всем этим ходить надо, за курочками даже» (Талицк. р-н Свердловск. обл.).

Прагматичность жанра приметы базируется на таких ее составляющих, как апелляция к т и п о в ы м ситуациям, жизненно важным для л ю б о г о носителя данной лингвокультуры, проецирование обобщенного прогноза, значимого для гарантированного жизненного благополучия социума, на пространство конкретных притязаний индивида, что придает примете как СТ особую суггестивную убедительность.

Дискурсивные толкования проявляются в направленной и спонтанной рефлексии говорящих по поводу содержания СТ и могут быть представлены разными формами: через соотнесение с обрядом, через соотнесение с ситуацией, через соотнесение с личным опытом. Прагматика приметы как СТ не предполагает оценки ее содержания по параметру «достоверность» недостоверность», примета для субъекта, ее использующего, всегда достоверна, поскольку базируется на опыте социума, на традиции, закреплённой в регламентированных моделях поведения в тех или иных типовых ситуациях. Вообще индивидуальное «я» в общенародной примете отходит на второй план, перекрывается социосемантикой, подавляется социокультурной регламентацией поведения.

Запреты старообрядцев Латгалии

В настоящее время существует большая научная литература о старообрядцах, где затрагивается, среди прочего, тема запретов в старообрядческой среде. Разные типы прескрипций, отражающих особенности бытового, обрядового и конфессионального поведения старообрядцев, описаны и в сборниках, которые напрямую не связаны с темой запретов (Старообрядчество. История. Культура. Современность. М., 1998; Смерть как феномен культуры. Сыктывкар, 1994; Традиционная пища как выражение этнического самосознания. М., 2001; Духовная литература староверов Востока России XVIII–XX вв. Новосибирск, 2000; Мифология и повседневность. СПб., 1998; и т. д.). Это объясняется важной ролью запретов в сохранении идентичности и самоидентичности старообрядцев. Нет, наверное, ни одной сферы жизни старообрядца, которая не была бы в той или иной мере связана с религиозными запретами. Религиозность предписывает старообрядцам ориентироваться на заповеди Господни, жить по Богу.

Когда старообрядцы вели замкнутый образ жизни и были изолированы от общества, у них существовало гораздо больше запретов. По мнению богослова-старообрядца Шахова, в своей массе старообрядцы были безграмотными. Сейчас они интегрировались в общество и открыты миру. Не последнюю роль в этом процессе сыграли обязательная служба в армии и советское школьное атеистическое образование (учителя срывали крестики с детей, родители имели проблемы на работе, если крестили детей или если дети посещали моленную, например, с бабушкой и дедушкой). С одной стороны, кажется, что старообрядцы не выживут в современном мире, если будут вести образ жизни, предписываемый им религией. С другой стороны, они сами считают, что процесс интеграции приводит к «сдаче позиций», нивелировке конфессиональных особенностей в бытовой сфере. По мнению староверов, цыгане, например, сохраняются как особая этноконфессиональная группа, потому что ведут такой образ жизни, при котором посторонние не проникают в их сообщество.

По мнению духовных наставников, с которыми мы беседовали, бытовые запреты у старообрядцев почти исчезли, остались запреты, связанные с религиозными воззрениями, проведением церковной службы. Цель нашего сообщения – проследить, так ли это на самом деле. Материалом послужили записи, которые были сделаны автором за последние 30 лет у староверов, проживающих в Латгалии в сельской местности.

В своем докладе мы опираемся на статью «Запреты» Л. Н. Виноградовой и С. М. Толстой: запреты могут рассматриваться как особый языковой (в определенной степени и фольклорный) жанр; запрет состоит из собственно запрета и его мотивировки; мотивировки могут быть представлены в виде быличек, к которым иногда добавляется предписание, т. е. запрет может иметь двухчастную или трехчастную формулу [СД, 2, 269–273]. В нашем материале встречаются и такие запреты,

в структуре которых одна часть: *Не надо в праздник дрова нести*. На первый взгляд, мотивировка попадает в пресуппозицию, потому что является ненужной: всем и так было известно, что в праздник нельзя работать (интересно, что существовали и *средние праздники*, когда можно было работать полдня). Среди староверов бытует пословица *Праздники выше нас*. Однако, опросив нескольких человек, мы узнали: данный запрет объясняется тем, что при его нарушении в дом поползут змеи. Это приводит к мысли о существовании более древней мотивировки, не связанной с христианскими представлениями.

Известный у многих славян запрет мыться в бане после захода солнца (в основе которого языческие представления) у староверов получает христианскую трактовку: «Это грех – христовой кровью моемся». Мотивирован запрет, по-видимому, тем, что смерть Иисуса наступила до захода солнца.

Многие запреты, известные всем славянам, у старообрядцев Латгалии более детализированы. У всех славян принято относиться к хлебу как к святыне. Запрет выбрасывать хлеб у староверов имеет более развернутый характер: «Ломать грех хлеб, хлеб – боже тело, упала крошка, соседа позови, а крошку подыми!»

Запреты и предписания, связанные с религией или получающие религиозную мотивировку, охватывают всю жизнь старообрядцев, от рождения до смерти. Наибольшее количество запретов связано с переходными обрядами: родильно-крестильным, свадебным, похоронным. Запреты упорядочивают жизнь, регламентируют поведение и позволяя войти в мир, освоить его, и пребывать в нем в статусе старовера.

Ю. С. Костылев
Екатеринбург

Особенности функционирования топонимов в текстах советской массовой военной песни 1920–1930-х гг.

Функция топонима в текстах советской массовой песни, пропагандистских по своему характеру, – подтверждение истинности событий посредством конкретизации деталей (в данном случае – географических) этого события.

Предмет анализа в докладе – функционирование в советской массовой песне 1920–1930-х гг. топонимов и оттопонимических прилагательных в составе конструкции, которая включает в себя два топонима в предложно-падежных формах, определяющих границы территории, на которой происходят события, описываемые в тексте. При этом формально пара предлогов отражает семантику направления (*от, с, из, до, на, к* и т. п.).

Можно выделить два прагматических типа использования таких конструкций. В случае использования первого типа мы имеем дело с обозначением пути, по которому движутся войска. Второй тип, формально используя предлоги направления, лишь указывает координаты пространства, где происходят события.

В конструкциях первого типа как первый, так и второй член конструкции могут опускаться.

Исчезновение первого члена конструкции происходит в том случае, если в его качестве подразумевается точка расположения наблюдателя (*здесь, *отсюда, *с этого места и т. п.): «С непрерывным боем! / Шли мы двое суток, / Чтобы в *Териоки* первыми вступить»; «Если ж надо, Коккинаки / Долетит до *Нагасаки*». Исчезновение первого члена возможно и в случае неопределенности отправной точки движения: «Он шел на *Одессу*, / А вышел к *Херсону* – / В засаду попался отряд». При помощи топонима маркируется направление движения советских войск со своей территории на территорию противника. Подобные случаи употребления топонима – обозначение пункта, на который ведется наступление без указания отправной точки, – наиболее частотны в рассмотренном материале.

Активным субъектом действия может являться противник: «Покатилися к *Варшаве* панские полки!». В таком случае топоним обозначает место, к которому враг отступает, что само по себе подразумевает наступление советских войск. Здесь мы сталкиваемся со своего рода формальной инверсией субъекта при сохранении общего смысла описания событий: демонстрируется победоносное продвижение советских войск по занятой противником территории. Интересен случай инверсии активного субъекта, когда повествование ведется от лица врага либо в тексте обозначается обороняемый вражескими войсками пункт: «Идут на *Мадрид* генералы, / Испания гневом кипит. / Идите, идите, шакалы, / Могилой вам будет *Мадрид*!».

Возможен также вариант обозначения точки на своей территории в том случае, когда предполагается начальная фаза ведения боевых действий как ответ на вероятную агрессию противника, вторгшегося на советскую территорию. Эта точка, являясь конечным пунктом движения к театру военных действий, одновременно служит местом начала пути в дальнейшем развитии сюжета: «И когда на заре / Просветлело вдали, / К *Заозерной горе* / Наши части пришли».

Исчезновение второго члена конструкции встречается тогда, когда подразумевается, например, конкретное, заранее известное место окончания пути: «Полки придут и с севера и с юга, / С *донецких* шахт и *забайкальских* сел, / Свою винтовку – верную подругу / Опять возьмет ударный комсомол». Довольно часто при помощи такой конструкции описывается отступление противника, противник становится активным субъектом действия. Единичным топонимом обозначается некая точка на советской территории, на месте второго члена конструкции можно восстановить лексему со значением *обратно, а отсутствие топонима объясняется принципиальной неопределенностью конкретного места – важна не точка, в которой окажется субъект, а факт его исчезновения с советской территории: «То не ливнем травы смяты на поляне, / То не ветром сбиты с яблони цветы – / Утекают с *Приднепровья* польские уланы, / Только ходят вверами конские хвосты».

В случае наличия обоих членов конструкции мы наблюдаем простое описание боевого пути на конкретных фронтах во время конкретных конфликтов – и функция топонима сводится к обозначению исходной и конечной точек пути: «Шедшим на *Петсамо* из *Титовки*».

Второй тип использования топонима дает адресату представление о некоем пространстве, где разворачиваются события. Несмотря на наличие предлогов на-

правления, использование этого типа конструкций не отражает реального движения. Функция топонима заключается в обозначении границы – точка, единичный пункт или ограниченная площадь выступает в качестве обозначения линии границы (как государственной, так и границы какого-либо региона). При помощи такой конструкции могут образно обозначаться пределы советского государства. В этом случае называются две точки, обозначающие либо западные и восточные пределы страны: «Бросьте думать, генералы, / О походе на Москву: / От *Кавказа* до *Байкала* / Разнесем вас по куску!»; «Если завтра война – всколыхнется страна / От *Кронштадта* до *Владивостока*», – либо северные и южные: «От *полюса* до *Дагестана* / Родные для нас имена». Возможна также привязка ко всем четырем (север–юг, запад–восток) точкам: «От *Архангельска* до *Крыма*, / И с *Урала* на *Алтай* / Боевая слава *Клима* / Пронеслась из края в край».

Более частотны в песнях (и не только военных) этого периода привязки по линии запад–восток, что может объясняться характером географического расположения советского государства – большей протяженностью страны именно в этом направлении. На месте первого члена конструкции выступает, как правило, западная точка, поскольку именно западные регионы воспринимаются как центр, а восточные – как окраины страны. Характерно, что ни в одном из контекстов привязки не покрывают всей территории страны, а лишь примерно указывают приграничные регионы. Крайние географические точки Советского Союза были сравнительно малонаселенными, не вызывали соответствующих культурных ассоциаций, и поэтому контексты типа *«От *острова Рудольфа* до *Кушки*» не могли сыграть большой роли в деле идеологической мобилизации адресата, не говоря уже о том, что из-за сложности структуры подобные топонимы довольно трудно уложить в стихотворный размер.

При помощи структур второго типа мог обозначаться и конкретный регион – как в пределах страны, так и включающий зарубежные территории. Взаимное расположение топонимов, входящих в конструкцию, не фиксируется так жестко, как в предыдущем случае. Очевидно, значение имеет точка зрения наблюдателя. Так, если речь идет о западных регионах страны, то в первой позиции находится топоним, обозначающий западную точку: «Были сборы недолги, / От *Кубани* до *Волги* мы коней поднимали в поход»; «От высокого *Казбека* / До *кастийских* берегов», – а если о восточных, то восточную: «От *Посьета* до *Байкала* / Песня молодецкая». В том случае, если речь идет о зарубежных территориях, то в первой позиции находится точка на территории страны, а во второй – за ее рубежами: «Но от тайги до *британских* морей / Красная Армия всех сильнее».

Таким образом, использование топонимов в пропагандистском поэтическом тексте дает автору текста еще один инструмент для идеологической мобилизации адресата.

Славянский этно- и глоттогенез в представлении православных славян на пороге Нового времени (на материале Славяносербских хроник Дж. Бранковича)

В нашей работе мы исходим из положения о многовековом существовании единого культурного ареала православной Славии, исключительно стабильного во времени и пространстве. Это положение было введено в научный обиход в работах Рикардо Пиккио и получило развитие прежде всего в трудах Н. И. Толстого. Мы все еще сравнительно мало знаем о старой православной Славии. Но особенно слабо исследована последняя фаза ее истории – как в отношении языковой ситуации, так и в отношении механизма смены культурной и мировоззренческой парадигмы.

К списку вопросов, на которые современное славяноведение пока еще не может дать ясного ответа, можно – и нужно – отнести и исторические знания православной Славии, видение исторической перспективы тогдашней Ойкумены, в центре которой, конечно же, находился сам славянский мир.

Ответить на этот вопрос поможет только скрупулезное изучение сохранившихся памятников – лучших и достовернейших свидетелей прошлого. В данной работе предпринята попытка такого анализа на материале крупнейшего и одного из наиболее значимых памятников не только сербской, но и всей (православной) славянской культуры. Это Славяносербские хроники Джорджа Бранковича, написанные в первые годы XVIII в. (автор работал над ними вплоть до своей смерти в декабре 1711 г.), памятник объемом почти в три тысячи страниц, охватывающий исторический период от раннего христианства – эпохи Константина Великого – вплоть до современных автору событий.

Этот памятник, хранящийся в единственном экземпляре в библиотеке Сербской Патриархии, до последнего времени практически не был доступен для исследования. Осенью 2008 г., наконец, был опубликован первый том первого издания этого памятника, в который вошли три из пяти книг Хроник [Бранковић, 2008]. В настоящее время заканчивается подготовка к публикации второго тома издания, в который войдет четвертая книга Хроник.

Помимо того, что Хроники Бранковича являются драгоценным (и почти не имеющим аналогов) памятником сербского письменного языка раннего Нового времени (эпохи сербской языковой истории, крайне слабо исследованной в исторической сербистике), они значимы и как источник достоверных сведений о научных представлениях тогдашнего образованного православного славянства – в первую очередь, исторических знаний. В центре внимания автора Хроник – история славянства, с самого начала, т. е. от времен библейского Ноя и его сыновей, представленная на широком фоне общеевропейской истории.

В нашей работе будут представлены некоторые наиболее интересные фрагменты исторического видения мира, происхождения славян и славянских языков

в православной Славии в период перехода от старой культурной и мировоззренческой парадигмы к западноевропейской историографии Нового времени.

Автор Хроник, Джордже Бранкович, представляет собой именно тот тип человека, который, по выражению А. А. Алексеева [1993], одновременно принадлежал и старому и новому времени. И Хроники его представляют собой своеобразный мост между летописной традицией старой православной Славии и историографической традицией западного мира – от античных источников до современных Бранковичу авторов.

В соответствии с нормами западноевропейской историографии, Бранкович аккуратно указывает свои источники – от Птолемея, через летописи и хронографы средневековой Сербии Неманичей – до Мартина Кромера и придворного венгерского историка Иштванфи. Несмотря на то, что Бранкович иногда слишком некритично следует не всегда достоверным интерпретациям исторических событий у Орбини и у Попа Дуклянина, это, на наш взгляд, не умаляет глобальной значимости Хроник как источника для реконструкции исторической картины мира у православных славян того времени.

В нашей работе в основном будет использован материал первых трех книг Хроник, посвященных доисторическому и раннеисторическому периоду. Основное внимание будет сосредоточено на топонимии и глоттонимии, а также на теме славянского этногенеза.

Алексеев А. А. Внутренняя хронология русского литературного языка // *Philologia Slavica*. (К 70-летию академика Н. И. Толстого) / Под ред. В. Н. Топорова. М., 1993. С. 238–244.

Бранковић Ђ. Хронике славеносрпске / Уред. А. Кречмер. (Српска академија наука и уметности. Критичка издања српских писаца. VII.) Београд, 2008.

Ю. А. Кривошапова
Екатеринбург

Символика насекомых в народной медицине славян

В докладе рассматриваются лечебно-профилактические приемы народной медицины, где в качестве знаковых атрибутов, способствующих исцелению, выступают насекомые. Область «инсектальной» медицины включает ритуально-магические практики, субъективные верования и объективные знания людей. К анализу привлекаются данные различных славянских языковых и культурных традиций. Основная цель исследования – выявить механизмы символического переосмысления насекомых в сфере народной медицины.

Вовлечение насекомых в сферу народной медицины может быть обусловлено объективными и субъективными факторами.

Некоторые насекомые обладают реальными целебными свойствами и издавна используются в составе медицинских препаратов. К ним относится, в частности,

шпанская муха, порошок из которой применяют для лечения разного рода болей. Аналогичным образом для лечения бешенства используется вытяжка или порошок из майского жука. Лечебными свойствами обладают также продукты жизнедеятельности некоторых насекомых, например мед и прополис пчел, муравьиная кислота.

Вовлечение ряда насекомых в сферу народной медицины на концептуальном уровне активно поддерживается существованием ассоциативной связи «насекомое – болезнь», издревле присутствующей в славянской культуре.

Насекомые воспринимаются как инициаторы заболеваний, часто неясной этиологии, которые трудно объяснить внешними факторами. Причиной болезни становится появление, укус или проникновение в тело человека во время сна, питья, еды некоторых видов насекомых, в которых могли воплотиться духи болезней. Отголоском подобных представлений в языке можно считать существование у восточных и западных славян этнотомологических обозначений болезней, связанных с названиями ночной бабочки, которая провоцирует недуг, перевоплощаясь в демона болезни, ср. рус. диал. *ворогуша* ‘бабочка’ и ‘лихорадка’. Человек заболит лихорадкой, если с пищей нечаянно съест белую ночную бабочку, которая дрожит крыльями, как в ознобе. *Ворогуша* вызывает панический страх: когда она летит, крестьяне крестятся и говорят: «Прости мне, Бог от ней». Аналогичная связь значений характерна для польск. *ста* ‘ночная бабочка’ и ‘болезнь’; ср. также *ćmę polknąc* <ночную бабочку проглотить> ‘есть и никак не насытиться’. В верованиях русских и белорусов *лихорадки* могут обернуться мухой, пауком, бабочкой. Русские считали, что тот, кто нечаянно съест паука, будет страдать водянкою или опухолью в животе. По верованиям поляков и сербов, у скотины, проглотившей паука, появится опухоль. Муха, посидевшая на мертвом раке и укусившая человека, заразит его раком (польск.). Кашубы отмечают, что человек, на которого *pchlë jida* <блохи идут>, скоро заболит. Поляки считают, что съедание вши провоцирует вечный голод, который считается болезнью и называется *prórwa*.

Итак, энтомологическая тема появляется в народной медицине, с одной стороны, благодаря объективным лечебным свойствам насекомых, с другой – под влиянием устойчивого культурного дурта «насекомое – болезнь». Последнее позволяет предположить, что часто использование насекомых в качестве лечебного средства является результатом ретрансляции (или перекодировки) их культурной символики (к примеру, «болезнетворности») в сферу медицинской практики. При этом можно выявить некоторые механизмы символического переосмысления реальных или ирреальных свойств насекомых в наивном врачевании.

Так, механизм «магической энантиосемии» основан на способности одних и тех же насекомых, являющихся знаками языка культуры, выражать антонимичные значения. Насекомые, провоцирующие болезнь, часто сами становятся магическими средствами, помогающими избавиться от недуга. Ср. русское поверье о том, что если во время болезни на больного сядет муха, то следует сейчас же поймать ее и посадить в кожаный мешочек. Затем этот мешочек с мухой нужно бросить в печку: когда он сгорит, болезнь пройдет. Одним из средств против лихорадки у русских считается вошь, закатанная в шарик хлеба, который съедается больным. Вошь в хлебе дают съесть больному желтухой (белор., укр., серб.), корове, когда у нее долго не выходит послед (рус.). На Украине, чтобы остановить кровь, произносят

заговор, в котором комар и муха, кусая, не «пускают кровь», а наоборот, останавливают ее, ср. «Вадзіца-травіца па мору хадзіла, пясочык сеяла, пясочык не ўзайшоў – крыві не пусьціў. Камар укусіў – крыві не пусьціў, муха ўкусіла – крыві не пусьціла».

Можно выделить также механизм переосмысления реальных свойств насекомого, которые, как правило, уже символически закреплены в культурно-языковой энтомологической сфере. Например, в случае тяжелых родов поляки рекомендуют женщине проглотить живую пчелу (ср.: когда у коровы нет телят, ей дают съесть пчелу в хлебе). Прояснить этот рецепт возможно общей культурной брачной и репродуктивной символикой пчел. Пчелиный укус может выступать в качестве символа коитуса ~ дефлорации ~ беременности. У белорусов беременность предвещается женщине сном о пчелином укусе: «Молодой баби, коли жало упусть – забеременея». Аналогично у поляков сон об укусе пчелы предвещает дефлорацию. Символику брачных отношений передает польская поговорка «Kieś sie pscoły roją, to sie dziewcusy chłopaków boją» <Когда пчелы роятся, девки парней боятся>. Ср. также использование поляками при женских болезнях (болезни матки) порошка из сушеной *пчелиной матки* – пример реализации принципа *similis simili curatur*, свойственного народной медицине вообще, но редкого в инсектальной рецептуре.

Отметим, что при тяжелых родах применяются и другие насекомые, характеризующиеся многочисленностью и в связи с этим наделенные символикой плодovitости, например вши и саранча.

Л. Е. Кругликова
Санкт-Петербург

К этимологии оборота *старая карга*

Считается, что фразеологизм *старая карга*, употребляемый как бранное наименование старой женщины (обычно злой, сварливой), основан на сравнении женщины с вороной (от тюрк. *karga* ‘ворона’, восходящего к *kara* ‘черный’), отрицательно оцениваемой в народной речи [см., например: Мокиенко, 231–236].

Мы придерживаемся иной точки зрения.

Изначально, в XVIII в., интересующее нас слово в значении ‘старая женщина’ фиксировалось только в форме *корга*. В той же орфографии мы находим его у писателей XIX в., а также в белорусском языке в XIX в.: «*Кóрга*. Старая баба, хрычовка, слово бран. ведьма» [Носович, 246].

Фиксация интересующего нас существительного в форме *кóрга*, *корга́* даже в акающих говорах – воронежских, брянских, рязанских [СлРЯ 1913, 4/7, 2048] – доказывает исконность *о*.

Об исконном, а не тюркском происхождении говорит и наличие существительного *корг* ‘выступ на носу и на корме судна, служащий для привязывания якорей’, которое является самым старым среди слов русского языка с интересующим нас

корнем: в [СлРЯ XI–XVII, 7, 306] оно датируется 1419 г. Поясним значение существительного *корг*, так как из его толкования в словарях не совсем понятно, почему указанную лексему надо помещать в рассматриваемое гнездо. Дело в том, что для основы корпуса корабля – на носу и корме – раньше использовали ствол дерева с отходящим в сторону корнем. Естественный изгиб ствола в месте перехода его в корень обладает большой прочностью, что и позволяет применять его для крепления якорей и водорезов. О праславянском характере производной основы **kъrg-* свидетельствуют хотя бы следующие слова: укр. *коргіма* ‘вырубленное с корнем дерево, употребляющееся для постройки’ [Гринченко, II, 283], укр. диал. *кóргати* «(ногами) косить», с.-х. диал. *крга* ‘стебель, ствол винограда’, *крга* ‘колода, около которой сливают воду на мельнице’, словен. *kírgati* ‘выделяться, выпирать, переливаться через край’ (т. е. выходить за пределы ровного пространства, создавая неровность, кривизну. – Л. К.) [ЭССЯ, 13, 214].

Оборот *старая карга* употребляется лишь для наименования человека преклонного возраста. Поскольку характерной чертой образа старика является сгорбленность, становится возможным сравнение пожилого человека с кривым деревом. Подобного рода переносы типичны для русского языка.

В. М. Мокиенко говорит о том, что «в пользу тюркского происхождения большинства значений [каких? – Л. К.] слова *карга*, к тому же, говорит – и весьма весомо – география. Показательно, что дальше белорусской зоны границы этого слова не заходят, что в целом совпадает с районом распространения тюркского языкового влияния» [Мокиенко, 236]. Этот довод можно опровергнуть несовпадением ареалов распространения лексемы *карга* (*корга*) в значении ‘ворона’ и ‘старая женщина’. По данным Картотеки ЛАРНГ (ответ на вопрос № 254), значение ‘ворона’ у этой лексемы встречается на территории бывшей Золотой Орды (XIII–XV вв.) и прилегающих к ней районов, причем особенно часто на территории бывшего Хазарского царства (до 966 г.).

Существительное же *карга* (*корга*) в значении ‘старая женщина’, по данным [СлРЯ 1913, 4/7] (более точная информация станет возможной после поступления соответствующих материалов в картотеку ЛАРНГ), фиксируется прежде всего на северных, не испытывавших тюркского влияния, территориях Европейской части России: в олонечских, новгородских, вологодских говорах, в русских говорах на территории нынешних республик Карелии и Коми, а также в московских, владимирских, смоленских, рязанских, Брянских, Воронежских говорах. И именно на севере, а также на Урале и в Сибири (Енисей, Забайкалье) наблюдается обилие семантических вариантов, содержащих непосредственно или опосредованно сему ‘изогнутый’. Один из них и послужил источником метафорического переноса *корга* (*карга*) ‘кривое дерево’ → ‘старая женщина’.

О. Н. Крылова
Санкт-Петербург

Женские головные уборы на Русском Севере: этнолингвистический аспект

Важным элементом женского народного костюма являлся головной убор. Его особая значимость в русской традиции отмечалась в работах Н. И. Гаген-Торн, Г. С. Масловой, Л. Н. Молотовой и др.

Характерной чертой всех девичьих головных уборов была открытая макушка, в то время как женские уборы полностью закрывали волосы. Традиция покрывания головы замужней женщиной уходит в далекое прошлое и связана с представлениями о магической силе волос.

Девушки до замужества носили *повязку, почёлок* – головной убор в виде широкой ленты, украшенной жемчугом, бисером, позументом, которая закреплялась двумя тесемочками на затылке. Достигая совершеннолетия, девушка вплетала в косу ленту с бантом на конце в знак того, что ее можно сватать. Просватанная девушка надевала повязку с *натёмником* – кружком или овалом, прикрывающим макушку (это был переходный тип головного убора от девичьего к женскому), а косу украшала длинной широкой лентой красного или желтого цвета. В день венчания или накануне невеста передавала ленту (*девичью волю*) своим подружкам. В Архангельской и Вологодской губерниях косу иногда убирали под длинный белый вязаный колпак, покрывавший всю голову. В Сольвычегодском уезде Вологодской губернии этот колпак носил название *честной* и рассматривался как символ невинности. В других селениях того же района (с. Красный Бор) и в Никольском уезде (с. Кокшеньга) подобный колпак носили не только просватанные, но и все взрослые девушки.

Наиболее распространенными венчальными головными уборами на Русском Севере были *голодворец (головодоец), венёц, коңура, коруна*. Они были дугообразной формы или в виде широкого обруча, обязательно с открытым верхом, который венчал веночек из искусственных цветов или лент. Богато расшитые золотой нитью, украшенные жемчугом, перламутром, цветными стеклами, фольгой, они напоминали сказочные драгоценные короны.

В Архангельской и Вологодской губерниях в качестве зимнего головного убора замужние женщины носили *чебак* – шарообразную шапку с наушниками и длинной задней лопастью (*хвостом*). Чебак надевался, как правило, когда женщина выходила на улицу, обычно поверх основного головного убора (кокошника, платка с повойником). Однако в некоторых селах Вологодской губернии чебак полагалось носить и в избе.

Важнейшим элементом свадьбы был ритуал надевания на голову новобрачной головного убора – *повивание, окручивание, снятие покрыва*. Девичья прическа менялась на женскую: две косы укладывались вокруг головы и убирались под *моришень* (верх убора был собран – «сморщен» – в густую сборку; по своей форме он близок к повойнику, мягкой шапочке, надеваемой обычно дома), *борушку*, закрытые головные уборы.

Крестьянки среднего возраста и старухи носили под платком *повойники* или *косынки*, молодые женщины по праздникам украшали голову *кокошником*. Для кокошников характерно соединение в одно целое твердой основы и мягкого нарядного верха. Кокошник обычно изготавливался профессиональными золотошвейками из фабричных тканей и украшался бисером, фольгой, стеклом, рублевым перламутром и речным жемчугом. Наиболее характерным орнаментом был растительный, а также изображение птиц.

Еще одной разновидностью северных женских головных уборов была *шамшура* – тип шапочки с твердым околышком или дном и завязками сзади. В большинстве губерний дорогие кокошники и шамшуры носили с платками, вышитыми золотыми и серебряными нитями.

В тех губерниях, где основным головным убором девушек и женщин был платок, девушки носили его иначе, чем женщины. Если женщины складывали платок углом и завязывали узлом под подбородком, то девушки концы платка завязывали на затылке. Девушки часто складывали платок в ленту и обвязывали вокруг головы, опуская концы на спину, женщинам так носить платок не полагалось. Девушки накидывали поверх костюма на плечи до пяти платков разного размера, закладывая их концы за лямки сарафана, женщины могли накинуть один длинный платок, закалывая его булавкой на груди.

Таким образом, по головному убору, его оформлению можно было определить, из какого уезда, а иногда и волости, родом его владелица. Наиболее дорогие и нарядные кокошники женщины носили в первые годы замужества, до рождения первенца. Уборы пожилых женщин были самыми скромными. Праздничные уборы, особенно у девушек и молодых женщин, украшали шитьем, бисером, их шили из дорогих тканей. Головной убор составлял единое целое со всем комплексом одежды, поэтому выбор убора зависел от характера костюма.

И. В. Крюкова
Волгоград

Ономастическое шаржирование

Стилизация как способ создания «колорита» (национального, социального, исторического, профессионального) является привлекательным объектом для ономастического исследования. Однако следует учитывать типологическую неоднородность стилизации. Например, В. П. Москвин [2004] выделяет нейтральную лингвистическую стилизацию, изображающую свой объект адекватно, и искажающую (юмористическую или сатирическую). Продолжая данную классификацию, среди приемов искажающей стилизации выделим *ш а р ж и р о в а н и е*.

Шаржирование – это «изображение, представление кого-, чего-либо в утрированном сатирическом или юмористическом виде» [СлРЯ, 4, 702]. При обязательном сохранении внешнего сходства шаржирование предполагает карикатурное

изменение и подчеркивание самых характерных черт изображаемого. Шаржирование является стилистическим приемом, традиционно используемым в литературных пародиях и фельетонах.

Исходя из данных положений, определим *ономастическое шаржирование* как вид искажающей сатирической стилизации имен собственных, который предполагает наличие легко узнаваемого прототипа. Шаржированные имена собственные не просто в утрированной форме передают оценочную информацию о времени и месте повествования, но и содержат зашифрованные намеки, связанные с конкретными лицами, местами, объектами или событиями. Шаржированию может подвергаться не только антропоним, но и оним любого разряда.

Особую роль играет способность имен собственных порождать интертекстуальные аллюзии. Автор текста в этом случае рассчитывает на выстраивание читателем связи между реальным именем собственным и его прототипом. Такое восприятие вызывает у читателей ассоциации, эстетически, эмоционально и содержательно обогащающие понимание принимающего текста. Всего лишь по одной утрированной номинативной черте прочитывается прототипное имя (протоним). При шаржировании протоним подвергается фонетическим, семантическим и структурно-семантическим трансформациям, сохраняя при этом свою основную, легко узнаваемую, отличительную черту.

По нашим данным, к наиболее распространенным приемам ономастического шаржирования в современной российской публицистике и массовой литературе можно отнести (в порядке убывания частотности): 1) лексико-фонетические трансформации протонима, построенные на основе аллитерации и рифмы (*балерина Наволочкина* – Волочкова, *программа «Двести»* – «Вести», *РАО ЭЭС* – РАО ЕС), иногда имитирующие народную этимологию, со свойственной ей поиском «понятого в непонятом» (*Понты-Мансийск* – Ханты-Мансийск, *журнал «Клейбой»* – «Плейбой»); 2) лексико-семантические трансформации протонима с подбором слов и выражений в пределах одного тематического ряда (*парламентский деятель Грызлов* – Грызлов, *партия «Клюква»* – «Яблоко», *журнал «Фитилёк»* – «Огонёк»), иногда построенные на контрасте понятий (*журнал «Анфас»* – «Профиль»); 3) морфолого-синтаксические трансформации протонима с включением однословного названия в более сложные конструкции (*журнал «Он. Она. Они»* – «Она», *группа «Сухие и ломкие корни»* – «Корни»), с разложением имени на значимые части, стяжением двух имен или включением в структуру сложного слова добавочных элементов (*Ястреб Женский* – Ястржембский, *Путинбург* – Путин + Петербург, *Госкомдвойнойстандарт* – Госкомстандарт). Наблюдаются также разнообразные сочетания указанных приемов.

Анализ приемов ономастического шаржирования представляет интерес для исследования, выполненного на стыке ономастики и других направлений современного языкознания.

С точки зрения поэтики ономастическое шаржирование может рассматриваться как один из способов художественной типизации. При этом шаржированные имена являются не только маркерами пародийных художественных и художественно-публицистических жанров, но и экспликаторами взглядов, политических убеждений и художественного вкуса конкретного автора.

С позиций прагмалингвистики ономастическое шаржирование может определяться как особая стратегия использования слова, часть более широкой коммуникативной стратегии косвенности. Подобные явления могут быть квалифицированы как дисфемизмы, которые «ухудшают» денотат любой оценочности за счет негативных ассоциаций, формируют восприятие объекта как подозрительного и нежелательного, стремятся квалифицировать его так, чтобы вызвать неприязнь.

Исследование шаржированных имен с позиции социолингвистики помогает выявить черты ономастического вкуса и ономастической моды определенного периода, а также особенности лингвокреативной деятельности современного человека в рамках конкретной языковой ситуации.

Москвин В. П. Лингвистическая стилизация и пародия // Русская речь. 2004. № 2. С. 45–57.

Л. В. Куркина
Москва

Термины горения в контексте культуры раннего земледелия

Семантическое поле горения представляет лексика тематических групп, связанных с разными сферами практической деятельности человека. При общей семантической основе и денотативной соотнесенности тематические группы различаются составом терминов и их семантическим наполнением, степенью дифференциации семантического поля, организацией семантических отношений. Активность, степень употребительности терминов горения определяется многими моментами и не в последнюю очередь значимостью той сферы практической деятельности, которая связана с применением огня.

Огню отводилась важная роль при расчистке лесного участка под посев подсечно-огневым способом (далее – п.-о.). Не случайно по этому виду подготовительных работ получила название вся система раннего земледелия, ср. русск. *огневое земледелие*, словен. *požigalništvo*, чеш. *žďár, žďáření* и т. п. Культура п.-о. земледелия сохранилась фрагментарно. Мы знаем о ней в основном по диалектным записям, этнографическим описаниям. В дефинициях, даваемых словарями, размыты границы употребления слова, стерты семантические свойства термина. Смена культурной парадигмы сопровождалась перестройкой лексических отношений, утратой лексем, переосмыслением и переходом лексических единиц в разряд терминов новой, более совершенной формы земледелия. Это обстоятельство имеет особое значение при исследовании терминов горения в исторической ретроспективе. Лингвистический подход, направленный на анализ слова в контексте культуры, на восстановление иерархии значений, выявление этимологических связей слов, помогает наполнить конкретным содержанием термины, используемые для обозначения действий, производимых при выжигании лесного материала. Семантический контекст

слова включает и конкретные ситуации, с которыми соотносится слово. Реальные свойства процесса горения передаются предикату. Мир реальный, внеязыковые свидетельства подсаказывают утраченные в языке мотивировки.

Термины горения, применяемые в п.-о. земледелии, образуют вполне самостоятельный фрагмент словаря со своей структурой, своей системой семантических оппозиций. Семантические отношения членов этой группы подчиняются закономерностям, которые проявляются в однотипности мотивационных отношений. В составе данного фрагмента словаря две группы образований: глаголы с общим значением 'гореть' и связанные с ними отношениями производности имени, характеризующие объект по глагольному действию, по свойствам, приобретенным объектом под воздействием огня. Этот структурно-семантический принцип проходит через всю систему номинации и организует ее с соблюдением семантической симметрии. Выбор глагола и его функционирование регулируются реальными основаниями и в первую очередь особенностями объекта, на который направлен огонь. В наименованиях раскрываются те свойства горения, которые существенны для данного вида подготовительных работ. Условия употребления слова, особенности ситуации, в которой необходимо применение огня, сочетаемость глаголов горения с объектами, наделенными разными свойствами, являются факторами, способствующими более полному проявлению потенциальных возможностей семантики глаголов.

Уничтожение лесного материала с помощью огня производилось в несколько приемов. На каждом этапе процесс горения протекал по-разному, что нашло отражение в используемой лексике. Дифференциация терминов определяется необходимостью обозначить разные виды горения. Семантические отношения выстраиваются по свойствам денотата: 1) горение как процесс уничтожения древесной массы, 2) слабо выраженное горение – тление, 3) горение, имеющее своим результатом сильное прогревание, высушивание земли и т. п. Выразителем семантики первой подгруппы являются общеупотребительные гл. **gorěti*, **žegti* (ср. русск. диал. *выжечь лядину* 'сжечь лес, приготовленный для горения', словен. *nóv'ne žgati, požare žgati* 'выжигать лес под пашню' и т. п.), составляющие ядро всего семантического поля горения. В семантике отглагольных имен *žarь*, **žig-*, **garь* находит отражение результат воздействия огня: 'гореть; жечь' > 'место, выжженное под посев' > 'подсека', ср. болг. диал. *пожáпу* 'место, где выжжен лес', чеш. диал. *požár* 'выкорчеванный лес', *Ve žd'áru* 'земля, полученная выжиганием леса', в.-луж. *ždžary* 'поле, полученное путем выжигания леса'; русск. волог. *гарь* 'выжженное место в лесу, предназначенное для посева, но еще не очищенное и не вспаханное', *пожига* 'подсека, рощища в лесу' [СРНГ, 6, 148; 28, 292]. Семантический признак, отличительно характеризующий гл. состояния **polěti* и каузатив к нему **paliti*, раскрывается в контексте этимологических связей с **polme* 'пламя'. Гл. **polěti* : **paliti* обозначают не просто горение, а горение с пламенем, ср. пск. *выпалить* 'уничтожить огнем, сжечь для получения лесного участка под посев'. Соотносительные имена включаются в терминологию архаичной формы земледелия: ср. русск. диал. *пал* 'пахотный участок в лесу', *nála* 'выжигание леса под пашню', *палá* 'вырубленное и выжженное под пашню место в лесу' [СРНГ, 25, 162–163]. Семантика этих глаголов проецируется в разные тематические группы. Особо следует отметить, что далеко не все контексты и дефиниции в словарях позволяют

однозначно идентифицировать представленные образования как принадлежащие к сфере п.-о. земледелия.

Наиболее дифференцированы наименования процесса горения слабо выжженного, горения без пламени. Значение ‘тлеть, гореть без пламени’ вторично. Эта группа терминов, как правило, диалектно ограниченная, складывается на основе переосмысления признаков, сопутствующих горению или составляющих его существенные характеристики. Разные названия предикатов, соответствующих одному и тому же процессу, раскрывают разные его свойства и дают ответ на вопрос, какой мотивационный признак положен в основу обозначения.

Самым общим наименованием горения без пламени является гл. **tǔlēti*, отсюда слав. **tǔlo*, названия подсеки в русск. волог. *тлиль* ‘выжженное место в лесу, которое засевают и где хороший урожай’, ‘освобожденный под пашню участок леса’, *вытлевка* ‘участок земли, расчищенный корчеванием, сжиганием пней’ [СГРС, II, 266, 228; КСГРС]. Собственно этимологический анализ, сближение с генетически родственными образованиями в балтийских языках (~ лит. *nu-tilti* ‘умолкнуть’, *tylēti* ‘молчать’, лтш. *tilt* ‘размягчаться, становиться мягким’ < и.-е. **tel-* ‘быть спокойным’ – [Фасмер, IV, 64], а также функционирование глагола в других понятийных сферах (ср. с.-х. *tlǔmati* ‘спать’ [Станић, II, 373] показывают, что значение ‘тлеть’ явилось результатом переосмысления характерного для них признака ‘слабое проявление действия, процесса’).

Тление сопровождается выделением дыма, запаха. Этот сопутствующий признак, положенный в основу обозначения лесного участка, поддается восстановлению для н.-луж. *smala* ‘выжженное место в лесу’ [Schuster-Šewc, 17, 1317] в контексте этимологических связей с незавидетельствованным гл. ***smelti* (~ лит. *smėla* ‘тлеет’, *smilkti* ‘слегка дымить’ и т. п.) и производным от него слав. **smola*. С гл. **kuriti*: **čuriti* ‘дымить’ связаны русск. диал. *курѝла* ‘лесная пожога; лесная расчистка под пашню’ [КСГРС], алт. *чурѝло* ‘место в лесу, расчищенное от кустарника’ [СРГА, 4, 221], а также, возможно, русск. диал. *чѝра* ‘полянка’, волог. *чѝрлядь* ‘пастбище’ [КСРГК]. Идея медленно протекающего процесса горения присутствует в семантике гл. **šajati* ‘тлеть’ ~ русск. диал. *шаёк*, *шаюн* ‘лесная расчистка под пашню’, *Шаёк*, покос, *Саваткин Шаюн* [Смирнова, 2001, 101], а также русск. арх., курск., север. *плеть* ‘тлеть, гореть без пламени’ [СРНГ, 27, 132], карел. *оплѣть* ‘выгореть, уничтожиться огнем’, ср. «Делают пажог да перекатывают, тут-то оплѣло, дак на другое место перекатывают» [СРГК, 4, 214] ~ диал. вят. *плель* ‘подсушенный на корню с помощью подсеки лес’, *рубить плель* ‘подсекать лес с целью его подсушки на корню’, вят., тюмен., волог., костр. *плѣлка*, *плель* ‘выгоревший участок леса, гарь’, ‘земельный участок, подготовленный для посева льна’ [СРНГ, 27, 108]. Специальное значение приобретает макед. *прлѝна* ‘выгоревшее место в лесу; лаз’ [Видоески, 1999, 124], производное от **prǔliti* (ср. болг. *опрълям* ‘жечь’, с.-хорв. *pǔliti* ‘жечь, палить’, чеш. *prǔiti*), которое определяется как производное на *-l* от основы с вокализмом в нулевой ступени, родственной слав. **prēti*, **parь* [Skok, III, 46].

В этой части семантического поля некоторые названия выпадают из регулярных мотивационных отношений «глагол горения ~ имя». Выжигание лесного материала относилось к самым трудным видам подготовительных работ. Вся местность затягивалась густым дымом, покрывалась сажей. По этим явлениям получали названия лесные участки, расчищенные с помощью огня: ср. русск. диал. *сáжа* ‘вы-

женное для посева место; гарь' [НОС, 10, 5], *Сажа*, покос, *Сажиха*, поле [Смирнова, 2001, 110]. За пределами восточнославянского ареала апеллятив *čadъ восстанавливается для ст.-чеш. *Očeděl* 1386, *Očedělice* 1359, определяемые в словаре Профоуса как прич. на от гл. *očaděti* 'чадить' [Profous, III, 250], а также словен. *Čádovlje* (pri Kranju), *Čádole*, 1404 *Oczadalach*, 1437 *Waczadalach*, XV в. *Otschadolach* [Bezlej, II, 71], ср. также на территории Каринтии *Čáče* < *Čadiče, 1238–1261 *Sacch*, 1371 *Saek* [Kranzmayer, II, 1958, 183]. Этот ряд может быть дополнен наименованиями, связанными со слав. *dymъ: словац. *dymeč* 'поле, полученное путем выжигания леса' (?), а также западнославянские топонимы: ср. в.-луж. *Demjane*, дер.: *Dymin* 1228/41; *Dymen* 1267, 1519; *Demyn* 1400, *Dyminy*, *Dymiec* [Eichler, 1985, 346].

Закрепление слова в терминологическом употреблении приводит к ослаблению связи с родственными образованиями, что создает условия для самостоятельного развития семантики. В ряде случаев подключаются к терминам горения глаголы с иной изначальной семантикой. К раскрытию признака, мотивирующего развитие семантики горения, подводит рассмотрение слова на и.-е. фоне, этимологический анализ, выявление латентных признаков, присутствующих в семантике предиката.

В сторону стертых смыслов производящего гл. **pražiti* 'жарить, печь' (русск. диал. *пращить* 'жарить (в масле)') обращено отмеченное на болгарской территории название *пръжари* 'поле, подготовленное при помощи огня' [Вакарелски, 1974, 110] и связанные с ним с.-хорв. топ. *Pržika* 1381, *Pržice*, *Pržno*, *Pržnik* [RJA, XII, 568–570], чеш. *Praha* (ср. 'osada ve vypáleném lese...' [Holub-Kopečný, 293]) и др. Для понимания того, в чем отличие гл. **pražiti* от синонимичных глаголов, существенно периферийное значение 'сохнуть, высыхать', присутствующее в гнезде гл. **pražiti* : **pragnōti*, ср. чеш. *prahnouti* 'сохнуть, высыхать; испытывать жажду', серб. *za-pragnēt* 'пересохнуть', в.-луж. *pražić* 'сушить, вялить; жарить', н.-луж. *pšažyś* 'поджаривать, жечь, сушить' и т. п. Огонь вызывал обезвоживание, подсушивание, которое в кулинарной сфере снимается использованием масла. И.-е. соответствия (лит. *sprāga*, *sprageti* 'жариться; трещать (о древесине)', *sprōgti* 'лопнуть', лтш. *sprāgt* 'лопнуть, треснуть', норв. *spraka* 'трещать', др.-инд. *sphurjati* 'ворчит, гремит, вырывается наружу' [Фасмер, III, 393]) позволяют вскрыть на глубинном уровне первичный признак, которым мотивирована семантика славянских глаголов – 'лопать, трескаться' ~ 'высыхать' > 'выжигать'. Горение получило наименование по признаку, сопутствующему выжиганию лесного участка. В процессе функционирования глагола возобладали производное значение, доминирующим, основным стало значение 'жарить'. Свойства предиката передаются объекту, который подвергся воздействию огня. Сильное прогревание приводит к образованию на поверхности земли сухой запекшейся корки, неровной, с трещинами.

Ту же природу имеют, вероятно, и сложившиеся на базе гл. **pekti* названия **pečišče*, **pečьka*, ср. ст.-русск. *печище* 'пашня', *Печици*, *Пёчки*, название поля, луга, пашни, сенокосного угодья [КПОС].

На вост.-слав. территории отмечены гл. *пратать* и *катать* в сочетании с именами: ср. волог. *выпратывать валы*, т. е. складывать вырубленный лес в валы или гряды, а затем жечь лесной материал, и *катать валы*, *катать, катить новину (-ы)*, *новинки*, *льница* 'расчищать участок леса под пашню, посев льна: после рубки поваленный лес и выкорчеванные пни складывают в "валы", зажигают их и перекапывают по земле; разбрасывать горящие бревна по подсеке' [СВГ, 1987, 46]. Кон-

тексты, ситуации, с которыми связано употребление гл. *прятать* в сфере огневого земледелия, помогает выявить утраченные языком мотивационные звенья, восстановить принадлежность этого глагола к гнезду слав. **pręd-ti* ‘прясть’ [Куркина, 2002, 194 и сл.].

В обозреваемом фрагменте словаря отношения носят системный характер, их отличают повторяемость, регулярность на всех участках поля. В пределах этого фрагмента лексика лишена вторичных, оценочных характеристик. Переосмысление лексики других тематических групп служит источником пополнения состава данной тематической группы. Ее особенности приобретают особую наглядность при сравнении с кулинарной сферой, где представлена лексика с иными мотивационными потенциальными к семантической деривации. Если к опорным признакам, организующим систему семантических отношений в кулинарной сфере, относят ‘физический процесс горения’ (ср. **goręti*, **paliti*, **žęgti*), ‘излучение тепла’ (ср. **žaręti*), ‘кипение’ (ср. **vęręti*, **kypęti*), ‘испарение’ (ср. **pręti*) [Якушкина, 2008, 554 и сл.], то в системе лексики п.-о. земледелия основным является противопоставление глаголов по признаку ‘сила воздействия огня’, именно этим признаком определяется разграничение глаголов со значением ‘гореть’ и ‘тлеть’, ‘гореть’ и ‘быть охваченным пламенем’, ‘гореть’ и ‘прокалывать, излучать тепло, обдавать жаром’. В этой группе не представлена семантика испарения, кипения, характерная для глаголов кулинарной сферы, отсутствуют различия по температурному признаку. Общее содержание поля горения складывается из характеристик отдельных лексических групп, объединяемых общей темой.

Вакарелски Хр. Етнография на България. София, 1974.

Видоески Б. Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик. Скопје, 1999.

Куркина Л. В. К этимологии слав. **prkati* // Балто-славянские исследования. XV. М., 2002.

Смирнова О. С. Термины полеводства и их отражение в топонимии Русского Севера: Дис. ...канд. филол. наук. Екатеринбург, 2001.

Якушкина Е. И. К реконструкции структуры праславянского лексико-семантического поля // Славянское языкознание / XIV Международный съезд славистов. (Охрид, 10–16 сентября 2008 г.). Доклады российской делегации. М., 2008.

И. А. Кюршунова
Петрозаводск

О реконструкции лексики по данным исторической антропонимии

На возможности использования в исторической лексикологии антропонимов, извлеченных из памятников письменности, неоднократно обращали внимание исследователи отечественной ономастики, этимологии, диалектологии (О. Н. Трубачев, Ю. С. Азарх, В. Я. Дерягин, Ю. И. Чайкина, Е. Н. Полякова и др.). В конце 1980–90-х гг. практически одновременно в ономастических школах Ю. И. Чайкиной

и Е. Н. Поляковой были проведены диссертационные исследования по разработке методики реконструкции лексики по данным ономастики, прежде всего для более полного описания лексико-семантической системы русского языка в прошлом.

Суть методики заключалась в сопоставлении имени собственного (прозвища, а также образованного от него патронима или посессивного ойконима), зафиксированного в памятниках письменности, с именем нарицательным, отмеченным в современных говорах, или с однокоренными словами, отмеченными или в памятниках письменности, или в современных диалектах. Так, прозвище *Сеvрюк* (XVI в., Кемская волость) служит косвенным подтверждением существования в XVI в. апеллятива *сеvрюк*. Другим доказательством того, что существительное *сеvрюк* было фактом языка указанного периода, являются материалы говоров, ср. курск., ворон. *сеvрюк* ‘угрюмый, суровый человек’, ‘брюзга’ [Даль, 4, 169].

Автор этой работы подобным образом доказал возможность восстановления целых групп лексики в языке донационального периода [см.: Кюршунова, 1994]. Безусловно, отмечался гипотетический характер таких реконструкций. Однако не было учтено, что степень гипотетичности восстановленных лексем может быть различной. Прежде всего это касается именованний, для которых в современной диалектной лексической системе не найдено омонимичных апеллятивов, а регистрируются только однокоренные лексемы. Приведем примеры. Патроним *Керкин* (1496 г., Шуньгский пог.) восходит к прозвищу *Керка*, который в свою очередь соотносится только с глагольными лексемами, ср. *кёркать* арх., волог., вят., сев.-двин., ср.-урал. и др. сев.-вост. и вост. говоры, яросл. ‘издавать крик (о птицах, животных)’, вят., костр., свердл., тобол. ‘кричать, орать, браниться’ [КСРГК; СРНГ, 13, 188], яросл. ‘кашлять’ [ЯОС, 5, 29], а также белорус. *керкнуць* ‘закудахтать’ [Фасмер, 2, 225], на основе одного из этих значений, вероятно, развились *кёркать* ср.-урал. ‘болтать, говорить попусту’ и киров. ‘капризничать’ [СРНГ, 13, 188].

Подобные соотношения с глагольными лексемами находим для следующих имен, отмеченных в документах Карелии XV–XVII вв.: *Брыкин* ← *Брыка*, *Вьюшин* ← *Вьюша*, *Зацепин* ← *Зацепа*, *Мутаров* ← *Мутар*, *Ошмарин* ← *Ошмар*, дер. *Телеповская* ← *Телепов* ← *Телеп*, *Турыгин* ← *Турыга*, *Шварев* ← *Шварь* и т. д.

Поскольку омонимичных апеллятивов в диалектной системе не зафиксировано, то можно предположить, что подобные имена собственные образовывались от глагольных лексем сразу на ономастическом уровне – и говорить в данном случае можно о реконструкции или глагольных лексем (**вьюштити*, **керкати*, **мутарити* и т. д.), или производящих апеллятивных основ (**ошмар-*, **телеп-*, **турыг-* и т. д.) с присоединением к ним на ономастическом уровне нулевого форманта или других материально выраженных экспрессивных суффиксов: *Будыга* ← *будити* + *-ы(а)*, *Варзак* ← *варзати* + *-ак(а)*, *Виранец* ← *вирати* + *-ец*, *Волишук* ← *волиштити* + *-ук*, *Каршица* ← *каршити* + *-иц(а)* и т. д.

По образцу апеллятивного словообразования присоединялись суффиксы и к основам прилагательных: именование *Колмак* можно сравнить с диал. *колма́тый*, *колма́тый* ‘безрогий, комольный’ [СРГК, 2, 399], к которому, вероятно, присоединялся экспрессивный суф. *-ак*. Подобным образом могли возникнуть имена *Кремлевик* ← *кремлевый* + *-ик*, ср. ленингр. *кремлёвый* ‘крепкий (о людях с твердым, непреклонным характером)’ [СРНГ, 15, 211] и *крёмлевый* ‘крепкий, прочный’ [СРГК, 3, 16]; *Слабырев* ← *Слабырь* ← *слабый* + *-ырь*; *Сухан* ← *сухой* + *-ан*, и т. д.

В ряде случаев современные говоры не дают возможности четко обозначить производящую основу имени собственного. Патроним *Строганов* В. А. Никонов связывал с апеллятивами *строгать* или *строгий*. На наш взгляд, более вероятно связь со словом *строгий*, поскольку суфф. *-ан* использовался чаще в производстве экспрессивных названий лиц от именных основ (*велик-ан* ← *великий*, *долг-ан* ← *долгий*, *пуз-ан* ← *пузо*, *горл-ан* ← *горло*, *старик-ан* ← *старик* и т. п.). Отношение к гл. *строгать* менее вероятно, поскольку в данном случае должно предполагаться образование названия по профессии ('тот, кто занимается строганием'), однако в названиях лиц по профессии суффикс *-ан* не был продуктивным.

Думается, что создание апеллятивных экспрессивов и прозвищ характеризуется общими словопроизводственными процессами. Доказательством могут служить современные диалектные прозвища, которые образовались сразу на ономастическом уровне, ср. прозвища *Дрочина*, данное за излишнюю любовь к детям, животным (возможно, от *дрочить* 'баловать, нежить, холить'); *Лядяга* – за болезненную худобу (от *лядый* 'худой' или *лядѣть* 'быть худым', *лядящий* 'болезненно худой'), *Махляга* – за небрежность в ношении одежды (вероятно, от *махляться* 'ходить небрежно одетым') и т. д. Такие прозвища функционируют только как имена собственные.

Кюришнова И. А. Славянская антропонимия Карелии в связи с реконструкцией лексики донационального периода: Дис. ... канд. филол. наук. Вологда, 1994.

Н. В. Лабунец
Тюмень

К ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА *Кармак*

Ойконимия Тюменской области отражает различные этапы русского заселения Сибири. Неоднократно отмечалось, что в течение длительного времени (вплоть до середины XVIII в.) на южных рубежах Тобольского уезда происходили военные столкновения русских отрядов с ногайцами, калмыками – «кучумовыми внучатами», стремившимися вернуть утраченные территории. Военная угроза с юга обусловила необходимость строительства специальных острогов и слобод, входящих в состав «оборонительных линий». Ойконимы *Кармак* (*Кармацкая*), судя по историческим документам, соотносятся с этапом «дозора» сибирских рубежей. Современные населенные пункты, а также отмеченные на картах XIX в. фиксируются на «границе» леса и степи, где проходила Ишимская (Тоболо-Ишимская) укрепленная линия. Факт того, что в условиях военного конфликта лесостепь заселялась позднее, служит дополнительной аргументацией в пользу специфичности указанных названий.

В славянских и неславянских языках, в том числе и в топонимическом употреблении, известен термин *кармак* < тюрк. *qarmaq*, *кармак* 'крючок, удочка' [Будагов, 2, 11], ср. также в говорах тюменских и тобольских татар *qarmaq* 'крючок; удочка, рогатина', *кармак* 'уда' [Тумашева, Насибуллина, 65; Муминов, 1970, 133; Гиганов, 621].

СРНГ дифференцирует значение русского по употреблению термина *кармак* (*кормак*): 1) ‘удочка для зимнего лова белорыбицы’; 2) ‘блесна, удочка с блесною’; 3) ‘большая рыболовная снасть с крючками, применяемая при ловле красной рыбы’ [СРНГ, 13, 94]. В тюменских говорах на основе метонимических переносов термин развивает географическое значение – ‘небольшой залив изогнутой формы’: *Кармак везде бывает: и на речках, и на озёрах. От озера как загибина есть. В кармак обычно фитилей ставят, рыба хорошо там ловится.*

Этимологизация тюменских ойконимов *Кармак* (*Кармацкая*) на базе географического термина семантически достоверна, если учесть, что ряд населенных пунктов расположен по берегам небольших рек. Однако эта этимологизация вызывает сомнения, когда речь идет об исторических материалах: *кармак* в тюменских документах XVII в. функционирует скорее как термин, называющий тип поселения.

В Словаре русского языка XI–XVII вв. под 1682 г. *кармак* отмечается (хотя и с долей условности) как ‘вид поселений в Сибири (?)’: *Посыланы они <стрельцы> были съ Тюмени в Тюменской уездъ на далние кармаки съ Тоболскимъ сыномъ боярскимъ съ Федоромъ Фефиловымъ для розсылки.* По мнению А. Е. Аникина, обратившегося к СРЯ XI–XVII вв., *кармак* означает ‘место, где расставлены рыболовные орудия’ [Аникин, 269]. Однако такое истолкование не кажется убедительным, особенно с учетом частотности термина *кармак* для тюменской территории второй половины XVII – начала XVIII в. Ср. под 1695 г.: *Владеют тюменские ямские охотники Алешка да Васка Рябковы, Мишка Власов, Ивашко Удальцов в Тюменском уезде на далних кармаках близ Рябковы и Верховины деревни возле покотины землями и санными покосами;* под 1712 г.: *Он, Иван, в Тюменской уезд ездил по кармакам, по всем селам и деревням* [Мордвинцева, 2005, 151]. Последний пример свидетельствует о том, что термин *кармак* включается в синонимический ряд слов-обозначений типов поселений: *село, деревня*. Слово сочетание *дал(ь)ние кармаки*, представленное в первом и втором примерах (под 1682 и 1695 гг.), может быть осмыслено как ‘дальние посты, дальние заставы, созданные для охраны и «досмотра» русских рубежей’, позже – ‘приграничные поселения’, ‘отдаленные поселения’.

Как было показано выше, современные ойконимы, включающие основу *кармак*-, территориально могут быть соотнесены с приграничной линией караульной, «обереговой (береговой) великого государя службы» XVII – начала XVIII в. Документы Тобольского госархива свидетельствуют, что и в первой половине XVII в. на приграничных территориях строились специальные поселения, кордоны. Все это дает основания предполагать, что в XVII в. на тюменско-тобольской территории *караул, кармак* – «остроги для осторожности и караулу» – выступали как синонимы. Однако этимология исторического термина *кармак* со значением ‘вид поселений в Сибири’, отмеченном в СРЯ XI–XVII вв., не совсем ясна. Термин может быть непосредственно связан с тур., тат. *кормак* ‘ограждать, охранять’ [Будагов, 2, 77], ср. также тур. *g’örmäklük < g’örmäk + lük* ‘осматривание’ [Радлов, 2, 1598]. Целесообразно в этом случае рассматривать **кармак* как структуру, включающую основу *кар(a?)*- + суффикс *-мак*, где основа может быть связана с барабинским *қара-* ‘смотреть, охранять’ [Дмитриева, 1981, 151]. Второй компонент *-мак* (*-мәк*) – отглагольный аффикс, который широко известен в тюркских говорах Западной Сибири, в географической терминологии Татарстана.

Фонетическая интерпретация основы может быть связана с так называемым тюркским полногласием, которое в русских заимствованиях утрачивает последний компонент: 'ара' > 'ар' (**кара*- > **кар*-) [Субаева, 1963, 7]. В этом случае исходная тюркская форма – **қарамақ* (*қармақ*) > рус. *кармак*, этимология которой связана со словом *караул*. История сибирского *караул*, отмечает А. Е. Аникин, восходит к монг. *xara* 'видеть, смотреть, осматривать', ср. также русское заимствование *карамчить* 'хранить, беречь' [Аникин, 265], тюрк.-тат. *караул* 'сторож' [Тумашева, Насибуллина, 63]. Вероятно, в период первоначального освоения тюменско-тобольской территории *караул* и *кармак* как реалии приграничья были функционально различны, однако впоследствии, когда отпала необходимость в наличии специальных оборонительных пунктов, одно из слов в силу экстралингвистических причин было утрачено.

Таким образом, интерпретация ойконимов с основой *кармак*- может быть исторически связана с термином *караул*. Однако нельзя исключить и влияния, возможно, более позднего, географического термина *кармак*, учитывая контаминационные процессы в лексике говоров и в топонимии.

Дмитриева Л. В. Язык барабинских татар: Материалы и исследования. Л., 1981.

Мордвинцева В. С. Типология простого предложения в тюменских памятниках деловой письменности XVII – начала XVIII в.: Дис. ...канд. филол. наук. Тюмень, 2005.

Муминов 1970 – Муминов М.Т. Русская топонимия субстратного происхождения в междуречье Тавды и Исети: Дис. ... канд. филол. наук. Свердловск, 1970.

Субаева Р. Х. Взаимодействие русского и татарского языков в топонимии Татарской АССР: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Казань, 1963.

Ю. А. Ланда
Екатеринбург

Образ зайца в русском и прибалтийско-финских языках

Известно, что с помощью языковых данных можно восстановить ментальный образ реалии, существующий в сознании носителей языка. Одним из способов упорядочения материала является составление языкового портрета, т. е. систематизация признаков объекта действительности, на которые обратили внимание носители того или иного языка и которые сыграли роль при номинации. Объект нашего исследования – номинации зайца в русском и прибалтийско-финских языках (например, рус. *заяц*, *косой*, фин. *jänis* 'заяц' и пр.), а также их дериваты и устойчивые сочетания, включающие обозначения животного (например, рус. *заячья душа* 'трусливый человек', диал. *заяц* 'хлопья снега', *зайцы пиво варят* 'о тумане', 'о выпавшем снеге'; вепс. *gänišankorvaižed* <заячье ушко> 'ландыш', карел. *jänöin nahkal perze on paikattu* <заячьей шкурой зад залатан> 'трусливый' и пр.).

В русском и прибалтийско-финском образах зайца много сходного. Наблюдается повторяемость большого количества признаков: в обоих образах представле-

ны признаки светлого цвета, пушистости, округлой формы, трусости, подвижности и др. Однако есть и различия, которые связаны с местом признака в языковом портрете, со степенью разработки тех или иных признаков.

В русском языке, в отличие от прибалтийско-финских, очень широко представлены внешние характеристики животного: светлый цвет (27 % общего количества русских номинаций) и пушистость (17 %), ср. *зайчик* ‘иной в углах избы’, *зайцы баню топят* ‘о тумане’ и пр. Для носителя русского языка оказывается значимым общее впечатление от внешнего вида зайца: большое количество языковых фактов сочетают в себе такие номинативные признаки, как цвет, округлость, пушистость и отражают именно комплексное восприятие этого животного, опирающееся на его внешние характеристики, ср. *заяц* ‘первый снег осенью’, *зайчики* ‘пена, белая пузырчатая масса на поверхности жидкости’, ‘небольшие белые облака’, ‘пучки белой шерсти, которые носились крестьянками как серьги’ и др. В имеющемся прибалтийско-финском материале такой закономерности в образе зайца не просматривается. Вероятно, именно на базе указанного типа восприятия возникла положительная коннотация чего-то миленького, хорошенького, отмеченная для образа зайца в русском языке. Ср. ласковые обращения *зайка*, *зайнька* или использование этих слов в предикативной функции в выражениях типа *они такие зайки*.

Русский язык демонстрирует также проработку отдельных деталей внешнего облика зайца. Наиболее отмеченными в языке оказались заячьи лапки (метафоры по внешнему виду составляют 10 % всех русских номинаций – при отсутствии этого признака в имеющемся прибалтийско-финском материале); отмечены также глаза (2 %) и короткий хвост (3 %).

Признак длинных ушей представлен как в русском (16 % номинаций), так и в прибалтийско-финских языках (11 %). Однако можно отметить разнообразие русских номинаций при пейоративном характере имеющихся прибалтийско-финских.

В прибалтийско-финских языках наиболее активно разработано представление о поведении животного: образ оформляется прежде всего за счет признаков трусости (27 % общего количества прибалтийско-финских номинаций) и подвижности (27 %). Ср.: эст. *jänespüks* <заячьи штаны> ‘заячья душа’, фин. *jänistää* ‘струсить’; фин. *jänistää* ‘удирать, давать тягу’ и др. (Оба признака реализованы и в русском языке.)

При реализации общего для русского и прибалтийско-финских языков признака подвижности, присущего образу зайца, прослеживаются различные акценты. В прибалтийско-финских языках закреплено представление о том, что, убегая, заяц петляет. В русском языке, наряду с этой же характеристикой, отмечается еще и подвижность как таковая, без акцента именно на петлянии, ср. *скоромча* ‘заяц’, *ходить зайчиком* ‘ходить быстро’. В русском языке подвижность зайца осмысливается и как его способность прыгать, ср. *прыдыш*, *попрыгун* ‘заяц’.

Таким образом, можно говорить, что у русских присутствует некоторая «позитивация» образа зайца, отчасти эстетический подход к объекту (ср. акцент на внешних характеристиках). Для них в большой степени характерно также осмысление животного в рамках обычных, бытовых, а не только «профессиональных», например охотничьих, представлений. Прибалтийско-финское языковое сознание демонстрирует более прагматичный взгляд, взгляд охотника: ср. акцент на реальных свойствах зайца как животного с определенными повадками, как объекта охоты.

Ситуация гощения в языковой картине мира (на материале русской диалектной лексики, производной от *гость*)

Гнездо слова *гость*, представленное в русских говорах и общенародном языке, позволяет обнаружить своеобразный сценарий гощения.

Персоналии. Среди названий гостей выделяются следующие: обозначения посетителя, поведение которого соответствует или не соответствует этикетным нормам (*впорый гость* 'пришедший вовремя, кстати', *гостёк-Герёнтьюшко* 'насмешливое название и обращение к незваному и непочетному гостю'); названия лиц, выполняющих определенные обрядовые роли (*гости* 'участники свадебного поезда', *гостиницы* 'девушки, привозившие к невесте подарки жениха накануне свадьбы'); обозначения гостей по способу их появления (*вётренный гость* 'гость, приехавший морем'). Особую группу составляют наименования человека, любящего или не любящего ходить по гостям: *гостёйник*, *гостёна*, *погостёна*, *погостли́вый*, *гостли́вый*; *негостли́вый*. В плане словообразования следует отметить нейтральные номинации, в том числе собирательные существительные (*гостельник*, *погости*, *госё*), и оценочные наименования с экспрессивными суффиксами (*гостёбице*, *гостёчек*, *гостюшко*, *гостенька*, *гостечка*, *гостенка*, *гостик*, *гостиночки*, *гостейко*, *гостенёк*);

Ситуация (событие). Пребывание в гостях обозначается суффиксальными образованиями от глагольной основы *гостить* и смыкается в народном сознании с такими понятиями, как «пир, пирушка», «угощение»: *гостиблице*, *гостби́це*, *гостибье*, *гостибьце*, *гостьби́це*, *гоститьба*, *гостимище*, *гостины*, *гостьба́* и др.

Для ситуации гощения значимы категории времени и места. Гощение представлено в языковой картине мира как имеющее следующие фазы: приход в гости (*в гость идти*, *прийти*, *приехать*), пребывание в гостях (*во госте быть*, *в гостиночках побывать*, *госте́вать*, *гоститать*, *гоститься*, *гостьбу́ гостить*, *погоститься*, *сгостить*, *вьгоститься*, *прогосте́вать*), уход из гостей (*отга́циваться*, *отгосте́вать*, *нагосте́ваться*).

Формальная сторона оборотов *прийти в гости*, *быть в гостях* и *вернуться из гостей* не располагает к прочтению слова *гости* как обозначения посетителя. В них существительное имеет локативный смысл: *гости* 'семья, дом, где хорошо принимают, угощают' (*Из хороших гостей скоро не уезжают*).

Время пребывания в гостях имеет выход в этикетные нормы. Злоупотребление временем хозяев получает неодобрение: *догосте́ваться*, *зага́цивать*, *загосте́вать*, *загосте́ваться* 'прогостить слишком долго', *вьгостья́* 'человек, слишком засидевшийся в гостях'.

Порядок («регламент») посещений. Ритуальное гощение регламентируется сложившимися традициями и представляет собой упорядо-

ченную систему посещений. Отмечается специальное время для посещений (*гóсьба* ‘время деревенских праздников’, *гостíная неделя* ‘время, в которое принимают гостей или ходят в гости’ и др.), взаимность, очередность посещений (*загáщивать* ‘побывать у кого-л. в гостях, прожив у кого-л. на хлебах, бесплатно, оплачивать тем же’, *отгóстки* ‘ответное посещение’, *перегáщивание*, *перегощёнье* и *перегóстки* ‘посещение гостями друг друга’ и др.; несоблюдение очередности – нарушение нормы: *загостítься* ‘неоднократно побывать у кого-л. в гостях, не приглашая так же часто к себе’); «комплексное» посещение с обходом сразу нескольких домов (*обгáщивать* ‘гостить поочередно в нескольких, многих домах’, *огáщивать* ‘ходить в гости ко многим’).

Предметная атрибутика ритуала. Гощение связывается с дарением гостинцев, ср. *гостíнка*, *гостíночек*, *гостíнца*, *гостíнечек* – подарки, которые гости преподносят хозяевам. Однако и хозяин одаривает гостя: *выгáщивать* ‘получать от хозяина в подарок дорожку для него вещь, с которой он неохотно расстается’, *вгóстить гостíнца* ‘получить подарок от хозяина’. Кроме того, хозяину предписано дать угощение пришедшим: *гостítь* и *гостевáть* ‘угощать’, *пригостítь* и *погостítь* ‘угостить’, *погостíнить* кому-л. ‘задобрить подарком’.

Рассматриваемое деривационное гнездо включает также слова, семантика которых не отражает непосредственно ритуала гощения, но связана с ним опосредованно. Они позволяют выявить коннотативный фон слова *гость*.

Чуждость. Язык представляет чуждость как свойство гостя, т. е. отражает «взгляд» принимающей стороны – хозяев. Оппозиция «свое – чужое» обнаруживается, к примеру, в словах *гостéйка* ‘бедная женщина, живущая в богатом доме компаньонкой’, *негость* ‘друг дома, член семьи, свой, близкий дому человек’: *Ко мне негость приехал, сын (негость = «не чужой (о сыне)»*). Кроме того, исторически лексема *гость* связана с названиями объектов, имеющих отношение к заезжим купцам и вообще приезжим – «чужим людям»: *гостíнный* ‘купеческий’ (*гостинный сын*, *гостинные корабли*), *погóст* ‘базар, ярмарка’, ‘село, деревня, где бывает базар, ярмарка’, *гостíнец* ‘большая дорога, тракт’, *погóст* ‘подворье, постоянный двор на отшибе’, *гостíнник* ‘прислужник в монастырской гостинице’, *гостíное сено* ‘плохое, приготовленное для лошадей приезжающих гостей сено’.

Нежелательность появления. Болезни, крысы, галлюцинации, вору становятся объектами вторичной номинации посредством слова *гость*, поскольку внезапность их появления в жизни человека имеет устойчивые ассоциации с приходом гостей, который осознается как нашествие, опасное вторжение: *гóсьи* ‘галлюцинации’, *гость* ‘вор’, *гость* ‘крыса’, *гóстья* ‘лихорадка’, *гóстыца*, *гóстья* ‘оспа’.

Ограниченность свободы поведения. Гостю предписано вести себя определенным образом, в частности, не злоупотреблять гостеприимством хозяев, приходя не слишком часто, проявляя сдержанность, стеснительность: *гостítься* ‘чувствовать себя гостем; стесняться’, что-л. *в гостинку* кому-л. ‘что-л. является редкостью, диковиной для кого-л.’ (*Пирог с красной рыбой не в гостинку нам*), *вгостíмо* и *вгостíнку* ‘иногда, изредка’.

Ритуализованность действия. Традиционные элементы ситуации гощения обезличили для данной семантической области пересечение с те-

матических сферами «Подарки и дарение» (*гостініна* ‘сладости: конфеты, пряники’, *гостінешний* ‘предназначенный для подарка, полученный в подарок’, *гостімо* ‘вместо угощения, даром’), «Одежда» (*погостее* ‘понарядней’), «Сфера манипулятивных взаимодействий между людьми» (*гостінец* ‘взятка’).

Неразрывная связь между хозяином и гостем и их антагонизм. Участники действия составляют важную часть сценария, что отражается в обозначениях праздного времяпрепровождения (*гостіться* ‘заниматься пустяками’ (*Старик-от сидит да гостится со своим гумажкам*), *гостіться* ‘о хозяйке: лениться’) и предмета второстепенной важности, сопровождающего главный, основной объект (*госья* ‘вторая вспомогательная бечева, выпускаемая с судна на помощь главной’).

А. Лома
Белград (Сербия)

Из топонимии древней Скифии – в поисках страны будинов

Созвучие между топонимом *Курск* и названием города в стране будинов *Κάρισκος*, который упоминается Аристотелем (Ael. De nat. animal. XVI, 33), примечательно вследствие того, что на территории Курской области была распространена юхновская культура железного века, носители которой отождествляются с будинами. Это сопоставление вызывает по меньшей мере два возражения: *Курск*, др.-рус. *Курьскъ*, является прозрачным производным от имени реки *Кур*, а др.-рус. *у* не выводится непосредственно из **а*. Вместе с тем использование суффикса *-*isko* для вторичного образования прилагательных от географических названий не ограничивается славянскими языками – этот суффикс присущ также балтийским и германским языкам. Проведенный В. Н. Топоровым и О. Н. Трубачевым анализ гидронимов верхнего Поднепровья [1962] указывает, что юхновцы говорили на прабалтийском языке, что позволяет объяснить развитие корневого вокализма **ā* > **ō* > слав. *и*. Переход долгого *ā* в *ō* – явление сравнительно позднее, охватившее только часть балтийских диалектов, но тем не менее отразившееся в балтийском субстрате русских земель, ср. гидроним *Ужсена* в Калужской области наряду с *Ажовка* (*Ажевка*) в верхнем Поднепровье, лит. *ožys* ‘козел’, лтш. *āzis*, гидроним *Аžире* [Op. cit., 175]. Здесь мы имеем дело со следами диалектных различий внутри древнебалтийского языкового комплекса или, скорее, с различными датами славизации.

Итак, если Курск действительно древний Кариск, этим одновременно подтверждается отождествление будинов с юхновцами и юхновцев с прабалтами, в новом свете представляется и проблема местонахождения другого города в стране будинов – Гелона, описываемого Геродотом (IV, 108). Юхновская культура распространялась, кроме Курской, в современных Брянской, Орловской и Черниговской областях – городище на реке Ворскле у села Бельск Полтавской области, отождествляемое частью археологов с Гелоном, лежит гораздо южнее. Кроме того,

гидроним *Ворскла* < **Vorʹskʹla* возводится к скифскому названию племени **Varu-skula*- «скифы (самоназвание *Σκόλο-τοι* = **skula-ta*- < **skuða*-) приднепровские (др.-иран. **Varu*- ‘широкий’ = Днепр)», предположительно тому же, которое переведено на греческий как *Βορυσθενίται* ‘борисфениты’. С другой стороны, топоним *Γελωνός* сопоставляют с названиями ряда рек: недалеко от Киева летописная *Желянь*, в бассейне Припяти *Желонь*, в бассейне Десны *Желень* (*Жилень*), приток Сейма, и *Желонка*, укр. *Жолонка*, приток Снопоти [Стрижак, 1988, 103–109]. Эти два последние гидронима входят в пределы распространения юховской культуры; *Желень* течет по Курской области, тогда как *Желонка* находится на противоположном от Курска, северо-западном крае предполагаемой страны будинов. Однако необходимо иметь в виду, что, хотя и есть балтийские созвучия, этимология данных гидронимов неясна, а их древность сомнительна. Более того, неизвестна подлинность переданной Геродотом словоформы. Она могла измениться под влиянием греческого имени собственного *Γελων* или посредствующего скифского языка, для которого был характерен переход $d > \delta > l$, так что надо учитывать и исконное **Γῆδ-*, перенятое славянами как **Жед-*. Последнему предположению не противоречит форма *Βουδινοί* ‘будины’, если она правильно истолкована нами как скифское насмешливое прозвище гелонов, почитающих бога в виде козла – Диониса, поскольку в данном случае ее *-δ-* отражает и *-е-* палатальное $g^{(h)}$, ср. авест. *būza-* ‘козел’, мидийские антропоники *Buza-*, *Buzina-*. Ср. [Кодови словенских культура, 1997/2, 160–161], где, однако, допускаем, что будины были праславянами. Кстати, если существовало балто-славянское единство, допустимо, что оно распалось не раньше середины I тыс. до н. э., иными словами, что *Kāriskos* не прабалтийская, а балто-славянская форма, засвидетельствованная в IV в. до н. э., развившаяся в древне-балтийской среде до ее перехода к восточным славянам.

С историко-географической точки зрения небезынтересно, что в рассматриваемом отрывке Аристотель говорит о том, «что у будинов, живущих кругом Кариска, не рождаются белые овцы, но что все они черные» (пер. В. В. Латышева [Вестник древней истории, 1947/2, 331]). Это сведение так или иначе должно быть связано с меланхленами (*Μελάνχλιανοί*), греческое название которых, согласно Геродоту (IV, 106), произошло от того, что все они носили черные одежды; греч. *χλαίνα* собственно – шерстяной плащ. Маловероятно, что шерсть для выделки своих плащей меланхлены специально окрашивали в черный цвет или что они импортировали черную шерсть; скорее всего, у них разводились только черные овцы, как и у будинов в области Кариска, упомянутых Аристотелем. Безусловно, эта область граничила со страной меланхленов (из текста Геродота (IV, 20–21) можно сделать вывод, что меланхлены были западными соседями будинов, но Курск находится на юго-восточном рубеже юховского ареала). Интересной этнонимическо-этнографической параллелью к геродотовским меланхленам являются *каракачаны*, греч. *Σαρακατσάνοι* и *Καρακούνηδες*, по-сербски – *Црногуњици*, *Црновунци* «носящие черные гуни, т. е. шерстяные одеяла», румыноязычные или грекоязычные этнические группы на Балканах неизвестного (древнегреческого, фракийского, владшского, тюркско-го?) происхождения, характеризующиеся отгонным скотоводством, черными одеждами из шерсти и выращиванием черных овец (белых барашков якобы закалывали). Эта параллель могла бы быть не только типологической, но и генетической, особенно если допустить, что меланхлены были фракийским племенем.

Стрижак О. С. Етнонімія Геродотової Скифії. Київ, 1988.
Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов верхнего Поднепровья. М., 1962.

Д. Н. Лоскутова
Тамбов

Образ знахаря в народной медицине: этнолингвистический аспект (на материале Тамбовской области)

Личность знахаря как носителя заговорной традиции находится в центре внимания ученых различных областей. Описана знахарская практика различных территорий России, однако исследования, выполненные на материале южнорусских говоров, пока малочисленны. В основу данной работы положен полевой материал, собранный на территории Тамбовской области (2003–2008 гг.) и личный архив Т. В. Махрачёвой.

В центре внимания – гендерная проблематика знахарской деятельности. Замечание К. А. Богданова [2001, 154] о неразличении женской и мужской сфер магической деятельности справедливо и по отношению к Тамбовской области. В современной традиции Тамбовщины нет практикующих знахарей-мужчин, отдельные сведения о них хранятся в памяти жителей; знахарство стало практически женским занятием (ср. вывод Е. Е. Ермаковой [2005, 253] о феминизации западносибирской лечебной практики). Наши рассуждения будут касаться женского знахарского ремесла.

В обозначениях лекарки актуализируются семы: «*п р о и з н е с е н и е з а г о в о р а*» – *басіха* [СТГ, 34] (ср. *басить*, *басить* ‘говорить’ [СВГ, 1, 22; СРГСУ-Д, 17], *басёнье* ‘заклинание, заговор’, *басить* ‘лечить’ [Деул. сл., 49] и др.); *шептуха* (ср. *шептать* ‘произносить заговор’); «*л е ч е н и е*» – *лекарка*; «*о б л а д а н и е з н а н и е м*» – *знахарка*. Частотные лексемы *бабка* и *бабушка* отражают близость образов знахарки и повитухи, что подтверждается материалами других регионов [см.: Минёнок, 1994, 364]. В южнорусских говорах одно из значений слова *бабка* – ‘повитуха’ [Деул. сл., 47]. Корень *баб-* продуктивен в номинациях, относящихся к сфере родильно-крестильной обрядности: *бабины* [СТГ, 30–31], *бабничать* [СГСЗ, 28].

Другая область «профессиональной» деятельности, которую совмещала знахарка с лечением, – чтение молитв по покойным.

Хорошо известна двойственность воззрений на личность целителя, объясняющаяся его пограничным положением между миром человека и миром болезни. Говоры области хранят представления об отождествлении мастерства колдуна и знахаря: для терминов *заговор* (*заговёр*), *заговаривать*, *наговаривать* характерно явление энантиосемии. Дуализм образа нашел отражение в быличках, где персонаж выступает и целителем, и «вредителем»: он насыляет болезнь и является единственным,

кто может излечить ее. Об этом же свидетельствует совмещение значений 'знахарь' и 'колдун', 'лечить' и 'колдовать' у дериватов корня *зна-* [Шкуратов, 2007, 202], лексем *гадаль, гададь* [СГРС, 3, 7], *ворожэй* [СРГСУ-Д, 79].

Согласно источникам XIX в., колдун связан с нечистой силой, знахарь – с Богом [Ушаков, 1997, 206; Колчин, 1997, 242]. Положительный образ знахаря представлен и в современной заговорной традиции региона. Для создания образа верующей и благочестивой лекарки выстраивается парадигма экстралингвистических факторов:

1) социальный статус: вдова, дева, женщина с физическими, умственными патологиями, странница, которые одарены божественной благодатью и лечат особенно эффективно. Умение лечить расценивается как божественный дар;

2) условия получения мастерства: первый или последний ребенок в семье; по наследству. Авторитет знахаря распространяется и на выбор продолжателя дела;

3) способ получения знаний – сакральный: от святых во сне; нищих и странников; талант от Бога.

Исследователи склонны говорить «о наличии посвящения в традиции восточнославянского знахарства» [Поповкина, 2006, 93]. Мотив избранничества взаимодействует с мотивом предсказания: номинации знахарки *ворожэйка, ворёжа* и лечения – *ворожить* [СТГ, 49]. Прогностическая деятельность связана с диагностикой заболевания: знахарка проявляет осведомленность болезнью, не прибегая к каким-либо манипуляциям; рассказывает о событиях, случившихся с «пациентом» накануне его обращения к ней; сообщает больному причину недомогания; описывает облик навредившего. Проницательность, способность предвидеть отражена в лексеме *прозорли́вый* как характеристике знахарки.

Богданов К. А. Гендер в магической практике: русский случай // Мифология и повседневность. Гендерный подход в антропологических дисциплинах: Мат-лы науч. конф. 19–21 февраля 2001. СПб., 2001.

Ермакова Е. Е. Знахарь в славянской традиции юга Западной Сибири // Живая традиция заговора Сибири: сакрально-ритуальный дискурс знахарской практики. Тюмень, 2005.

Колчин А. Из статьи «Верования крестьян Тульской губернии» // Русское колдовство, ведовство, знахарство. СПб., 1997.

Минёнок Е. В. Роль женщины в заговорной традиции // Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен: Мат-лы междунар. конф. 1993 г. М., 1994.

Поповкина Г. С. Знахарство восточных славян юга Дальнего Востока России: Дис. на соиск. ... канд. ист. наук. Владивосток, 2006.

Ушаков Д. Н. Из «Материалов по народным верованиям великороссов» // Русское колдовство, ведовство, знахарство. СПб., 1997.

Шкуратов Ю. А. Мифологическая лексика в пермских говорах (слова с корнем *зна-*) // Живая речь Пермского края в синхронии и диахронии. Пермь, 2007.

Взаимовлияние восточно- и западнославянской (польской) ономастических систем XIV–XVIII вв.

Наблюдение за эволюцией фамилий на двух славянских территориях позволяет выявить процесс создания трехчленного именованья. Отношения между людьми, проживание людей на определенной территории обусловили особые способы идентификации человека в восточнославянском и западнославянском обществах.

В западнославянских странах – в Польше (а также Чехии) в XVI в. среди магнатов и шляхты преобладали оттопонимические фамилии на *-ski (-ský)*, которые указывали на тенденцию вытеснения генетических предикативных признаков, что было равносильно приобретению референциальной функции. Преобладание фамилий на *-ski* в среде магнатов и шляхты было обусловлено тем, что владение землей играло большую роль в формировании общественных отношений.

В восточнославянских (а также южнославянских) странах с XIII в. среди дворянства доминировал варьирующий предикативный патроним. Такой тип именованья мог быть следствием социальных условий: проживание населения в больших семьях, насчитывающих несколько поколений (в России их называли *вервь*, на юге – *задруга*). Семьи такого типа представляли собой не только родовые общины патриархального характера, но прежде всего экономические сообщества. Дальнейшая эволюция антропонимической системы на русских землях происходила в период XV–XVII вв., когда формировалось, развивалось и укреплялось российское государство. Эволюция состояла в переходе от двухчленной преемственной системы к трехчленной, также преемственной, которая основана на двойном указании принадлежности данного человека, названного, помимо собственного имени, имени, восходящими к имени отца (на второй позиции) – патроним, а также к имени деда или более далекого предка (на третьей позиции) – (пост)авоним. Третьим компонентом именованья, бытовавшим в боярской и княжеской среде, могло быть оттопонимическое образование на *-ski*.

И в Польше, и в России в трехчленной формуле (крестное имя + патроним + оттопонимическая фамилия) важную роль играл компонент с патронимическим формантом. В таком именовании он играл роль прозвища, которое стало необходимым для различения членов разросшейся дворянской семьи, носящей одну оттопонимическую фамилию. Компонент с оттопонимическим формантом *-ski* добавлялся с целью указать на статус носителя патронима, но возможно также, что этот компонент должен был служить более точной идентификации данного человека. Подобные именные формулы функционировали и в еврейской среде. Помимо собственных традиций именованья, евреи использовали в качестве образца номинативную систему восточных славян.

Таким образом, можно заключить, что трехчленные системы именованья, сформированные в восточнославянских и западнославянских странах, воздействовали друг на друга. Поляки включили в эту систему патронимический компонент на *-owicz*, русские же – оттопонимический компонент на *-ski*.

К лексикографическому описанию озерной гидронимии Белозерья: словарь и электронная база данных

В последнее время конкуренцию традиционным топонимическим словарям начинают составлять электронные базы данных топонимов. Эти формы лексикографического описания направлены на достижение общей цели – создание национального корпуса географических названий, но при этом решают различные частные задачи.

В рамках нашего исследования создается словарь озерной гидронимии Белозерья – историко-культурного региона Русского Севера, раскинувшегося на сотни километров вокруг Белого озера. В гидронимии Белозерья получили отражение лингвотнические особенности заселения края: здесь сосуществуют субстратные (прибалтийско-финские и саамские), вепские и русские названия.

Словарь является линейным носителем информации: он необходим для формирования общей картины и решения задач системно-этимологического, мотивационного и лингвогеографического анализа. В словарь включаются все озерные гидронимы, функционирующие в русскоязычной среде (в том числе с неясной этимологией и мотивацией). Словарь призван представить доказательный и достаточный для системной этимологизации корпус названий.

Словарь строится по алфавитно-гнездовому принципу. Заглавное слово совпадает с реально функционирующей формой топонима. Это может быть обозначение одного объекта номинации (*Бáлтозеро*) или нескольких (*Долгое*). После заглавного слова в словарной статье приводятся:

- 1) ареал основы (с указанием административного района);
- 2) данные о частотности заглавной формы на территории исследования;
- 3) фонетические, акцентологические, словообразовательные, морфологические, структурные и семантические варианты названия;
- 4) параллельные названия. Во-первых, параллельные названия объекта, восходящие к другим языкам (например, заимствованные – в первую очередь вепские – и субстратные названия). Во-вторых, параллельные названия, функционирующие в рамках одного языка, но образованные по разным семантическим моделям, не имеющим внутренней связи друг с другом (*Кичаговское = Топорово*);
- 5) «партнеры» в рамках семантических микросистем. Это названия, связанные друг с другом структурно-семантическими отношениями (*Верхнее Эйнозеро – Нижнее Рёнозеро, Первое Аномозеро – Второе Аномозеро* и т. п.) или собственно семантическими (*Бабково – Дедково, Белое – Грязное, Светлое – Чёрное*);
- 6) географическая привязка к ближайшему населенному пункту и (в некоторых случаях) к бассейну определенной реки. Привязка дается для топонимов с раритет-

*Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Русские ономастические словари как источник культурно-исторической информации».

ными основами (от 1 до 5 топонимов, образованных от данной основы). Для основ, частотность которых выше 5, указывается только административный район; в случае необходимости (например, для субстратных основ) дается более детальная лингвогеографическая характеристика (предполагается отразить это на карте). Здесь же приводятся сведения о физико-географических свойствах объекта, метонимических связях данного названия с другими (например, указание на объект, название которого перенесено на озеро), а также именованя ближайших озер;

7) иллюстративные контексты. Большинство контекстов являются мотивировочными (т. е. способствуют прояснению мотивации топонима), остальные – дают определенные сведения об употреблении названия, физико-географических особенностях объекта и пр., а также содержат топонимические легенды и предания, раскрывающие особенности представлений об озере в традиционной картине мира русских и финно-угров;

8) этимологическая и мотивационная интерпретация названия. Даются существующие в литературе этимологии, а в ряде случаев предлагаются новые; приводятся параллели из топонимии Белозерья и сопредельных территорий.

Структура базы данных повторяет собой структуру статьи словаря, однако отличается словообразовательной, семантической и «географической» разметкой и рядом дополнительных возможностей. Электронная база данных по гидронимии Белозерья является частью более крупной поисковой системы – базы данных Топонимической экспедиции УрГУ по топонимии, антропонимии, лексике и этнографии Русского Севера, которая уже более 10 лет создается на кафедре русского языка и общего языкознания УрГУ. База данных позволяет решать следующие задачи:

1) поиск топонимов с одинаковыми ареальными характеристиками;

2) сопоставление топонимов со сходными показателями частотности, что имеет значение при выявлении продуктивности тех или иных семантических моделей;

3) поиск по суффиксам, формантам и атрибутивам, что облегчает выявление структурно-словообразовательных моделей;

4) выборка названий сходного происхождения (если каждый топоним в базе будет предварительно снабжен сведениями о языке-источнике);

5) сопоставление названий с аналогичными семантическими «партнерами» в рамках микросистем и, таким образом, уточнение признаков номинации в случае сходных мотивационных моделей;

6) приведение максимально возможного числа географических привязок для всех топонимов с указанием названия реки, к бассейну которой относится озеро; названия ближайшего населенного пункта; названия населенного пункта, в котором записан топоним; наименований ближайших озер. В случае переноса названия с другого объекта – указание типа этого объекта;

7) учет топонимических легенд на определенной территории, что позволяет охарактеризовать лингвистические и лингвоэтнические особенности восприятия топонимов;

8) связывание топонимического сектора базы данных с лексическим и антропонимическим секторами системой электронных ссылок; создание проекции топонимического ареала на электронной карте. Это будет способствовать построению идеографической и мотивационной сетки топонимии региона исследования.

База данных оказывается более структурированной, чем словарь, но из-за учета множества различных параметров приобретает характер нелинейности. База представляет собой механизм реализации запросов пользователя, служит для проверки гипотез, тогда как словарь интересен прежде всего как общая картина, панорама.

А. К. Матвеев
Екатеринбург

Мансийская топонимия как историко-этнографический феномен

Фронтальный сбор мансийской топонимии на территории горной части Северного Урала в непосредственных контактах с оленеводами и в водных маршрутах с проводниками позволяет обобщить историко-этнографическую информацию, которая содержится в географических названиях северных манси.

Подавляющее большинство названий на этой территории собственно мансийского происхождения, что указывает на давность ее освоения мансийскими первопоселенцами. Топонимов, которые могут рассматриваться как домансийские, засвидетельствовано сравнительно немного. Это названия некоторых значительных рек, прежде всего в западной части региона, а также ряда гор в верховьях Печоры и севернее. Оронимы такого рода этимологизируются из ненецкого языка, тогда как гидронимы в большинстве случаев до сих пор не нашли сколько-нибудь убедительного объяснения. Из этнонимов, зафиксированных в мансийской топонимии, наиболее частотны *э́рн* 'ненец' и *русь* 'русский'. Этнотопонимы с компонентом *э́рн* указывают на одновременные мансийско-ненецкие контакты, названия с этнонимом *русь* недавнего происхождения.

Содержательная сторона мансийских географических названий аналогична семантике топонимических систем других северных народов, которые восприняли христианство, сохранив вместе с тем основы древних языческих верований. Охотничье-рыболовецкий и оленеводческий быт манси находит объективное и всестороннее отражение в мансийской топонимии. В то же время топонимия манси населена многочисленными языческими божками и духами, как добрыми, так и зловредными. Нередко названия имеют профилактический характер. Указывает топонимия и на священные или табуированные объекты, места жертвоприношений и т. п. Образное видение манси иногда порождало и целые микросистемы взаимосвязанных метафорических названий.

Жизнь северных манси-оленеводов была связана с кочевьем (касланием) в горах Северного Урала. Это обусловило богатство оронимии, которая во многом определяет специфику мансийских географических имен. Горные пейзажи и широкий кругозор благоприятствуют возникновению и развитию семантически связанных групп топонимов. В названиях гор отражены представления, восходящие к древним мифам о потопах (вершины гор не были затоплены), а также к сказаниям о каменных

богах-покровителях и их окаменевших врагах. В историческом отношении особенно интересны оронимы, связанные с культом коня. Это ярчайшее свидетельство лесостепного происхождения манси, родственников венгров-коневодов.

Кочевой быт и полная неожиданностей жизнь оленевода и охотника обусловили появление многочисленных ситуативных названий. Этому в немалой степени способствовало широкое распространение в мансийской топонимии причастных конструкций. Среди ситуативных названий нередки и исторически значимые.

С. А. Мельникова
Москва

О специфике функционирования модели сгибания в лексико-семантическом поле «Сила, здоровье/слабость, болезнь»

В лексико-семантическом поле (ЛСП) «Сила, здоровье/слабость, болезнь» удалось выделить 55 первичных мотивационных моделей. Источниками материала послужили Словарь современного русского литературного языка в 17-ти т., Словарь русского языка XI–XVII вв. и ряд диалектных словарей. Факультативно к анализу привлекались материалы диалектологических экспедиций в Архангельскую область.

Обнаруженные мотивационные модели позволяют определить представления этноса о болезни и здоровье человека. Тесно связаны между собой не только понятия ‘здоровье’ и ‘болезнь’, но и их языковые обозначения: они взаимозависимы в мотивационном отношении и нередко пронизаны антонимичными семантическими моделями. Это подтверждает правомерность их рассмотрения именно как частей единого поля; соотносительными являются 34 модели из 55, еще 20 присущи только части ‘болезнь’, и лишь одна – специфическая для части ‘здоровье’. Соотносительность означает антонимичность в отношениях моделей двух частей поля.

Одним из случаев соотносительности являются антонимичные мотивации ‘здоровье’ – это «несгибаемость», а ‘болезнь’ – «согнутость»: **лѣк-* > *неслякомый* ‘несгибаемый, крепкий’ («*крѣсь волѣциимъ ицѣленіе... крѣсь сздравимъ несѣлкоме сздравиѣ*»), *слагачи* (*сзлагачи*) ‘согнуть, искривить, наклонить’ и ‘ослабить, истощить’ («*Печаль сѣчнаа сзлагачетъ крѣпость*») [СлРЯ XI–XVII].

Однако, как оказалось, возможна антонимия не только в разных частях ЛСП (‘здоровье’/‘болезнь’), но и в пределах одной части поля. Это подтверждается рассмотрением двух мотивационных моделей, связанных с кривизной, согнутостью.

Преобладает отмеченная выше мотивация ‘болезнь’ как «согнутость»:

gъb-*/gъb-*: *выгибаться* ‘изнемогать от работы, от чрезмерного напряжения’ («*Выгибались мы на покосе-то лонись*») [СРГСУ]; *загнуть* ‘умереть, погибнуть’; *сгибать в крюк* ‘изнурять, подавлять’ («*Нихарошая жысть усигда згибаитъ ф крюк*») [БТДК];

***kroŭiti:** литер. *скрутить* ‘одолесть, обессилить кого-либо (о болезни)’;

***kosŭjъ:** *скосіжить* ‘согнуть, искривить’ («От тижолой-то работы все руки скосижило») [СРГСУ]; *скосоворотить* ‘согнуть, перекосить, скособочить человека (лицо, тело) от болезни’ («Посли блезни вон как щилавека скасаротила») [БТДК];

***vьreti:** литер. *свернуть* ‘одолесть, обессилить кого-либо (о болезни)’ («Мирон заболел внезапно. Лирика свернула хворь как-то враз»); *свернуться* ‘заболеть’ («Ей не с чего, кажись бы, вдруг свернуться»); *сворачивать* ‘приводить к смерти, «скручивать»’ («Ноне при раке-то быстро стало сворачивать») [СРГСУ-Д]; *завернуть* ‘погубить’ и ‘скоропостижно умереть’ («Древесинный спирт ево явно завернет») [Там же];

***kьrčiti:** *прикорчить* ‘о потере способности двигаться’ («Прикорчило ноги, никак на ноги не ставала») [НОС]; *скорчужить* ‘согнуть, искривить’ («Руки-те скорчужило все») [СРГСУ];

***kor-**, далее к ***korenъ:** *окорячиться* ‘надорваться на работе’ («Ну и поработали! Так недолго и окарячиться») [НОС]; *закорячить* ‘начать ломать (о состоянии человека)’ («Закорячит тебя – околешь») [Там же]; *скорючить* ‘скрутить, свести от боли’ («Желудок-от скорючило в ежовы рукавицы») [СРГСУ-Д]. Последнее слово, возможно, представляет собой контаминацию ***korenъ** и ***kr’ukъ**;

***gьrbъ:** *горбиться* ‘болеть’ («В моклок, потом в коленку перешло, колено стало горбиться») [НОС];

***kobeniiti:** *скобэнить* ‘согнуть, «скрючить»’ («Судороги меня скобенили») [СРГСУ]; *искобениться* ‘скрючиться, сгорбиться (от старости, болезни)’ («Фсе ф Тагил пешком ходила, а топеря искобенилась») [Там же];

***klepiti:** *склэпнуть, склэпнуть, скляпнуть* ‘согнуть, искривить’ («Ране-то я здорова была, нынче склэпило») [СРГСУ]. Судя по приведенному контексту, у глагола *склэпнуть* развивается вторичное значение ‘охватить (о болезни)’.

Ср. также семантически близкие основы, для которых вероятно развитие значения ‘скрутить’: ***volčiti:** *переволочь* ‘стянуть, скрутить, искорезжить’ («С этих пор руки у миня и пиравалакло риматизмам») [СРГСУ]; ***kotiti, *kotjъ:** *скатать* ‘заболеть’ («Кабы не скацаца, вода холодна») [Там же]. К этой же мотивационной модели относится и литер. *хилый* (< ***xylъ(jъ)**) ‘слабый, болезненный, немощный’ («Хворый он, Кузьма Ильич, хилый, видно, умрет скоро»), старшее значение которого – ‘скорчившийся’, ‘неустойчивый’, ‘накренившийся’, ‘кривой’.

С другой стороны, отмечена модель толкования болезни как неспособности сгибаться: ***lęg-lęq-** *недолугой* ‘хилый’ («Ани недалугие») [СРГСУ]; ***lęk-lęk-** *недолукий* ‘больной, нездоровый; хилый’ и ‘вялый, хворый’ («Недолукий – большой человек, не как все») [НОС]. Близка к данной модели мотивация больного как затвердевшего, твердого: ***derv-** *деревянный* («Горе с нами, деревянными! Дерево не загнешь, так же и кость не гнется») [материалы экспедиции в Арх. обл.]; ***grub-** *грубый* ‘затвердевший, негибкий, имеющий ограниченную способность двигаться’ («Очень стала я грубая, посижу подольше и не встать») [НОС]. Ср. также *заклэклый* ‘затвердевший, покрытый коркой и потрескавшийся (о почве, хлебе)’ и ‘изможденный, высохший (о человеке)’ («Он там такой заклэклый стал, гатоу») [БТДК].

Отмеченные случаи антонимичности моделей внутри части поля ‘болезнь’ при реализации одной из этих моделей в части ‘здоровье’ свидетельствуют о языковом (= ментальном) единстве ЛСП ‘Здоровье/болезнь’.

О происхождении вербального смешного/комического и о тенденциях в истории смеха (по данным языка и паремиологии)

1. Комическое содержание в художественном тексте распределено по разным уровням его семиотической организации и носит кумулятивный (накопительный и объединяющий) характер. В феномене вербального смешного (в жизни) или комического (в искусстве слова – фольклоре и литературе, в театре, кино и др.) существует оппозиция двух семиотических уровней, на которых «смешное» генерируется: 1) семиотика языка/речи (языковой уровень); 2) семиотика искусства слова (литературно-художественный уровень). На уровне языка/речи важно различать, с одной стороны, узуальные (языковые) коннотации иронии, шутливости, насмешки, представленные в плане содержания слов и фразем, а с другой стороны, окказиональные (индивидуально-авторские, речевые) значения смешного, возникающие при переносно-образном, каламбурном или ином преобразующем употреблении говорящими слов и фразем. В использующих язык искусства комическое создается на всех семиотических уровнях (образующих соответствующую семиотику) – начиная от первого, т. е. языкового уровня (поскольку язык, как известно, есть «первоэлемент литературы»), и далее на более сложных и содержательных уровнях семиотики искусства слова – таких как способ общения автора и читателя (эпос, драма или лирика; мелодекламация, стихи или проза); характер конфликта, фабула, интрига и сюжетная организация произведения; состав персонажей; речь «от автора» и коммуникативная партитура реплик персонажей (их прямой речи); панорама развертываемых автором картин жизни; композиция произведения. Эти разноуровневые элементы комического некоторым образом объединяются; однако не очень понятно, как именно происходит эта аккумуляция разноуровневых коннотаций и смысловых компонентов комизма; вполне возможно, накопление комизма в конкретных произведениях происходит по-разному.

2. Непосредственно к языковому уровню примыкает (однако находится за пределами языка) уровень однофразовых текстов, обладающих признаками идиоматичности (в терминах литературоведения – искусности или выразительности). В общесемиотическом плане этот уровень может быть назван паремиологическим, или афористическим, если понимать оба термина широко и как бы объединить объемы соответствующих понятий (чему есть достаточно оснований в филологической и фольклористической традициях). В однофразовых текстах с комическим компонентом значительную часть их идиоматичности («искусности») образует именно комическое.

Генерация «искусного» вообще и комического в частности с использованием возможностей литературно-художественных средств отнюдь не ограничена сферой литературной работы, но присутствует в повседневном общении в той мере, в какой в речевом обиходе представлены проявления «поэтической функции» языка/речи (в терминологии Р. О. Якобсона). Однофразовые искусные тексты всегда

и были областью самого массового художественного творчества – и в столетия «классического» фольклора (устного творчества «простого народа»), и в наши дни. Паремии и афоризмы, в том числе комического характера, постоянно присутствуют в повседневной коммуникации народа, однако они относительно редко попадают в поле зрения исследователей. В силу процессов социально-культурной гомогенизации общества, современная филология, в отличие от диалектологии и фольклористики XIX в. и первых десятилетий XX в., отнюдь не склонна видеть в живой разговорной речи и городском фольклоре истоки и корни «народного духа», поэтому коллекции современных паремий и афоризмов заметно уступают пословичным собраниям братьев Гримм, Вука Караджича, В. И. Даля, Михала Федоровского.

3. Комическое кумулятивное содержание паремий и афоризмов создается на двух вербальных уровнях – языковом и надязыковом. На первом уровне представлены те или иные комические коннотации, которые узуально присущи некоторым словам и фраземам или окказионально созданы на первом (языковом) уровне; на втором (паремиологическом) уровне в комическое содержание рассматриваемых текстов включаются те или иные компоненты комизма, созданные автором произведения, а именно: смысловая понижающая двуплановость (образность) высказывания; ироничность; парадоксальность; метаязыковая понижающая рефлексивность; логическая усложненность в сочетании с лексико-синтаксической неэксплицированностью передаваемой логики.

4. Вербальное смешное и комическое в своем генезисе не имеют собственно языковой семантической основы (в отличие от таких семиотических феноменов, как эпос, лирика, драма; стихи; «рассказчик» (нарратор), свободный косвенный дискурс и др.). По данным этимологии и этнологии (М. А. Буговская, А. Г. Козинцев), биологические истоки смеха и улыбки амбивалентны: в поведении приматов мимические и звуковые аналоги смеха и улыбки служили тому, чтобы задобрить агрессора и смягчить собственную агрессивность; выразить и покорность и готовность к сопротивлению. Если эпос, драма и лирика – с внешней (вербальной) стороны имеют именно речевое происхождение и опираются на универсальные в языках мира семантические категории (эпос восходит к рассказу о событиях «от 3-го лица», драма – к групповому ритуалу с вербальным компонентом, лирика – к вербальному самовыражению говорящего «от 1-го лица»), то смех не имеет опоры в языковой семантике. Узуальные оценочные коннотации слов и фразем (на которые словари намекают с помощью помет «шутливо», «иронически») легкие, эфемерные (поэтому лексикографы их не всегда улавливают) – это лишь слабый отблеск смешных ситуаций и производных от них насмешливых контекстов. В устном выражении смешного роль интонации и мимики, т. е. паралингвистических аккомпанементов речи, несравненно более значительна, чем роль слов и фразем.

5. В генезисе смешного вербальные (речевые) средства его осознания, закрепления и продуцирования формируются существенно позже, чем узуальная оценка в качестве «смешного» некоторых типичных бытовых ситуаций (и их представления в вербальных искусствах). Так, в комедии дель арте смех над побиваемым или грубо обманутым отрицательным персонажем, как и фольклорные «нелепицы» (*Ехала деревня мимо мужика; Вдруг из-под собаки лают ворота*), как и «потешки» детского фольклора, появляются намного раньше иронических и шутливых

реприз и паремий, в особенности тех из них, в которых смешное связано с возможностями именно речи (а не литературы).

б. В истории коммуникации, в особенности в XIX–XXI вв., происходит экспансия вербального смешного и комического в разные области повседневного и устного служебного общения и в вербальные искусства (в ущерб серьезному, назидательному, пафосному). Указанная тенденция особенно отчетливо проявляется в эволюции жанра паремии (афоризма).

Л. П. Михайлова
Петрозаводск

Преобразованный анлаут и этимологизация диалектного слова

В составе севернорусской диалектной лексики обнаруживаются слова с одинаковой семантикой, анлаут которых несколько различен. Это могут быть слова с одним или двумя согласными (типа *ладбишка – гладбишка*), начальным *о-*, *а-*, *ва-* (*ва́корь – а́корье – ко́рень*) и др. Рассмотрение этимологии первых лексем среди указанных непосредственно связано с последующими. Ориентиром является наличие родственных слов в литературном языке и диалектах, тип ареала. Как правило, особенности анлаута имеют слова, обладающие точечным ареалом.

Изолированное положение слова с измененным анлаутом, приводящее часто к отрыву его от исконного корневого гнезда, затрудняет поиск этимологии. Мена согласных звуков, известная севернорусским говорам и закрепившаяся в топонимии [см.: Матвеев, 2001, 127–129], помогает определить исходное слово. Лексема *барзаться* ‘возиться, иметь дело с кем-, чем-н.’ Леш. [АОС, 1, 113] имеет в анлауте *б* в соответствии с исконным *в*, ср. *варзаться* ‘тратить время, занимаясь каким-н. хлопотливым делом’ В.-Т., Карг., Леш., Мез., Онеж., Холм. [АОС, 2, 47], ‘заниматься каким-л. хлопотливым делом, возиться с кем-, чем-л.’ Арх.: В.-Т.; Влг.: Череп., *варзаться* ‘то же’ Арх.: Уст.; Влг.: Устюж. [СГРС, 2, 27], в близких значениях также Нижегород., Яросл., Сев.-Двин., Пск. [СРНГ, 4, 53] и др. Аналогичная ситуация с *д* в анлауте вместо *г*: *даланка* ‘брюква’ Влг.: М.-Реч. [СГРС, 3, 175], ср. *голанка* ‘то же’ Арх.: Вель., Вин., В.-Т., Уст.; Влг.: В.-Важ., Вож., В.-Уст., Ник., Ньюкс., Сямж., Тарн., Хар. [СГРС, 3, 66]. Наблюдается и лексикализация *б* в соответствии с *г*: *блухой* ‘плохо слышащий, глухой’ Перм.: Караг. [СПГ, 1, 42], Арх.: Красн. [АОС, 2, 35], ср. *глухой*; *блущика* ‘береза с негладкими, шершавыми листьями’ Перм.: Сив. [СПГ, 1, 42], ср. *глушина* ‘порода березы с шершавым листом, не годная на банные веники’ Олон., Пск. [СРНГ, 6, 218], *глушник* ‘береза с шершавыми листьями, не годная на банные веники’ Перм.: Бер. [СПГ, 1, 164]; *блухмятка* ‘глухой человек’ Арх.: В.-Т. [СГРС, 1, 120], ср. *глухмятка* ‘то же’ Кирил. [СРГК, 1, 341].

Процесс упрощения группы согласных в начале слова, обусловленный влиянием соседних прибалтийско-финских или других финно-угорских языков [см.:

Лыткин, 1974, 119], активно отражен в севернорусской лексике. В результате возникают диалектные омонимы к общеизвестным словам, семантические диалектизмы: *рѳбкий* 'легко ломающийся, хрупкий' Кирил. [СРГК, 5, 533], ср. *дрѳбкий* 'легко разбивающийся' Печ. [ПОС, 9, 208], 'ненадежный, непрочный' Ленингр. [СРНГ, 8, 188], сербохорв. *дрѳбан* 'ломкий, рассыпчатый' [ЭССЯ, 5, 122]; *рудный* 'урожайный' Белом. [СРГК, 5, 576], ср. *грудный* 'богатый урожаем, урожайный' Челяб., 'многочисленный, имеющийся в большом количестве' Беломор., Свердл., Колым. Якут. [СРНГ, 7, 163]. Естественны и собственно лексические диалектизмы: *руднѳть* 'начать литься с силой, хлынуть' Белом. [СРГК, 5, 576], ср. *грудный* 'обильный, дружный (о дожде)' Свердл. [СРНГ, 7, 163].

В связи с исчезновением начального звука в консонантной группе обратим внимание на слово *рѳбега* 'низкое сырое место в лесу, заросшее мелким частым лесом' Лод. [СРГК, 5, 601], считающееся заимствованным, ср. зап.-фин. *räpäriö* 'непроходимое место, топь', вепс. **räbeh* (**räbez*), ливв. *räbe(j)ikkö* 'редколосье с чахлыми деревьями; молодой частый лес', фин. *räpeikkö* 'кустарник, молодая поросль' [Мамонтова, Муллонен, 1991, 82]. На наш взгляд, при установлении этимологии данной лексемы следует учесть собственно русский материал: в олонецких и сопредельных говорах – *дрѳь* 'топь, трясина' Олон. [СРНГ, 8, 226], *дрѳ* 'трясина' Бокс., Подп., Баб., Канд., Кем., *дрѳь* 'то же' Бокс., Подп., Баб., Кем., *дрѳбучина* 'топкое место, трясина' Онеж., *дрѳблѳй* 'нетвердый, болотистый, оседающий под ногами (о почве)' Онеж. [СРГК, 2, 7], *дрѳь* 'топкое место, зыбун' Влг.: Устюжн. [СГРС, 3, 279]; в архангельских говорах – *дрѳь* 'топкое, вязкое, болотистое место, топкое болото' Леш., Пин., Прим., 'низменное сырое, поросшее лесом, кустарником место' Прим., 'густо заросшее место в лесу, чаща' Мез., Пин., Шенк., *дрѳбочина* 'топкое болото' Онеж. [АОС, 12, 324], *дрѳь* 'топкое место, зыбун' Арх.: Прим., Шенк., густые труднопроходимые заросли леса и кустарника' Арх.: Пин. [СГРС, 3, 279], наряду с *дрѳь* с той же семантикой [СГРС, 3, 266]; в новгородских говорах 'трясина, топкое болото' – *дрѳь* Бор., Валд., Под., Мош., *дрѳель* Ст., Новг., *дрѳбѳна* Мош., Бор., Дем., Люб., Мал., Мар., Ок., Парф., Под., Сол., Ст.; 'жидкая, топкая грязь' – *дрѳь* Ок., Оп., *дрѳбля* Ок. [НОС, 2, 106]; в псковских говорах – *дрѳь* 'непроезжее место' Печ., *дрѳна* 'топкое место, трясина' Вл. [ПОС, 10, 23, 26]. Подобные данные можно считать основанием для предположения о вхождении русского слова в прибалтийско-финскую лексическую систему, где оно подверглось фонетической адаптации в анлауте.

Требуется выявление полного состава лексики, характеризующейся отмеченными признаками, что позволит уточнить пути взаимного влияния контактирующих языков.

Лыткин В. И. Сравнительная фонетика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков). М., 1974. С. 108–213.

Мамонтова Н. Н., Муллонен И. И. Прибалтийско-финская географическая лексика Карелии. Петрозаводск, 1991.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Екатеринбург, 2001. Ч. 1.

Рус. диал. *дожить до тюки, дожить до тюпы*

1. В русских говорах имеется лексема *тюка* (*тюк, тюки*), представленная в выражениях, обозначающих бедственное положение, плохое состояние дел, ср.: *доехать до тюки, дожить до тюки, дойти до тюки* ‘обнищать, разориться’; *дожил до тюку, что ни хлеба, ни табаку; доносить до тюки* ‘доносить до дыр’, *нет ни тюка* ‘о полном разорении’, *тюк на крюк нашел* ‘то же’ (арх., влг.); *тюк* ‘конец, смерть’: *мы думали, пришел тюк* (влг.); *тюка* ‘крайность’: *дожили до тюки, что ни хлеба, ни муки* (сибир.); *тюки* (нареч.) ‘конец, нельзя, тупик’: *дошёл до тюки, стал в тюки, дожили до тюки, что ни хлеба, ни муки* (без указ. геогр.) [Даль, 4, 481]. Выражения активно функционируют в севернорусских говорах.

В Архангельской области (Холмогорск. р-н) отмечены аналогичные конструкции для фонетически близкой лексемы *тюпа*, ср.: *дожиться до тюпы* ‘дойти до полной нищеты’, *попасть в тюпу* ‘попасть в беду’.

2. Этимологический анализ, проведенный отдельно для каждой из названных единиц, не дал надежных результатов. Вместе с тем материал позволил применить метод групповой реконструкции.

Как выяснилось, большое количество слов с начальным *тюк-* и *тюп-* (а также с начальным *тук-* и *туп-*), функционирующих в севернорусских говорах, демонстрируют сходную семантику, в частности денотативное сходство, полное или частичное. Под частичным денотативным сходством понимается наличие у нетождественных денотатов общих признаков, которые – в силу своей частотности у рассматриваемой группы слов – могут претендовать на роль признаков, явившихся толчком для номинации.

Лексически маркированы, например, следующие семантические области:

– пучок, вязанка, охапка, ср.: 1) *тукач, тукача, тукачка, тукачина* и пр. ‘большая охапка, связка чего-н. (сена, соломы, травы и пр.)’, ‘вязка льняного волокна’, ‘обитый, околоченный, нераспорященный сноп’ (арх., влг., карел., новг.); 2) *тюкачок* ‘большая охапка, связка чего-н. (сена, соломы, травы)’, *тюкачи* ‘связки, пучки’, *тюкачки* ‘снопы или пучки соломы’ (арх.); 3) *тупочка* ‘охапка чего-л.’ (карел.); 4) *тюпка, тюпочка* ‘охапка, связка льна’, *тюпик* ‘сноп льна’ (влг.).

– сверток, узел; что-л. свернутое, завернутое; что-л. собранное; что-л. закрытое в свертке, ср.: 1) *тукач, тукачик, тукачок* ‘сверток, узел’, *тукач, тукачок* ‘собранные в пучок, узел волосы’, *тукач* ‘закутанный человек’ (арх., влг., карел.); 2) *тюкач, тюкачок* ‘узел, сверток’, ‘котомка’, *тюкли* ‘чашелистики морозики’ (арх., влг.); 3) *тупа* ‘завязь морозики’, *тупик* ‘неспелая ягода морозики’ (арх., карел.), *тупик* ‘оборки на платье’ (новг.); 4) *тюпик* ‘завязь морозики’ (карел.).

Неспелая ягода морозики завернута в чашелистики и может восприниматься исходя из этого признака. Оборка воспринимается как нечто собранное, свернутое. Такой тип восприятия реалий имеет целый ряд лингвистических подтверждений, в частности в прибалтийско-финских языках.

– что-либо округлое; такое, где длина и ширина соотносимы, ср.: 1) *тукач* ‘толстый человек; о большом, крупном ребенке’, *тукачок* ‘в сравн. о полном человеке’, *тукачий* ‘толстый’, *тукач* ‘облако’, *тукачок* ‘сосуд округлой формы’, ‘опухоль’ (влг., карел.); 2) *тюк* ‘подводный камень’, *тюкан* ‘редька или репа крупных размеров’ (арх.); 3) *тулики* ‘стул, чурбаны под избу’ (костр.); 4) *тюпак* ‘чурбан, чурка’, *тюпора* ‘толстая женщина’ (влг.);

– шапка снега, ср.: 1) *тукач* ‘ком снега’ (влг.); 2) *тюк*, *тюка*, *тюкач* ‘шапка снега на какой-либо поверхности’, *тюка* ‘висящий на сучьях снег, иней’, ‘снежный занос’, *тюки* ‘снег, опавший с деревьев’ (арх., влг., олон.); 3) – ; 4) *тюпа* ‘шапка снега на какой-либо поверхности’ (арх.).

Статус рассмотренных закономерностей может быть различен: типологическое сходство в семантике разных корней, фонетическое варьирование в пределах одного корня и пр. Этот вопрос требует отдельного рассмотрения. Для решения же поставленной задачи вполне достаточно факта наличия оговоренных закономерностей.

3. Для лексем указанных гнезд наиболее вероятным видится прибалтийско-финское происхождение. Рассмотрение прибалтийско-финских данных показало, что среди гнезд с инициалами *tuk-*, *tük-*, *tup-*, *tüp-* имеются такие, которые семантически хорошо соответствуют русским фактам. Семантика, зафиксированная в русском языке, обычно встречается не в одном, а в нескольких гнездах, связанных с той или иной инициалью, при этом финские этимологи в целом ряде случаев ставят вопрос о возможной соотносимости гнезд такого рода [SKES]. Но даже при отсутствии указания на возможность такого соотнесения следует констатировать наличие в прибалтийско-финских языках закономерностей, сходных с русскими.

В отличие от целого ряда других значений, семантику бедственного положения, плохого состояния дел – в значениях, наиболее близких русским данным, – реализует лишь одно из всех рассмотренных прибалтийско-финских гнезд, а именно гнездо фин. *tuppi* ‘ножны’, ср.: фин. *joutua tupelle*, *olla tupella* ‘быть в затруднительном положении, в нужде; попадать в затруднительное положение, нужду, кризис’, при фин. *tuppi* ‘чашечка, влагалище листа или бутона’, *tupella* ‘(о хлебе, колосе) о таком состоянии, когда обертка листа еще закрыта’, *tuppi* ‘узкая мережа’, карел.-лив. *tuppihillo(i)* ‘завязь морозки’, *tupezi*, *tuppeh* ‘заложен, закупорен; закрыться; закупориться; закрыть, сделать закрытым’, *tuprevuo* ‘не удался, не иметь успеха, закончиться провалом, провалиться’, эст. *tupp*, *tipe* ‘ножны, фуляр, обертка, оболочка’ [SKES, 1415].

С учетом этих данных, русские выражения с лексемами *тюка*, *тюпа*, обозначающие бедственное положение, могут интерпретироваться как имеющие прибалтийско-финские истоки.

4. Семантическая реконструкция как русских, так и прибалтийско-финских выражений позволяет предложить несколько версий, но наиболее предпочтительной кажется следующая: выражения базируются на представлениях о пребывании в сжатом, закрытом пространстве, о достижении некоего пространственного конца, предела. Ср., например, приведенное выше прибалтийско-финское гнездо, где ярко представлена семантика закрытого пространства. Показательны также следующие севернорусские факты, в которых можно усмотреть «отголоски» названных при-

знаков: *тюк* ‘чулок’, *тюпа* ‘конец мотни невода; узкая центральная конусообразная часть невода; мошня, хвост бредня или невода’, *тюпас* ‘небольшая осиновая лодка-долбленка’, *тюпа* ‘повседневная обувь’, *тюпы* ‘валенки с обрезанными голенищами или без голенищ’; *тупой* ‘удаленный от центра, глухой (о местности)’, *тупки* ‘дальние деревни, захолустье’, *тютюка* ‘окраина деревни’; *тупяк*, *тупяк* ‘кончик пальца’.

Ср. также *тюка* ‘предел, конец’: *Работы много у нас, тюки еще не видно; дойти до тюки* ‘дойти до крайности, до завершения чего-л.’: *При таком темпе никогда до тюки не дойдешь* (якут.); *тюкано дело* ‘решенное дело, конец’ (влг.).

5. В этом контексте могут интерпретироваться как заимствования рус. литер. *тупик* ‘улица, не имеющая сквозного прохода, проезда; отсутствие сквозного прохода или продолжения чего-л., в чем-л.’, которое на фоне гнезда *тупой* выглядит семантически изолированным образованием, а также рус. литер. *тупик* ‘безвыходное положение’, диал. *тупик* ‘беда, несчастье’. Последнее (в отличие от *тюка*, *тюпа* ‘нужда и пр.’) соответствует приведенным в п. 3 прибалтийско-финским лексемам не только семантически, но и формально.

О. А. Могила
Киев (Украина)

О некоторых украинско-южнославянских параллелях

Украинские карпатские говоры – одни из наиболее архаичных в сфере лексики и семантики, сохраняющие как уникальные черты традиционной культуры, так и ряд соответствий в терминологии и обрядах. Интересными с лингвистической точки зрения являются дистантные украинско(карпатские)-южнославянские параллели, которые могут выступать как локальные соответствия, так и генетически родственные факты, сходные инновации. Начало весны на Балканах связано с легендой о «мартовской» старухе, инвариант сюжета которой, по наблюдениям Г. И. Кабаковой, известен практически всем средиземноморским народам, а также их соседям на Балканах [Кабакова, 1994, 209]. Подробный анализ структуры и географии этой легенды представлен в работах Г. И. Кабаковой, А. А. Плотниковой, Н. Г. Голант.

У гуцулов *баба Євдоха*, в отличие от балканского мифологического образа бабы Марты, является одной из наиболее пагубных фигур мифологии, третьей после *дiтька* и *уперiв* [Кайндль, 2000, 97–98]. Резкое похолодание в марте гуцулы объясняют легендой о бабе *Еудохе* (*Дук’ийе*, *Дот’е*), которая олицетворяет уходящую зиму, и считают, что *баба Євдоха* наводит на землю суровую *в’ихолу*, которая повторяется ежегодно в марте [Там же, 98]; ср. также гуд. *Одок’ийа гонит кози в бр’iст* (Розтоки, Ивано-Франк. обл.); *фил’i йаудока гонит*, и, согласно народному верованию, *вона майе вигнат’ сорок фил’ – то дощч, то сн’iг, то сонце* (Шепот, Черновиц. обл.).

В украинских буковинских селах существует также легенда о бабе Дукие, но, в отличие от гуцульских, *Дукия* выступает в ней как нейтральный персонаж: *баба*

Дук'їа йшла ў гост'і до дочки, ўд'агнулас'ў дванац'ат' кожух'їў, а сн'їг і дошч. Коли змочиц'а, скине коужух, кинула посл'їдн'їй, бо ўже видно було село, доки дойшла, то замерзла (Михалково, Черновиц. обл.). С указанным сюжетом легенды соотносится обширный пласт метеорологической лексики, им объясняется происхождение переменной погоды со снегом в начале весны: *їаўдошин сн'їг, бабин дук'їїн сн'їг* (Михалково, Черновиц. обл.), *їеўдоха гул'аїе, баба дук'їа труси своїй коужухи* (Нелиповцы, Черновиц. обл.), *баба їаўдоха дванац'ат' ден' гул'аїе* (Ливинцы, Чнв), *баби дук'їїн сн'їг* (Старые Бросковцы, Черновиц. обл.), *їеўдока мете* (Милиево, Черновиц. обл.). В закарпатском говоре с Драгово снег в марте называют *бабыны ыготы* (*у березн'ї, колы холодно, їде сн'їг, зав'їр'ўха, сн'їг пролетит'сквоз'стоўпец'на обороз'ї*) и также соотносят его с праздником Евдокии.

Некоторые названия весеннего снега, зафиксированные в карпатских говорах, возможно, тоже связаны с легендой о мартовской старухе, поскольку указывают на животных, которые принадлежали старухе: *їагн'ачий сн'їг* (Брустуры, Ивано-Франк. обл.; Луг, Луги, Косовская Поляна, Черная Тиса, Закарпат. обл.), *стрижачий сн'їг* (Луг, Закарпат. обл.), *тел'ачий сн'їг* (Брустуры, Ивано-Франк. обл.), *овеча студ'їн'* 'похолодание вначале лета' (Черепковцы, Черновиц. обл.).

Замкнутые изоглоссы целого ряда карпато-балканских элементов были обнаружены и в полесских говорах: в восточном Полесье существует верование, согласно которому молния без грома может выжигать ядра орехов. Этим и мотивировано полесское название молнии без грома *ар'їхава маланка* (Гнатовка, Чернигов. обл.). В полесских говорах лексема *маланка* расширила семантику: *маланкой* называют также темный пустой орех [Лисенко, 122]. В этом случае наблюдается семантическая трансформация: 'молния без грома' > 'молния без грома, которая сжигает ядра орехов' > 'пустой орех, ядро которого сожгла молния' > 'пустой орех'. Подобный переход наблюдаем и в лексеме *зиговиц'а*, которая употребляется в среднеполесском говоре в значении 'молния (преимущественно без грома)' и 'темный, пустой, с испорченным ядром орех' [Лисенко, 83]. На Бойковщине такие орехи называют *захмуленими*, их урожай также связывается с народными метеорологическими представлениями: *їак на Івана гремит, будут орїхи захмуленї* [Онишкевич, 1, 299]. Аналогичные верования, связанные с комплексом 'гром : орех', встречаем и в гуцульских коломыйках: *аби було не грим'їло на Петра, на Івана, я би була тоб'ї, л'убку, гор'їшк'їў нарвала* (Чорна Тиса, Закарпат. обл.), *коби не грим'їло в Петрїўку, на Івана, я би свому милен'кому гор'їшк'їў набрала* (Луги, Закарпат. обл.), поскольку *на Івана їак гримит', то руда в'їўт'гор'їхи; їак на Івандел' дошч, то кажут'шчо їсе поруда в'їло: гор'їхи, слиўки, їсе руда вє* (Луги, Закарпат. обл.), а *руда* - это еще и 'пустой от слякоти орех' (Луг, Закарпат. обл.).

Семантический комплекс 'молния : орех' встречается также и у южных славян. Как правило, эти поверья приурочены к календарному празднику св. Ильи. Сербы верят, что *да ће лешници омаћати, ако грми уочи св. Илије или на Илиндан* [Бадаланова, 1983, 86]. Болгары считают, что *кога гръми на св. Илија, орѣси-ты ѝ лѣщници-ты прѣз това лѣто бивають повяче щопливина* [Геров, 2, 325].

Таким образом, к семантическому комплексу, который подает Ф. К. Бадаланова: полесский ряд 'рябиновая ночь' > 'молния без грома' > 'пустой (сожженный) орех' и южнославянский – 'Илинден' > 'гром' > 'пустой орех', можно добавить еще два гуцульских ряда: 'Івана Купала' > 'гром' > 'пустой орех' и 'Петровка' > 'гром' > 'пустой орех'.

Бадаланова Ф. К. «Ореховая маланка»: (К интерпретации поверий, связанных с орехом и молнией) // Полесье и этногенез славян: Предварит. мат-лы и тез. конф. М., 1983. С. 86–87.

Кабакова Г. И. Структура и география легенды о мартовской старухе // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. М., 1994. С. 209–222.

Кайндль Р. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. Чернівці, 2000.

Чорі Ю. С. Слово – не полова. Закарпатські народні прислів'я, приповідки, приказки, каламбури. Ужгород, 1995.

О. Т. Молчанова
Щецин (Польша)

Географические имена Алтая на картах XVI–XIX вв.

При изучении географических карт закономерным является вопрос о том, могут ли они помочь в установлении эволюции топонимов на территории Сибири. Дело в том, что русские карты Сибири первой половины XVII в. истории неизвестны. Наиболее ранний общий чертеж, изображавший все восточные земли русского государства от Волги до Тихого океана составлен только при царе Алексее Михайловиче [Бородаев, Контев, 2007, 48].

Сибирью русские летописи XV–XVI вв. называли Сибирское ханство, возникшее в результате распада империи Чингисхана. В конце XV в. столица этого государства была перенесена из Тюмени в город Искер (Кашлык) на правом берегу Иртыша, напротив устья Тобола. В XVI в. земли Сибирского ханства простирались от восточных склонов Уральских гор до среднего течения Оби. На территориях за его пределами кочевали племена, о которых не сохранилось никаких свидетельств в русских летописях [Там же, 47].

В свое время часть копий карт, относящихся к Алтаю и составленных иностранными картографами и путешественниками в XVI–XVII вв., была передана мне Михаилом Федоровичем Розеном. Я говорила о них в своем докладе в Новосибирске в 2007 г. С другими картами мне удалось познакомиться благодаря упомянутой книге В. Б. Бородаева и А. В. Контева, а также благодаря собранию карт в книге К. Небензала [Nebenzahl, 2005]. Подлинники карт Сибири XVII–XVIII вв. хранятся в Упсале (Швеция), Амстердаме (Нидерланды), Вроцлаве (Польша); подлинник одной из карт С. У. Ремезова находится в США.

Первые карты Сибири вырисовывались не на основе системы астрономических координат, а по рекам. И только в середине XVIII в. в российской картографии произошел переход к астрономическим координатам.

Карта № 1 из анализируемого цикла названа так: «Карта разграничения земель Сибири и сопредельных территорий, созданная в Тобольске неизвестным автором в 1673 г. Копия С. У. Ремезова конца XVII в.». Здесь четко обозначены *Земля Китайского царства*, *Земля Черных Мунгал*, *Земля Желтых Мунгал*, *Земля Белых Мунгал*. Бассейн *Телецкого озера* и земли к востоку от него обозначены как *Земли алтырцов* и *теленбицтов*. Их соседями на западе оказываются *Земли Белых*

Калмыков (т. е. ак-теленгетов), на севере расположена *Земля Кыштымска* (т. е. данников), на северо-востоке – *Земли Кыргыз белых и черных*, а на востоке, юго-востоке лежит *Земля Саянска*. На карте № 2 видна межа с телеутами. Можно прочитать названия рек как *Таеузь*, *Ордо*, *Аилахань*, *Czaraga/Чарагъ*. Часть названий транслитерирована на голландский. Карта № 4 названа частью «Чертежа земли Кузнецкого города» из рукописной «Чертежной книги С. У. Ремезова», законченной к январю 1701 г. Карта № 5 – это «Чертеж земли всей безводной и малопроездной каменной степи» с изображением Алтайских гор, помещенный в этой же рукописной книге.

Известно, что свою «Хорографическую Чертежную Книгу» С. У. Ремезов начал составлять в 1697 г. Она представляла собой коллекцию карт, главным образом рек – некоторые из них разместились только на одной странице, река Обь занимает 14 листов, река Томь – только 2 листа. Карты собирались из самых разнообразных источников. Книга осталась незавершенной. Другая работа С. У. Ремезова – «Чертежная Книга» была составлена по приказу Петра I к 1701 г. У книги, видимо, существовало немало копий. Я ознакомилась с факсимильным вариантом под названием «The Atlas of Siberia by Semyon U. Remezov» с предисловием Л. Багрова. Издание помечено 1958 г. и было осуществлено в Голландии. Атлас содержит 12 листов, на которых расположена река Обь (карты идут под номерами 115–125), на листе 125 изображено верховье реки Оби. Копия с факсимильного издания была мною получена в Берлинской государственной библиотеке. На копии карты № 129 надпись: «S. Remezov's Copy of the Siberian Map. 1687 (Collection L. Bagrow, 23x17 cm)».

К сожалению, на карте не все читается со стопроцентной достоверностью, тем не менее она предоставляет интересную информацию, которую можно сопоставить с данными иных карт приблизительно того же самого столетия. Начнем с реки Катунь. На всех картах XVII столетия она записана как *Катуна* (*Katunia*), а истоком помечено оз. *Кань*. Здесь же помета: «На вершине Оби и Катуня кочевья калмык». Первый правый приток Катуня от ее истока, обозначенный именем, – это р. Чюй (*Чюй/Сзоÿ*). Первый левый приток Катуня от ее истока помечен как Бирюзья Ахаи (*Бирюзьяхаи/Вягуз ачай*). В этом месте по обеим берегам Катуня размещен улус *Долон Катау* (*uluz Dolon Cataÿ*). Следующий левый приток Катуня – это *Чара* (*Czaraz*), на которой расположились *Карабитцы* (*Cara bynse*) (их юрты). А далее по правобережью Катуня между реками Чюй и Наима (*Найма/Кониата*) С. У. Ремезов поместил улус Комляши (*Комляши*). Вниз по правобережью между реками Наима и *Иша* (*Ûicha*) видны поселения таутелеутов (*таутелеуты*). По левой стороне Катуня между реками *Чара* и *Аи* (*Аур*) размещены юрты *Таиша Ламаши* (*Taÿscha Lamascza*). Далее по этой же стороне Катуня между реками Аи и *Таржа* (*Tarza*) видны юрты *Манжи Тархат* (*Manzÿ Tarchat*). За рекой Таржа обозначено урочище *Карагай* (*Caragaÿ*), а ближе к месту впадения Катуня помещены юрты *Карасакалцы* (*Carasakaltsÿ*). И еще два имени с левой стороны Катуня – это *Сараму кёлы* (*Шара матулы*) и *Таиша Тархань*.

Те же самые карты содержат следующие обозначения в пределах Телецкого озера. Карта 1687 г. обозначила левый самый крупный приток Телецкого озера как р. *Уена*, вдоль него (с правой стороны) расселены *теленгути*. Следующий обозначенный приток Телецкого озера – это р. *Караташь* (*Caratasch*). Между ним и рекой *Карата* (*Caratan*) помещена *Сайнь орда* (карта 1687 г.), а на другой – *Телены орда*.

За ней идет река *Чулушма* (*Ulusman*). Между *Чулсима* и безымянной рекой обозначены *Салцы*. Почти весь правый берег озера занимает *Царство Алтырско* (*Сопигтык алтырско*) и народ *алтыри* (*altyren*).

Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края. Барнаул. СПб., 2007.
Nebenzahl K. Mapping the Silk Road and Beyond. 2,000 Years of Exploring the East. Phaidon Press Limited, 2005.

The Atlas of Siberia by Semyon U. Remezov. Fassimile edition with an introduction by Leo Bagrow. Mouton and Co. Gravenhage, 1958.

Н. Г. Мордвинова
Чебоксары

Отантропонимные словесные товарные знаки алкогольных напитков

Антропонимы в составе товарных знаков составляют весьма своеобразный слой лексики. Для того чтобы вызывать определенные ассоциации, нужны имена с достаточной известностью (личные имена, фамилии всемирно известных людей, имена мифологических персонажей и др.). Все эти лексические единицы по функции можно разделить на конкретизирующие, художественные и суггестивные. Функция конкретизации состоит в уточнении наименования алкогольного напитка (кем произведен данный продукт и т. п.), художественная функция – в его «украшении», суггестивная – в привлечении внимания покупателя.

Конкретизирующую функцию в составе словесных товарных знаков (в дальнейшем СТЗ) выполняют фамилии и личные имена производителей. Особой популярностью пользуются, помимо прочих, следующие конструкции:

– «одиноким фамилия»: рус. *Нахимов, Шустов, Криков*; итал. *Sartori, Lamberti*; исп. *Sandeman, Penedes*; англ. *Osborne, Miller*. В английских названиях также распространена модель «фамилия производителя в форме Possessive case»: *Gilbey's* «(От) Гилбей», *Cocburn's* «(От) Кокбурна»;

– «фамилия + апеллатив (титул, термин родства и пр.)»: во французских – «дворянский титул + фамилия»: фр. *Baron d'Arignac* «Барон де Ариньяк»; в немецких внушают доверие социальные характеристики производителей: *Dr. Zen* «Доктор Зен», *Hacker-Pschorr* «Виноградарь Пшорр»;

– «личное имя + фамилия» и др. фр. *Louis Eschenauer, Paul Jaboulet*; исп. *Jose Cuervo*; нем. *Peter Mertes, Lois Guntrum*; англ. *William Peel, Robert Mondavi*.

В отантропонимные товарные знаки, выполняющие художественную и суггестивную функцию, входят личные имена, самые частотные из них: *Елена* (*Helena, Ellen*), *Мария* (*Maria, Mary*), *Глория* (*Gloria*), *Изабелла* (*Изабель, Isabella, Isabel*), *Маргарита* (*Margarita, Marguerite, Margaux*), *Анна* (*Anne, Anna, Ann, Ana*); *Луи* (*Луис, Louis, Luigi, Louisi*), *Филунн* (*Philippe, Felipe*), *Петр* (*Peter, Pedro, Pete*), *Александр* (*Alexander, Alex, Alexandre*); отчества (только у русских СТЗ): *Мироньч,*

Филлипович, Кузьмич, Ерофеич, Степаныч, Семеновна). В составе коммерческих наименований кроме личных имен и фамилий встречаются и производные от них – отантропонимные адеквативы (антропонимы в притяжательном значении) с апеллятивом или без: рус. *Александровская, Владимирское, Петровская, Борисовская, Андреевская, Кутузовское, Аксаковская, Лужковская* и др.; англ. *Murphy's* («От Мерфи»), *Brogan's Irish Cream* «Ирландские сливки Брогана». Во вторую группу входят также прозвища: *Казанова, Мачо, Lardin* (франц.) «Храбрец»; имена всемирно известных людей: *Robert Burns* (англ.) «Роберт Бернс», *Mozart* (нем.) «Моцарт»; теонимы: *Прометей, Эвридика, Ianus* (итал.) «Янус»; агионимы: *St. Thomas* (нем.) «Святой Томас», *Santa Ines* (исп.) «Святая Инэс»; имена библейских персонажей: *Самсон, Magdalen* (франц.) «Магдалина»; героев мировой литературы: *Графиня де Монсоро* (одноименный роман А. Дюма), *Нарспи, Сентнер* (одноименная поэма К. Иванова), *Angélique* «Анжелика» (серия романов про Анжелику Ан и Серж Голон), *Almaviva* «Альмавива» (граф из «Женитьбы Фигаро» Бомарше); персонажей кинофильмов: *Донна Роза, Мануэла*.

С мотивационной точки зрения отантропонимные товарные знаки можно разделить на три группы. В первую группу входят СТЗ, для которых мотив номинации достаточно ясен: *Менделеев*, от фамилии русского ученого, придумавшего химическую формулу идеальной водки; *Gordon's Dry* (англ.) «Сухое от Гордона», от фамилии американца, разработавшего «стандарты» напитка; *Дионис* и *Бахус*, по имени бога виноделия и празднеств. Во вторую группу входят названия, образованные от антропонимов, которые лишь косвенно ассоциируются с напитком: *Captain Morgan* (англ.) «Капитан Морган», от имени морского разбойника, впоследствии губернатора одного из американских штатов, который любил ром. Ассоциации, вызываемые СТЗ третьей группы, связываются лишь с известностью, престижностью исходного имени: в данном случае имеется в виду различные экзотические и «модные» иностранные имена, например, *Аурелия, Корнелия, Мирабелла, Флоричина, Патриция, Ионелла, Лучия, Сильвия* в составе наименований русских напитков.

А. Б. Мороз
Москва

Имя святого и его фольклорная интерпретация

Агионим – чрезвычайно важный элемент фольклорного почитания святых, он может быть как отражением представлений и верований, связанных с христианскими подвижниками, так и источником верований и обрядовых практик. И в том, и в другом случае имя святого подвергается интерпретации в соответствии с фольклорными стереотипами святости и взаимоотношений святого и людей. Особое значение приобретает интерпретация имени святого в календарных паремиях, приметах и в обрядности. Можно выделить несколько особенностей такой интерпретации агионимов

в широком их понимании (не только собственно имя, но и сопровождающий его атрибут):

1. Объединение тезоименитых святых в одного персонажа: Параскева Сербская и Параскева Пятница, Иоанн Креститель, Иоанн Златоуст и Иоанн Богослов и др. Соответственно, контаминируются и житийные сюжеты, пересказываемые носителями традиции и мотивирующие почитание святых.

2. Объединение нескольких святых в одну группу на основании созвучия или рифмы: *Deszcz na św. Annę – potrwa nadal do Zuzanny*.

3. Этимологизция имени святого, основанная на паронимической аттракции или на актуализации внутренней формы слова.

А. Основанная на паронимической аттракции интерпретация собственно имени святого служит основанием для примет и ритуальных запретов/предписаний: св. *Прокоп – прокопал* (сугроб) (русс., сербск.), *прокопса* (болг. ‘быть успешным’); св. *Лука* защищает от оружия (от *лука*), а также его день благоприятен для посадки *лука*; в день св. Сосипатра отлучают ребенка от груди, т. е. отучают *сосать*; св. Вонифатию (*Винохватию*) молятся об избавлении от пьянства.

Б. Внутренняя форма имени или атрибута может быть использована как мотивация верований и обрядовых запретов/предписаний: *Никола угодник* – угрождает людям; Бог награждает *Ивана* золотыми усами взамен спаленных Касьяном, и тот становится *Златоусом*; в дни святых мучеников не начинают никаких важных дел (чтоб не мучиться).

4. Особым способом интерпретации агнионима можно считать рифму в календарных паремиях. Как правило, в рифмованных паремийных текстах, содержащих календарные приметы, имя святого рифмуется с лексемами, обозначающими ключевые понятия, связанные с идеей богатства, урожая, брака, судьбы: в польских паремиях, связанных со днем св. Агаты, имя святой рифмуется со словоформами *chata, bogata, jata*.

5. В современной русской традиции, когда связь названия календарного праздника с памятью святых в значительной мере утрачена, может происходить вторичная этимологизация хронимов, исходя из неверно понятого морфемного состава: названия праздников *Егорий, Власий, Медосий* (Модест) понимаются как посессивные прилагательные, соответственно, утверждается, что праздники названы в честь неких *Егора, Власа, Медоса*, которые могут быть вовсе не связаны со святыми.

6. Особую категорию составляют псевдосвятые, вымышленные даже не персонажи, а имена, используемые в разного рода устойчивых или окказиональных текстах. Такие псевдоагнионимы образуются от лексемы, чью семантику в данном контексте необходимо актуализировать: *Святой Тропинин, выведи меня до дома; праздновать Симона Гулимона*.

Вепские карты в «Топонимическом атласе Карелии»

Проект «Топонимический атлас Карелии» решает задачу формирования этнокультурной карты Карелии на материале топонимии. Атлас включает на данном этапе 50 карт, на которых представлены ареалы отдельных прибалтийско-финских (карельских, вепских), русских, саамских топонимов Карелии. Картографированию подвергнуты как структурные, так и лексико-семантические модели, включающие в себя этноязыковую и этноисторическую информацию. Каждая карта сопровождается комментарием, в котором предлагается анализ выявленных ареалов.

Карта-основа выходит за пределы современных административных границ Карелии, что позволяет реконструировать относительно целостные топонимные ареалы. Восточная граница проходит по реке Онеге, на юге территория достигает Белого озера, на западе включает восточные районы Финляндии. В качестве территориальной единицы для картографирования выступает волость.

Основным источником материала служит Картоотека топонимов Карелии и сопредельных областей, хранящаяся в Институте языка, литературы и истории КарНЦ РАН.

Атлас содержит около десятка карт, интерпретируемых авторами как вепские. Часть из них основана на лексемах, бытующих как в вепском, так и в карельском апеллятивном употреблении, однако не представленных в числе карельских топооснов. В докладе предложен анализ нескольких карт и вытекающие из него этноисторические последствия.

Вепские основы **Vadag'* 'болотистый покос; зарастающее болото', а также *Pehk* 'гнилая трухлявая древесина' представлены за пределами современного вепского ареала на водоразделе Онежского и Ладожского озер – карельской (ливвиковской и людиковской) территории, а также в русском восточном и южном Обонежье, подтверждая тем самым вепское прошлое обозначенных территорий и участие вепского языкового компонента в формировании ливвиковского и людиковского диалектов карельского языка.

В топонимии Карелии проявляется ареальное противостояние топооснов-синонимов *Palte* (< **palteg* < **palttek*) и *Rinne, Rindie* (< **rindēh* < **rinteh*) 'склон, косогор', из которых первый известен как вепским, так и карельским говорам, второй – только карельским. В топонимии *Palte* может рассматриваться в качестве дифференцирующей вепской модели, поскольку представлен на вепской, а также смежной ливвиковско-людиковской территории, сформировавшейся в ходе карело-вепского языкового контактирования. Модель бытует также в русском Обонежье, в том числе в восточном, чаще всего в виде *Палмега*. В собственно карельском ареале однозначно господствует основа *Rinne*. В виде *Rindu, Rindie* она фиксируется в ливвиковско-людиковском ареале, подтверждая еще раз буферный вепско-карельский характер формирования данного ареала.

Картографирование показало, что северная граница распространения вепских топонимов, в том числе моделей с топоосновами *Vadag'*, *Pehk*, *Palte*, наклады-

вається на северную границу ареала топонимов с прибалтийско-финской основой *Niini* 'липа', русской *Lun-*, который отражает реальное распространение липы в Карелии. Липа, как известно, произрастает на более богатых почвах и является на севере своего рода маркером наиболее пригодных для земледелия мест. Очевидно, наложение северной границы «липовых» топонимов и ряда дифференцирующих вепсских моделей указывает, на то, что вепское освоение территории южной Карелии в средневековье носило сельскохозяйственный характер. Поэтому оно не вышло на север за северные границы распространения среднетаежных лесов.

Вепская метафорическая модель *Kukoinhar'j* «петушиный гребень» использовалась для названия возвышенностей, горок. Модель является, очевидно, довольно поздней, поскольку не охватывает весь вепсский ареал. Она четко привязывается к транзитному водно-волоковому пути со Свирь на северную оконечность Онежского озера. Именно вдоль этого пути проходит диалектная граница, разделяющая ливвиковский и людиковский диалекты карельского языка. Ареал модели свидетельствует, что данная граница сформировалась в ходе продвижения вепсов вдоль означенного водного пути на север. При этом вепская экспансия препятствовала поступательному движению карелов с запада на восток, и в результате к востоку от вепсского пути сформировалась людиковская территория, где вепсский компонент значительно более мощен, чем в западном олонекском или ливвиковском диалекте. Названная диалектная граница маркируется в определенной степени также топонимами с вепской топоосновой *Lap(t)*, бытующей в названиях островов, а также малых озер, характерной особенностью которых является расположение на берегу, сбоку от более крупного озера. Восходит к вепс. **lapt* 'край, бок, сторона' (< **lappeda*), ср. в современных говорах наречия *laptaha* 'в сторону', *laptas* 'в стороне'.

Реконструирующийся по топонимическим данным исторический вепсский ареал в Карелии был привязан к транзитным водным путям, связывающим Обонежье со смежными территориями, в том числе с Поморьем, на что указывает проникновение ряда моделей (*Pyhä* с исторической семантикой 'граница', *Sara* 'небольшая река', *-l*-овая ойконимная модель) на Онежско-Беломорский водораздел. В совокупности с ареальной характеристикой, выявляющейся при картографировании других моделей с вепскими истоками, допустимо предполагать, что северные границы исторического административного подразделения Заонежская пяттина, образованного в XV в. в связи с присоединением новгородских земель к Москве, носили этнический характер и отделяли вепскую этническую территорию от карельской.

Новая жизнь старых источников. (Оштинская лексика в Словаре Куликовского)

В настоящее время, когда диалектные лексические данные в основном получили свое лексикографическое воплощение, вероятен тот факт, что значительно народный лексикон вряд ли будет пополнен. В то же время незаконченные многотомные словари, материалы которых собирались во второй половине XX в., при выходе очередного тома в свет еще долго будут давать пищу для размышлений и различных новых этимологических версий. При этом, по нашему мнению, настает пора более интенсивного анализа старых источников, своего рода классических словарных трудов. Таким трудом для русских говоров Обонежья является «Словарь олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении» Г. И. Куликовского, данные которого крайне важны при разработке субстратной и заимствованной лексики прибалтийско-финского происхождения и чаще всего использовались Я. Калимой в своей работе. У Я. Калимы в качестве базовых источников было три словаря: Словарь В. И. Даля (причем 1-е издание и 3-е, под редакцией И. А. Бодуэна-де-Куртене), Словарь А. О. Подвысоцкого и Словарь Г. И. Куликовского. Данные словаря В. И. Даля привлекались при выработке 196 этимологий, при том что ссылки на словарь Г. Куликовского насчитывают 195 единиц, на словарь А. Подвысоцкого – 45.

Материал для Словаря олонецкого наречия Г. И. Куликовский начал собирать в 1885 г. вместе с В. А. Мошковым. Сам Г. И. Куликовский пишет: «Мы делали немало поездок благодаря тому, что В. А. имел превосходную лодку-финку, был неутомимым, неустрашимым капитаном нашего небольшого экипажа, состоявшего из моряков-любителей, которым поездки по озерам и рекам Олонецкой губернии доходящие до 100 и более верст были нипочем... Записи велись нами двумя, при чем, поочередно, один из нас вел разговоры с крестьянами, другой записывал интересные слова и выражения». Г. И. Куликовский, собирая материал, посетил свыше ста населенных пунктов Олонецкой губернии. Одним из таких пунктов была Ошта, большое село, известное своей Афанасьевской ярмаркой (с 18 по 28 января), на которую приезжали торговцы с мануфактурой и другими товарами из Вытегры, Петрозаводска, Олонца, Череповца, Новгорода. В настоящее время появилась возможность более тщательного анализа этих лексических данных, отмеченных в Словаре Куликовского, в связи с его подготовкой к печати и имеющейся компьютерной версией. В переиздание будут включены не получившие широкого распространения дополнения к этому словарю – 383 единицы (например, *омьшиться* (Пудож.) ‘оправиться, прийти в себя’). Известно, что Г. И. Куликовский воспользовался материалами Барсова – их в словаре 789 единиц, А. А. Шахматова, который пополнил труд 614 словами. Кроме того, автор включил все лексемы с пометой «Олон.», помещенные в Словарь Даля, – 212 единиц.

В словаре зафиксировано 156 лексем с географической пометой «Ошта» (Лодейнопольского уезда), причем довольно часто данные этого населенного пункта сопровождаются данными н. п. Коштуги и Кондужи (ныне Кондуши) Вытегорского уезда. Примерно половина этого числа – 71 лексема – может быть сопоставлена с соответствующими вепскими единицами. Вероятно, сказывалось соседство с Шимозером, населенным преимущественно вепсами. Шимозеро Г. И. Куликовский также посетил, что нашло отражение на страницах словаря в виде 15 лексем, например: *хельмины* ‘так дразнят обывателей Шимозера’; *Амэри́ка* ‘насмешливое прозвище местности, заселенной чудью, и в особенности Шимозерской вол. Лодейнопольского уезда’. Следует также отметить, что для ряда слов, которые и ныне отмечаются в Оште, Г. И. Куликовский географическую помету «Ошта» не приводит. Ср., например: *кярза* (р. Свирь, Кондужи, Коштуги), *кярзя* (Лодейноп.) ‘морда, челюсти животного, свиной пятачок, рыло, губы’, *кярзи брать* (Лодейноп.) ‘целоваться, получать поцелуй’: *Подойди сюда, так я те кярзу всю выворочу!* [Куликовский]; при наших данных: *кярза* ‘морда животного’, ‘морда, рыло – о лице человека’ Подпорож. (Ульино, Пидьма, Шеменичи, Заозерье, Яндеба), Вытегор. (Мегра, Ошта), Прионеж. (Ладва), ‘несговорчивый неуживчивый человек’ Подпорож. (Шустрчей), *кярзя* ‘морда животного’ Подпорож. (Курпово, Корба) [полевое лингвогеографическое обследование автора]. Как видно, для этой лексемы ареал более широкий, нежели отмеченный Г. И. Куликовским. Еще одна лексема *кярба* имеет форму, не вполне совпадающую с вепской, ср. у Куликовского: *кярба* (Кондужи, Коштуги, Ошта) ‘срубленное, не толстое деревцо (около 4 вершков толщины в корне); у него обрубают сучки на столько, чтобы на оставшемся при стволе куске можно было стать ногами; прибор этот употребляется вместо лестницы, для вставания на скирду (преимущественно в лесу)’; при вепс. *kärbuz* ‘жердь с сучками для сушки сена, снопов’.

В перечне оштинских данных имеются единицы, до сих пор не получившие статуса неисконных, например: *бурандунь* (Коштуги, Кондужи, Ошта) ‘шарообразный звонок, бубенчик, привязываемый лошадям на шею’ [Куликовский], при вепс. *biru* ‘бубенец, бубенчик’ [СВЯ, 52]; *фузандать* (Кондужи, Коштуги, Ошта) ‘сердиться, насупиться’: *Ты што упять фузандаеш?*; *фузэнить* (Коштуги, Ол. Вед. 1896. № 59) ‘сильно дуть, особенно о сквозняке’: *Клый в дыру-ту што-ни, а ишь как фузэнить оттуля* [Куликовский], при вепс. *fuzeita* ‘шуметь(о кипящем самоваре)’.

Такого рода ретроспективный анализ фиксаций диалектных данных по их ареальным характеристикам дает возможность более тщательной и детальной проработки имеющихся источников как для этимологической интерпретации, так и для историко-лингвогеографической характеристики описываемого региона

Черкесский компонент в топонимии Причерноморья

«Для этнографов и лингвистов, для археологов и антропологов Кавказ остается полем, с которого можно снять большую жатву», – писал в начале прошлого века проф. Айтек Намиток [Namitok, 1939], вынужденный оставить свою родину в годы революции и посвятивший свою жизнь описанию истории одного из коренных народов Кавказа – черкесов (экзогенное название всех адыгов: адыгейцев, кабардинцев и других адыгских племен в дореволюционной России и современном восточном зарубежье).

Черкесский след на Кавказе – это прежде всего г и д р о н и м ы. Кроме главной реки Кубани, с множеством вариантов своих названий, в том числе и адыг. *Псыж* «Большая (старая) река», на Северо-Западном Кавказе (далее СЗК) к Черному морю выходят более 30 рек: *Агой*, *Абрау*, *Анапка*, *Аше*, *Гунайка*, *Дагомьис*, *Джанхот*, *Джубга*, *Дефань*, *Небуг*, *Ордане*, *Псахо*, *Псебе*, *Пседах*, *Псезуансе*, *Псейтук*, *Псекупс*, *Псебепс*, *Псеуихо*, *Сочи (Сочинка)*, *Туапсинка*, *Хоста*, *Шансуго*, *Шахе*, *Шенци* (общепринятые названия) и др.

Во многих гидронимах встречается черкесский (точнее – адыго-абхазский) компонент *пс-/бз-* ‘вода (река)’ (ср. реки *Псоу*, *Бзыбь* на территории Абхазии), и они в большинстве своем имеют прозрачную этимологию, где *пс-* выступает первым (а) или вторым компонентом (б):

а) *Псеуихо (Псиуихо)* – адыг. *Псыуихьо* «Прозрачная река» < *пс-* + *уихьо* ‘прозрачная, чистая’; *Псебе (Псибе)* – адыг. *Псыбэ* «Многоводная (река)» < *пс-* + *бэ* ‘много’.

б) *Туансэ* «Две реки» (*ту* ‘два’ + *пс-*), однако есть и иные версии, возводящие этот корень к роду *Туо*; *Шенци* – адыг. *Щэпсы* < *щэ* ‘молоко’ или *шэ* ‘сто’ + *пс-ы*, т. е. «Молочная река» (по оттенку воды?) или «Сторечная» (по множеству притоков); *Псебепс* – адыг. *Псыбэпс* < *Псыбэ-* (см. выше) + *пс(ы)*; *Псекупс* < *Псэкьу* (предположительно, восходит к древнему этнониму «Река псаков») + *пс-*; *Хашупсе* «Река рода Хашу» < *Хашу* (адыгейское имя) + *пс-ы*; *Маконсе* – адыг. *Мэкьупсы* «Сенная река» < *мэкьу* ‘сено’ + *пс-*.

В других названиях рек присутствует разговорный русский суффикс *-(ин)к-*, прибавляемый к черкесскому корню: *Сочинка*, *Туапсинка*, *Гунайка*, *Мамайка*, *Анапка* – от *Анапа*, где *анэ-* ‘стол’ + *пэ-* ‘нос; начало; устье; край’ – по форме мыса, напоминающего край круглого стола (греч. *Горпинния*, генуэз. *Мара* (или *Mararium*), тюрк. *Бургуркала*).

Вторая группа названий отражает характерные особенности местности: р. и пос. *Джубга* – адыг. *Жьубгьу* «Долина ветров», «Место, где свободно гуляет ветер» < *жьыу* ‘ветер’ + *бгьу* ‘грудь, берег’ (однако, по мнению Дж. Н. Коккова [АЧЭ, 2006, 704], этимология неточна); *Пиада* «Место, окутанное туманом» < *пцэ* ‘туман, облако’ + *ды* ‘застилать’ (другая версия – от *пшы* ‘князь’ + аланск. *дан/дон* ‘вода, река’); *Псейтук* «Место, где растет черноклен» < *псеи* ‘черноклен’ + *тыку*

‘угол, место’; р. и пос. *Мацеста* – адыг. *Мэшлонсы* < *мэшо* ‘огонь’ + *пс-*, по названию целебного источника с горячей водой; *Хоста* – адыг. *Хьонсы* < *хьо/кьо* ‘свинья’ + *пс-*; *Домбай* < тюрк. *домбай* ‘зубр’ – название, подтверждающее былую распространенность на Кавказе зубров.

Третья группа гидронимов воспроизводит названия племен и отдельных родов, проживавших по берегам рек: *Джанхот*, *Дагомыс*, *Лоо*, *Сочи*, *Шахе*, *Шансуго* и др. В *Аше*, по мнению ученых, можно уловить связь с этнонимом *ашо*, которым абхазы называют абазин; *Небуз* (*Нибу*) «Низина», но также близко к названию шапсугского рода *Нибо*; *Агой* – от названия адыгейского племени *гуйе*; *Ордане* – от адыгейского названия готов – «великий, сильный, могучий» (в Абхазии встречается фамилия *Вардания*, в долине Кодори имеется с. *Варда*). Названия рек *Джанхот*, *Дедеркой* даны по фамилиям бывших владельцев земель, прилегающих к этим рекам. *Дагомыс* возводят к названию убыхского рода *Дагомук* и восстанавливают форму *Дагомыс* – «Река Дагомукowych». Гидроним *Шансуго* сохраняет название наиболее могущественного племени адыгов, занимавшего значительную территорию СЗК; большинством исследователей оно переводится как «живущие у моря» (*щипсеун* ‘обитать, жить’ + *хы* ‘море’).

Второй тип причерноморских топонимов черкесского происхождения – о и к о н и м ы. Они или повторяют гидронимный ряд, являясь результатом трансонимизации, традиционной для данного типа наименований (*Аше*, *Абрау*, *Анапа*, *Джубга*, *Дагомыс*, *Джанхот*, *Маконсе*, *Пиада*, *Псеуихо*, *Сочи*, *Туапсе* и т. д.) или даны по другим признакам (например, название крупного аула *Ходжико* – адыг. *Хьаджы* < *хаджи* ‘человек, побывавший в святой Мекке’ + *кьо-* ‘долина’).

Особое внимание привлекает топоним *Сочи*, часто повторяемый в современных массмедийных текстах в связи с предстоящей олимпиадой. По мнению Е. М. Поспелова [2007], название «восходит к гидрониму *Сочи* из адыг. *шача*, *шъача* – наименование одного из местных племен». За этими скупыми и не совсем точными строками (что значит «одно из местных племен»?) стоит история убыхского народа. Убыхи занимали земли Черноморского побережья от р. Шахе до р. Хосты, а центром их территории был как раз район современного Сочи. Более точную этимологию данного топонима приводит Дж. Н. Коков: «*Шъачэ*, *Шъашэ* – адыгские формы наименования Сочи – курорта на Черном море. По проживавшему здесь до 1864 г. убыхскому субэтносу *Сача*, *Саша*. На берегах Соче или Саче находится селение того же названия» [АЧЭ, 2006, 473]. Река Сача (Саша) известна и под названием *Сочилсы*.

Возвращение косовских адыгов во время югославского конфликта в 1998 г. на историческую родину обусловило появление нового топонима – названия аула *Мафэхабль* (*мафэ* ‘счастливый’ + *хабль* ‘аул’), построенного вблизи Майкопа специально для выходцев из Косово.

АЧЭ – Адыгская (черкесская) энциклопедия / Глав. ред. проф. М. А. Кумахов. М., 2006.

Поспелов Е. М. Иллюстрированный атлас мира. География мира: Новейший топонимический словарь. М., 2007.

Namitok A. Origines des Cicassiens. Paris, 1939.

Передача ладинографических онимов в русских переводах: современное состояние, проблемы и задачи научного сообщества

Начиная с 1990-х гг. в русскоязычных средствах массовой информации господствует ономастический хаос: иноязычные онимы (прежде всего – личные имена людей, но нередко и различные топонимы, и названия народов и языков) передаются по-русски в соответствии с личными прихотями невежественных журналистов, сочинителей и редакторов. Наиболее вопиющее положение складывается (в силу известного уровня авторов) на телевидении, в периодической печати и в Интернете, в особенности – в спортивных программах и комментариях, но не обошли эти тенденции стороной и публицистику, научно-популярную сферу (в особенности в связи с малограмотными переводами иностранных фильмов, энциклопедий, географических атласов и т. п.), проникают они и в научную литературу, и в официальные документы.

Эта ситуация становится год от года все более нетерпима, прежде всего потому, что вносит полную неразбериху в тексты, в результате чего возможность идентификации того или иного персонажа, народа, страны зачастую просто отсутствует. Нескольكو примеров только из сообщений с последней олимпиады: турок *Русту*, он же *Рекбер* (= *Reçber Rüştü* [Реджбер (имя) Рюшту (фамилия)]), китайка *Го Вен-жунь*, она же *Го Вэньюн* (= *Guo Wenjun* [Го Вэньцзюнь]), японка *Каори Ихю*, она же *Кэори Ичо* (= *Kaori Icho* [Каори Имэ]). Мало помогает здесь и используемая в Интернете и некоторых печатных изданиях практика указания в скобках ладинографического имени – поскольку при этом, в соответствии с латентной англоязычностью пишущей братии, часто опускаются диакритические знаки и таким образом только вносится дополнительная путаница: например, турецкое имя *Ялчин Кючуж* (верно! = *Yalçın Küçük*) сопровождается лагинской формой *Yalcin Kucuk* (взятой, видимо, с какого-то англоязычного сайта), которая, будучи прочитана в соответствии с правилами турецкой орфографии должна быть передана как *Ялджин Куджук*.

Активные пользователи Интернета и читатели периодики и научно-популярной литературы, т. е. прежде всего – школьники и студенты, практически живут в этой дикой псевдоязыковой среде, оказывающей разрушительное воздействие на формирование картины мира молодого поколения. На таком общем фоне совсем не удивляет, например, появление в студенческих рефератах таких «библейских» онимов, как *баиня Бабеля* (= *Вавилонская баиня*) или *Джудит* (= *Юдифь*).

За прошедшие десятилетия ономастического беспредела в русском языке сложился целый пласт некорректных иностранных заимствований, особенно в области маркетинговой терминологии (вероятно, самая запущенная сфера русского языка на сегодняшний день). Уже вполне привычны такие слова, как японская электроника *Шиваки* (= *Shivaqi*, ср., например, правильное *Мицубиси* вместо окказионально употреблявшегося *Мицубиши*), китайские автомобили *Джилли* (= *Цзили*) или немец-

кое пиво *Лёвенбрау* (= *Лёвенброй*). Особенно ужасающие примеры можно найти в более специализированных сферах – ср. названия сортов чая только из одного буклета дорогого чайного магазина: *Ин Джен* (= *Yin Zhen* [Инь Чжэнь]), *Мао Джунан* (= *Мао Jian* [Мао Цзянь]), *Хсиу Кью* (= *Xiu Qu* [Сю Цюй]) и т. д. Давно устоялось, к сожалению, абсолютно неудобоваримое название *оолонг* (= *wulong* [улун]), происходящее от неграмотной английской транскрипции китайского слова, но зачем же множить подобные монструозные сущности?

Речь идет отнюдь не о забавных казусах или безобидных плодах случайного творчества одичавших менеджеров: происходит чудовищное засорение русского языка и обольванивание читателя. Примитивные, созданные по плохо понятым правилам чтения английских слов, транскрипции онимов открывают дорогу примитивным английским синтаксическим конструкциям типа «*Ленор*»-*полоскание* (= *полоскание с «Ленором»*), *палаццо де Джудичи*, *Флоренция* (= *палаццо / дворец Джудичи во Флоренции*), *фестиваль Корпус Кристи* (= *праздник Тела Господня*) и т. д. В конечном счете, именно отсюда же идет и мутный поток замечательных «неологизмов» типа *нивеахеакеа*, *мерчандайзер*, *франчайзинг* и под.

Причины этого печального положения разнообразны, и со многими из них грамотные люди ничего поделать не могут (прежде всего – тесно связанные друг с другом общее одичание населения, развал образовательной системы, повсеместное преподавание с малых лет английского языка как первого и единственного иностранного, умирание гуманитарной науки). Однако некоторые действия предпринять все-таки можно. Во-первых, вероятно, следует подумать о ревизии старых советских стандартов и правил и о создании нового пакета справочных пособий – и не только потому, что большинство таких правил были сформулированы около полувека назад и естественно не могли не устареть, но и потому, что многое изменилось в мировой экономике, политике и культуре, и актуальными стали языки, которым раньше в отечественной литературе не уделялось особого внимания. Например, в справочнике Р. С. Гиляревского и Б. А. Старостина предлагается передавать валлийское *dd* (фонетически [ð]) русским *т* (писать, например, *Гвинет* = *Gwynedd*), что было, может быть, приемлемо в 1960–70-е гг., до развития в нашей стране кельтологических штудий и современной кельтомании, но сегодня отринута самой жизнью (ни один из переводчиков валлийской литературы не использует такого написания).

Во-вторых, имеет, вероятно, смысл при подготовке переводчиков и преподавателей иностранных языков в вузах читать курс прикладной ономастики. Как показывает опыт этой работы, студенты вполне осознают необходимость такого курса, задачей которого является порой не столько научить будущих переводчиков правильной транскрипции, сколько обозначить само существование этой проблемы – для большинства моих студентов, например, это оказывается совершенно неожиданным открытием.

Вероятно, координационным центром такой работы мог бы стать Институт русского языка РАН, он же, в рамках программ по развитию русского языка, мог бы поставить необходимые для решения обозначенных здесь проблем вопросы (например, внесения изменений в соответствующие образовательные и иные стандарты) перед государственными органами России.

С. Небжеговска-Бартминьска
Люблин (Польша)

Два опыта этнолингвистического синтеза: московский словарь славянских древностей и люблинский словарь стереотипов

Принято говорить о двух этнолингвистических школах, возникших на славянской почве, – о московской школе Никиты Ильича и Светланы Михайловны Толстых и о люблинской школе, сосредоточенной вокруг Ежи Бартминского. В обоих центрах – московском и люблинском – ведется работа по созданию этнолингвистических словарей – *Славянских древностей* (СД, М., 1995, 1999, 2004, 2009) и *Словаря народных стереотипов и символов* (*Słownik stereotypów i symboli ludowych* – SSiSL, Lublin, 1996, 1999), задуманных как синтез народного знания о человеке. Эти труды обнаруживают не только значительное сходство, но и различие. Общим является антропологический подход: в поле исследовательских интересов всегда присутствует человек как носитель языка и представитель определенного общества (этноса и типа ментальности). Оба словаря используют три типа данных – диалектные, фольклорные и этнографические, стремясь при этом к их синтезу и реинтерпретации. Различия касаются сферы и более общей направленности: SSiSL является словарем, который ограничен польским культурно-языковым пространством, в то время как СД базируются на материале всей Славии. SSiSL нацелен на полное описание понятия, а СД выявляют прежде всего культурно значимые смыслы, прочие же во внимание не принимаются. SSiSL вписывается в когнитивно-антропологическое направление этнолингвистики, а следовательно, этнолингвистики в ее лингвистическом понимании, СД же относятся к направлению диалектологической и этимологической этнолингвистики, понимаемой в то же время семиотически.

Словарь народных стереотипов и символов представляет собой попытку реконструкции традиционной картины мира и человека, нашедшей отражение в польской народной традиции, языке, фольклоре, верованиях и обрядах, а также в системе ценностей, которая является ключом к познанию культуры, а значит, и определенного отношения к миру, особой ментальности и поведения. Базовыми единицами описания в SSiSL являются «семантические корреляты», стоящие между словами и предметами, иначе говоря – народные представления о предметах, доступные через данные, заключенные в языке и тексте [Bartmiński, 1996, 9]. Они имеют стереотипный и символический характер. Словарь демонстрирует ономаσιологический и идеографический подходы (от предметов и их образов к номинациям). В SSiSL применяется особый тип дефиниции, так называемая когнитивная дефиниция, главной целью которой является описание восприятия «предмета» говорящими на данном языке, выявление знания о мире, закрепленного в обществе и познаваемого через язык и использование языка, особенностей категоризации явлений действительности, их характеристики и оценки. Такого рода дефиниция направлена на выявление всех устойчивых признаков, создающих языковой образ предмета. «Суждения о предмете», имеющие языковую

форму предложения или его текстового эквивалента, сгруппированы в блоки, называемые фасетами. Выделение и расположение фасет должно отражать сознание носителя исследуемого языка и культуры. Экспликация содержит в форме дефинирующих предложений устойчивые характеристики, которые получает предмет словарной статьи в народной традиции и которые позволяют реконструировать его культурно-языковой образ. Документирующая часть включает цитаты (или их резюме) из народных текстов, расположенные в соответствии с жанрами фольклора – от малых фольклорных форм через песни, народную прозу, записи верований и обрядовых практик до произведений крестьянской поэзии. Как правило, контексты сопровождаются формулировками мотивов, изложенными метаязыком исследователя или в форме цитат. Источниками материала являются как современные записи, сделанные большей частью во время полевых исследований, так и письменные источники, отражающие состояние фольклора и народной культуры в XIX в. и раньше.

С л а в я н с к и е д р е в н о с т и – это этнокультурный словарь. Его целью является реконструкция целостной картины мира, традиционной духовной культуры славян, их космологических и мифологических верований и представлений. Задачей словаря является объяснение основных культурных категорий, а также экспликация народных стереотипов и ценностей. Предметом описания являются единицы «языка культуры», надстроенного над естественным языком (их «реальная» форма и символическое содержание), независимо от того, в какой форме и субстанции они выражены – в слове, действии, веровании или с помощью предметного кода. Описание словарных единиц ведется в направлении от «формы» к понятию и функции. «Реалии в широком смысле <...> являются в нем объектом толкования; их названия – компонентом формальной характеристики, а семантика и функции – компонентом содержательной дефиниции» [Толстые, 1995, 8]. Структура словарной статьи зависит от категории, к которой принадлежит заглавная единица; таким образом, действия описываются иначе, чем предметы, а действия и предметы – иначе, чем люди. Словарные статьи общего и частного характера имеют одинаковую структуру, при этом статья общего характера задает некоторую рамку, позволяющую поместить в ней каждый конкретный факт. Словарные статьи частного характера опираются на общие статьи как в содержательном, так и в формальном отношении. Источниками материала являются прежде всего данные XIX и XX вв., т. е. полевые материалы, а также письменные источники, в особенности диалектные словари и атласы. Речь идет главным образом о языковых фактах (этимологический анализ отдельных слов и целых групп лексики), этнографических (описания обрядов, обычаев, верований, народного искусства), реже – фольклорных текстах. Предполагается, что эти последние привлекаются только тогда, когда они необходимы для характеристики обрядовых и мифологических элементов. География словарных материалов охватывает весь славянский мир.

Bartmiński J. O „Słowniku stereotypów i symboli ludowych” // Słownik stereotypów i symboli ludowych / Koncepcja całości i redakcja: J. Bartmiński. Lublin, 1996. T. 1. Kosmos. Cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. S. 9–34.

Толстые Н. И. и С. М. О словаре «Славянские древности» // Славянские древности. Этнолингвистический словарь: В 5 т. / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1. С. 5–14.

**Лексика культурного ландшафта: микротопонимы,
включающие народные географические термины
(на материале произведений писателей,
связанных с Костромским краем)**

Ряд произведений А. Ф. Писемского, А. Н. Островского, С. В. Максимова, Е. В. Честнякова и других писателей, чья жизнь или отдельные этапы творчества связаны с Костромским краем, являются ценным материалом для изучения лексики культурных ландшафтов Костромской области. Они дополняют и уточняют те данные, которые собраны в полевых условиях и содержатся в картотеке Костромского областного словаря (ККОС).

Значительный пласт подобной лексики составляют микротопонимы, включающие народные географические термины и являющиеся частью того географического пространства, которое называют культурным ландшафтом (КЛ). Отражая особенности местной народной речи, микротопонимы характеризуют рельеф местности – природный и обусловленный деятельностью человека – и, вместе с тем, сами обладают яркими этнокультурными характеристиками. Микротопонимы маркируют одушевленное человеком окружающее пространство и одновременно репрезентируют его образ.

Эта связь микротопонима с образом КЛ и значение имени географического объекта в языковом сознании человека подмечена А. Н. Островским и представлена в комедии «Дикарка». В пьесе даются три имени одной и той же части парка в усадьбе Ашметьевых. *Кокуй* в пьесе – исконное географическое название, понятное и нужное крестьянину в его жизни: *Это место по древности, от старых людей – Кокуй называется*. Прообразом Кокуя, по словам А. И. Ревякина, послужила «небольшая деревенька Кокуйки в четыре дома, находившаяся в трех-четырех километрах от Щелькова...» [Ревякин, 1978, 170]. По данным СРНГ, «название многих деревень. Собственно означает выселок» [14, 103]. Однако в пьесе А. Н. Островского Кокуем именуют не деревню, а, судя по ремарке, возвышенное место (или рощу, располагавшуюся на возвышенности). В народных говорах известно и такое значение слова *кокуй* – ‘высокое место, горка, холм’ [Полякова, 161]. В «Словаре народных географических терминов» Э. М. Мурзаева зафиксированы термины *кокуй* и *кукуй*. Первое слово означает в центральных черноземных областях перелесок, в Забайкалье – выселок, в Пермской области – поле, кладбище, в Кировской – малоплодородный участок с песчаной почвой [Мурзаев, 283]. Второй термин толкуется как «небольшая лесная роща, колок среди открытых степных ландшафтов», в молдавском языке – небольшая возвышенность, холм [Там же, 310]. Во всех говорах значение термина связано со значимой для мировосприятия деревенского жителя характеристикой КЛ.

Однако народное *Кокуй* оказалось ненужным в новом образе культурного ландшафта, искусственно, согласно моде, создаваемом владельцами поместья. При этом каждый из них отстаивал свой вариант имени столь примечательной природной особенностью усадьбы. Сысой Панкратьевич, старый слуга Ашметьевых, вспоминает: *Когда покойный барин... рошу под парк оборотили, так и беседка тут была построена, и строгий был приказ от барина всем, чтоб это самое место «Миловида» прозывалось; а барыня, напротив того, желали, чтоб беспреренно «Бельвю».* Новые имена, как не имеющие смысла в крестьянском мире, были отвергнуты мужиками: *Ну, а мужики, помилуйте!..* – восклицает старожил барской усадьбы, – *им не вобъешь в башку-то, разве с ними возможно. Они и теперь всё Кокуй да Кокуй.*

В «Сказании о Стафии – Короле Тетеревином» Е. В. Честнякова имена географических объектов дают героям возможность определить свое местоположение и найти путь даже на незнакомой территории: *Тут и есть она (дорога. – Г. Н.) близко... через Пуп; С Пуна... пошел к ключику...* Микропоним *Пуп* – типичное обозначение возвышенностей в Костромском крае (Кадыйский, Судиславский, Солигаличский, Чухломский р-ны и др.). Если географический термин *пуп* известен в говорах различных областей России (например, в Пермском крае это ‘выпуклая поляна в лесу’ [Полякова, 322], в Среднем Поволжье – ‘возвышенное место’ [Мурзаев, 466]), то ареал лексемы *шабала* в значении ‘гора, высокий, крутой берег’ [Ганцовская, 86], ‘возвышенное место, горка’ [ККОС], также представленной у Е. В. Честнякова: *И увидел ручеек, как вся шабала... покрылась цветами («Ручеек»),* – ограничен Кологривским районом Костромской области. Микропоним *Шабала* зафиксирован в стихотворении «Я вижу с Шабалы домашнюю картину...» и в «Сказании о Стафии...» (*Стафий сначала летел не столь быстро: полминуты над Шабалой, полминуты над склоном горы...*), что также соответствует реалиям.

Почти вся территория Костромского края низменна. Любая возвышенность на фоне такого рельефа, как правило, имеет название. В произведениях писателей в таком качестве, пожалуй, наиболее частотное слово *гора*. Обратим внимание на одно из значений этого географического термина – ‘верх оврага’, представленное в книге «Лесная глушь» С. В. Максимова (*Тишина в овраге была невозмутимая. <...> Я поднялся... на гору*) и в произведениях Е. В. Честнякова – сказке «Ручеек» (*Дальше течет он (ручеек. – Г. Н.) между двух гор: на одной деревня стоит, на другой – старая часовня...*) и в «Сказании о Стафии – Короле Тетеревином» (*То – изба али то – баня / у оврага на горе; Ручеек течет прохладный / По оврагу под горой...*). В «Ручейке» верх оврага носит имя – *Михайлова гора* (в ур. Шаблово сохраняется до настоящего времени): *Ручеек вытекает из колодца под Михайловой горой; ...худенький да маленький, едва переливаясь под снегом, чуть-чуть слышит, как ребята кричат на Михайловой горе, на коньках да на санках катаются; Под Михайловой горой ходит скотина – вязко и грязно, набросаны разные палки.* С Михайловой горой связан весь путь ручейка, для него это ориентир-доминанта. Через восприятие ручейка читатель наблюдает за изменениями Михайловой горы, которые представляют картину жизни деревни в течение года. Созданный Е. В. Честняковым художественный образ КЛ полностью соответствует образу реального КЛ деревни Шаблово, в которой жил писатель.

Представленные в художественных произведениях, микротопонимы не только показывают значимость топонимического пространства в языковой картине мира деревенского жителя, но и активно участвуют в создании образа культурного ландшафта.

Ревакин А. И. А. Н. Островский в Щельковке. 2-е изд, испр. и доп. М., 1978

Л. В. Непоп-Айдачич
Киев (Украина)

Значение этимологических данных для реконструкции польского языкового образа цветов

Бесспорным является тот факт, что названия цветов в польском, как и в других языках, имеют разное происхождение. Многие номинации, будучи общеславянскими или собственно польскими, мотивируются основами, которые и сегодня принадлежат к активной лексике, что позволяет прочесть этнолингвистическую информацию, заключенную во флорониме, путем выявления причин возникновения лексико-семантической производности. Таким образом можно восстановить связь между внешним сходством формы цветка колокольчика и колокола в польском названии *dzwonek* или между неодинаковой окраской лепестков и существующей в польском языковом сознании ассоциацией с братом и сестрой (подкрепленной легендой) в синонимических названиях *bratki*, *brat z siostrą* ‘анютины глазки’ и т. д.

В настоящем докладе мы рассмотрим случаи деэтимологизации и заимствования, затемняющие мотивированность флорономинаций.

1. Пол. *kocanki* ‘цмин песчаный’ является производным от ласкательной формы слова *kot* [Spółnik, 1990, 80]. Сегодня эта связь стерлась и выявление мотивированности названия (отражающего признак пушистости растения) затруднено. Деэтимологизация характерна также для пол. *dziewanna* ‘коровяк’ (от псл. **divizna* < **diviti* ‘блестеть, яснеть’ [Там же, 66–67], по цвету лепестков растения). Пол. *macierzanka* ‘тимьян обыкновенный’, скорее всего, восходит к более раннему *macierza duszka* [Там же, 77–78]. Название мотивируется ароматом растения (от *duch* ‘запах’) и его лекарственными свойствами (от органа, на который оказывалось воздействие: *macica* ‘матка’).

2.1. Некоторые флорономинации-кальки утратили связь с иноязычным образцом в результате языковых преобразований на польской почве. Например, пол. диал. *laniuszki*, *lanki* и ранние пол. *lanysz*, *lanoszka* (‘ландыш’) – производные от ст.-пол. *lanie uszka* – букв. «ушки оленя», являющегося калькой лат. *auricula cervi* [Sławski, 4, 47–48; ЕСУМ, 3, 190].

2.2. Адаптированные заимствования несут в себе скрытые этнолингвистические данные. Например, пол. *konwalia* (< *konwalijum* от лат. (*lilium*) *convallium* ‘ландыш’ (букв. «пилия долин»)) [ЕСУМ, 2, 547; Sławski, 2, 442–443] информирует о месте

произрастания цветка (в долинах) и его внешних признаках (похож на лилию). Эти свойства подчеркиваются также польскими (калькированными) соответствиями латинского словосочетания: *lilia padolna* – букв. «лилия долин» [Linde, 2, 590; ЕСУМ, 2, 547; Siawski, 2, 442–443]; *polna lilia* – букв. «полевая лилия» [Spólnik, 1990, 26].

2.3. Явление многократного акцентирования важных для образа растения качеств в параллельно функционирующих собственно польском и заимствованном наименованиях представлено многими примерами: пол. *dzwonek* ‘колокольчик’ (от *dzwon* ‘колокол’ на основе сходства формы цветка) – пол. *kampanula* ‘колокольчик’ (лат. *campanula* от *campāna* ‘колокол’); пол. диал. *bocianie noski* ‘герань’ (от *bociani nos* ‘журавлиный нос’ < *bocian* ‘журавль’, из-за длинных, острых плодов, похожих на журавлиные носики) – пол. *gerania, geranium* ‘герань’ (через лат. *geranium* из гр. *γέρανιον*, от *γέρωνος* ‘журавль’) [ЕСУМ, 1, 497] и др.

3. Можно предположить, что чертой, мотивирующей отнесение лексемы *karafijol* к садовой гвоздике (*Dianthus Caryophyllus*), является сильный аромат (ср. лат. *Caryophyllus aromaticus* ‘гвоздичное дерево’) [см.: Непоп-Айдачич], но утрата живой смысловой соотнесенности названия с мотивирующим признаком привела к его использованию по отношению ко многим растениям, поэтому пол. *karafijol* воплощает сплетение представлений о самых разнообразных растениях [см.: Brückner, 219].

Этимологический анализ собственно польских и общеславянских флорономий, утративших живую связь с мотивирующими основами, позволяет выявить этнолингвистически важные сведения о чертах цветов, являющихся основными компонентами их языкового образа. Если речь идет о разного рода заимствованиях, то представленные в иноязычных лексемах признаки становятся составляющими польского языкового образа цветов в том случае, если они вербализируются также средствами польского языка. При утрате этимологии заимствованных флорономий вследствие отсутствия собственно польских соответствий, закрепляющих представление о данной черте растения, а также мифологическо-легендарных переосмыслений названия чаще всего происходит разрыв связи между денотатом и лексемой.

Непоп-Айдачич Л. В. Стереотип гвоздики в польском языке и культуре // Этноботаника. М., в печати.

Spólnik A. Nazwy polskich roślin do XVIII wieku. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1990.

С. Е. Никитина
Москва

Этноконфессиональная лингвистика?

Словосочетание *этноконфессиональная лингвистика* может быть понято в двух смыслах. Можно считать, что это область славянской этнолингвистики, которая исследует специфические языковые стереотипы, связанные с религиозной сферой. Так, вопросники по народному православию являются необходимым

инструментом этнолингвистических исследований православного населения славянских стран. Однако можно считать, что этноконфессиональная лингвистика занимается описанием всех языковых проблем этноконфессиональных групп, и в этом случае поле деятельности лингвистов несколько меняется. С одной стороны, оно, казалось бы, существенно расширяется по двум причинам: во-первых, по проблематике, во-вторых, по объекту, поскольку этноконфессиональными группами называются любые сообщества, определяющие себя как этнос по своей конфессиональной принадлежности. Это духоборцы и молокане, противопоставляющие себя русским, т. е. православным русским («Мы не русские, мы особая нация»), хотя в большинстве своем и духоборцы, и молокане – этнические русские; меннониты – последователи учения монаха Менно Симмонса, среди которых есть и голландцы, и немцы. Этноконфессиональные группы есть и в мусульманстве, и в других мировых религиях. С другой стороны, из фокуса внимания этноконфессиональной лингвистики во втором ее понимании выпадают лингвоконфессиональные проблемы разных этнических групп какой-либо страны, где есть доминирующая конфессия, например православная, к которой эти этнические группы принадлежат. Чаще всего этноконфессиональные группы, называвшиеся ранее сектами, являются своеобразными маргиналами в стране, где доминирует другая конфессия. Существенно, что большинство этноконфессиональных групп естественным образом включается в пространство традиционной народной культуры.

И в том, и другом варианте осмысления предлагаемого названия совокупности задач двух этноконфессиональных лингвистик в большой степени пересекаются. Однако существует некоторая специфика этноконфессиональной лингвистики во втором варианте понимания. Она связана с тем, что именно этноконфессиональные группы имеют ряд специфических признаков, таких как особый для каждой группы баланс между замкнутостью и открытостью, обостренное самосознание, стимулирующее сознательное строительство и осмысление своей культуры; самодостаточность, т. е. отсутствие необходимости и потребности в регуляции духовной жизни извне; эсхатологическая ориентация. Все это накладывает мощную печать на конкретные проявления повседневной жизни, на традиции, составляющие культуру, стимулирует создание конфессиональных текстов, особого речевого этикета и оригинальной конфессиональной терминологии, использующей разные языковые источники. Рассмотрим несколько терминологических примеров на материале языка молоканской культуры.

В южнорусских диалектах, которые являются языком молокан, есть глагол *кстить* – фонетический вариант глагола *крестить* в литературном языке. Молокане отрицают водное крещение, но совершают обряд над младенцем с участием пресвитера, с чтением молитв, называя этот обряд *кщением* в противоположность православному *крещению* («Мы не крестим младенца, мы кстим его. Когда кстят, ангелы записывают в книгу жизни»). При этом идея воды в молоканском обряде остается, но *воды живой* – очень любимого молоканами новозаветного понятия, которое понимается как образ благодати, Христовой спасительной любви; поэтому *некщеньый* младенец называется *неумытым*, или *неомытым*. Чаще всего это бывает, когда ребенок родился вне молоканского брака: это великий грех, и старцы

отказываются *кстить* младенца: «Старики должны собраться и *имя положить* на человека; *неумытый* – значит, не помолились за него. И их <неумытых. – С. Н.> нет в числе *избранных*. А когда вырастут, нельзя допускать к *святому лобзанию* <обряд прощения. – С. Н.>. И нет на них благословения».

Обостренное самосознание стимулировало активную герменевтическую деятельность по толкованию священных текстов, эсхатологическая милленаристская ориентация молокан привела к созданию молоканским пророком Максимом Рудометкинским учения о тысячелетнем царстве, идея которого есть в текстах пророка Исаяи и в Апокалипсисе. Появилось слово *поход*, по-видимому, заимствованное из языка казаков, которые общались с молоканами-прыгунами. Слово было переосмыслено. Главным *походом* молокан называется поход духовный – духовное очищение перед скорым концом света для перехода в тысячелетнее царство на земле, названное *убежищем*. Убежище же, по представлениям молокан-прыгунов, будет недалеко от горы Арарат. Это название вводит нас в молоканское топонимическое пространство, также пронизанное конфессиональными смыслами. Неслучайно молокане-прыгуны Армении не хотят уезжать из своих родных мест – их держит священная гора Арарат, великая гора, на которой находится ковчег и на которую спустится небесный Иерусалим, под которой будет располагаться территория будущего тысячелетнего царства Божия на земле. Нужно заметить, что почти все молокане и духоборцы – недавние переселенцы из Закавказья в Россию – заражены топосной (или топонимической?) ностальгией, сопрягающей в себе тоску по оставленным местам, их именам и связанным с ними преданиям и надеждам.

Специфика этноконфессиональных культур состоит, в частности, в том, что они образуют не сплошные территории, но массу отдельных точек на карте – в силу вынужденных многочисленных миграций. Прежде чем приступить к составлению карт, подобных этнолингвистическим (например, лексическим картам названий конфессиональных ролей, имеющих территориальные синонимы), необходимо составить карту всех поселений конкретной этноконфессиональной группы – а для таких групп, как старообрядцы или молокане, это будет карта не одной страны, но практически всего мира.

Т. М. Николаева
Москва

Город: аура имени

В текстах – как устных, так и письменных, – названия городов бывают окружены некими характеристиками, которые, в большей или меньшей степени, формируют образ города, независимо от того, бывал в нем носитель данного языка или нет. Разумеется, квалификация городов бывает самой общей, см. деление В. Н. Топоровым древних городов на две группы: Город-Блудница и Город-Дева. Города-Блудницы – это древний Вавилон, Рим; Города-Девы – это обычно средневековые

города-крепости. Отсюда В. Н. Топоров выводит такие понятия, как «овладеть городом» (Город-Дева) и Раз-врат (распахнутые ворота Города-Блудницы).

Однако характеристики связываются и с конкретными *Nomina loquens*. Так, Киев известен как «Мать городов русских» (что несколько иронически обыгрывается в старом «Сатириконе», поскольку род имени и род характеристики не совпадают); все знают, что «Одесса-мама» и т. д. Но есть и номинации более нетривиальные. Так, изучение переписки А. С. Пушкина (его письма и письма к нему) позволило мне обнаружить последовательную синтаксическую разницу в позициях Москвы и Петербурга. Москва – это, как правило, актант, субъект: *Москва стара стала; Москва сплетничает о тебе* и под. Петербург же – это локус, обстоятельство места: *В Петербурге наводнение; В Петербурге говорят* и т. д. В известной степени это различие сохраняется и до настоящего времени.

В советское время дружественную по отношению к СССР страну называли полностью: Болгария, Чехословакия, Северная Корея и под.; недружественную – по ее столице: *Вашингтон заявляет...; Париж отвечает Лондону* и т. д.

Можно предположить, что внимательный анализ текстовых характеристик того или иного города может составить его семантический «имидж», в той или иной степени к нему близкий или даже далекий.

Б. Островский
Краков (Польша)

Балтийская и славянская метеорологическая лексика: семантические различия и сходство

Метеорологическая лексика принадлежит к древнейшему пласту «обыденного» словарного состава любого языка, ведь человек испокон веков ежедневно вынужден был сражаться с явлениями и обстоятельствами природного мира. Климатические и неразделимо с ними связанные метеорологические условия заставляли людей не только наблюдать природные явления, но даже прогнозировать на их основании будущее. Все эти факторы позволяют уже заранее выдвинуть убедительный тезис о том, что словарный состав современных (в том числе славянских и балтийских) языков богат лексическим материалом из области метеорологии.

Задачи настоящего доклада:

1) определить общие по структуре балто-славянские слова, получившие во время становления и развития языка (или группы языков) метеорологические значения, и проанализировать пути их семантической эволюции (совместной или самостоятельной), указав сходства и различия;

2) обратить внимание на общие в семасиологическом плане тенденции переосмыслений нетождественных по структуре метеонимов в языках балтийской и славянской групп (иногда в сопоставлении с данными других индоевропейских языков).

Ниже в качестве иллюстрации приводится лишь один пример. Полный материал, его анализ и заключительные выводы представлены в докладе.

Интересные изменения в семантическом плане наблюдаются в родственных по происхождению лексемах: литов. *dangùs* ‘небо’ и некоторых славянских континуантах праслав. **doga*. Литовское слово посредством чередования корневого гласного связано с глаголом *dengiù, deñgti* ‘прикрыть, накрыть’ (отсюда также *dangá* – вначале в абстрактном значении действия по глаголу *dengi*, позднее в конкретизированном: ‘что-либо покрывающее; крышка, покрытие, покрывало’ > ‘одежда’: метеорол. ‘снежный покров, снежный занос; засыпанная снегом поверхность’). Таким образом, следовало бы считать, что первоначальным значением литов. *dangùs* было более широкое ‘покров, свод’, которое впоследствии подверглось специализации (т. е. сужению семантического диапазона) и стало лишь метеорологическим термином, обозначающим ‘небесный свод, небо’. В. Смочинский приводит структурно-семантическую параллель из нем. *Himmel* м. ‘небо’ < **hem-ila*, производного от корня **ket-* ‘прикрыть, заслонить, заволочь’ [Smoczyński, 92] (ср., кстати, рус. *туча заволочла солнце*).

Соединительным семантическим звеном между данными балтийской и славянской языковых групп является латыш. *dañdžis*. Его значение – ‘колесный обруч’ – находится в непосредственной связи с болг. *дъга* ‘сегмент круга, полукруг, искривление, загиб’, белор. диал. *дугá* (*дуга ў возя*), рус. *дугá* ‘дуга, лука, что-либо дугообразное’, польск. *dęga* (XVI в., возможно, из укр. *дугá*) ‘дуга, полукруг’, в.-луж. *duha* ‘то же’ и др. Известное всем славянским языкам переносное, метеорологическое значение ‘радуга’, развившееся по модели: ‘дуга, искривление; дугообразный предмет’ > ‘радуга’ – и возникшее, по всей вероятности, еще в эпоху общеславянского единства [ср.: SP, 4, 192–195; ЭССЯ, 5, 98–99], имеет соответствия в других языках, ср. лат. *arcus* ‘дугообразный предмет’ > ‘лук (разновидность метательного оружия, предназначенная для стрельбы стрелами)’ : ‘радуга’.

Приведенный языковой материал свидетельствует о различных путях семантического развития слов, восходящих к общей балто-славянской форме. Несмотря на то, что исходный пункт один и тот же, этапы собственного внутреннего развития привели к образованию лексических единиц, не совпадающих по своему значению, хотя и имеющих одну область применения (метеорологическая терминология): с одной стороны, это усвоенное литов. *dangùs* значение ‘небо – пространство над поверхностью Земли’, с другой стороны – присущее всем славянским языкам значение ‘радуга’ у слов, восходящих к праслав. **doga*. Следует указать и на так называемую точку соприкосновения, которой в нашем материале является латыш. *dañdžis* ‘колесный обруч’. В этом языке нет реальных следов развития ни в литовском, ни в славянском направлении, хотя метеорологическая семантика закреплена в приставочном глаголе той же структурно-семантической группы – *sadingti* ‘промерзнуть, отвердеть, одеревенеть, окоченеть’.

Е. Палинчуц
Краков (Польша)

Языковая интерференция в именах поляков из Кишинева и его окрестностей в XIX–XX веках

Доклад посвящен языковой интерференции в именах поляков, проживавших и проживающих в Кишиневе и его окрестностях в XIX–XX вв. (на территории современной Молдавии – бывшей Бессарабии). Источниками материала являются: метрические книги римско-католической приходской церкви Божьего Провидения в Кишиневе с 1822 по 1910 г.; именной список поляков, проживающих в Кишиневе и его окрестностях в 1863 г.; собственные имена, собранные на двух кладбищах в Кишиневе, а также список людей польского происхождения, проживающих в настоящее время на исследуемой территории. Большая часть материала записана кириллицей. В докладе представлена история польско-молдавских контактов, с учетом истории заселения поляками территории нынешней Молдавии, роли Римско-Католической Церкви, различных польских организаций, институтов образования, политической жизни и т. д.

В именах поляков из Кишинева и его окрестностей в XIX–XX вв. показаны восточнославянские черты, в частности, сильное влияние русской и украинской фонетики. В докладе выявляется специфика функционирования имен польского населения в многоязычной, мультикультурной и многонациональной среде в настоящее время; влияние румынской культуры на антропонимикон польского населения, а также затрагивается проблематика, касающаяся полиименности и мотивов именования. На основе материалов метрических книг за указанные годы XIX и XX вв. демонстрируется популярность отдельных имен. Будут представлены варианты формы имени – польская и восточнославянская, иногда румынская, относящиеся к одному и тому же человеку. На основе изложенного материала также обсуждается вопрос национального самосознания польского населения, проживающего на территории Кишинева и его окрестностей в XIX–XX вв.

С. В. Панченко
Екатеринбург

Хантыйские лексемы в русских письменных источниках 1870–1930 гг. как дополнения к словарю хантыйского языка В. Штейница

Лексика хантыйского происхождения, собранная в экспедициях и зафиксированная в русских письменных источниках 1870–1930 гг., задолго до создания словаря хантыйского языка В. Штейница, является ценным материалом в свете ареальной

© Е. Палинчуц, 2009
© С. В. Панченко, 2009

лингвистики, этимологии, диалектологии и лексикологии хантыйского языка. Все сведения из источников, дополняющие «Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache» [DEWOS], можно классифицировать по следующим группам:

I. Новые диалектологические данные:

1. Фиксация лексемы в другом говоре диалекта, указанного в словаре: *танке-дур* «нашейник», Демьянка, Ниж. Иртыш ~ ирт. *tāŋkə* ‘белка’, *tür* ‘горло’. Ср. в.-дем., кр.-яр. *tāŋkə-tur* ‘воротник из беличьих хвостов’ [DEWOS, 780, 1464].

2. Фиксация лексемы в диалекте, соседнем с указанным в словаре: *тылос* «месяц», Вах. Ср. тр.-юг. *tjɫəs*, юг. *tjɫəs* ‘месяц’ [DEWOS, 1430].

3. Фиксация лексемы в отдаленном по территории диалекте другой группы: *нярьюх*: «...из молодых черенков тала (нярьюх)», ю. Войкар ~ обд. *ńár* ‘свежий’, *juç* ‘дерево’ (сев. диал.). Ср. вах., вас. *ńár-juç*, тр.-юг. *ńárəy-juç* ‘свежее дерево’ [DEWOS, 1076, 331, 1077] (вост. диал.).

II. Новые фонетические данные.

III. Новые лексические данные:

1. Слова, не зафиксированные в DEWOS: *пыдывеш* «Черный яр», Назым. Ср. каз. *piti* ‘черный’, каз. *wεš*, бер. *veš* ‘лицо’ [DEWOS, 1135, 1596].

2. Слова, семантически отличающиеся от приведенных в DEWOS: *сорнидуд* «...мы называем северным сиянием», Обд. < сын. *srñii* ‘золото’, *tūt* ‘огонь’, т. е. букв. «золотой огонь». Ср. каз. *torəm-tūt*, обд. *torəm-tut* ‘северное сияние’ [DEWOS, 1373, 1420, 1421], букв. «божественный огонь».

3. Лексемы с очевидным статусом заимствования в русском узусе, не представленные как таковые (т. е. без пометы «рус. диал.») в словаре В. Штейница: *вантеп*, *урак* – ‘сушеная рыба’ (р. Конда).

Рассмотренные факты свидетельствуют о возможности расширения сведений об ареале употребления слов в сравнении с материалами, представленными в словаре В. Штейница, помогают в дальнейших разноуровневых реконструкциях и сопоставлениях.

Ф. Ш. Пашаева
Баку (Азербайджан)

К этимологии турецких фамилий

Национальные системы фамилий развивались в различные эпохи и при различных исторических, географических, экономических, культурных и социальных условиях. В Турции не было фамилий еще в начале XX в., а для различения людей употреблялось родовое прозвище или имя отца. Семантика существующих фамилий очень разнообразна. Можно выделить следующие группы.

1. Самым обычным способом было образование фамилий со словами *oğlu* ‘сын’ и *soy* ‘род, семья’, т. е. «сын того-то» или «относящийся к определенной семье».

Патроним мог обозначать имя отца (*Aslanoğlu, Alioğlu*), его социальное положение (*Ağaoğlu* – «сын господина», *Köylüoğlu* – «сын крестьянина»), профессию (*Balkçioğlu* – «сын рыбака») или прозвище (*Kahramanoğlu* – «сын героя»). Со словом *soy* употребляется название рода (*Aksoy*). В этом же значении употребляется окончание *-lar, -ler*. Если отец имел прозвище *İrgöz* («крупные глаза») или у членов семьи были крупные глаза, то они могли получить фамилию *İrgözlüler* – «имеющие крупные глаза».

2. Другая многочисленная группа – фамилии, производные от обозначения профессий. В турецком языке подобные именованья чаще всего образуются при помощи окончания *-ci*: *Demir* ‘железо’ – *Demirci* «кузнец», *Gemi* ‘корабль’ – *Gemici* «капитан», *Katur* ‘скот’ – *Katırcı* «скотовод» и т. п. Многие названия профессий были заимствованы из арабского и персидского языков. От таких слов фамилии образовывались без традиционного окончания *-ci*: *Terzi* «портной», *Nalbant* «кузнец», *Kasap* «мясник».

3. В основе многих фамилий лежат прозвища (*lakab*), которые обозначают внешние и внутренние качества носителя: *Deli* («сумасшедший») *Mehmed, Uzun* («высокий») *Hasan, Şişman* («толстый») *Ahmet, Bıyıklı* («усатый») *Hafız, Dertli* («несчастный, озабоченный») *Rifat, İnce* («нежный, вежливый») *Filiz*. Самая длинная и комичная фамилия, образованная на основе прозвища, отмечена в книге Анны Марии Шиммель: *Uzunağaçaltındayatarıuyuroğlu* «сын человека, который лежит под высоким деревом и спит» [Schimmel, 1992, 55].

4. Многие турки брали фамилии, связанные с названием их города, деревни, местечка, откуда они родом или живут в данный момент: *Şehirli* «житель города» – *Köylü* «житель деревни»; *İzmirli, Karamanlı, Denizli, Karşı, Karatepe*. Возможно использование в функции фамилии названия города или гидронима без суффикса: *Karadeniz, Akdeniz, Mersin, Aras, Taşkent, Çivril, Anadolu*.

5. Так же часто турки стремились выразить в фамилиях свою гордость от принадлежности к турецкому народу. Возможно, по аналогии с фамилией *Atatürk* возникли многочисленные фамилии со словом *türk*: *Bentürk* «я турок», *Şentürk* «веселый турок», *Türker* «турецкий мужчина» и мн. др. Кроме слова *türk*, в основе фамилий могли быть лексемы, указывающие на название племени, народа, национальности: *Hilal Selcuk, Fazıl Oğuz, Kerem Afşar, Kemal Şentürk, Tulay Özbek, Hikmet Uygur, Turgut Arapoğlu, Aylin Kürdoğlu* и т. п. Одной из особенностей турецких фамилий является наличие в их составе слова *öz* ‘сам’, которое встречается очень часто: *Aynur Öz, Celal Özdoğan, Can Özşahinoğlu, Mustafa Özcan, Mehmet Özülker, Fehreddin Öztoprak, Haluk Öztürkatalay, Ertuğruk Özkek, Melik Özyetkin* и др. Немецкий онимаст Л. Рюбеккайла называет такую модель именования «отноцентрическим самоименованием». В подобных моделях используются лексемы с общей семантикой ‘человек’, ‘мы’, ‘свои’, ‘сам’. По мнению Л. Рюбеккайла, никакой другой тип номинации не может считаться более универсальным, чем этот [Rübekeil, 2004, 758].

6. Слова, обозначающие названия небесных тел, часто становились основой или элементом фамилии: *Gök* «небо», *Gün, Güneş* «солнце» или «день», *Günalp, Güner* «солнце-человек», *Yıldız* «звезда», *Yıldızbaş* «звезда-голова», *Altınıyıldız* «золотая звезда». Аппеллятив *ay* ‘луна’ является компонентом не только многих личных имен, но и фамилий: *Türel Ay, Süleyman Bolay* («полная луна»), *Kenan Türkey* («турецкая луна»).

7. Фамилии могли образовываться от лексем, обозначающих объекты и явления природного мира: *Sevda Ateş* («огонь»), *Sezen Su* («вода»), *Ilyas Toprak* («земля»), *Ayşe Bulut*, *Hakkı Bulut*, *Yıldırım Akbulut* («облако»), *Mehmet Yıldırım* («молния»), *Mahmud İşiğ* («свет»), *Ayşe Ayaz* («мороз»), *Şeref Boran* («метель, вьюга»), *Yalcın Deniz* («море»), *Can İrmak* («река»), *Ziya Pinar* («источник») и др.

8. В турецкой антропонимии существуют некоторые апеллятивные единицы, которые повторяются во многих фамилиях и служат основой для образования новых фамилий: *kaya* 'скала, гора' – *Ertuğrul Kaya*, *Şükrü Kayalar*, *Müharrem Sarıkaya*, *Mehmet Karakaya*, *Hasan Küçükaya* и др.; *taş* 'камень' – *Recep Taşdelen*, *Hayran Altıntaş*, *Dursun Karataş*, *Nurcan Demirtaş*, *Kürcan Dağtaş* и др.; *demir* 'железо' – *Müharrem Demir*, *Metin Demirağ*, *Celal Demirbilek*, *Narmin Demirel*, *Dilek Demirkıran*, *Emin Özdemir*, *Yalçın Aydemir* и др. Выбор в качестве основы фамилии номинаций скалы, камня и железа свидетельствует о склонности подчеркивать посредством фамилии твердость, мужество и силу ее носителя.

9. Одним из наиболее частых элементов тюркских фамилий являются различные цветообозначения. Особое место занимают белый, черный, желтый и красный цвета.

10. Нередко фамилии образуются и от названий растений и животных: *Ceviz* «греческий орех», *Basak* «колос», *Bugday* «пшеница», *Gülcan* «душа роз», *Gülbahar* «весна роз», *Gülbol* «достаточное количество роз», *Bingöl* «1 000 роз», *Şahin* «сокол», *Ceylan* «косуля», *Bozkurt* «серый волк» и мн. др.

Rübekeil L. Stammes- und Völkernamen // Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Hamburg, 2004. S. 743–772.

Schimmel A. Herr Demirci heißt „Schmidt“. Türkische Namen und ihre Bedeutung. Köln, 1992.

О. А. Пашина
Москва

Принципы номинации песен в русской народной традиции

Одним из актуальных направлений в отечественной музыкальной фольклористике является составление словарей народной певческой терминологии, включающих и местные названия песен. Собранный в разных регионах материал позволяет выявить принципы номинации песен, т. е. определить, какие признаки (из многих) выбираются носителями традиции для их обозначения. При этом обнаруживается некоторая корреляция между способом именования песен и их жанровым (с исследовательской точки зрения) статусом.

Обрядовые песни (календарного и жизненного циклов) могут определяться:

1) по названию ритуала (*свадебные, хрестьбинные, вьюнишные* и пр.) и/или отдельных его частей (*пропошские, дявишницкие, обжинские* и др.);

2) по ритуальному действию (*кумильные, посевальные, дразнилки, повивальные* и др.); в этой группе нередки предикатные (*дразнить, корить*) или предикативно-объектные обозначения (*зукать весну, серьги закидывать, загадки загадывать* и т. п.);

3) по ритуальному предмету (*венковские, бородные, каравайные, ёлушныи* и пр.);

4) по обрядовому персонажу (*русальные, кукушка* и др.);

5) по обрядовому или социальному статусу адресата (*невестины, сиротские, холостые и женатые винограды* и т. п.);

6) по местоположению в структуре обряда (*сборная/разборная, первая/последняя*).

Песни, участвующие в структурировании годового круга (календарно-обрядовые, хороводные, приуроченные лирические), часто определяются терминами с семантикой времени: 1) по сезонам (*весняные, летние, осенние, зимние*); 2) по праздничным периодам календаря (*святковские, масление* и т. п.); 3) по празднику, часто доминантному в обрядовом комплексе (*великодные, троецкие, духовские* и т. п.); 4) по постам (*петровские, великопостские, филипповские, говеевские* и т. п.).

К этим названиям примыкают обозначения, связанные с хозяйственной деятельностью человека, поскольку виды труда обычно закреплены за определенными календарными периодами: 1) номинации по объектам хозяйственной деятельности (*коровские, яринные, льняные, ржаные, овсяные, картофельные, ягодные* и т. п.); 2) номинации по видам труда (*жнивные, покосные, толочные* и пр.).

В качестве дополнительных к такого рода песням часто применяются обозначения с локативной семантикой: *улишныи, луговые, полевые, лесные* и т. п.

Песенно-хореографические жанры (хороводные и плясовые песни), как правило, получают номинации по типу движения: *походячие, кружальные, скакальные, круговые, кривульки, утушныи* (от *ходить утушкой*) и т. п., – но также и по ситуации, в которой они исполняются: *игрищныи, вечерошныи, гульбишныи*.

Лирические неприуроченные (протяжные, с большими внутрислоговыми распевами) песни обозначаются отглагольными прилагательными с семантикой ‘тянуть’, ‘растягивать’, ‘тащить, волочить’, ‘длиться’: *тяглые, растяжные, волоковые, долгие, продольные* и т. п.

В качестве дополнительных определений используются следующие:

1) по социальной среде бытования или профессиональной принадлежности исполнителей: *бурлацкие, ящицкие, солдатские, рекрутские, казачьи* и т. п.;

2) по хронологическому (стадиальному) положению песен: *бывалошныи, до-сюльные, колишныи, давёшныи, мамыские* и *новые, недавние, советские*;

3) по вызываемому песнями эмоциональному состоянию: *сердцебитные, горюшныи, кручинные, жалкие* и т. п.;

4) по содержанию песен: *жизненные* (т. е. отражающие типичные жизненные коллизии), *волжьи, расставальные* и т. п. Хотя такие определения чаще всего касаются лирических протяжных песен, они могут применяться и к песням других жанров. Например, *божественными* или *молитвенными* песнями иногда называют духовные стихи, а *страдными, грешными* – плясовые песни с непристойными текстами.

Целый ряд определений связан с особенностями строения поэтических текстов песен, а также с их сугубо музыкальными характеристиками. Песни могут называться:

1) по поэтическому рефрену: *лалын, слава, ладо, виноградье, ляушки, лялейки, аллешные, майские* (по рефрену «Маю, маю, маю зеляно!») и т. п.; чаще всего такие названия имеют обрядовые и хороводные песни;

2) по инципиту: *Маиша, Стрела, Реченька, Ночка* и т. п. (применяются к песням всех жанров);

3) по структуре поэтического текста: *длинные* (сюжетные), *короткие* (по типу частушек);

4) по темпо-ритму: *редкие* (медленные, протяжные) и *частые* (быстрые, плясовые), *глубокие* и *мелкие*, *тяжелые* (которые надо «подымать») и *легкие*. Две последние пары названий многозначны и включают в себя дополнительные смыслы, связанные как с содержанием поэтических текстов, так и сложностью или простотой музыкальной формы, что требует определенной затраты сил при их исполнении;

5) по диапазону: *крутые* (имеющие большой диапазон) и *пологие* (узкообъемные);

6) по характеру мелодии: *вилючие, извилистые* и т. п.

7) по наличию сольного подголоска: *голосные, проголосные, подводные* (от термина *подводка*, обозначающего особый вид подголоска);

8) по исполнительскому приему: *зуканки, зукальные* (песни с возгласом на определенный интервал в конце мелострофы).

Наконец, названия песен могут быть связаны с половозрастной дифференциацией исполнителей, за разными группами которых в народной традиции закреплены определенные жанры. В соответствии с этим песни делятся на *девичьи, муцинские, бабы, детские, старушечьи* и т. п.

И. П. Петлева
Москва

К этимологии рус. диал. *вотумелье*

Псковское наречие *вотумелье* ‘совсем, совершенно’ [СРНГ, 5, 161] не привлекало к себе внимания этимологов, хотя не является прозрачным образованием. При выяснении природы данной лексемы, очевидно, следует учесть наличие семантической модели ‘(разбить, раздробить... на) мелкие куски, осколки, частички’ → ‘совсем, совершенно, полностью, окончательно’: см., в частности, рус. *дрёбезги* ‘мелкие частицы разбитых предметов, остатки чего-л.’ [ЭССЯ, 5, 105], *дрёбезг: разбить(ся) в дрёбезги* ‘на мелкие осколки’ [Ушаков, 1, 707], *вдрёбезги* ‘на мелкие части, кусочки’ и ‘окончательно’ [Там же, 237], *вдрёбезги* ‘на мелкие части’ и ‘совершенно, полностью’ [Ожегов, 65]. Эта модель дает основание предполагать в наречии *вотумелье* корень *мел-*: см. др.-рус. *мѣль* ‘об измельченной массе (прах, пыль, песок)’, *мѣль* ‘что-л. измельченное, размолотое’ [СлРЯ XI–XVII, 9, 72, 82–83], рус. диал. *мель* ‘мелочь или мелкие вещи; мелкий скотский корм, мякина, оторье’ [Даль, 2, 316], *мель* ‘мелкие предметы’, *мел* ‘то же’ и ‘мякина’ и др. – из **měľь*/**měľь*, далее к *мелю, молоть* (**melti*). Связь наречия *вотумелье* с корнем *мел-* поддерживается

целой серией других лексем с тем же корнем и аналогичной семантикой: *вомелы́*, нареч. ‘в мелкие куски, на мелкие части, в клочья’ с примером: *поссориться вомелы́* ‘поссориться совершенно, окончательно’ [СВГ, 1, 82], *вомельень*, нареч. ‘полностью, целиком’ с контекстом: *В д р е б е з г и, вомельень корь-от съила валенок, – вокумель* ‘то же’ [СГРС, 2, 169–170, 146].

Особый интерес представляет приведенное в СРНГ в качестве существительного пск. *отумелье*, значение которого сформулировано здесь как ‘сенная труха’, однако приведенный контекст, где, как и в случае с наречием *вомумелье*, указанная лексема дается только в сочетании с *в* (*в отумелье*), по-видимому, позволяет истолковать слово и как наречие в значении ‘совсем, совершенно’: *Конь его* <сено> *стер в отумелье* [СРНГ, 24, 346]. Ср. аналогичный контекст при наречии *вомумелье* (отличие только в объекте, на который направлено действие: сено – змей): *Он* <конь> *его* <змея> *стер вомумелье* [Там же, 5, 161]. Учитывая эти факты, нельзя исключить предположение, что *отумелье* может быть вымышленным, искусственным образованием, появлению которого содействовало раздельное написание *в отумелье* во втором случае.

Что касается структуры наречия *вомумелье*, то ее префиксальную часть можно интерпретировать двояко – как *в-от-у-мелье* или как *в-о-ту-мелье*, т. е. в первом случае *в-* – приставка (из предлога), *-от-* и *-у-* – префиксы, во втором – *в-* (приставка ← предлог), *о-* – префикс, *ту-* – вставной элемент. Более правдоподобным представляется последнее объяснение, так как лексему *умелье* обнаружить не удастся, а реальность существования *отумелье* не является несомненной, тем более, что известно семантически близкое слово с префиксом *от-*, не осложненное вторым, дублирующим, префиксом *-у-*, – *отмелье* ‘обломки стеблей льна’ [СРГС, 3, 131: новосиб.]. В соответствии со второй версией, наречие *вомумелье* было образовано от сущ. *амелье* с одновременным присоединением вставного *-ту-*: см. *омелье* = *омелки* ‘костра’ [СГП, 310; НОС, 6, 168], *омелье* ‘отходы от стеблей льна, конопля, остающиеся после их обработки’ [СРГС, 3, 85: новосиб., омск.] и *обмелье* ‘оставшиеся на дне тары измельченные продукты; крошки’ [СГСРПО, 375] и далее см. еще *мелье́* ‘мелкие предметы’ [СРГК, 3, 221], которое дает возможность допускать образование от этого слова: *во-ту-мелье*. Относительно вставного *-ту-* (*-то-*, *-та-*) см. наши статьи в сборниках «Этимология. 1978» (с. 65–69), «Этимология. 1984» (с. 198–201), «Русская диалектная этимология» (Екатеринбург, 2002, с. 19–21), «Этимологические исследования. Вып. 8» (Екатеринбург, 2003, с. 32–37).

Приведенное выше наречие *вокумель*, как кажется, может служить примером параллельного употребления префиксов *-ку-* и *-ту-* (ср. *вомумелье*). Случаи такого параллельного употребления *-ко-* (*-ка-*) и *-то-* (*-та-*) в семантически идентичных или близких словах одного и того же корня см. в нашей статье в сборнике «Этимология. 1978» (с. 69).

Методические проблемы трактовки тюркских заимствований в этимологических словарях славянских языков

Вследствие появления новых диалектных источников, а также совершенствования этимологической практики этимологические словари «можно дополнять и поправлять бесконечно» [Фасмер, 1, 565]. Настоящая работа иллюстрирует этот тезис. В ней анализируются методические приемы обработки заимствований в славянских этимологических словарях на примере тюркизмов.

Этимологические словари отдельных славянских языков, кроме исконной лексики, составляющей центральную часть каждого лексикона, включают в свой словарь и многочисленные заимствования. Хотя методика этимологического анализа славянских лексем в данных словарях и различается в деталях, основной прием в сущности один и тот же – с помощью параллелей из других славянских языков и диалектов устанавливаются изоглоссы на (обще)славянском уровне и реконструируются более или менее надежные праславянские формы.

С другой стороны, к подаче и этимологическому анализу заимствований этимологические словари славянских языков подходят по-разному.

Будучи разнородной по происхождению и расслоенной на хронологическом и ареальном уровнях, заимствованная лексика требует более сложного подхода. Не только анализ грецизмов в деталях обязательно должен отличаться от анализа тюркизмов или романизмов, но и в рамках одной группы заимствований по-разному следует трактовать, например, грецизмы из сферы церковной терминологии и грецизмы, заимствованные непосредственно из народного языка.

Разумеется, выбор методических приемов при толковании заимствований зависит от конкретных исторических условий и географического распространения данного славянского языка. Время непосредственного взаимодействия данного славянского и тюркского языков в значительной мере определяет метод этимологического анализа, главными пунктами которого являются: определение непосредственного этимона, глубина его этимологического анализа и выбор параллелей из других родственных и неродственных языков. Проведенный анализ показывает, что именно в этих пунктах словари в наибольшей мере различаются между собой – как в отношении тюркизмов, так и в отношении других заимствований. Причина такого состояния кроется в отсутствии общепринятого (с теоретико-методологической точки зрения) способа лексикографического анализа заимствований. Поэтому авторы на основании собственного опыта выбирают те приемы, которые подходят к исследуемому материалу.

На примере тюркизма *балук* ‘рыба и т. п.’ в разных славянских этимологических словарях можно увидеть разнообразие способов обработки слова.

Брюкнер приводит русскую параллель, а этимон определяет как турецкий: «польск. *bałyk, bahuk* – старое турецкое название сушеной рыбы (в XII в. фиксирует-

ся название *kar baluk* в Крыму, откуда эта рыба появлялась в Царьграде); в настоящее время в польск. только *na baluku* или *na balyku chodzić* 'ходить на четвереньках', о неуклюжей походке'; такое выражение есть и у турок; русск. *balyk* 'stokfisz' [sic!]» [Brückner, 13].

Фасмер не уточняет, из какого тюркского языка заимствовано данное слово (на основании тюркской формы это не так просто установить), и не приводит параллелей из других языков: «русск. *балык* 'соленая и вяленая спинная часть рыбы'. Заимств. из тур., крым.-тат., азерб., кыпч., казах., караим. *balyk* 'рыба', алт., тел., леб. *palyk*» [Фасмер, 1, 119].

ЭСБМ приводит русскую и украинскую параллели, но, как и Фасмер, не определяет непосредственный тюркский источник: «блр. *балык*, русск. *балык*, укр. *балі́к* (с XVIII в.). От тюрк. (тур., крым.-тат., азерб. и др.) *balyk* 'рыба'» [ЭСБМ, 1, 297].

ЕСУМ приводит белорусскую, русскую и болгарскую параллели, а в отношении непосредственного этимона предлагает выбор между крымско-татарским и турецким языками: «укр. *балі́к* 'пров'ялена спинка риби', ст. *баликъ* (1759), русск., блр. *балык*, польск. [bałyk], болг. *балък*; заимствование из крымско-татарского или турецкого языка; крым.-тат. *balyk* 'риба', турецк. *balık* 'id.', ср. кирг., каз., тат., як. *балык*, узб. *балик*, аз., чаг. *балы*“, уйг. *белик*, алт. *палых*, чув. *нулă*» [ЕСУМ, 1, 127].

Аникин, как правило, не приводит параллелей из других языков, но определяет тюркский язык, из которого слово непосредственно заимствовано: «русск. диал. *балык*: *красна балык* 'горбуша' от якут. *balyk* 'рыба' < тюрк. **bālyk* (или *balyk*?). Ср. литер. *балык* < тюрк.» [Аникин, 115].

ЕРСЈ для сербского слова и его производных дает турецкий этимон и параллель только из болгарского: «серб. *бáлук* м. 'рыба', бот. 'рыбья трава, рыбий яд, плод растения *Anamirta cocculus*, используемый для травли насекомых, рыб и маленьких птиц', *бáлучити/бáлучити* импф. 'ловить рыбу при помощи балыка', *балу̀џија* м. 'рыболов', *балу̀џија*, *балу̀џиниџа* ф. 'рыбный магазин'. От турецк. диал. *baluk* 'id.', според *balık*, *balıkçı*, ср. болг. *балък*» [ЕРСЈ, 1, 132].

В случае балканско-славянских языков возникает проблема учета параллелей из других балканских языков и придания статуса балканизма определенным словам. Несмотря на то, что этот методический прием не описан теоретически, в этимологической практике он обыкновенно применяется. В докладе рассматриваются аргументы в пользу такого приема и особенности квалификации параллелей из остальных славянских и неславянских языков.

Особенности номинации предметов по признаку формы

Исследование номинативных единиц с семантикой «форма» в русском языке показало, что в сфере бытовой геометрии сложилась особым образом структурированная система эталонов форм, традиционных для русской культуры. Их очевидная мотивированность обусловлена закономерностями процессов номинации и познания, взаимосвязанность которых позволяет постигать последние путем изучения первых. Когнитивная, художественная и семантическая ценность, заключенная в образности этих номинативных единиц, создается через воздействие на умозрительное восприятие иллюстративного компонента их семантики.

Типология форм, отраженная в языке, существенно отличается от набора традиционных геометрических форм. Всего в русском литературном языке было обнаружено 137 эталонов формы, используемых для описания формы объектов. Из них 84 % выделены по принципу их сходства с каким-либо геометрическим эталоном. Они образуют 15 базовых типов формы, воплощающихся в том или ином варианте в образах различных предметов. Еще 16 % (22 эталона формы) представлено уникальными эталонами, которые являются самостоятельными типами.

Распределение эталонов форм, обнаруженных в литературном языке, по предметным сферам отождествления позволяет выявить наиболее значимые и разработанные сферы опыта с точки зрения типичного городского жителя. Структура данной классификации выстроена с учетом антропоцентрического принципа мышления и может быть представлена следующим образом: «Человек» – «Дом» – «Пространство вокруг дома» – «Природа» – «Внешний мир».

Рассмотренный материал иллюстрирует картину мира носителя современного русского литературного языка, которая в целом, учитывая выделенные сферы, выглядит достаточно традиционной. Соответствие ее современным условиям окружающего мира обеспечивается включением новых реалий, однако их появление вполне логично и предсказуемо.

Сфера «Человек» используется не очень активно, что объясняется спецификой самой описываемой реалии. Наиболее разработанной в рамках данной категории оказываются черты лица, поскольку голова является самой рельефной частью тела человека, к тому же именно к лицу обращено повышенное внимание окружающих. То же относится и к деталям одежды – 5 из 9 представленных эталонов являются головными уборами.

Обращает на себя внимание отсутствие традиционной сферы «Семья». Понятия из данной предметной области в силу своих особенностей чаще используются для описания структуры и иерархических отношений между ее частями.

Следует отметить детальную проработку сферы «Дом», внутри которой выделились логические части: «Детали строения», «Кухонная утварь», «Предметы домашнего обихода», «Предметы хозяйственного обихода» и «Другие артефакты».

Детали строения представлены весьма скупо. Можно сказать, что в сознании городского жителя закреплён не образ дома как такового, а совокупность вещей, его составляющих. С одной стороны, это можно объяснить тем, что внешне многоэтажный жилой комплекс значительно осложняет восприятие его как «своего» дома в полном смысле этого слова, а образ отдельной квартиры видится, как правило, изнутри, вместе со всеми предметами, находящимися в ней. С другой стороны, это подтверждает членимость и фрагментарность пространства в его обыденном понимании.

Следующей по разработанности можно указать сферу «Природа». В образах животных эталонами становятся либо (как и в случае с телом человека) отдельные части их тел, либо образ в целом, если животное небольшое, например, червь, мышь, змея или птица. Интересно отметить отсутствие домашних животных (лошадь в условиях городской жизни вряд ли можно отнести к таковым). Мир растений представлен потребляемыми в пищу фруктами и овощами, либо растениями, используемыми для изготовления каких-либо орудий (например, столб или палка).

Остальные области репрезентированы единичными примерами.

Действие принципа антропоцентричности в семантике формоописательных номинативных единиц проявляется, с одной стороны, в вербальной трансформации пространственно-геометрических характеристик реальных предметов, а с другой – в использовании в качестве источника лексики наиболее близких и освоенных сфер предметного мира.

Передача и закрепление особого видения мира в эталонах формы является одним из факторов, определяющих ценность заложенных в их основе образов. Другим фактором, обуславливающим ценность образности данных номинативных единиц, является творческий подход к задаче создания яркого выразительного образа, чему во многом способствует отсутствие категориальных ограничений. Такой образ является не просто семантически пустой предметной картинкой. Изображение, легко угадываемое в наброске, созданном всего несколькими штрихами, побуждает «зрителя» к самостоятельному достраиванию, пример которого мы можем видеть в анимированных мультфильмах студии Диснея, где героями становятся посуда, мебель и другие предметы домашнего обихода, а их облик вырисовывается на основе штрихов, подсказанных языком.

Номинативные единицы с семантикой «форма объекта» являются наглядным подтверждением лингвокреативного устремления субъекта номинации, анализ принципов и способов реализации которого позволяет глубже познать особенности процессов восприятия и познания и определить эффективные направления развития номинации.

Релятивные прозвища женщин в диалектной среде

В центре нашего внимания оказываются прозвищные наименования женщин, не относящиеся к сфере официального именования, бытующие в диалектной среде и содержащие отсылку к имени какого-либо родственника. Наличие отсылки позволяет считать такие именования релятивными. В основу доклада положен полевой материал, собранный на территории Архангельской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей сотрудниками ТЭ УрГУ.

Номинации женщин составляют самую большую группу среди релятивных прозвищ (в числе которых встречаются также обозначения мужчин и детей): на протяжении многих столетий женщина, в основном, играла второстепенную роль при мужчине (отце, муже, брате, деде и т. п.), из-за чего многие женские онимы возникали с отсылкой к мужскому антропониму.

Среди женских релятивов преобладают прозвища, образованные с **апелляцией к мужу**. В процессе номинации в этом случае могли актуализироваться имя мужа, его прозвище, профессия и социальный статус.

Самой частотной оказывается соотносимость с и м е н е м м у ж а. Процесс номинации может базироваться на различных формах имени (официальных/неофициальных, полных/уменьшительных), но с использованием лишь одного способа словообразования, а именно суффиксации. Так, женские релятивы, входящие в эту группу, возникают в основном при помощи суффикса *-иха*: арх. *Андрѣиха*, киров. *Прѡхориха* (от полных форм имен *Андрей*, *Прохор*), киров. *Андрѡшиха*, влг. *Ильѡшиха*, киров. *Павлѡшиха*, киров. *Тѡлиха* (от уменьшительно-ласкательных форм имен *Андрюша* < *Андрей*, *Ильюша* < *Илья*, *Павлуша* < *Павел*, *Толя* < *Анатолий*) и т. п. Кроме того, отдельные, крайне немногочисленные, женские релятивные прозвища образуются либо по модели притяжательных прилагательных (арх. *Афѡнькина*, арх. *Митѣкина*, арх. *Андрикова* и др.), либо выстраиваются по типу отчества, но отсылают не к имени отца, а к имени мужа (влг. *Лесимандровна* – муж *Лесимандр*, влг. *Артѡшишина* – муж *Артюша* < *Артеми*). Наконец, встречаются случаи, когда на прозвище, отсылающее к имени мужа, накладываются дополнительные мотивирующие факторы: например, киров. *Осѣиха* (жена *Осина*) мотивировано не только отсылкой к имени мужа, но и связью с зоонимом *оса* (в этом случае прозвище мотивировано признаком тонкой талии либо особенностями поведения – назойливостью или остротой языка).

Второй по численности оказывается группа женских релятивов, отсылающих к п р о з в и щ у м у ж а. В ней также превалирует словообразовательный тип связи между производящим и производным онимами: арх. *Дѣмиха* – муж *Дѣмко*, киров. *Карпуѣиха* – муж *Карп*, арх. *Мѡсиха* – муж *Мѡся* и др.). В этой группе активно используется принцип, в соответствии с которым при наличии у мужа прозвища, имеющего известную «женскую» пару, жена, как правило, получает

именно такой «парный» релятив: влг. *Бригадір* – *Бригадіриша*, арх. *Козёл* – *Козлу́ха*, влг. *Лёший* – *Лешачі́ха* и т. п. В этих случаях можно говорить о семантико-словообразовательной деривации. Семантически связанные прозвища жены и мужа могут образовываться от разных основ: арх. *Овца́* – муж *Барáн*, арх. *Вáженка* (сев.-рус. *ва́женка* ‘самка северного оленя, лань’) – муж *Олѐнь*, влг. *Кутерьга́* (арх., влг. *кутерьга́* ‘метель’) – муж *Морóзко* и др.

Женские прозвища, образованные с отсылкой к нарицательному обозначению профессии или социального статуса мужа, встречаются относительно редко, ср., например, арх. *Комисса́риша* (жена человека, который был комиссаром), влг. *Моря́чка* (*Мужик у ей моряком был* [Нюксенск. р-н, Алифино]). Показательно, что в некоторых случаях в прозвищном словообразовании используются модели, которые нетипичны для словообразования апеллятивного, ср. арх. *Геро́иша* (*Мужик у ей герой Советского Союза* [Верхнегоемск. р-н, Кузьминская]) (номинаторы выбирают имя *Героиха*, а не **Героиня*). В основу этой группы названий ложатся обозначения лиц по профессии или статусу, которые необычны для деревни, а потому обладают потенциалом для релятивности.

Женские релятивные прозвища, образованные с **апелляцией к отцу**, немногочисленны по сравнению с прозвищами, отсылающими к мужу, что обусловлено большей значимостью в жизни женщины фигуры мужа, нежели отца. В этой группе номинирование осуществляется с отсылкой к **имени отца** (арх. *Агафо́ниша* – отец *Агафон*, влг. *Васо́хина* – отец *Васюха* < *Василий*, арх. *Гри́ишчна* – отец *Гриша* < *Григорий* и др.) либо к **прозвищу отца** (арх. *Рогáлиха* – отец *Рогáль*, арх. *Парусі́ха* – отец *Пáрус*, влг. *Кори́уні́ха* – отец *Кóриун*, арх. *Окуні́ха* – отец *Окунь*, влг. *Королі́нка* – отец *Корóль*, влг. *Косты́лёвна* – отец *Косты́ль* и т. п.). Представленные здесь женские прозвища демонстрируют те же способы словообразования и номинативные особенности, что и релятивные прозвища от имени или прозвища мужа.

Среди женских прозвищных релятивов, бытующих на территории Русского Севера, отмечаются и прозвища, возникшие с отсылкой к **имени брата** (арх. *Алёши́на*), к **имени деда** (киров. *Петру́ниша*), к **имени деда мужа** (киров. *Ильчи́ёва*), а также к **имени матери** (яросл. *Клавде́ина* – *Мать у неё была Клавдия* [Пошехонск. р-н, Поповское]).

Народная демонология Закарпатья в этнолингвистическом аспекте (география ближайших параллелей)*

Народная демонология закарпатского региона Верховины представлена богатым набором персонажей, в той или иной степени соотносимых с южнославянскими мифологическими образами. При полевом обследовании трех близлежащих высокогорных сел Торунь, Титковцы, Прислоп, образующих своеобразный «куст» с единой системой народных мифологических представлений (экспедиция 2008 г., участники: А. А. Плотникова, Е. С. Узенёва), были зафиксированы сведения о следующих мифологических персонажах (МП): *dvodušnik*, *vowkun*, *litavica* (или *povitruľ'a*), *putnik*, *šarkan'*, *burivnik*, *domovyk*. Этот набор МП характеризует верховинский локальный культурный диалект и отчасти соотносится с отмеченными в опубликованных источниках данными.

Для каждого из выявленных типов МП определяются параллели либо в карпатском ареале, либо шире – в карпато-балканской зоне. *Dvodušnik* (демоническое существо с двумя душами: когда одна из них умирает вместе с человеком, другая продолжает жить и вредит людям) – наиболее характерный образ для зоны Карпат. Сама идея о существовании души вне тела в облике сверхъестественного существа очень распространена на Балканах (серб. *zmaјovit човек*, черногор. *zдухаћ* и др.), однако именно в карпатском ареале известны поверья о мифических существах с двумя душами (или двумя сердцами). Это также и ведьмы (закарп. *bosorkan'*), что имеет аналогии у балканских славян (серб., хорв. *veštica* может приносить вред людям во время своего ночного сна, когда ее душа покидает тело, чтобы пить кровь людей, душить их и т. п.).

Vowkun, или *vowkolak* (человек, способный обращаться в волка) в закарпатской Верховине оказывается центральным персонажем быличек, типичных для восточной части Южной Славии: актуализирован мотив узнавания женщиной мужа-«вовкуна» (Закарпатье) или мужа-«вампира» (восточная Сербия) по куску платья в зубах волка или собаки. При этом данный тип МП по своему основному признаку (способность обращения в волка) имеет как восточнославянские (полесские), так и румынские параллели (обращение в волка МП типа вампира).

Litavica (или *povitruľ'a*) – прекрасная женщина с длинными волосами, летающая вместе с ветром и доводящая до безумия мужчин, – как по характеристикам своего внешнего облика, так и по ряду других признаков (функции, места пребывания и т. п.) имеет много общего с южнославянскими женскими МП (серб., мак. *вила*, *самовила*, болг. *самовила*, *самодива*) и аналогичными румынскими (*iele*, *dinsele*, *frumoase*) и неславянскими балканскими МП (алб. *zanët*, греч. *Νεράιδα*).

* Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

Putnik, являющийся человеку в ночи на дороге в облике различных животных с целью сбить его с пути, – воплощение нечистой силы, дьявола (которого здесь также называют и *Oleksa u červonih gačah*) во многом аналогичен восточносербским ночным персонажам *oseňa, omaja*, сбивающих человека с пути. Появление как карпатских, так и балканославянских МП этого типа связывается с местонахождением около воды. Кроме того, мотив «чертовской свадьбы», возникающей и внезапно исчезающей в ночи, функция ночного катания верхом на человеке связывают демоническое существо *putnik* и с иными южнославянскими МП (*самодива*, «караконджула»), так или иначе представляющими собой ипостась нечистой силы.

Šarkan' – летающий змей, дракон (лексема венгерского происхождения) – известен практически всем карпатским народам и по функциям аналогичен южнославянским (серб. *zmaj, ala* и т. п.) и румынским МП (рум. *bălaur, hala*). То же относится и к человеку, называемому *burivnik*, которому приписывается мощь вызывать или останавливать град, бурю: аналогичные функции имеют западносербские МП *градобранитељ, облачар* и под. На Карпатах такой повелитель туч может выступать как предводитель летающего змея, приносящего непогоду (румынская и украинская традиции).

Особая ситуация с МП, называемым *domovuk*. Наименование МП связано с характерным для восточнославянского культурно-языкового континуума образом носителя домашнего богатства, патронажного демона, которого следует задабривать. Вместе с тем характеристики данного МП в закарпатской Верховине указывают на облик дьявольской силы, от которой невозможно избавиться, если ее обретишь (категория опасных для человека духов-обогатителей). Сам способ «добывания» домовика (вынашивание за пазухой яйца в предпасхальный период, с тем чтобы в церкви во время службы при словах «Христос воскрес» проговорить: «И мой воскрес»), связанный с преднамеренным обращением к нечистой силе, имеет прямые аналогии в соседних карпатских традициях (рум. *spiriduș*). Внешний облик духа-обогатителя, называемого *domovuk*, – небольшое животное, неприметное в доме (кошка, змейка, курица), – также соответствует ипостасям данного МП на Карпатах (западноукраинская, румынская, словацкая традиции).

Е. Н. Полякова
Пермь

Закономерности развития русской антропонимии Пермского края в XVI–XVIII вв.

1. Источниками изучения закономерностей развития пермской антропонимии XVI–XVIII вв. являются памятники делового письма разных жанров (имущественные, судебные, переписные и другие акты), отражающие именованья людей в официальных текстах и в живой речи.

2. Антропонимы говоров и складывающегося просторечия передавались в речи истцов, ответчиков, свидетелей в судебных документах («Евдокейка в окошке закричала *вотей де отпусти де меня евдокейку не я де крала тебя сестра моя тан(б)ка и мы де пропажу твою принесем де всю к тебе назад*») и в показаниях жителей Прикамья в текстах других жанров. Антропонимы официального языка представлены в памятниках в значительно большем количестве, чем именованья живой речи.

3. Официальная антропонимия в документах Пермского края складывалась под влиянием центральных документов, причем особую роль в этом влиянии играли переписные тексты: писцовые (1579, 1623 гг.), переписные (1647, 1678 гг.), дозорные книги (разных лет XVII в.), ревизские сказки (1711, 1762, 1782 гг.). В них последовательно представлено, как на протяжении трех веков вырабатывались нормы сложных именованний: от двучленного мужского антропонима в XVI в. к трех-, четырех- и иногда пятичленному в XVII в. и далее – к трехчленному именованию в XVIII в.

4. Под влиянием центральных текстов в Прикамье складывалась терминология, характеризующая каждый вид именованья: *имя, прямое имя* (календарное), *отчество, с отцы, прозвище*. В XVII в. слово *прозвище* было многозначным, им называли: 1) некалендарное имя; 2) личное именование, характеризующее человека по каким-либо его качествам, роду занятий, месту проживания в прошлом; 3) именование семьи.

Кроме обычного в деловом письме термина *прозвище*, при передаче показаний местных жителей использовались слова *прозванье, назвище и названье*: «Имени тому десятнику и *прозванья* он Григорей не ведает», «Федор по *назвищу* Томила Агафонов сын Носов». При редактировании показаний местных жителей («Ивашка по *назвищу* Добрая Корова») в официальных текстах их заменяли словом *прозвище* («Ивашка по *прозвищу* Добрая Корова»), т. е. писцы ощущали стилистику антропонимических терминов.

5. Несмотря на одинаковое, казалось бы, воздействие норм центральных текстов, на обширной территории Пермского края в разных уездах им следовали не совсем одинаково. Так, в переписной книге 1647 г. по вотчинам Строгановых слово *прозвище* последовательно обозначало некалендарное имя, записанное после календарного, в отличие от текстов других районов края (Чердынского, Соликамского, Кунгурского уездов), где такой последовательности нет.

6. Отмечаются следующие основные закономерности изменений имен в деловых памятниках Прикамья XVI–XVIII вв.

6.1. Распространенные в XVI – первой половине XVII в. наряду с календарными некалендарные мужские имена с середины XVII в. активно вытеснялись из официального антропонима календарными полными именами или их дериватами, а в конце XVII в. полностью ушли из официальных актов, хотя сохранялись в живой речи.

6.2. Женские некалендарные имена в исследованных памятниках не обнаружены. С XVII в. в текстах отмечаются именованья женщин на *-их(а)*, образованные от русских и нерусских имен и прозвищ мужей: *Терешиха, Королиха, Анасиха*.

6.3. Русские жители Пермского края находились в постоянном общении с коми и тюркским населением. Некалендарные мужские имена коми происхождения в тек-

стах XVI – начала XVII в. частично сохранялись без изменений («Крестьянин *Вилес Иванов*»), частично переводились на русский язык, хотя топонимы, образованные от этих же имен, сохраняли свою коми форму: «В деревне *Нырыб* крестьянин Иванко *Нос*» (коми *ныр* ‘нос’, *ыб* ‘поле’). Тюркские имена в русских сложных антропонимах пермских памятников XVI–XVIII вв. не обнаружены.

6.4. От полных некалендарных и календарных имен в живой речи образовывали большое количество дериватов, использовавшихся с XVI в. в качестве основных (первых) имен в официальных антропонимах, ср.: от некалендарного имени *Первый* дериваты *Первак*, *Первуша*, *Первыня*, *Первыша*; от календарного *Варфоломей* дериваты *Варушка*, *Варфоломейко*. К тому же возникали варианты полных календарных имен (*Варфолома*, *Вахромей*), от которых появлялись дериваты (*Вахромейко*, *Вахрушко*). В результате система дериватов оказывалась очень емкой.

6.5. Канонические имена в деловых документах фиксировались непоследовательно. Ими называли преимущественно служителей церкви («Села Говорливого поп *Иоаким* Васильев сын Собянин») и их детей, но иногда и посадских людей, и крестьян. В то же время церковников даже в переписных текстах именовали календарными и изредка некалендарными именами.

7. В пермских документах соблюдалась общерусская сословная система именований по отцу (на *-вич* или с термином *сын*). Однако, хотя именованья по отцу (отчества) в русском деловом письме с XVI в. были приняты только от календарных имен, в пермских текстах первой половины XVII в. отмечаются и отчества от некалендарных имен («Семенка *Вакорев сын* Туфтаев»). В частных письмах XVII–XVIII вв. по отношению к адресатам – посадским людям использовались отчества на *-вич* («*Ивану Ивановичю*»), хотя в переписных текстах тех же людей именовали иначе («*Иван Иванов сын*»).

8. К первой четверти XVII в. относится начальный этап формирования семейных прозвищ в Прикамье, употреблявшихся далее на протяжении XVII столетия и ставших фамилиями жителей всех социальных слоев. Их появление обусловлено социальными и экономическими причинами. Фамилии в XVII в. возникали преимущественно из некалендарных имен и индивидуальных прозвищ, значительно реже – из календарных имен и их дериватов. В XVIII в. резко возрастает количество фамилий из полных календарных имен и их дериватов, чему способствовали изменения в деловом языке.

9. Изучение истории пермской антропонимии XVI–XVIII вв. позволило установить общерусские закономерности ее развития, роль делового языка в этом процессе и показать особенности становления русской антропонимии к концу XVIII в. на отдельной российской территории.

Топонимия Воронежской области в культурно-историческом аспекте*

В недалеком прошлом народы создавали пласты своих названий географических объектов, которые потом перекрывались другими. Теперь, рассматривая топонимы, мы выявляем следы пребывания разных народов и племен, живших на определенных территориях ранее. Ценным языковым индикатором часто служат гидронимы, как правило, иноязычные по своему происхождению. Для Центрального Черноземья таковыми являются названия рек *Дон*, *Алабушка*, *Усмань* и др. Позднее от них возникли отгидронимические ойконимы (с. *Донское*, с. *Малые Алабухи*, с. *Новая Усмань*).

Дальнейшая колонизация региона сказалась на характере географических названий. В XVII в. в названиях воронежских сел и деревень преобладали ойконимы, отражающие естественно-географические свойства объектов (*Ивница*, *Малое Терновое*, *Подгорная*), что говорит о слабом распространении крупного помещичьего землевладения в Воронежском крае того времени. Тем не менее данная лексико-семантическая ойконимическая группа содержит богатый диалектный материал (с. *Ендовище* – от *ендова* ‘котловина, яма, степное блюдце, округлая и циркообразная вершина оврага’). Отражены в ойконимах и слова, исчезнувшие из современного русского литературного языка (*Алешки*, *Луяги*, *Плота*, *Раменье*).

В конце XVII – начале XVIII в. началась активная колонизация «польской украины» Московского государства выходцами из разных регионов Российской империи, продолжавшаяся и в течение XIX в., давшая жизнь сотням новых хуторов, сел и деревень. Возникшие в тот период ойконимы несли в себе культурно-историческую информацию о своем времени. В них воплощены имена, прозвища или фамилии первопоселенцев, землевладельцев или членов их семей (д. *Александровка*, хут. *Артюхов*), этнические характеристики жителей (с. *Русская Гвоздевка*, с. *Черкасское*), сведения о хозяйственной деятельности, социальном составе населения и чертах быта (хут. *Атамановка*, хут. *Крестьянский*). В Воронежской области встречаются названия сельских населенных пунктов, топоосновы которых отражают типы и границы селений, виды построек (с. *Бутырки*, с. *Горенские Выселки*). Обилие ландшафтной лексики, характеризующей различные виды местности, а также названий типов поселений, орудий и видов производства, доказывает, что жители Воронежской области в прошлом занимались преимущественно сельским хозяйством и различными ремеслами.

Особое место в воронежской ойконимии занимают названия населенных пунктов, образованные от апеллятива или собственного имени религиозного характера. Массовое появление таких ойконимов в Воронежском крае отмечено в XVIII–XIX вв., когда церковь не была официально отделена от государства и поэтому имела ощути-

*Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 09-04-56402 а/Ц.

мый вес в общественной жизни дореволюционной России. При постройке церкви в населенном пункте, как правило, название православного храма становилось новым названием старого поселения. Прежнее название исчезало из официальных документов и с географических карт, но продолжало еще некоторое время употребляться местными жителями наряду с новым (*с. Александровка, Кленовое тож*). А имя церкви давалось по названиям религиозных праздников (*Благовещенская, Покровская*) или по именам святых (*Космодемьянская, Никольская, Петропавловская*). Все это привело к появлению множества повторяющихся ойконимов на карте региона.

В 1920-е гг. крестьяне создавали на неосвоенных землях сельскохозяйственные артели, товарищества по совместной обработке земли, коммуны, колхозы. Таким поселениям давались идеологизированные названия (*хут. Коммуна*). Позднее в связи с созданием колхозов и их укрупнением многие сельские поселения исчезли административно, но территориально слились с другими, более крупными населенными пунктами или были перенесены в другие места. Новые названия давались и уже существующим селам и деревням (*хут. Богомоллов – с. Краснофлотское*).

Е. В. Попова
Екатеринбург

Образ границы в советских патриотических песнях 30-х гг. XX в.

Граница – один из наиболее ярких концептов, который задает структуру для осмысления не только пространственной, но и иных понятийных сфер языкового мышления.

Граница, являясь некой точкой вечного социокультурного напряжения, в языковом отношении также предстает понятием, неоднократно подвергающимся разнообразным смысловым трансформациям. Понятие границы даже в условиях мирной жизни активно стереотипизируется. Она представляется такой категорией пространства в сфере политического дискурса, которая особенно привлекательна для пропаганды. В ситуации мира основной составляющей этого стереотипа становится статичность: пространство освоено и присвоено государством, его границы определены и теперь нуждаются в охране.

В плане иллюстрации особой отмеченности границы пропагандой мы приводим анализ контекстов советских песен военно-патриотического характера, сделанный на основе выборки текстов портала www.SovMusic.ru (30 песен, около 100 контекстов). Поиск осуществлялся по ключевым словам, причем важно было выявить не только непосредственные контекстные связи слова *граница* и его синонимов (речь здесь идет прежде всего о государственной границе), но также рассмотреть слова с семантикой предельности в контекстах, обусловленных идеологической конъюнктурой одного из наиболее заметных периодов в истории СССР – периода правления И. В. Сталина до начала Второй мировой войны.

Для осуществления анализа нами использовалось моделирование хронотопических структур текста с выделением топических, локативных и темпоральных характеристик, для каждой из которых особо отмечались атрибутивные элементы (типичные и нетипичные контекстные партнеры). Под топическими структурами текста понимаются такие номинации пространственных реалий, которые задают некий «пространственный фон» ситуации, т. е. являются участками уже присвоенного пространства (например: *наша страна, Родина, советская земля*). Локус при этом – конкретное место описываемых в тексте событий (в нашем случае все локусы так или иначе служат обозначением границы).

В рассматриваемых текстах можно выделить несколько идеографических сфер лексики, номинирующей топические элементы: 1) общие пространственные обозначения (*пространство, простор, край*); 2) пространственные космологические обозначения (*мир, земля, небо, солнце, звезда* – в соответствующих предлокопадежных конструкциях); 3) ландшафтные обозначения (*поля, леса, горы, степь, моря, океаны, острова* и др.); 4) социально-политические обозначения (*страна, край, Родина, Отчизна* и др.). Следует подчеркнуть, что все данные обозначения топоса имеют устойчивые атрибутивные характеристики, которые указывают с одной стороны, на высокую степень присвоенности данного пространства (дейктические атрибуты: *наш, мой*; атрибуты с семантикой ‘родной’ и, в особенности, с идеологической семантикой: *советский, большевистский, сталинский, пионерский, колхозный*), а с другой – на невозможность полного освоения этого пространства (атрибуты с семантикой высокой степени проявления признака: *бескрайний, широкий, необъятный, большой, высокий, глубокий* и др.). Последний факт, впрочем, имеет под собой прочное экстралингвистическое референциальное основание, что не исключает возможности языкового осмысления «своего» пространства через призму постоянной семантической экспансии («свое» потенциально стремится к расширению границ).

Собственно локативные элементы хронотопических структур текста, как было отмечено, представляют собой номинации границ и пределов заданного топоса. Эти номинации включают в себя не только апеллятивы с рассматриваемой семантикой, но также и имена собственные. В идеографическом плане мы наблюдаем явление изоморфизма между топическими и локативными структурами в рассматриваемых текстах, и, соответственно, выделяем для локусов пространственную (*граница, край*), ландшафтную (*берег, река* и др.) и социальную (*граница, пограничье, пограничная полоса, рубеж, кордон, высота, баррикада*) сферы, которые в контекстах зачастую представлены синкретично. Наиболее распространенными атрибутами обозначений границы также выступают притяжательные местоимения и идеологически окрашенные имена прилагательные. Семантическая экспансия «своего» пространства поддерживается атрибутом *дальний* применительно к границе. Граница, таким образом, осмысливается не как промежуток между «своим» и «чужим» пространством, но как потенциально осваиваемая часть «своего» пространства, она скорее входит в его образ и постоянно стремится к расширению.

Интересным представляется тот факт, что хронотопические структуры в изучаемых текстах нередко предстают в виде цельных пейзажных зарисовок; можно говорить о намеренной поэтизации образа «своего» пространства, что влияет на общий

мелиоративный пафос его воссоздания в массовом сознании. В данных пейзажных зарисовках зачастую и темпоральные элементы представляют собой номинации и атрибуции с семантикой предельности (*последний бой, последняя борьба; утро, заря* и др.) и промежутка, а также номинации длительности и постоянства процессов, происходящих на «границах» «своего» пространства (например, *день и ночь*, выступающие как контекстные партнеры), что влияет на осмысление данного пространства как освоенного и присвоенного «навсегда».

О. А. Постникова
Санкт-Петербург

Антропонимы с символикой богатства (на материале английского языка)

В каждую историческую эпоху в антропонимиконе – реестре личных имен – той или иной страны или культуры есть антропонимы-символы, в семантике которых присутствуют определенные национально-специфические, культурно-исторические или символические коннотации или импликации. Антропонимы-символы – это имена известных людей, политиков, актеров, певцов, музыкантов, библейских, мифологических и литературных персонажей, наделенных яркими характерологическими чертами. Содержание этих имен наполняется определенным набором признаков (образ жизни носителя имени, его поведение, внешность и т. д.), ассоциации становятся устойчивыми и социально значимыми для языкового коллектива. Оставаясь по форме именами собственными, такие антропонимы утрачивают в значительной мере признаки своей категории и становятся символами тех или иных качеств, характеристик людей.

В настоящее время символической стороне имени в лексикографических источниках уделяется недостаточно внимания. А между тем антропонимы-символы служат дополнительным источником для формирования подробных словарей активного типа, поскольку несут важную фоновую информацию.

Чтобы определить, какие имена в английском языке, а соответственно и в англоязычной культуре, символизируют богатство, был проведен анализ антропонимов, выбранных из отечественных и зарубежных словарей, и были выявлены критерии, которые позволяют причислить то или иное имя к антропонимам-символам.

Список исследуемых имен включает двадцать один антропоним: *Alexander Baring, Croesus, Daddy Warbucks, Dives, Bill Gates, Jean Paul Getty, Howard Hughes, Maecenas, Mammon, Midas, Monte-Cristo, John Pierpoint Morgan, Nibelung, Aristotle Onassis, Kerry Packer, Plutus, Rockefeller, Rothschild, Timon of Athens, Vanderbilt*.

В рамках исследования были проанализированы англоязычные толковые словари, словари персоналий, лингвострановедческие словари, словари синонимов, ассоциативные словари. Англоязычные толковые словари, отечественные и зарубежные лингвострановедческие словари дают лишь энциклопедическую справку,

содержащую основные моменты биографии лица, при этом в словаре редко дается указание на наличие коннотативного значения.

Анализ словарей синонимов показал, что антропонимы-символы есть в немногих словарях, в том числе «Oxford Compact Thesaurus» (2001), «Roget's Thesaurus» (2003), «Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms» (2005). Только в одном отечественном словаре были найдены антропонимы в словарной статье «Богач»: *Ротшильд, Крез* (книжн.). Это «Словарь синонимов русского языка» З. Е. Александровой (2007). В большинстве же словарей синонимов антропонимы-символы не представлены.

Антропонимы со значением 'богатый' есть также в ассоциативных словарях, что подтверждает устойчивость коннотаций антропонимов. Например, «Русский ассоциативный словарь» (2002) дает следующие реакции на стимулы: *богатство – Rockefeller, А. Смит* (1 реакция у 106 информантов), *богатый – Буратино* (1 из 101).

Имена, которые не встретились ни в одном словаре, были проанализированы согласно следующим критериям, разработанным на основе многочисленных примеров из англоязычных источников, словарей, текстов Интернета. Антропоним должен

– быть общеупотребительным, частотным (в современных художественных и публицистических текстах, текстах Интернета); в противном случае слово дается со стилистической пометой «устар.» или «книжн.»;

– функционировать в составе устойчивых сочетаний, фразеологизмов, пословиц, поговорок, сравнений;

– употребляться во множественном числе;

– выступать в синтаксических сочетаниях, несовместимых с обозначением единичных предметов: сочетание с артиклем, притяжательным, указательным, неопределенным местоимением или существительным в притяжательном падеже;

– употребляться в группе однородных членов предложения наряду с другими нарицательными существительными или прилагательными;

– участвовать в словообразовании (аффиксация, словосложение, сокращение, конверсия);

– иметь написание со строчной буквы.

Таким образом, из всех проанализированных имен антропонимами-символами богатства являются: *Croesus, Dives, Mammon, Midas, Rockefeller, Rothschild, Vanderbilt*; книжн. *Monte-Cristo, Morgan, Plutus*. В более узком значении используются следующие имена: *Daddy Warbucks* – богатый папа; *Maecenas* – щедрый покровитель литературы и искусства. Некоторые имена не получают подтверждения в современном употреблении: *Baring, Niebelung, Timon of Athens*. Остальные имена находятся в процессе символизации и со временем, возможно, станут символами богатства: *Bill Gates, Getty, Howard Hughes, Aristotle Onassis, Kerry Packer*.

Топонимия как материал для реконструкции нарицательной лексики говора

Многие географические названия созданы на базе нарицательных имен, поэтому в топонимии сохраняются территориально ограниченные слова, которые исчезли или находятся на пути исчезновения из нарицательной лексики говора. В топонимии употребляется значительное количество слов, которые не зафиксированы ни в словарях, ни в памятниках письменности. Не исключено, что некоторые из них выступали в роли русских географических или полеводческих терминов. В этом случае топонимия может быть источником лексических реконструкций. Субстратные географические названия для реконструкции географической терминологии широко используются А. К. Матвеевым, О. А. Теуш, И. И. Муллонен. При этом справедливо утверждается, что реконструкцией является любая интерпретация субстратного названия как восходящего к географическому термину [Теуш, 2005, 69]. Имеются примеры восстановления полеводческой лексики на базе наименований русского происхождения [Смирнова, 2001]. В качестве источника для реконструкции лексики говора в данной работе используются названия сельскохозяйственных угодий Пудожского района Карелии, извлеченные из документов Национального архива 1930–1950-х гг.

Следует отметить, что подобные реконструкции не являются надежными и обладают большей или меньшей степенью вероятности. Таковым признается восстановление названия для реконструированной ранее, но впоследствии утраченной [Теуш, 2005, 70]. Так, названия *Сябренница*, *Под Сябренницей* (д. Заломаева Гора, Отовозерский с/с) можно сопоставить с *сябра* (зап.) ‘сосед, товарищ, артельщик, пайщик, соучастник; знакомый, приятель’, *сябренья земли* ‘общего, мелкопоместного владения; купленные крестьянами сообща’ (стар.), *сябровщина* (кур.) ‘община одного селения, мир’ [Даль, 4, 383]. В пудожских говорах могло употребляться нарицательное **сябра*, *сябренница* ‘общая или общинная земля’. Названия *Кропивце Власьевых Поляна*, *На Кропивце Малых Поляна*, *Мистежных Кропивец* (Коловский с/с), отражающие исконное *о*, могут восходить к нарицательному **кропивец* ‘место, где растет крапива’.

Некоторые географические названия не имеют соответствующего апеллятива в говорах данной территории (или он не зафиксирован словарями), но бытуют в говорах смежных областей. В этом случае топонимы могут стать основой ареальных реконструкций. Так, названия *Глипаши Агеевых*, *Глипаши Алексахинных*, *Глипаши Терехинных* (д. Остров-Заречье, Кривецкий с/с) можно сопоставить со словом *глибáш* ‘твердый (засохший, мерзлый) ком земли, грязи и т. п.’, зафиксированным в вологодских говорах; в данном случае произошла мена *б* на *п* [СГРС, 3, 35]. Слово отсутствует в СРГК. Ср. также *Фроловых посадник* (Коловский с/с) и терск. *посáдник* ‘приусадебный участок’ [СРГК, 5, 88]; *Горелец с прихода* и сев.-двин., во-

лог. *горелец* 'горелое место в лесу, горелый лес' [СРНГ, 7, 32]. Эти микропонимы свидетельствуют о более широком распространении апеллятивов в прошлом.

Отдельные названия позволяют реконструировать не только ареал бытования диалектного слова, но и уточнить его семантику. Названия пахотных угодий *Голубева Дровник*, *Ереминский Дровник*, *Марковский Дровник*, *Большой Дровник*, *Климовский Дровник*, *Оленева Дровник* зафиксированы в микропонимии Семёновского с/с Пудожского района. Слово *дрóвник* отмечено только в значении 'крытое место для хранения дров, дровяник' в подпорожских, тихвинских, устюженских, вашкиных говорах [СРГК, 1, 507]. Однокоренное *дровяник* известно в значении 'участок нестроевого леса, вырубленного на дрова' в архангельских, псковских, тверских, московских, калужских, костромских, пермских, среднеуральских говорах [СРНГ, 8, 194]. Микропонимы позволяют предположить, что слово *дровник* могло употребляться в значении 'место заготовки дров'. С точки зрения семантических преобразований интересно название *Бечевник* (Пудожский с/с). Его можно сопоставить со словами *бечевник* 'ровный без изгибов берег' в сибирских говорах [СРНГ, 2, 285] и *бечевничек* 'ровный, некрутой берег' в вытегорских [СРГК, 1, 71]. Появление агронима может быть связано и с измерением длины участка, ср. *бечева* 'прочная крученая толстая веревка; канат' и *веревка* 'старинная мера длины, площади'.

Таким образом, топонимические материалы могут способствовать установлению распространения нарицательного слова в говорах в прошлом, помочь восстановить его прежнее значение, а также с разной степенью вероятности реконструировать некоторые лексемы, не зафиксированные ни в говорах, ни в памятниках письменности.

Смирнова О. С. Топонимия как ниша для функционирования географических терминов и источник их реконструкции // В. И. Даль и русская региональная лексикология и лексикография. Мат-лы всерос. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения В. И. Даля. Ярославль, 2001. С. 140–147.

Теуш О. А. К проблеме реконструкции географической терминологии по данным субстратной топонимии Русского Севера // Ономастика в кругу гуманитарных наук: Мат-лы междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2005. С. 69–71.

Д. В. Пьянкова
Екатеринбург

Дисконимы и мелонимы в сфере направления «тяжелый металл» (ономаσιологический аспект)

Нас интересует область музыкальных названий направления «тяжелый металл», а именно названия музыкальных альбомов и композиций (в дальнейшем дисконимы и мелонимы, последний термин предложен А. А. Фоминым). Дисконимы

и мелонимы рассматриваются как названия, сходные по своим ономастическим и оно-масиологическим характеристикам. Для анализа были привлечены наименования альбомов тех групп, у которых есть опыт записи своего творчества в студии и которые имеют свою дискографию, а также названия композиций у начинающих коллективов, в данное время не имеющих записанных альбомов.

Экстралингвистическая специфика написания «тяжелый металл» влияет на специфику собственно лингвистическую и предопределяет оригинальность и разнообразие номинаций при определенной замкнутости ономастического пространства указанного музыкального направления. Замкнутость проявляется в определенном наборе тематических доминант, обусловленных романтической эстетико-мировоззренческой позицией номинатора (обращение к истории, мифологии древних народов, языческий пантеизм, объявление смерти, гибели как единственно возможной формы «спасения» и т. д.). Данные тематические доминанты соответствуют романтической направленности творчества групп.

В соответствии с заявленным тезисом все исследуемые дисконимы и мелонимы были распределены по группам в зависимости от того, какая идея содержится в исследуемых названиях. В свою очередь группы онимов объединяются в блоки названий, образующие доминанты мировоззренческой основы «металла». Одно наименование в зависимости от своего состава может входить в разные группы.

1. Славянский языческий мир, библейская, греко-римская мифология.

1.1. Названия, в которых содержится отсылка к славянскому языческому миру, фольклору, культу предков и присутствует соответствующий патриотический пафос. Как правило, позиция номинатора реализуется через упоминание бога или использование имен языческих божеств (точнее, через представления номинатора о языческих божествах, иногда ошибочные): *Велес, Песнь Велеса, Время Мары (Мара* считается богиней плодородия и жатвы), *Явь воздымает, Правь (Явь, Навь, Правь* – важные понятия неоязычества, часто упоминаемые в Велесовой книге), *Колесо Чернобога, Бойня Словена (Словен* – один из древних правителей по Велесовой книге), *Алконост* (птица-дева в русских сказаниях), *Ярга* (считается солярным символом у древних славян), *Тропою крови по воле рода!*, *Во славу рода, Уделы былой веры* (под «былой верой», очевидно, подразумевается язычество), *Здесь русская земля..., Русь, восстань!*. Дисконим *Азь Бога ведаю!* относится к творчеству группы под названием *Rarog*, которое отсылает к именованию одного из славянских тотемов (сокол). Исходя из этого, можно предположить, что оним *Азь Бога ведаю!* относится к эстетико-идеологической позиции, связанной с язычеством, тем более что неоязычество основывается во многом на так называемой Велесовой книге, согласно которой «Сварог суть Сам Творец».

1.2. Названия, содержащие обращение к греко-римской и библейской мифологии, которые сближаются по степени влияния на развитие европейской культуры: *Dea* (лат. «богиня»), *Арго, Зов новой Гипербореи; Иуда, Армагеддон, Ангел, Орден Сатаны, Дорога в рай, Пляски ада, Адский концерт, Talk of the devil* (англ. «разговор дьявола»), *Спаси и сохрани, В состраданиях к отверженным: осужденным – ад!*.

2. Тьма, отсутствие / недостаток света, тень, чернота – свет.

2.1. Названия, которые содержат идею тьмы, отсутствия/недостатка света, тени, идею «черного»: *Призрачный свет, Жизнь в сумерках, Тьма пребывает в смерти, Песни мертвых/Зов тьмы, Темный век, Черным крылом, Черный кузнец, Черное пламя, Твоя тень.*

2.2. Названия, которые содержат идею света, «светлого», «белого»: *Игра света и тени, Лети на свет, Лети к свету, Светлый металл, Белые сны.*

3. Гибель, смерть, исчезновение – рождение, жизнь, возрождение.

3.1. Названия, которые содержат идею гибели, смерти, исчезновения: *Смерть от мечты, Философия самоуничтожения, Смерть приходит с севера, Бог мертв: смерть – бог!, Тьма пребывает в смерти, Песни мертвых/Зов тьмы, ...когда мертвые ветви воспрянут от снов, Агония, С петлей на шее, По пути на смерть, Рожденный умереть.*

3.2. Названия, которые содержат идею рождения, жизни, возрождения: *Рожденный небом, Рожденный умереть, Отблески славы и возрождение былого величия, Жизнь в сумерках, Жизнь во славу..., Жизнь в октябре, Реальная жизнь – здесь и сейчас!, ...когда мертвые ветви воспрянут от снов.*

К. В. Пьянкова
Екатеринбург

Славянские гнезда **debel-*, **tlst-*, **grub-*/**grqb-*: особенности семантической организации

В русском языке существует устаревшее прилагательное *дебелый*, которое употребляется в значении ‘полный, дородный (о человеке)’ в сочетаниях типа *дебелое тело, дебелые руки, дебелая баба* и т. п. Если в современных восточнославянских языках слова с корнем **debel-* встречаются довольно редко, в западнославянских – вообще отсутствуют, то в южнославянских языках употребляются регулярно. На тех славянских территориях, где раритетно представлены (или вообще отсутствуют) лексемы гнезда **debelъ*, они замещаются лексемами гнезд **tlstъ* (рус. *толстый*) и **grubъ*/**grqbъ* (рус. *грубый*).

Прил. *дебелый, грубый* и *толстый* демонстрируют сходное развитие семантики, вплоть до узких контекстов и специфичных денотатов (см. работы С. М. Толстой о явлении семантического параллелизма). Для слав. **tlst-* и **debel-* даже восстанавливается сходное праславянское значение: **tlstъ* ‘набухший, объемный, толстый’ – причастие от несохранившегося глагола **tlzti* ‘набухать’, а праслав. **debel-* возводится к и.-е. **dheb-* ‘толстый, сильный, крупный’ (или к праслав. **deb-/dob-* ‘годный, подходящий’).

Исторические словари устойчиво фиксируют у прил. *дебелый, толстый, грубый* (и их производных) значение 'вещественный, материальный'. Это свойство всякого тела, предмета противопоставляется идеальному, духовному началу, ср. контексты: др.-рус. «бесплотный плотится. слово дебельѣт. невидимый види(т)са», ст.-пол. «Y Niebo iako gozne od tey *grubej* ziemi». Показательна устойчивая сочетаемость этих слов: например, для ст.-пол. *gruby* словарь приводит *ciało, materyja, ziemia*; др.-рус. *дебелый* употребляется с лексемами *плоть, тело, вещество* и др.

Приведем некоторые примеры параллельного семантического развития этих гнезд. Материальность, определяемая через *дебелый, толстый* и *грубый*, интерпретируется как пространственная протяженность (I) и как вещественная насыщенность (II).

I. «Ш и р о к и й , о б ъ е м н ы й».

'Толстый, широкий (о предметах с протяженной ровной поверхностью)': с.-х. *дебела даска, дебео зид* <стена>, рус. диал. *дебелая стена* – рус. *толстая доска, толстостенный* – словац. *hrubé múry, steny*;

'нанесенный толстым слоем': с.-х. *дебело намазати* (*крух, хлеб*) – рус. *толсто намазать* – пол. *grubo nasmarowany*;

'глубокий (о воде)': с.-х. *дебело море* – пол. *gruba woda* – рус. *толща воды*;

'толстый (о коре, коже)': серб. *дебелокожас, дебелокорас* – рус. *толстокожий* – пол. *gruboskórny*;

'широкий в диаметре (об округлых предметах)': с.-х. *дебело дрво, дебела игла*, хорв. *debeo konopas*, ст.-рус. «Бревны зъло дебелие и длинные» – рус. *толстая веревка, дерево, игла* – укр. *грубостеблій*;

'состоящий из крупных частиц (о росе, камнях, песке, сахаре и т. п.)': с.-х. *дебела роса, дебело камење* – укр. *грубий пісок*, словац. *hrubý cukor*;

'полный, тучный (о человеке, животном)': рус. *дебелый*, с.-х. *дебео* – рус. *толстый* – пол. *gruby*, укр. *губіти* 'толстеть'. Лексемы гнезд **debel-*, **tlst-* и **grub-* встречаются в составе сложных слов, указывающих на особую ширину и объем отдельных частей тела, а также в составе анатомических терминов, ср.: рус. *толстогаздый* – с.-х. *дебелогуз*; рус. *толстогубый* – с.-х. *дебелоусан* – пол. *grubogęby* и др. Ср. также 'беременная': с.-х. диал. *debela*, болг. *дебела*, пол. *gruba*, укр. *груба*.

II. «Н а с ы щ е н н ы й , п р о я в л е н н ы й в м а к с и м а л ь н о й с т е п е н и».

'Густой (о жидкости, напитке)': с.-х. *debelo vino, mleko* – ст.-пол. *gruba krew*, рус. арх. *грубое молоко* « рус. устар. *толстое пиво*, пол. *wino tuste*;

'густой (о тени)': с.-х. *дебела хладовина*, болг. *дебела сянка* – хорв. диал. *tošća* 'тень от деревьев' – рус. диал. *грубость* 'темнота от грозовых туч';

'низкий, глубокий, громкий (о звуке, голосе)': болг. *дебел глас*, рус. устар. *дебелый* – рус. *толстый голос*, укр. *товстий* – укр. *грубий*, пол. *gios zgrubiały*, словац. *hrubý hlas*;

'темный, толстый (о шрифте)': хорв. *debelim slovima* 'писать более темным шрифтом' – пол. *tlusty druk*, рус. *писать толсто* – рус. диал. *губокрасной* 'темно-красный';

'длинный, снежный, холодный (о зиме)': болг. диал. *дебела зима*, укр. *товстий*, рус. диал. *грубая зима* 'морозная'.

Семантическая доминанта, говорящая о высокой степени проявленности признака, воплощается и в словах с отвлеченной семантикой: ср., например, ‘долгий’ (о времени): с.-х. *четири дебела сата* <полных четыре часа>, *дебела ноћ* ‘глубокая ночь’ – ст.-пол. *gruby godziny*, пол. *w grubej jesieni* ‘глубокой осенью’; ‘высокий (о цене); богатый, дорогой’: с.-х. *дебела плаћа*, рус. простореч. *толстый* ‘богатый’, пол. *grubo zarobil (zapłacił)* ‘много’.

Логика развития значений прил. *дебелый, грубый, толстый* определяется идеей насыщения, наполнения, как количественного – увеличение объема, так и качественного – повышение концентрации. Однако это направление семантического развития не является для данных прилагательных единственным. Так, смысловая специфика гнезда слав. **grubъ/*grōbъ* определяется доминантой ‘жесткий, твердый’. Подобные значения частично развивает и прил. *дебелый*: ‘жесткий, грубый (о пище)’ – устар. рус. *дебелый* («Положили ему хлѣб дебел»), ст.-пол. *chleb gruby*, укр. *gruba їжа*, словац. *hrubé jedlo*; ‘твердый (о всякой материи)’ – укр. *дебелити* ‘твердеть’, *грубий* ‘твердый, жесткий, с неровной поверхностью’. С идеей необработанности, грубости связана семантика ‘грубый, неуместный, непристойный (о шутках, словах и т. п.)’, характерная для всех трех прилагательных, ср.: с.-х. *дебела шала*, рус. *дебелый перевод, дебелые слова*, блр. *тлустыя песні*, пол. *tlusty dowcip*, чеш. *hrubá anekdota*, словац. *hrubé reči, slová, vtipy*.

Учитывая подобие развития значений рассматриваемых слов, можно уточнить некоторые модели семантической деривации. Например, и *дебелый*, и *толстый*, и *грубый* развивают значение ‘содержащий жир’: с.-х. *дебео месо, дебелиња* ‘сало, жир’ – укр. *товстий сир*, пол. *tluste mięso, tłuszcz* ‘жир’, чеш. *tlustý* – пол. *grubizna* ‘свинина’, ‘сало’. Семантика ‘жирный’ является для этих прилагательных поздней и встречается лишь в некоторых славянских диалектах и довольно редко, тогда как значение ‘полный, тучный’ широко распространено. Возможно, значение ‘жирный’ возникло или по модели ‘полный, тучный (о живом организме)’ → ‘накопивший жир’ → ‘жирный’, или ‘насыщенный’ → ‘жирный’. Подобная логика развития значения может быть характерна для прил. *жирный*, семантика которого также определяется идеей наполнения, насыщения (ср. литер. *жирная земля; жирный голос, запах*, диал. *жирнота* ‘духота’, *жирный свет, дождь, чай* и др.). Слова с корнем *жир-*, в семантике которых доминирует компонент ‘содержащий жир’, фиксируются словарями русского языка с XVIII в., до этого времени основное значение сущ. *жир* – ‘корм’, гл. *жировать* – ‘кормиться, пастись’, прил. *жирный* – ‘сытый, тучный’.

Таким образом, развитие значений прил. *дебелый, толстый, грубый* на разных этапах их семантической эволюции определяется (в большей или меньшей степени для каждого гнезда) следующими доминантами: ‘насыщенный’, ‘широкий, объемный’, ‘жесткий, грубый’ и даже ‘жирный’.

Башкирские антропонимы в прошлом и настоящем

Человек познает окружающий мир как представитель определенной этнокультурной общности, через призму родной культуры и закрепляет свое миропонимание в языковой картине мира. Видное место в языковой картине мира занимают антропонимы. Они являются своеобразным памятником исторического и этнического опыта народа, четко реагируя на идеологические, культурные и другие изменения в социуме.

Башкирский антропонимикон, как и любой другой, имеет свои особенности, обусловленные различными географическими, культурно-историческими, экономическими факторами. В башкирском именнике мы можем обнаружить имена, связанные с ландшафтом, домашней утварью, животным миром, религиозными представлениями. Домусульманские имена наиболее очевидно указывают на связь человека с природой, с тотемами, с устремлениями семьи, в эпоху мусульманства имена маркируют связь индивида с миром священным.

Имена возникали в связи со временем появления ребенка на свет или климатическими условиями в этот момент: *Рамазан* (название месяца), *Болот* («туча»), *Буран*. Для башкир-животноводов, кочующих с места на место, характерно указание на те или иные географические объекты: *Урман* (лес), *Дала*, *Аран* (низменность); продолжением этой традиции можно считать использование топонима в качестве имени: *Асия* (*Азия*), *Дунай*, *Эльбрус*, *Казбек* и др. Частотны личные имена, возникшие в связи с теми или иными событиями: *Ягульде* (букв. «пришло нашествие»), *Ильшат* («радость народа»). По имени можно угадать отношение родителей к факту рождения ребенка: *Алтын* («золотой»), *Артык* («лишний»), *Шатлык* («радость»). К языческим временам восходят имена-пожелания: *Якшы* (хороший), *Игебай*, *Игелек* (доброта) – и имена-обереги: *Яман*, *Яманбай*, *Ямансура*.

При исследовании башкирского антропонимикона можно наблюдать связь с личными именами других народов. Большинство имен сегодняшних башкир привнесено исламом; по происхождению это арабские, иранские, персидские, общетюркские имена, активны также включения из западноевропейских и русского именников. Есть имена, связанные с библейскими персонажами: *Дауд*, *Аюб* и др. Наиболее значительное место в сегодняшнем именнике башкир занимают арабские имена: *Барый* («творец»), *Борхан* («доказательство»), *Азат* («свобода»), *Мифтах* («ключ»), *Рафик* («друг»), *Талиб* («ученик»), *Басир* («разумный»), *Вафа* («сдерживающий слово»), *Закир* («вспоминающий»), *Инсаф* («справедливый») и т. д. Ряд антропонимов образованы от активно употребляемых в современном башкирском языке заимствований из арабского: *Йома* («пятница»), *Корбан* («жертвоприношение»), *Морат* («цель»).

Одной из причин разнообразия имен у башкир является интернациональность и открытость именника. Другая причина – поиски родителями новых вариантов.

Башкирский именной всегда живо реагировал на события в обществе. В нем, как и в именниках многих других народов бывшего СССР, имеются имена-советизмы: *Революция, Искра, Май, Октябрина, Владилен (Владимир Ленин), Виль (Владимир Ильич Ленин), Мельс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин)* и т. д.

Анализ личных имен студентов вузов Башкортостана показывает, что наиболее распространенными являются имена: *Альберт, Руслан, Марсель, Рустам, Рашид, Азат, Ильшат, Айнуур, Тагир, Ильгиз, Айдар, Гульназ, Гузель, Айгуль, Гульнара, Гульшат, Ляйсан, Динара, Диана* и т. д.

Р. В. Разумов
Ярославль

Названия районов и микрорайонов в системах урбанонимов провинциальных городов

Одним из составных элементов системы урбанонимов являются названия административно-территориальных единиц городов: названия районов и микрорайонов. Мы рассматриваем эти группы онимов на примере двух городов Ярославской области: Рыбинска (далее – Р) и Ярославля (далее – Я). Отметим, что для других населенных пунктов области деление территории на районы и микрорайоны нехарактерно из-за их сравнительно небольших размеров.

Основным административно-территориальным элементом членения городской территории является районное деление. С административной точки зрения подобное образование предполагает наличие органа исполнительной, а иногда и законодательной власти, поэтому районное деление свойственно относительно большим населенным пунктам. Первые попытки подобного деления территории приходятся на послереволюционные годы. Например, в Рыбинске в 1920-е гг. местным советом были образованы *Первый, Второй и Третий трудовые районы*. Однако такое деление просуществовало недолго и было быстро забыто.

Во второй половине 1930-х гг. деление пространства города на районы стало вводиться указами Президиума Верховного Совета РСФСР. В Ярославле в разные годы были образованы следующие районы: *Кировский, Ленинский* (до 1961 г. район носил название *Сталинский*), *Краснопереконский, Заволжский, Кагановичский* (1938–1953 гг.), *Резинокомбинатовский* (1938–1948 гг.), *Красноперевальский* (1944–1948 гг.), *Приволжский* (1944–1948 гг.), *Фрунзенский, Дзержинский*. В постсоветскую эпоху названия районов, данные при советской власти, не изменились. Отметим, что подобную картину мы наблюдаем и в других городах Российской Федерации (например, в Перми, Санкт-Петербурге, Туле и др.). В Рыбинске районное деление вводилось дважды: в 1930-е и 1970-е гг. В 1930–1940-е гг. в городе были образованы *Ворошиловский, Молотовский, Сталинский и Шекснинский* районы. В 1970–1980-е гг. в городе существовало всего два района: *Пролетарский и Центральный*.

Анализ приведенных названий показывает, что большинство из них увековечивали память советских лидеров того времени. В 1930-е гг. подобные названия создавались при жизни политиков; лишь в одном случае (*Кировский район*) это произошло посмертно. Во второй половине XX в. присвоение районам имен вождей было посмертным (*Дзержинский, Фрунзенский* районы, оба – Я). Возможно, выбор названий в этом случае был обусловлен и тем, что главные магистрали этих районов носили соответственно имена Ф. Э. Дзержинского и М. Фрунзе. Названия районов могли быть также образованы от гидронимов: *Шекснинский район* ← река *Шексна* (Р), *Приволжский* и *Заволжский* районы ← река *Волга* (Я) или эргонимов: *Резинокомбинатовский район* ← завод «*Резинотехника*», *Краснопереконский район* ← комбинат «*Красный Перекон*», *Красноперевальский район* ← фабрика «*Красный перевал*» (все – Я).

Названия микрорайонов более интересны, так как они не согласовывались официально и либо возникали в архитектурных управлениях при проектировании застройки, либо складывались в неофициальном общении горожан. В связи с этим среди названий микрорайонов встречаются как безликие номерные названия (*6-й микрорайон, 14-й микрорайон*, все – Я; *Веретье-1, Веретье-2, Веретье-3*, все – Р), так и оригинальные, указывающие на прошлое того или иного населенного пункта (*Брагино, Норское, Литовая гора*, все – Я; *Запахомовский, Мехзавод, Переборы*, все – Р). Первые названия, очевидно, трудны в повседневном использовании, поэтому их употребление ограничено юридическими документами и названиями остановок общественного транспорта, а вторые активно используются в неофициальном общении, служат базой для образования вторичных микроурбонимов: *Мехзавод* → *Механа* (Р), *Брагино* → *Брагинбург* (Я), *Нефтьестрой* → *Нефтяга* (Я) и т. д. В качестве основы для создания названия района второго типа может использоваться:

– название населенного пункта, когда-либо располагавшегося на этой территории: *Брагино* ← деревня *Брагино* (Я), *Веретье* ← поселок *Веретье* (Р);

– название какого-либо объекта, расположенного на территории или рядом с объектом: *Запахомовский район* ← *Пахомовский мост* (Р), *Суздалка* ← *Суздальская улица* (Я);

– название предприятия, застраивающего данный микрорайон, или название предприятия, рядом с которым данный поселок располагается: *Мехзавод* → *Волжский механический завод* (Р), *Резинотехника* → завод «*Резинотехника*» (Я);

– микропонимы: микрорайон *Скоморохова Гора* → *Скоморохова гора* (Р);

– названия сторон света: *Северный поселок* (Р), *Восточный район* (Р), *Северный жилой район* (Я).

Возможны и другие, нетипичные, варианты появления названий. Например, название микрорайону *Пятерка* (Я) было дано по номеру маршрута трамвая, соединявшему этот район с центром.

Таким образом, в настоящее время в российских городах одновременно употребляются официально утвержденные в советскую эпоху названия районов и стихийно возникающие названия микрорайонов.

Роль саамской топонимии в формировании культурных ландшафтов Кольского Севера

Культурные ландшафты Кольского Севера формировались, в основном, в советский период теми, кого принято называть «покорителями Севера», а также мигрантами последующих поколений, которых отделяет от малочисленного аборигенного населения большая культурная дистанция. Для региона знаковым лицом является академик А. Е. Ферсман. Жители центральной территории полуострова, связанной с Хибинами, воспринимают его едва ли не как главного «покорителя природы» и основателя урбанистической культуры. С ним связан, в частности, типовой мотив фольклорных топонимических текстов о создании и наименовании населенных пунктов по слову выдающегося лица.

Сложению образа ученого как «крестного отца» территории способствовал один из видов его деятельности: наименование природно-ландшафтных объектов исследуемой местности. Рассказы о том, как происходило «крещение» географических объектов Хибинского горного массива, включены в книги А. Е. Ферсмана «Три года за Полярным кругом» (описание экспедиций начала 1920-х гг.) и «Воспоминания о камне». В ироничных словах автора о том, что «гшетно будут разбирать через сто лет великие знатоки финских языков, фольклористы и историки, где искать корни этих загадочных названий», присутствуют понимание того, как в действительности творится топонимический миф, и осознание собственной «исторической» и мифотворческой миссии.

При наименовании мест и природных объектов Ферсманом и его коллегами использовались несколько мотиваций. Во-первых, присваивались имена уважаемых ученых (Петрелиуса, Рамзая и др.). По топонимам можно установить пантеон геологов и географов, каким он виделся первому научному сообществу в Хибинах. Во-вторых, закреплялись знаковые, с точки зрения имядателей, природные характеристики объектов – с опорой на знание (например, того, что в этом месте паслись стада оленей) или на восприятие (речка *Громотуха* – по акустическому признаку). В-третьих, использовались саамские географические обозначения. Представителей аборигенного населения привлекали к этой работе в качестве экспертов, что характеризует установку ученых на сохранение этнокультурной специфики края. В ситуациях, описанных А. Е. Ферсманом, имя не только изобретается, но и «распознается», поскольку обращение к саамскому языку позволяет выяснить скрытые для пришельцев значения тех или иных объектов и их «истинные» названия.

В настоящее время далеко не все знают, что топонимия Хибин в значительной степени создавалась А. Е. Ферсманом и его коллегами при участии местных жителей. Систематизация этого материала, установление полного круга топонимов представляют интерес для специалистов в области ономастики как пример состоявшегося опыта. В «Географическом словаре Кольского полуострова», изданном в 1939 г.,

нет упоминания о Ферсмани, но почти все данные им названия фигурируют как естественно существующие.

Одним из следствий топонимической работы геологов было то, что некоторые объекты сразу получали двойное наименование: саамское и русское. Как обычно при парности наименований, одно оказывается официальным, публичным, другое – отчасти потаенным. Значения саамских топонимов являются культурной собственностью представителей локального сообщества. Саами и их культура воспринимаются современным населением, по преимуществу городским, как предыстория региона, поскольку существовали здесь «до цивилизации». В устной истории городов Кировск, Апатиты, Мончегорск присутствуют постоянные указания на саамские наименования. Профессиональные и спонтанные экскурсионные тексты сопровождаются показом местных «тайных знаков». При этом «расшифровка», или перевод, часто осуществляются фактически на основании текстов Ферсмана. Не исключаются и квази-интерпретации для придания большей экзотичности. Так, одно из популярных наименований в Кировске – *Большой Вудъявр* (озеро в черте города, так же назван центральный универмаг) – журналисты переводили как «озеро Черного Дьявола», хотя это просто «горное озеро» (саам.).

Обилием и разнообразием саамских наименований окрестных природных объектов отличается Мончегорск. Именно его территория рассматривается как исконно саамская. Имя города сохранило саам. *монче (-а)*, букв. «красивый (-ая)», и это значение постоянно обыгрывается в любых текстах. Мончегорск перифрастически называют «городом в красивой тундре». Современный мончегорский ландшафт, подвергшийся сильному техногенному воздействию, сравнивают с прежней красотой Монче-тундры. Можно говорить о том, что саамская топонимия представляет важный функциональный элемент современного урбанистического культурного ландшафта Заполярья.

Т. П. Романова
Самара

Прагматические модели рекламных собственных имен

На основании трех компонентов ситуации названия, которыми являются объект, субъект и адресат, И. В. Крюкова выделяет три типа рекламного имени (РИ). Это *о т о б ъ е к т н ы е* имена, которые отражают качества объекта номинации, *о т с у б ъ е к т н ы е*, характеризующие субъекта номинации, и *о т а д р е с а т н ы е*, в которых отражаются особенности адресата. Однако в то же время И. В. Крюкова отмечает, что «данное деление на отобъектные, отсубъектные и отадресатные названия проведено в классификационных целях и является искусственным <... > Довольно часто имеет место сочетание выделенных типов, когда одни и те же имена можно квалифицировать и как отобъектные, и как отадресатные (*Газета. ru*, «*Просто сок*»)» [Крюкова, 2004, 108].

© Т. П. Романова, 2009

Проанализировав массив современных рекламных имен, мы пришли к выводу, что абсолютное большинство РИ отражает не один, а сразу несколько компонентов, между которыми устанавливаются определенные отношения. Прежде всего, любое РИ относится к объекту рекламы, даже если значение называемого слова никаким образом не связано с ним. Например, названия бензоколонок «*Март*» или «*Роза мира*» являются абстрактными символами, которые одновременно служат для индивидуализации данных объектов и привлекают потребителя. Субъект номинации в данном случае не называет себя прямо, но имплицитно присутствует как создатель эстетических эргонимов, которые, по его мнению, должны понравиться потребителю. Таким образом, каждое РИ представляет собой микротекст, в котором зафиксированы отношения между субъектом (SR) и адресатом рекламы (AR) по поводу называемого объекта (OR). Эти отношения могут быть выражены эксплицитно или имплицитно. В случаях эксплицитного выражения отношений между компонентами рекламной номинации можно говорить о существовании определенных прагматических моделей, которые группируются вокруг трех отмеченных типов РИ.

Рассмотрим наиболее продуктивные в современной рекламной номинации прагматические модели РИ.

1. Отобъектная модель: OR > AR. Это РИ, отражающие OR и одновременно воздействующие на AR. Например, денотативное значение внутренней формы РИ «*Пивасик*», «*Автоприбамбас*», «*Империя сумок*», «*Галерея ресторанов*» отражает объект рекламы, а коннотативное значение привлекает внимание потребителя.

В современной рекламной номинации нередко появляются РИ, отражающие OR и в то же время стилизованные под фамилии владельцев (R): «*Бочкарёв*», «*Медофф*», «*Мяскофф*». Игровая форма таких неологизмов также служит для привлечения внимания AR. Эту модель можно обозначить так: [OR (SR)] > AR.

2. Оадресатная модель: AR > OR. Называя прежде всего адресата, РИ указывает на товары и услуги, для него предназначенные, характеризует возможности, которые предоставляет ему OR: магазины «*СпортМастер*», «*Kenga.ru*», «*Модный животик*», «*9 месяцев*», «*ENTER*», салон дизайна ногтей «*Дамские пальчики*», салон оптики «*Очкарик*», стоматологическая клиника «*Белый клык*».

3. Отсубъектная модель: SR > OR > AR, например: «*Кондитер Савинов*», «*Тинькофф*», «*У Палыча*». Прямое обозначение SR служит гарантией определенного уровня качества OR и направлено на AR, для которого такая модель является убедительной.

Кроме трех основных моделей, в значении которых доминирует один компонент рекламной номинации, можно выделить еще несколько более сложных конфигураций.

– (OR/AR) > AR (каламбурные модели). Например, название кафе «*Три поросёнка*» может восприниматься как шутивное представление и OR, и AR. Языковая игра привлекает внимание адресата.

– [OR(SR)\AR] > AR. Например, название сети магазинов «*Снежная королева*» характеризует товар (OR), который предлагает сказочный SR, и одновременно AR, который может приобрести «*королевский*» вид в результате использования товара. Языковая игра направлена на потребителя.

– (OR+ AR) > AR (гибридные модели). РИ включает одновременно обозначения OR и AR, например: магазины «Хорошая одежда для мужчин», «Автофан», «VIP-авто», салоны красоты «Мастер и Маргарита», «LoWELLAs». Элементы языковой игры направлены на потребителя.

– (OR+ SR) > AR: «Бабушкины плюшки».

К числу гибридных моделей также можно отнести еще более сложную: [SR + OR (SR)] > AR. Например, ТМ «Антонов-Макаронов», «Антонов-Гречкин», «Антонов-Рисов» включают реальную фамилию владельца Росагроэкспорта и стилизованные под фамилии обозначения OR.

Рассмотрев представленные модели, можно сделать вывод, что РИ обязательно включает два компонента: OR, так как оно относится к объекту номинации, и AR, поскольку направлено на его привлечение. SR в современных РИ эксплицитно выражается редко. Наиболее важным компонентом современных РИ является AR. Он может отразиться в денотативном («Садовод», «Школьник») или коннотативном («Хлебушко», «Карпузя») значении слова, однако только его материальная выраженность создает рекламное имя, способное эффективно выполнять прагматическую функцию воздействия на целевую аудиторию.

Крюкова И. В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Волгоград, 2004.

Е. Н. Руденко

Минск (Белоруссия)

Этнолингвистические аспекты обозначений счета в старобелорусском языке

При последовательном историко-этимологическом изучении семантически консолидированной группы лексики неизбежно обращение к этнокультурной информации. И, с другой стороны, такое изучение само является источником этнокультурной информации.

Отбор и историко-этимологический анализ обозначений счета старобелорусского языка вкупе со знакомством с историко-культурными данными позволяет охарактеризовать целый фрагмент языкового сознания носителя старобелорусского языка и сравнить результаты с данными современного языка.

Материалом для доклада послужили обозначения счета и измерения, выбранные из Гістарычнага слоўніка беларускай мовы (Мінск, 1982—... . Т. 1—...). Почву для этнолингвистической интерпретации дала уже сплошная выборка лексем. В частности, значимым является способ структурирования избранного лексико-семантического поля на ЛСГ и взаимоотношения между ними; количественное наполнение отдельных ЛСГ в рамках поля в целом и их внутренняя структура; способ мотивации исконных лексем.

Математическое знание на территории современной Белоруссии в XV–XVI вв. представляет собой синтез древнерусской и европейской традиций. С одной стороны, в Великом княжестве Литовском (далее – ВКЛ) сохраняются знания, имевшиеся в Киевской Руси и передаваемые через византийскую традицию, а с другой – транслируется опыт европейской латиноязычной науки. Распространению в ВКЛ математических сведений разного рода (чисто математических, а также землемерческих, астрономических, архитектурных, артиллерийских и под.) посвящена специальная литература. Остановимся на лексическом представлении данной понятийной сферы.

Система обозначений счета в старобелорусском языке структурирована иначе, чем в современном. В частности, старобелорусские глаголы счета – это *вычести*, *делити*, *додати*, *личити*, *прибавити*, *раховати*, *сумовати*, *считати* и их аффиксальные дериваты. Наряду с общими обозначениями счета: ст.-бел. *личити*, *раховати*, *считати*, – существовали названия отдельных арифметических действий *вычести*, *делити*, *додати*, *прибавити*, *сумовати*. Словарями зафиксированы специализированные наименования счета (ст.-бел. *ценити*, *шацовати* ‘оценивать’) и глаголы измерения (ст.-бел. *важити*, *весити*, *мерити*). Обозначения же более абстрактных математических понятий и связанных с ними действий, типа совр. бел. *корань квадраты*, отсутствуют, хотя несомненно, что знания эти были распространены на территории ВКЛ: об этом свидетельствуют специальные источники. На родном (старобелорусском) языке излагались только основы математики, а более сложные вещи преподавались, постигались и, соответственно, обозначались на латыни – именно поэтому названия абстрактных математических понятий старобелорусского языка, как правило, латинского происхождения (ст.-бел. *квадрать*, *мелюнь*, *минусь*, *плюсь*, *центрумь* и др.).

В старобелорусском языке среди обозначений счета чрезвычайно распространены названия денежных единиц и разнообразных мер: площади, веса, сыпучих веществ, жидкостей и др. Такие наименования, как исконные, так и заимствованные, были гораздо более употребительны, чем сегодня. В ВКЛ были в ходу монеты разных стран и народов, разного достоинства, а что касается наименований мер, то это дополнительное свидетельство того, что в XV–XVI вв. прикладное математическое знание имело иную направленность и иные сферы применения.

При анализе старобелорусских лексем с семантикой счета и измерения значимо соотношение исконных лексем и заимствований, а также семантика заимствований. Характерно, что ядро поля – глаголы счета и измерения – преимущественно исконные обозначения (*вычести*, *делити*, *додати*, *прибавити*, *считати*, *весити*, *мерити*), а заимствования из польского языка (*личити*) или при польском посредничестве (*раховати*, *сумовати*, *важити*) показывают конкуренцию «восточной» и «западной» составляющих данной лексической сферы.

На периферии ЛСП счета и измерения много заимствований. Заимствованные наименования распадаются на две группы: лексемы связанные с бытовым счетом, проектированием, измерением пространственных и объемных фигур, а также общие и конкретные наименования веса, меры и количества (например, ст.-бел. *дрелинкъ* < нем. *Dreilink* ‘мера вина’, ст.-бел. *лань* < нем. *Lehen* ‘мера земли’ и др., преимущественно при посредстве старопольского языка). Обозначения такого плана из немецкого, польского, литовского, романских и тюркских языков подтвержда-

ют открытость и активность жителей ВКЛ. Однако существовали и заимствования другого плана, преимущественно из латинского языка, как, например, *анигилировать* ‘аннулировать’, *алекговати* ‘доказывать, приводить аргументы’. Такие заимствования свидетельствовали о распространении отвлеченного знания и устойчивом интересе к нему.

С. В. Рузаев, Ю. С. Костылев
Екатеринбург

Имена героев освоения советской Арктики 1930-х гг. в городских топонимических микросистемах (на примере названий улиц Екатеринбурга и Севастополя)

Одним из способов увековечения определенных людей и событий в советской традиции стало наименование в их честь городских объектов (улиц, площадей, районов, парков и т. п.). При этом нередко названия этих объектов группировались географически, образуя микросистемы на карте города. Имена героев освоения Севера 1930-х гг. носят улицы многих городов бывшего Советского Союза, в том числе Севастополя и Екатеринбурга. В данном докладе рассматриваются подобные системы в городской микротопонимии Екатеринбурга и Севастополя, причем под топонимической системой применительно к городским топонимам мы понимаем, в первую очередь, такую группу названий, которая накладывается на объекты, географически расположенные близко друг от друга. Поскольку процесс наименования улиц является в большой степени искусственным и практически не отражает свойств и характеристик объектов, реальной связи между ними, то, на наш взгляд, единственным признаком, позволяющим отнести название городского объекта к той или иной системе, является именно географический признак. В качестве источников информации о названиях городских объектов, их расположении, формировании и изменении городских микротопосистем была использована справочная литература, систематизирующая названия улиц, а также воспоминания участников событий: Н. П. Каманина, Е. К. Федорова, Б. Л. Горбатов.

В Севастополе рассматриваемая микросистема компактна и представлена одной группой названий в южной части Северной стороны (Нахимовский район), примыкающей к берегам Севастопольской бухты, причем большая их часть посвящена участникам челюскинской эпопеи: улицы *Водопьянова*, *Доронина*, *Каманина*, *Леваневского*, *Молокова*, *Слепнева*, *Челюскинцев*, *Воронина*. Все они получили название 4 ноября 1934 г. Сами улицы появились в 1920 – начале 1930-х гг., кроме ул. *Воронина* (бывш. *Матросская*) и *Леваневского* (бывш. *Перевозная*). В 1938 г. к ним присоединилась ул. *Северная*, а в 1954 г. и ул. *Седова*.

В Екатеринбурге структура сложнее. Улицы с теми же названиями находятся также в одном районе – Семь Ключей (Железнодорожный) и выходят на одну

улицу – Решетскую. На карте Екатеринбурга нет улицы *Молокова*. Улица *Слепнева* находилась (сейчас ее нет) в другом районе – на Сортировке. Также на Решетскую выходят улицы *Северных радистов* и *Полюсная*, косвенно связанные с именами героев освоения советской Арктики. Перпендикулярно им идут две улицы, названные в честь летчиков, прославившихся в 1937 г., – *Байдукова* и *Белякова*. Имя третьего – Чкалова – носит улица в Ленинском районе города.

В честь летчика Громова, возглавившего экипаж, совершивший перелет по маршруту Москва–Северный Полюс–США, в 1938 г. названа улица на Северной стороне Севастополя (непосредственно примыкает к улицам «челюскинцев»). Имена остальных – Данилина и Юмашева – отсутствуют. В Екатеринбурге улица *Громова* расположена в Юго-Западном районе, а улицы *Данилина* и *Юмашева* – на ВИЗе.

К двум последним на карте Екатеринбурга примыкают улицы *Папанина* и *Кренкеля*, названные в честь участников дрейфа первой советской полярной станции «Северный Полюс-1», улица *Шевелева* и переулок *Северный*.

Очевидно, что рассматриваемая топонимическая система в Екатеринбурге имеет более сложную структуру (как по количеству элементов, так и по взаимному их расположению), чем в Севастополе. В Севастополе мы имеем дело с одним, компактно расположенным набором элементов, тогда как в Екатеринбурге имеется несколько микросистем в разных районах города. На наш взгляд, это можно объяснить особенностями застройки двух этих городов. Что касается количества элементов, то неудивительно, что севастопольская топонимическая система беднее екатеринбургской, поскольку сам Севастополь меньше Екатеринбурга по площади и имеет меньшее количество улиц. Большая компактность топонимической системы Севастополя объясняется тем, что Северная сторона Севастополя имеет регулярную застройку и планомерно застраивалась в середине 1930-х гг., т. е. непосредственно в период наиболее известных событий, связанных с освоением советской Арктики, поэтому имена героев автоматически «накладывались» на только что созданные улицы. В Екатеринбурге же часть улиц, названных в честь героев освоения Севера, относится к дореволюционной застройке, а часть – к застройке 1940–1970 гг. То есть их имена появились на карте Екатеринбурга либо в результате переименований, либо спустя продолжительное время после событий, в которых участвовали эти люди. Благодаря этому микросистемы оказались на значительном расстоянии друг от друга. В Севастополе же от общего комплекса оторвана только улица *Папанина*, находящаяся на противоположной от общего комплекса южной стороне Севастопольской бухты. Это объясняется тем, что И. Д. Папанин родился на этой улице в 1894 г. и именно она была переименована в 1934 г. персонально в его честь.

Именуются и некоторые требующие объяснения особенности внутри екатеринбургской топонимической системы. Одной из таких особенностей является то, что имена участников одного и того же события находятся в составе разных уличных комплексов, в то время как улицы, названные именами участников различных событий оказываются рядом. Так, именами Чкалова и Громова названы параллельные улицы в Ленинском районе (интересно, что они расположены также параллельно улице *Амундсена*), а именами членов их экипажей Байдукова, Белякова и Данилина, Юмашева соответственно – в других районах. Байдукова и Белякова – в комплексе в Железнодорожном районе, а Данилина и Юмашева – в комплексе в Верх-Исетском районе.

Это можно объяснить тем, что командиры экипажей – Громов и Чкалов – объективно были наиболее популярными летчиками 1930-х гг., поэтому их именами названы довольно крупные объекты – широкие улицы с оживленным движением. Причем их имена вписаны в одну систему с Амундсеном – также широко известным полярником. Именами Байдукова, Белякова, Данилина и Юмашева названы сравнительно небольшие улицы, причем Байдуков и Беляков попали в систему с другими полярными летчиками, а Данилин и Юмашев – в систему с Шевелевым, а также с челюскинцами, Папаниным и Кренкелем.

Имена участников челюскинской эпопеи разбросаны буквально по всей карте города, причем система представлена не всеми известными именами. Так, к комплексу в Верх-Исетском районе примыкает широкая улица *Челюскинцев* (бывш. *Северная*), с ней пересекается улица *Папанина*, от которой отходит улица *Кренкеля*. Комплекс улиц *Леваневского*, *Доронина*, *Каманина*, *Водопьянова*, *Воронина* в Железнодорожном районе назван в честь летчиков-участников спасения челюскинцев и капитана «Челюскина». Отдельно, вне какой-либо системы, находится улица *Отто Шмидта* (бывш. *Загородная третья*) в Ленинском районе.

Имена участников дрейфа станции «СП-1» на современной карте Екатеринбурга представлены именами только двух из них. Это имена Папанина и Кренкеля в Верх-Исетском районе. При этом справочник «Улицы Свердловска» (1967) указывает на наличие в 1969 г. переулка *Ширшова*. Этот переулок располагался в Ленинском районе, в одной системе с улицами *Громова* и *Чкалова*. Интересно, что в этой же уличной сети находится переулок *Федорова*. Справочник «Улицы Свердловска» связывает название этой улицы не с полярником, геофизиком, участником дрейфа станции «СП-1» а с первопечатником Федоровым, что кажется в известной мере сомнительным, поскольку связь именно с полярником поддерживается включением этого имени в указанную систему улиц. В Орджоникидзевском районе расположены переулок *Ритслянда* и улица *Бабушкина*. И тот и другой в составе экипажей Молокова и Водопьянова соответственно участвовали как в спасении челюскинцев, так и в доставке участников папанинского дрейфа на Северный полюс.

Таким образом, мы видим, что микроподсистемы Екатеринбурга и Севастополя достаточно широко отражают имена героев освоения советской Арктики. Причем очевидно стремление номинаторов увязать эти имена между собой посредством сведения их в названиях улиц, образующих единые географические комплексы, а также ввести их в более широкий контекст (освоение Арктики представителями разных времен и народов, героические события 1930-х гг.). Не всегда эти системы единообразны, зачастую рядом оказываются имена участников разных событий, тогда как имена участников одного и того же события расположены на карте далеко друг от друга, но, тем не менее, явно прослеживается систематичность номинативного процесса в обоих городах.

Магическая лексика в русских говорах Пермского края

Магическая лексика – это большой массив слов, встречающихся в русских говорах Пермского края. Магия предполагает непосредственное воздействие человека сверхъестественным образом на тот или иной материальный объект. Следовательно, магической можно назвать такую лексику, которая служит для обозначения: а) субъекта магического воздействия (носителя сверхъестественной силы – знахаря, колдуна и пр.); б) самого магического действия; в) объекта этого сверхъестественного воздействия (человека или животного), г) предметов, участвующих в процессе.

Лексика данной группы интересна по нескольким причинам. Во-первых, народная магическая традиция в Пермском крае обнаруживает довольно хорошую сохранность (в отличие от свадебного, похоронного обрядов). Она подробно отражает такие стороны магической традиции, как народная демонология, колдовство, народная медицина. Во-вторых, ценность данного лексического материала заключается в том, что он, при своей многочисленности, слабо отражен в пермских диалектных словарях. В-третьих, интересен этот материал и с чисто лингвистических позиций. Многие единицы являются семантическими диалектизмами. Кроме того, около трети единиц – устойчивые сочетания разного характера. Свообразно представлены в этой группе лексики системные отношения.

Самую большую группу магической лексики составляют слова и словосочетания, обозначающие магические действия. Тематически ее можно разделить на четыре основных части: 1) единицы, обозначающие обладание сверхъестественной силой; 2) единицы, называющие вредоносные магические действия; 3) единицы, называющие доброносные магические действия; 4) единицы, называющие действия осторожного характера.

Обзор процессуальной магической лексики, функционирующей в русских говорах Пермского края, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, эта группа лексических единиц довольно многочисленна, актуальна для диалектоносителей и активна в использовании. Во-вторых, многие единицы этой тематической группы часто представляют собой устойчивые сочетания с глаголом в качестве опорного слова. Часть из них понятна всем носителям русского языка и культуры (*научить колдовству*). Но есть и другие. Мотивировка их обобщенного магического значения происходит только на уровне традиции. Они могут быть поняты лишь при подключении к тем мифологическим и магическим представлениям, которые лежат в основе сюжета быличек. Например, *сделать уроки* ‘излечивать магическим способом’, *передать пестерь* ‘сделать обладателем сверхъестественного знания’ и др. В-третьих, налицо широкое варьирование компонентов словосочетаний, причем заменяться может как опорный глагол, так и зависимое существительное: *посадить болезнь (порчу, чертей, бисей, чертёнка, бесёнка)*; *наводить (посылать, напускать) порчу (сглаз, болезнь, хворь)* ‘причинить (причинять) заболевание магическим способом’.

Анализ процессуальной магической лексики позволяет прийти к следующему заключению. Магическое воздействие – это комплекс приемов, среди которых вербальные играют одну из главных ролей: они сопровождают любое несловесное действие, являясь постоянным компонентом магических обрядов, при факультативности, переменности других. Именно поэтому лексические единицы со значением речемыслительной деятельности (глаголы *знать, говорить, сказать, шептать* и их приставочные производные, существительные *заговор, наговор, отговор, слова, грамотка, говоруха, молитва, сказка*) составляют основной пласт процессуальной магической лексики исследуемого региона.

М. Э. Рут
Екатеринбург

О некоторых общих проблемах ономастической лексикографии

Ономастические словари нельзя назвать лексикографическим раритетом: многочисленны словари антропонимов (личных имен, фамилий, теперь также и прозвищ), развивается топонимическая лексикография (словари В. А. Никонова, Е. М. Поспелова, Г. П. Смолицкой, А. К. Матвеева, Е. Н. Поляковой, В. М. Воробьева, Л. М. Дмитриевой, Г. Ф. Ковалева и др.; кроме того, практически каждая диссертация по топонимике сопровождается словарем рассматриваемых топонимов), в последние годы появились словари этнонимов (Р. А. Агеева), хрононимов (С. М. Толстая), в разработке находятся проекты словарей других классов собственных имен. При несомненном своеобразии каждого из словарей выделяются, на наш взгляд, некоторые общие проблемы, речь о которых и пойдет в докладе.

Первая из проблем – самая внешняя. Речь идет о необходимости полноты лексикографической обработки русского ономастического пространства. Другими словами, нужны ли словари для каждого из классов собственных имен? До настоящего времени нет сколько-нибудь полных словарей русских астронимов, зоонимов, теонимов, эргонимов, прагмонимов, что, с одной стороны, объясняется периферийным статусом ономастического разряда, с другой – наличием целого ряда справочного материала несловарного характера: для прагмонимов – прайслисты, для зоонимов – паспортизация породистого скота и лошадей, для эргонимов – телефонные справочники. И все же на заданный вопрос о нужности/ненужности словарей для указанных классов хочется ответить положительно, поскольку грамотная лингвистическая характеристика этих онимов могла бы послужить получению и систематизации важной лингвокультурной информации, а также стать своеобразной лабораторией для развития последующей ономастической номинации новых объектов.

Вторая проблема – она касается уже существующих ономастических словарей – связана с направленностью лексикографических установок. Для чего создается сло-

варь и все ли возможности лексикографического описания оказываются нами учтены? Если с этой точки зрения посмотреть на существующие в настоящее время словари, то основным направлением видится ономастиолого-этимологическое, поскольку главная задача лексикографа – объяснить название. Попутно могут решаться словообразовательные задачи (например, приводятся гипокористики для полных личных имен), задачи, связанные с нормализацией употребления онимов, чему служат акцентологические и стилистические пометы. Топонимические словари нередко пытаются решить проблемы выявления внутрисистемных связей для топонимов. Попробуем наметить еще несколько лексикографических параметров, заслуживающих отработки на ономастическом материале.

Один из таких параметров – показатель частотности имени собственного. Есть сведения о частотности личных имен в целом ряде работ ономастологов, есть индексы частотности фамилий Б. Унбегауна, А. Ф. Журавлева, Н. Д. Голева, однако в словарях частотность не указывается. Между тем этот показатель интересен и для ономастики, и для практики присвоения имени. Естественно, данный параметр сложен для учета, поскольку детерминирован как во времени, так и по отношению к различным территориям, тем не менее он поддается учету, и возможно как создание специализированных частотных словарей (например, словаря личных имен для ЗАГСов), так и включение этого параметра в традиционные ономастические словари.

Второй параметр, о котором также хочется сказать, – сведения о вариантах онима, которые могут быть обусловлены самыми различными причинами: стилистической дифференциацией (полные имена и гипокористики в антропонимии), потребностью в лаконичной форме (так, в современных официальных документах требуется указать полное и сокращенное название учреждения; ср. также многочисленные разговорные сокращения типа *Нижний, Владик, Питер, Эиск – Новосибирск, Кырск – Красноуфимск* и т. п., которые могут быть нагружены различного рода коннотациями, но это совсем не обязательно), историческими изменениями в области языка (*Дьябрьньскь – Брянск, Пльсков – Псков*) и т. п. Полного и систематического учета всех вариантов не ведется (исключение – словари личных имен, для топонимии же, второго по словарной обеспеченности разряда онимов, более разработан вопрос о соотношенности номинативных дублетов типа *Екатеринбург – Свердловск*).

Наконец, еще одна проблема: словари каких онимов составляются – тех, что существуют в языковой системе в виде того или иного подраздела ономастикона или имен реальных, функционирующих в определенных конкретных социумах. Опыт показывает, что антропонимы описываются «вообще» (исключение – прозвища), в то время как топонимические словари тяготеют к описанию имен реальных объектов. Очевидно, имеет смысл иногда менять подходы местами.

Перечисленные проблемы отнюдь не исчерпывают круг нерешенных вопросов ономастической лексикографии, однако именно они кажутся наиболее насущными в настоящее время.

Этностереотипы в новогреческом фольклоре

Задачей данной работы является реконструкция этностереотипов, существующих в новогреческой народной традиции. Непосредственным предметом нашего исследования становятся представления о турках и итальянцах. Турция и Италия являются, с одной стороны, географическими соседями Греции. Их объединяет также и тот факт, что и тот, и другой народ предстал в разные исторические периоды в качестве завоевателя. С другой стороны, итальянцы мыслятся как представители западного мира, а турки – восточного.

Новогреческая фразеология и фольклорные нарративы позволяют выделить основные черты, приписываемые этим народам, иногда отображают в гиперболизированной форме отдельные традиции, которые кажутся странными и нецелесообразными, выявляют степень негативного или позитивного отношения к тому или иному «чужаку».

Основными чертами турок становятся: жестокость, безжалостность, коварство, жадность, лицемерие, о чем позволяют судить, прежде всего пословицы и поговорки: *Τούρκος κι καλός δε γένιτι* <От турка добра не жди>, *Τούρκος ήρθε, γρόσα θέλει, κι άλλος ήρθε, κι άλλα θέλει* <Пришел турок – денег просит, пришел другой – тоже денег хочет>, *Ο Τούρκος είναι φίδι που μόλις ζεσταθεί σε δαγκάνει* <Турок, как змея: пригреешь на груди – ужалит>. Стереотипное представление о жестокости и гневливости турка зафиксировано и в устойчивом выражении, содержащем скрытое сравнение: *μου κάνει Τούρκο* (букв. «делает меня турком» = ‘меня злит, бесит, выводит из себя’).

Иногда выделяется такая черта, как невежество, невоспитанность турок, что основано на различии в обычаях и привычках, а также на неадаптированности «чужого» к иному для него окружению, что заставляет его вести себя «странно» с точки зрения греческой общины: *όταν θα γίνει η τρίχα του γουρουνιού μεταξύ, τότε και ο Τούρκος θα λάβει πολιτισμό και τάξη* <когда свиной волос станет шелком, тогда турок научится вести себя толком>.

Вместе с тем некоторые «турецкие» обычаи заимствуются греками (обряд, проводимый турчанками на Крите во время грозы). Поскольку понятие «чужой» связано с потусторонним миром, представители других наций часто оказываются и представителями этого потустороннего мира, т. е. происходит мифологизация персонажа или его смешение с иными народами. Впрочем, основой для смешения становится нередко конфессиональная принадлежность. Так, берберы, арабы и турки, исповедующие мусульманство, воспринимаются часто в новогреческом фольклоре как нечто однородное. На языковом уровне это проявляется в том, что глагол *τουρκίζω/τουρκέω* обозначает ‘обращать в мусульманство’ (буквально «отуречивать»).

Итальянцы в новогреческом фольклоре – чаще всего венецианцы (отголоски «венетократии»), иногда флорентинцы. Стоит отметить, что при сравнении с венецианцами турок оказывается «меньшим злом»: *κάλλι' έχω Τούρκου μαχαίριά, πάρε*

Βενετσάνου κρίση <лучше турецкая сабля, чем венецианский суд>. Такое отношение можно объяснить историческим фактом. Вспомним греческую поговорку: *Лучше турецкая чалма, чем римская тиара*. Турецкие завоеватели, по крайней мере в начальный период своего владычества, отличались большей веротерпимостью, позволяя грекам следовать православному обряду за умеренную подать в турецкую казну со стороны патриарха, в отличие от итальянцев, насаждавших католицизм на завоеванных греческих землях. Однако выражение *μα φάτσα, μα ράτσα* относящееся прежде всего к итальянцам, говорит о признании общих черт двух народов, об их включенности в единое пространство (вероятно, средиземноморское).

Итак, основой греческой национальной идентичности является, прежде всего, не географический принцип и даже не «физическая» принадлежность к той или иной нации, а язык и вероисповедание. По признаку принадлежности к той или иной религии совершенно разные народы могут объединяться в одну группу, смешиваться, наделяться общими чертами. Однако при обнаружении общих «национальных» черт за каждым народом закрепляется некая константная черта, наиболее часто обыгрываемая в произведениях устного народного творчества или фразеологии (турки жестокие, итальянцы коварные и т. д.). В формировании представления о том или ином народе важную роль играют исторические события. Мифологизация носителя иной культурной традиции приводит, с одной стороны, к негативному отношению; с другой стороны, в обряде нередко прибегают к заимствованиям из чужой традиции. «Чужой» как существо, принадлежащее иному миру, наделяется особой магической силой.

Т. А. Сироткина
Пермь

Этнонимы как объект этнолингвистики (на материале этнонимии Пермского края)

Этнолингвистика как «раздел языкознания или – шире – направление в языкознании, ориентирующее исследователя на рассмотрение соотношения и связи языка и народного менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» [Толстой, 1995, 27], выявляет народные стереотипы, формирующие этническую картину мира, реконструирует языковую картину мира этноса.

Одним из важнейших пластов языка, являющихся объектом этнолингвистики, выступают этнонимы – названия народов. Как отмечает А. С. Герд, этнолингвистика (вместе с этнографией, философией, социологией, психологией) «может содействовать уточнению таких краеугольных понятий, как этнос, этническая общность, народ, народность, нация» [Герд, 2005, 6].

Исследуя функционирование этнонимов в разных типах дискурса, мы можем проследить, как категория этничности отражает определенный (этнический) фраг-

мент языковой картины мира русского народа. Рассмотрим это на примере диалектной речи жителей Пермского края.

Из всего многообразия этнических стереотипов этнология выделяет группу стереотипов восприятия, под которыми обычно понимается «упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или общности, распространяемый на всех ее представителей» [Садохин, 2003, 215].

Историки и этнографы, исследуя традиционную культуру народов Прикамья, сталкиваются с интересными с точки зрения стереотипов восприятия характеристиками: «Каждая русская женщина, с которой беседуешь о костюме, в первую очередь скажет: *Вот ведь, мы штанов-то не носили – грех, а оне* (татарские женщины) *все в штанах.* Татарка тоже добавит с удивлением: *Русские всю зиму в одной юбке, без штанов, колени красные...*» [Черных, 2001, 35].

Наряду с термином *стереотип* в этнологии используется термин *этнический образ* – форма краткого описания, «в котором выделяется какое-то одно типическое свойство в восприятии представителей других этносов. Этнический образ, акцентируя внимание на какой-либо специфической черте внешнего поведения индивида, формирует общее представление об облике представителей того или иного этноса в целом» [Садохин, 2003, 216].

В языковой картине мира русских жителей Пермского края отражаются следующие черты этнических образов соседей:

1. Язык того или иного народа: *Были маришцы у нас. У них-то разговор свой* (д. Акчим Красновишерского района).

2. Типичные черты характера и поведения: *Он придет, так его не выгонишь. Больно навяшишывые. Своя нация – цыганы; Шапку не снимат даже! Ты что, по-татарски?* (д. Акчим).

3. Занятия представителей определенной национальности: *Приезжали раньше-то, гадали цыганки; Манси раньше наезжали. Унты продавали, туфли теплые; Третное ткали только пермянки – оне в шесть ниченков, а мы – в три-четыре* (д. Акчим).

4. Манера одеваться: *Штаны как у татарки, выпушишэны наверх* (д. Акчим).

5. Особенности вероисповедания.

Опознание «своих» и «чужих» может происходить не только на основе языковых различий, но и на основе различий религиозных. Старообрядцы в народном сознании – это отдельный народ, *как нация*. Слово *кержаки*, как и многие этнонимы, имеет переносные значения ‘упрямый, замкнутый человек’, ‘скупой’.

Отсутствие твердой христианской веры получает у русских отрицательную оценку. Недаром жители д. Коми-Березовка, предки которых на рубеже XIX–XX вв. переселились из коми-зырянского с. Усть-Нем (бассейн Вычегды), соседнее русское население называло *лопарями некрещеными* за то, что те не посещали храмы.

Все эти образы складываются в стереотипные представления о том или ином народе, с которым русское население проживает в тесном контакте. Основой гетеростереотипов, по наблюдениям этнологов, является «антропостереотипичность, т. е. обусловленность стереотипа внешним обликом индивида» [Садохин, 2003, 216]: *Личность такая мариец. Глаза узкие* (д. Акчим).

Стереотипные представления о типичных чертах характера или поведения позволяют использовать этнические имена в качестве нарицательных обозначений. Например, *тунгусом* в пермских говорах называют молчаливого человека: *Спросишь – он молчит. Тунгус называют. Он-де какой тунгус, нельзя-де слова докупиться* (д. Акчим).

Таким образом, этнонимы отражают связь языка и духовной культуры народа, его менталитета.

Герд А. С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций и хрестоматия. СПб., 2005.
Садохин А. П. Этнология: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений. М., 2003.
Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.

Черных А. В. Русские и татары Прикамья: межэтническое взаимодействие // Живая старина. 2001. № 2. С. 35–37.

О. С. Смирнова
Екатеринбург

О репертуаре номинативных моделей в эргонимии двух российских городов

В связи с развитием индустрии красоты в современной российской эргонимии заметно увеличилось количество наименований салонов красоты, причесок, парикмахерских. Замечено, что при номинации объектов этого типа действуют определенные закономерности. И. В. Крюкова, обобщив материал, собранный исследователями в разных городах России – от Москвы до Комсомольска-на-Амуре, – установила, что использование при именовании салонов красоты «женских» антропонимов является общероссийским номинативным процессом [Крюкова, 2007, 283].

Предпринятый нами сопоставительный анализ названий 74 салонов красоты/парикмахерских и 73 рекламных агентств г. Красноярска показал специфичность тех и других. Так, отсубъектных наименований среди объектов первого типа в два раза больше. Это такие эргонимы, отражающие признаки субъекта номинации, как *Студия Лены Куц, Валентина, Рафаэль, Слава, РИТМ* (аббревиатура, составленная из начальных букв имен *Роман, Илья, Татьяна, Максим*, – так зовут близких родственников владельца парикмахерской). В отличие от названий рекламных агентств в отсубъектных наименованиях салонов красоты/парикмахерских релевантными оказываются не только свойства номинатора, но и его ближайших родственников, ср. *РИТМ, Руслан и Людмила* (салон красоты, название которого мотивировано именами владелицы и ее сына) [подробнее об этом см.: Смирнова, 2007, 317].

Изучение различий в именовании разнотипных объектов одного города – только один из аспектов эргонимических исследований. Другой аспект – выяснить, абсолютно ли одинаков репертуар моделей, действующих при номинации однотипных объектов, которые функционируют в разных российских городах.

С этой целью мы проанализировали названия салонов красоты/парикмахерских Екатеринбурга и Красноярска. К анализу было привлечено 156 эргонимов: 77 из них бытуют в Екатеринбурге, 79 – в Красноярске. Материал извлекался в основном из двух источников 2008 года: екатеринбургского справочника «Желтые страницы» и электронной карты-справочника ДубльГис по г. Красноярску за январь.

В соответствии с мотивировочным признаком, связанным с тем или иным компонентом номинативной ситуации (объектом, субъектом, адресатом), мотивированные эргонимы распределяются следующим образом:

Екатеринбург: отобъектные – 51, отсубъектные – 21, отадресатные – 5;

Красноярск: отобъектные – 42, отсубъектные – 32, отадресатные – 5.

Представленные статистические данные показывают, что в обоих массивах исследуемых эргонимов преобладают отобъектные номинации. Это такие названия, характеризующие свойства самого объекта, оказываемую услугу, как *Студия красоты*, *Клип* (< англ. *clip* ‘стричь’), *Ева*, *Верх-Исетский* (в Екатеринбурге), *Академия красоты*, *Нефертити*, *БиБуди*, *Салон красоты гостиницы «Октябрьская»* (в Красноярске).

Второе место по частотности занимают отсубъектные эргонимы. Перечислим некоторые из них: а) *Александра* (салон назван по имени первой владелицы), *Доминика* (название дано по имени дочери владелицы), *Салон красоты Мотчаного* (Екатеринбург); б) *Жанни* (владелицу салона зовут *Жанна*), *Студия Елены Малютиной*, *Фолави* (в названии воспроизводятся первые слоги фамилии, имени и отчества номинатора – *Фогель Ларисы Викторовны*) (Красноярск).

Реже всего встречаются отадресатные номинации, такие, в которых именуемый субъект запечатлевает либо реальные, либо оптативные характеристики потенциального клиента. В Екатеринбурге это эргонимы *Амазонка*, *Королева красоты*, *Леди-Прима*, *La Dea* (< итал. *dea* ‘богиня’), *Эгоист*, в Красноярске – *Богиня*, *Ели* (< фр. *eli* ‘избранный’), *Ла кара* (< исп. *cara* ‘дорогая, милая, любимая’), *Мон Шер* (< фр. *cher* ‘дорогая, милая, любимая’), *Эгоист@ка*.

Дальнейшее изучение отобъектных и отсубъектных наименований салонов красоты/парикмахерских показало, что репертуар моделей, действующих при их создании в Екатеринбурге и Красноярске, одинаков. Например, мотивировочными у отобъектных эргонимов в обоих городах стали следующие признаки: 1) прямое указание на услугу; 2) опосредованная характеристика услуги; 3) свойства объекта. Показательно, что совпадают не только модели номинации, степень их востребованности (продуктивность) тоже оказывается практически одинаковой. Так, доля наименований, которые характеризуют услугу опосредованно, составляет в Екатеринбурге 63 %, в Красноярске – 58 %. Эта модель представлена, в частности, эргонимами *Ассоль*, *Магнолия*, *Мажор*, *Шансон* (в названии отражена ориентация салона на французскую классику), *Эксклюзив* (Екатеринбург), *Времена* (название сообщает о том, что салон обслуживает клиентов в любое время года), *Жасмин*, *Леди Ди*, *Модерн*, *Оранжевое настроение* (Красноярск).

Немногочисленны наименования, прямо указывающие на услугу: в каждом из исследуемых массивов эргонимов их всего 20 %. Приблизительно одинаково соотношение названий, в которых действует модель именования по свойствам объекта: 14 % в Екатеринбурге, 10 % в Красноярске.

Единственное отличие здесь – в продуктивности модели номинации объекта через другой эргообъект. В Екатеринбурге эта модель представлена пятью эргонимами: *Атриум*, *Верх-Исетский*, *Золотое яблоко* (салоны находятся внутри одноименных эргообъектов), *Guinot* (салон является представителем французского института красоты *Guinot*), *Этуаль* (дано по названию парижской гостиницы, в которой останавливалась владелица салона). В Красноярске же она выделяется лишь в наименовании *Радуга-М* (в помещении до открытия салона размещалась типография *Радуга*).

Идентичен набор моделей, на базе которых создаются отсубъектные названия: 1) по имени номинатора; 2) по именам ближайших родственников номинатора. В эргонимах, образованных по второй модели, именующий субъект и в Екатеринбурге, и в Красноярске отдает предпочтение номинациям, запечатлевающим имена своих младших родственников (детей и внуков).

Совпадение номинативных моделей, почти одинаковая их продуктивность свидетельствуют о том, что при именовании салонов красоты/парикмахерских территориальный фактор не действует.

Крюкова И.В. Рекламные имена как знаки городской лингвокультуры // Язык города: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Бийск, 2007. С. 282–287.

Смирнова О.С. Наблюдения над особенностями номинации разнотипных коммерческих предприятий // Язык города: Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. Бийск, 2007. С. 316–321.

С. Н. Смольников
Вологда

Имя и событие: к вопросу о семантике имен собственных

Имя собственное (ИС) не только выступает «пробным камнем» теорий референции, но может служить и критерием для оценки семантических теорий. Решение вопроса о семантике ИС требует обсуждения более общих проблем, связанных с пониманием сущности лексического значения и методологии его описания. Так, например, утверждение семантической ущербности ИС, свойственное логико-семантическому («понятийному») подходу к семантике, имеет и другую сторону: оно свидетельствует об ущербности самого метода, который, как оказывается, применим для описания далеко не всех лексических единиц.

Более действенным выглядит психологический подход к значению как представлению, который оперирует цельным образом, стоящим за ИС. Вместе с тем объективация представления как языкового значения ИС вызывает вопросы о его природе и механизмах превращения субъективного в объективное.

В современной семасиологии ведущие позиции занимают структурные методы (компонентный анализ), но и они лишь частично позволяют интерпретировать «непо-

нятийные» ИС, которые более жестко, чем нарицательные имена, связаны с конкретными предметами окружающего мира. Основное содержание имен собственных составляет их референция. Однако разделить референцию на интегральные и дифференциальные признаки, подобно расчленению понятия на семы, очень сложно. Компонентный анализ предполагает имманентный анализ языка, опирается на его внутреннюю структуру и при вынесении за скобки этой структуры при обращении к ИС обнаруживает свою беспомощность.

И наконец, семантика ИС может быть исчислена как речевая, контекстуальная или дискурсивная. При таком подходе ИС демонстрирует жесткую прикрепленность к высказыванию, тексту, вне которых воспринимается «опустошенным». Парадоксальным образом текст может быть редуцирован до пределов ИС, а ИС может быть развернуто в текст, что убедительно доказывается современными этнолингвистическими исследованиями.

Характеристика проприального значения как образно-целостного, не допускающего понятийного абстрагирования, неотделимого от именуемого предмета и контекста речи соотносима с точкой зрения тех ученых, которые понимали значение ИС как «энциклопедическое».

Однако эта же характеристика позволяет видеть в нем все признаки семантического синкретизма, т. е. говорить о семантике архаичного типа, которая в отдельных формах сохраняется в языке. Видимо, ИС – одна из таких форм. Рассматривая специфику языка Древней Руси, В. В. Колесов отмечал, что исходный семантический синкретизм древнерусского слова обусловлен особенностями допонятийного мышления, нерасчлененностью значений слова, тесной связью слова с определенным контекстом и конкретной ситуацией речи. В свою очередь художественная образность и символическая обобщенность текста были производны от семантического синкретизма составляющих его слов [Колесов, 2002, 146–152].

Для архаического языкового сознания значение ИС нередко сводится к мифу. Однако можно трактовать его и как отражение события или как ситуацию, одновременно включающую предикат, актанты и атрибуты в их отношениях. Характерным примером такой интерпретации может служить библейское толкование имени: «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими» (Ин 11, 2).

Сходные способы толкования можно встретить в исторических документах, литературных произведениях, в современной устной речи. Это говорит о том, что любое ИС соотносимо с ситуацией, обладающей разной степенью и разной сферой прецедентности. Событийные семантические модели, ориентированные не на предметно-понятийную отнесенность имени, а на его феноменологическую сущность, создают условия для создания типологии ИС.

Таким образом, при семантической характеристике ИС более уместно говорить не об особой понятийности, а о допонятийном синкретичном значении особого типа. Методика описания таких значений требует научного обсуждения.

Колесов В. В. Философия русского слова. СПб., 2002.

Типология раннегородских названий (на материале урбанонимов древнего Новгорода и старой Москвы)

Система названий улиц древнего города складывается в течение длительного периода под действием экстралингвистических факторов (топография, структура власти, верования, уклад жизни горожан и др.). Вместе с тем существуют общие для разных городов модели номинации линейных объектов, а также перенесенные названия. В связи с этим целесообразно сопоставить имена новгородских и московских улиц, выявить типичное и решить вопрос, можно ли говорить о специфически новгородских или московских названиях. В отношении Москвы привычным для ряда урбанонимов стало определение «старомосковское название», но правомерно ли употребление этого термина как обозначения специфических черт московской номинации?

Для сопоставления были взяты названия улиц древнего Новгорода X–XVII вв., извлеченные из работ лингвистов, историков, археологов [Алешковский, 1974; Васильев, 2005; Зайцев, Кушнир, 1975; Строгова, 1993], и названия улиц старой Москвы XIV–XVII вв., выявленные по разным источникам [Агеева и др., 2007; Кусов, 1985, 1993; Фехнер, 1949]. Список названий улиц древнего Новгорода включает 70 наименований, список названий улиц старой Москвы – 106 наименований. Следует отметить, что имена улиц Великого Новгорода более древние (Москва, как город, появляется позже), но сопоставление правомерно: в обоих случаях мы рассматриваем начальный этап формирования системы городских названий линейных объектов. Кроме того, в истории топонимии старой Москвы выделены два временных промежутка: ранний (от первых упоминаний XIV в. до первой трети XVI в., т. е. до конца правления Василия III) и более поздний (до XVII в.).

Линейные объекты Великого Новгорода играли большую роль в формировании структуры города. Улицы имели общее направление «от реки в поле» (и на Софийской, и на Торговой стороне), носили устойчивые названия, постоянно упоминаемые в летописях. Именно улицы были низшими звеньями административно-территориального устройства: уличанское население сообща участвовало в политической жизни города, избирало своего старосту, следило за сохранностью уличных мостовых. Исключение составляли *пробойные улицы*, которые выполняли функции связующих и не образовывали уличанских общин (например, две *Великие улицы*). Закономерно, что большинство названий улиц древнего Новгорода имеют в основе антропоним:

- имя (или прозвище) первопоселенца (первовладельца) – *Даньславля улица, Боркова улица* (летописи фиксируют названия жителей улиц – *даньславцы, борковцы*);
- христианское личное имя, что связано с практикой возведения в древнем Новгороде патрональных храмов, – *Яковля улица, Кузмодемьяня улица*.

Немногочисленную группу составляют урбанонимы, в основе которых коллективные имена (прозвища) людей по этнической, социальной принадлежности,

роду занятий: *Варяжская улица, Холопья улица, Лубяница (Лубянка)*, единичны названия улиц по особенностям формы – *Рогатица, Роговка (Рогавка)*.

Таким образом, можно говорить о специфически новгородских раннегородских названиях в форме прилагательных-посессивов с суффиксами *-j-, -ov'ev-, -ин-*, производных от дохристианских и христианских личных имен, распространенных именно в древнем Новгороде или Новгородских землях.

Система названий Москвы складывалась в соответствии с особенностями застройки города, которая, в свою очередь, зависела от характера местности: крутой высокий холм при слиянии рек Москвы и Неглинной, где был построен кремль, далее поселение росло вглубь левого берега реки Москва, между ее притоками Язуй и Неглинной, затем возник посад. Уже в XIV–XV вв. наметилась радиально-кольцевая планировка города: от кремля тянулись дороги в другие города, села, монастыри, а вдоль дорог шло заселение местности. На этом древнем этапе достоверно удалось установить существование всего 16 линейных городских объектов. Древнейшая и главная улица Москвы – *Великая* – шла вдоль Москвы-реки к устью Язуы; ныне этой улицы не существует. Лишь одно название линейного городского объекта сохранилось с момента возникновения в первоначальном виде: *Арбат* (первое упоминание в форме *Орбат* в 1493 г.); в середине XVII в. улица называлась *Смоленской* (так как была частью дороги, ведущей в Смоленск), но это название не прижилось. Один урбаноним сохранился в более поздней форме – *Сретенка*. Четыре названия восстановлены в 1992 г. в ходе кампании по возвращению улицам исторических имен. Одно – с изменением термина: под 1468 г. впервые упоминается *Богоявленская улица* (ныне *переулок*), получившая название по Богоявленскому монастырю, одному из древнейших в Москве, основанному в конце XIII в. При Иване Калите в монастыре был построен каменный Богоявленский собор. (В 1930–1938 гг. *Блюхеровский переулок* – в честь военачальника В. К. Блюхера (1890–1938); после его ареста – *Куйбышевский проезд* – по соседней ул. Куйбышева (ныне *Ильинка*.) Три названия восстановлены в более поздней форме: *Варварка, Малая Дмитровка, Тверская улица*. Остальные названия не сохранились или ввиду утраты линейным объектом самостоятельности, или вследствие переименований.

О второстепенном значении улиц в древней Москве свидетельствуют их названия: из 16 урбанонимов 7 – это не собственно улицы, а дороги в города, села, слободы, урочища за пределами Москвы: *Владимирская, Тверская, Дмитровская, Можайская Волоцкая, Болвановская, Олешинская*. Второй тип номинации – тоже по дороге, более короткой, ведущей к монастырю, храму: *Богоявленская, Дмитриевская, Ризоположенская, Юрьевская, Варьская (Варварская), Сретенская (Устретеньская)* улицы, *Рождественский переулок*. Таким образом, на первом этапе не зафиксировано ни одного «старомосковского» названия.

В период со второй трети XVI по XVII в. в Москве достоверно установлено 107 названий улиц и других линейных объектов. Самым продуктивным становится именование улицы по храму или монастырю (38 урбанонимов): *Петровка, Большая Якиманка, Козьмодемьяновская улица, Вознесенский переулок*.

К концу XVII в. важную роль в городской структуре начинают играть слободы ремесленников, дворовых людей, обслуживающих государев двор, слободы

стрельцов, а также иноземцев. Поэтому продуктивной становится номинация улиц по слободам (23 урбанонима): *Кузнецкая улица, Кормовая улица, Калашный переулок, Татарская улица, Маросейка*. Усиливается самостоятельная роль улиц, и именование линейных объектов по дорогам отходит на второй план (10 урбанонимов): *Калужская дорога, Стромынка, Гжельская дорога*. Только к концу XVII в. появляются в Москве именованные улиц по владельцу земли, дома (такой принцип номинации станет продуктивным позже, в XVIII в.): *Артемонов переулок, Мамстрюкова улица, Чекенева улица* (всего 10 урбанонимов). Единичны названия по реке (*Неглинная улица, Яузская улица*), по урочищу (*Кулижски, Болвановка, Остоженка*), по значимому объекту, расположенному на улице (*Посольская улица, Оптекарский переулок, Кабацкой переулок*), по особенностям самого линейного объекта (*Узкий переулок, Тупой переулок*).

Именно в этот период, к концу XVII в., в Москве появляются названия с формантом *-ка*. Десять урбанонимов зафиксированы только в этой «старомосковской» форме, еще семь встречаются в документах как варианты названий с основным для этого времени топоформантом *-ская* (*Дмитровская/Дмитровка, Ильинская/Ильинка, Покровская/Покровка*). Таким образом, закрепляется модель, впоследствии ставшая продуктивной в топонимии Москвы, но, на наш взгляд, назвать ее «старомосковской» нельзя: новгородские названия с формантом *-ка* появились раньше (*Лубянка* в 1535–1539 гг., *Роговка/Рогавка* – в конце XV в., более того, именно название *Лубянка* стало одним из первых перенесенных названий в слободе новгородцев в Москве).

В результате анализа системы раннегородских названий древнего Новгорода Великого и старой Москвы удалось выявить специфически новгородские топонимы и отсутствие «старомосковских» специфических урбанонимов.

Агеева Р. А., Бондарук Г. П., Поспелов Е. М., Соколова Т. П., Шилов А. Л. Имена московских улиц: Топонимический словарь. М., 2007.

Алешковский М. Х. Социальные основы формирования территории Новгорода IX–XV вв. // Советская археология. 1974. № 3. С. 101–103.

Васильев В. Л. Архаическая топонимия Новгородской земли. (Древнеславянские деантропонимные образования). Великий Новгород, 2005.

Зайцев И. А., Кушнир И. И. Улицы Новгорода. Л., 1975.

Кусов В. С. Топонимия Москвы на русских чертежах XVII века // Вопр. географии. Сб. 126. М., 1985. С. 138–148.

Кусов В. С. Чертежи Земли Русской XVI–XVII вв. М., 1993.

Строгова В. П. Древние топонимы Новгорода и его окрестностей. Новгород, 1993.

Фехнер М. В. Москва и ее ближайшие окрестности в XV и начале XVI века // Материалы и исследования по археологии СССР. № 12. М.; Л., 1949. С. 106–124.

Русский антропоним: структура, взаимосвязь компонентов, денотативные и коннотативные аспекты ономастической семантики

Будучи ядерным конститuentом ономастического поля, антропонимы являются своеобразным *principium comparationis* для определения онимичности других единиц этого языкового пласта, сравнение с ними выявляет, в какой степени то или иное слово является именем собственным. Справедливо заметил А. А. Белецкий еще в 1972 г., что «прочие имена как бы уподобляются или приравняются к ним» [Белецкий, 1972, 161].

Однако этот принцип не является абсолютным. Сложные отношения между компонентами антропонимического комплекса, их содержательное тождество при выраженном прагматическом своеобразии каждого из конститuentов колеблют ядерный статус антропонимов, заставляя их уступить это место топонимам, и только фреквентативные показатели в текстах различного содержания не позволяют полностью снять единицы антропонимического разряда с ядерного пьедестала.

К антропонимам, как известно, относятся личные имена в полной, церковной (крестной), гипокористической, деминутивно-мелиоративной и аугментативно-пейоративной формах, фамилии, отчества – эти единицы на современном этапе развития русского народа являются обязательными для всех представителей этноязыковой общности; прозвища, клички, псевдонимы, уличные имена и пр. составляют антропонимическую периферию и могут отсутствовать у многих/большинства членов общества. При этом все эти единицы и их сочетания имеют семантическое тождество, идентифицирующая сема ‘человек’ проявляется в обязательной связи с денотатом имени: *Иван Иванович Иванов – Иван Иванов – Ваня Иванов – Иван Иванович – Иванов – Иван – Иоанн – Ваня – Ванюша – Ванька – Иваныч – Очкарик – Меченый – Заречный* и т. п. В этот ряд могут входить также неделимые прагмонимические сочетания с одними терминами родства: *дядя Ваня, дедушка Ваня*; (полу)свободные сочетания с другими терминами: *papa Ваня, брат Ванюша, кузен Иван*; сочетания фамилии с инициалами в препозиции (в публицистическом тексте) и постпозиции (в списках и некоторых официальных документах): *И. И. Иванов, Иванов И. И.*; шуточные преобразования всех компонентов антропонимической формулы полупровищного или ситуативного характера: *Три И, Иванов, Иванидзе, Джон, Жан, Хуан, Ванчо, Ив-Ив* и мн. др.

Все компоненты этого почти бесконечного ряда можно было бы рассматривать как синонимы, поскольку под последними понимаются единицы, «имеющие полностью или частично совпадающие значения» [ЛЭС, 447], однако семантика онима столь специфична, выражается по сравнению с апеллятивом более дифференцированным контенционалом и менее объемным интенционалом [Алефиренко, 1998, 167–168], каждый компонент ряда имеет пучок коннотаций и фоновых сем, в которых и заключается своеобразие конститuentов антропонимического поля,

на которых базируются семантические расхождения этих слов и словосочетаний, поэтому в лучшем случае их взаимоотношения могут быть определены как речевая квазисинонимия.

А. К. Матвеев утверждает: «Есть основания, однако, думать, что ономастику следует рассматривать как самостоятельную лингвистическую науку, а не как раздел лексикологии» [Матвеев, 2005, 7]. Если продолжить рассуждения мэтра ономастологии, то и термины лексикологии не вполне уместны для описания семантико-стилистических особенностей функционирования онимов. Так, например, еще сложнее описать в привычных лексикологических терминах отношения между одинаково звучащими онимами, относящимися к разным лицам. Их никак нельзя назвать омонимами, хотя они имеют «звучковое совпадение» и их информационно-речевые значения «не связаны друг с другом» [ЛЭС, 344]. В языке существуют имя *Иван*, отчество *Иванович* и фамилия *Иванов*, которые могут в речи функционировать самостоятельно, в сочетании друг с другом и с другими антропонимами и употребляться для именованя множества различных лиц. Эти не поддающиеся исчислению речевые употребления отличают антропонимы (а также зоонимы) от единиц других ономастических разрядов, имеющих в языке и речи соотнесенность с единственным объектом, что снова затрудняет восприятие этих онимов в качестве ромба для сравнения.

С. Брендлер описывает мультифункциональность антропонима на примере имени и фамилии своего школьного друга Томаса Вагнера (*Thomas Wagner*), выделяя 8 позиций (перспектив): 1) последовательность компонентов; 2) синтагматическая позиция; 3) оценка имени; 4) способ получения имени; 5) актуальный способ использования имени; 6) подчеркивание индивидуальности или семейственности с помощью имени; 7) различие отдельного человека и группы людей с помощью имени; 8) констатация комплемента имени через прибавление другого [Brendler, 2008, 56]. Все это является отражением социолингвальных особенностей функционирования антропонимического комплекса в языке-речи, что также может служить дополнительным аргументом о специфическом месте единиц этого разряда в ономастическом поле.

Сложность решения вопроса об омонимии и полисемии в ономастике отражается на лексикографической обработке одинаковых онимов в словарях языка писателей. Предлагаются различные приемы оформления словарных статей. А. В. Фёдоров и О. И. Фоянкова предлагают алфавитно-гнездовой принцип расположения слов: антропонимы располагаются от полного (общепринятого) до эмоционально-стилистических, сниженно-разговорных и иных, окказиональных вариантов [САГГ-ИС, 8]. Составители пока еще, к сожалению, не изданного чешско-русского толково-переводного словаря к трилогии М. Пуймановой, работающие под руководством Г. А. Лилич и воплощающие идеи Л. В. Щербы и Б. А. Ларина, дают лексикографическую обработку антропонимов, исходя из практической целесообразности. Все одинаковые имена собственные сведены в одну словарную статью, многокомпонентный оним предлагается выделять в словарной статье по главному компоненту с помощью знака лежащего нуля [см.: Степанова, Супрун, 1988, 177]. Этот, может быть, несколько наивный прием был избран для того, чтобы показать специфику поликомпонентных онимов, их отличие от фразеологизмов, выделяемых с помощью ромба.

Полный русский антропоним, состоящий из имени, отчества и фамилии, только формально равняется фразе – сверхсловной раздельно оформленной, но семантически целостной и синтаксически неделимой языковой единице [Алефиренко, 1993, 4]. Фраза при трансформации либо становится иной языковой единицей, либо теряет свою фразеологичность, превращается в свободное сочетание или слово; антропоним же в каждом своем компоненте сохраняет денотативную связь, содержит энциклопедическую (для реальных лиц) или литературоведческую (для вымышленных персонажей) информацию.

Язык дает многочисленные, но все же ограниченные в количественном отношении модели преобразования имён в экспрессивно-стилистических целях. *Иван* имеет в словаре 104 производных: от *Иваня* до *Ивайка* [СРЛИ, 180–183]. У имени *Вера* 50 дериватов [Там же, 437–438], которые активно используются в речи. Речь манипулирует, экспериментирует с языковыми моделями и может выходить за их пределы, создавая слабо поддающиеся исчислению и классифицированию множество экспрессивных вариантов: *Иванусёночек, Ванюшунечка, Ванькович, Иваничеболванище* и мн. др. В обращении к лицу параллельно могут выступать формы от фамилии, имени и прозвища.

Церковный вариант имени, восходящий к церковнославянско-греческому прототипу, может приобретать, помимо ограничения ситуацией употребления, еще и статусные индикации, ср.: *Святого такого, чтоб Иваном звали, и в святцах нет! Есть Иоанн! Холоп может быть Иваном, Ивайкой, Ванюшкой, а дворянину кличкой зваться не приличествует. Эдак, пожалуй, инога назовут и Ванюшкой Ванюшкойчим* [Салиас де Турнемир, 1993, 76–77].

Расхождения между церковным и светским именем одного и того же лица могут быть вызваны использованием разных антропонимов в различающихся ситуациях общения. До XVIII в. в России нередко сохранялась двуименность, когда церковное имя использовалось только в храме во время богослужения, а в бытовых ситуациях, в том числе при официальном общении, человек именовался мирским именем, которое уже не воспринималось языческим, поскольку его носитель был православным человеком и не считал свое имянаречение частью языческого обряда, но оно и никак не совпадало с крестным именем: 1552–1553 гг.: *Купчая Неустроя и Сутормы Васильевых детей Безсоньевых Якову (Васильеву сыну?) Безсонову на двор в городе Казани на Большой улице у моста около Спасских ворот* (Ермолаев, 1980, б). Опираясь на традицию переводов греческих и латинских имен *Fides, Spes, Caritas* (*Вера, Надежда, Любовь*), в употребление вошли антропонимы *Тихомир, Богодар, Богдан, Боголеп, Домашний, Разумник* – переводы имен *Климент, Фёдор, Феодосий, Феопрет, Домитиан, Софрон* [Мирославская, 1959, 366], ставшие основой для фамилий.

В последующем церковно-бытовая разноименность вызывалась различными причинами, вплоть до курьезных: *Он взял себе Пелагею. Ее все Полей звали. А пошли венчаться, документы взяли, а она Таиса. Мать крестная подпила после того, как её покстила, и забыла, сказала родителям, что Пелагея* (х. Двойновский Новониколаевского района Волгоградской области, информант А. А. Куликова, 1909 г. р.).

Своеобразие антропонимии и ее конститuentов, особенности структуры антропонимического поля, строгая взаимосвязь и при этом относительная свобода

выбора компонентов, ярко проявляющиеся денотативные и коннотативные аспекты семантики ставят перед ономастикой задачи описания и классификации ономастико-семантических парадигм и моделей.

Алефиренко Н. Ф. Фразеология в системе современного русского языка. Волгоград, 1993.

Алефиренко Н. Ф. О природе ономастической семантики // Ономастика Поволжья: Тез. докл. VIII Междунар. конф. Волгоград, 1998. С. 165–168.

Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания: Ономастика. Киев, 1972.

Ермолаев И. П. Казанский край во второй половине XVI–XVII вв. (Хронологический перечень документов). Казань, 1980.

Матвеев А. К. Ономастика и ономотология: Терминологический этюд // Вопр. ономастики. 2005. № 2. С. 5–10.

Мирославская А. Н. Древнерусские имена и прозвища в «Новгородских записных кабальных книгах 100–104 и 11 годов» // Уч. зап. Калининград. гос. пед. ин-та. Вып. 6. Калининград, 1959. С. 336–362.

Салиас де Турнемир Е. А. Собр. соч. в 5 т. Т. 1. Петербургское действо. М., 1993.

Степанова Л. И., Супрун В. И. Имена собственные в толково-переводном словаре языка писателя // Современное состояние и тенденции развития отечественной лексикографии: Актуальные проблемы подготовки и издания словарей. М., 1988. С. 175–177.

Суперанская А. В. Терминология ономастики // Acta onomastica (Praha). 2008. Roč. II. S. 314–322.

Brendler S. Probleme und Moeglichkeiten der Entwicklung der onomastischen Terminologie // Acta onomastica (Praha). 2008. Roč. II. S. 50–59.

О. А. Теуш
Екатеринбург

Этимологизация заимствованных финно-угорских словосложений в русском языке

Словосложение является одним из наиболее продуктивных способов образования новых слов в финно-угорских языках. Этот процесс настолько активен и частотен в живой речи, что современные словари финно-угорских языков включают далеко не все сложные слова, а только те, которые наиболее употребительны или те, в которых семантика слова далеко отходит от семантики составляющих его компонентов. При этом в финно-угорском языкознании до сих пор широко обсуждаемой является проблема различения сложного слова и словосочетания.

Исследователи субстратной топонимии финно-угорского происхождения при этимологии ориентируются на этимоны, представляющие собой сложные слова. Удивляет, что при этимологизации лексики, заимствованной из финно-угорских языков, количество выявленных заимствованных сложных слов невелико, если не минимально. Из нескольких сотен известных финно-угорских заимствований сложными словами в языках-источниках являлись только некоторые лексемы.

Среди проинтерпретированных заимствований из финно-угорских языков наибольшее количество сложных слов отмечено в ихтиологической терминологии (например: *máymakala*, *máymakava* ‘рыба сом’ < карел. *maimakala* ‘то же’, где *máima* ‘маленькая рыбка, используемая в качестве наживки’, *kala* ‘рыба’), орнитологической лексике (*naskarápa* ‘лесная сорока’, *naskarópa* ‘сойка’, которое сравнивается с фин. *paskarääkkä* ‘*Garullus glandarius*’ (состоит из *paska* ‘навоз’ и *rääkkä* ‘*Garullus glandarius*’), *paskaharukka* ‘*Garullus glandarius*’ (из *paska* ‘навоз’ и *harukka* ‘сорока’), вепс. *paskharag* ‘сойка’ (композит из *pask* ‘жидкий кал’, *harag* ‘сорока’)), в названиях растений (*куккш-карáнды*, *күкш-карáндыш*, *куккш-карангыш* ‘плоды шиповника’, ср. вепс. *kukšš-in-karandš*, *kukein-karang*, ливв. *kukoin-karangaine* ‘шиповник’, в которых первая часть – вепс., ливв. *kukoi* ‘петух’, а вторая часть не сохранилась в вепсском языке как значимая лексема, но рефлексy ее фиксируются в других прибалтийско-финских языках: фин. *karanka* ‘жердь, шест’, ‘засохший толстый сук ели’, ‘прут в изгороди’, кар. *karango* ‘свесившаяся в реку ветвь дерева’, ливв. *karango* ‘сухое дерево’).

Некоторое количество сложных слов отмечено в заимствованной лексике, обозначающей приспособления, инструменты, предметы хозяйствования *váuтомар*, *váштомар* ‘поперечное бревно, скрепляющее две лодки’ < саам., ср. прасаам. **vōstē*, саам. юж. *viōstie*, лул. *vuostē*, сев. *vuos te*, колт. *vie št*, кильд. *vī št* ‘направленный против чего-л., против’; прасаам. **mōre*, саам. юж. *tuore*, лул. *tuorra*, сев. *tuorrá*, ин. *tuora*, колт. *muōrr*, кильд. *mūrr* ‘дерево’. Ряд сложных лексем, обозначающих части упряжи оленя, заимствованы из ненецкого. Вторым компонентом всех этимонов-композигов является ненецкая лексема *иня* ‘ремень, веревка’: *эйнина* ‘нарядная суконная попола для оленя’; *пелёйна*, *пелёйна* ‘ремень, соединяющий упряжи оленей’; *пуйна*, *пуйна* ‘ремень, с помощью которого олень грузовой упряжки, привязывается к задку идущих впереди нарт’. Заимствованы два саамских слова со вторым компонентом **pēlē* ‘половина; сторона’: *алáнепа* ‘сетчатая белая пленка поверх кожи белухи’, ‘пленка, налет на рыбе, шкуре животных’, ‘бессмысленная, ненужная затея’; *чүрумбала* ‘половина задней части оленя’.

Встречаются заимствованные композиты и в географической терминологии: *кизевэль* ‘мелкий кустарник’ < коми *кыдз* ‘береза’ и л., нв., скр., уд. *вевья*, вв., вс., лл., печ., сс. *велья*, лет. *вел* ‘с преобладанием какого-л. признака или предмета’, *күйпога* (*күйпага*, *күйпуга*, *күйпак*, *күйпака*, *күйкана*, *күйпока*) с основными значениями ‘берег моря, обнаженный отливом’, ‘уровень воды между отливом и приливом’, ‘убыль воды во время морского отлива; время отлива’, которое следует связывать с фин. *kuiva pohja* ‘сухое дно’, карел. *kuivapohja* ‘с сухим дном, с сухой почвой’.

Анализ протимологизированной лексики, восходящей к сложным словам в языках-источниках, позволяет выявить следующие, важные для этимологизации такого рода материала, особенности.

1. Многие из заимствованных сложных слов имеют невысокую степень сохранности в русских диалектах (зафиксированы в XIX в. и не отмечены в современных говорах). Причиной этого, возможно, является многослоговость исходного сложного слова, которая, в целом, нехарактерна для русского языка, по крайней мере слова, имеющие в своем составе более четырех слогов, не заимствуются.

2. Нередко при заимствовании сложное слово сокращается до своего первого компонента, реже до второго, ср., например, *кúкошкарáндыш*, *кúкакарáндыш*, *кукарáндыш* и *кúка*, *кúкоши*, *карáндыш* в том же значении, или *паскарáга* и *паскач*. Отмечены случаи, когда бывшие сложные слова языков-источников в русском языке представлены только с утерей второго корневого компонента: *рómжа* ‘кипрей’, ‘таволга’ (ср. кар. *rožmuhein*, *rožmoheinä* ‘лабазник, таволга’); *ялгушка* (ср. кар. твер. *jalginlawda* ‘коник, широкая доска, прилегающая к печке, для удобства спуска и подъема на нее’, причем источником послужила первая часть карельского композита – *jalga* ‘нога’, с присоединением уже на русской почве суффикса *-ушк(a)*); *гáрва* ‘рыболовная сеть с крупной ячеей’ (ср. фин., карел. *harva*, ливв. *harvu*, люд., вепс., эст. *harv* ‘редкий’, фин. *harva verkko*, эст. *harv-võrk* ‘сеть с крупной ячеей’, ливв. *harvu verko* ‘редкая сеть, сеть с крупной ячеей’). Это создает серьезную этимологическую проблему: поскольку в сложном слове финно-угорских языков смысловое ядро содержится во втором корневом компоненте, а первый является атрибутом, выражающим дифференциальный признак, при утрате в процессе заимствования второго компонента этимолог вынужден искать этимологию на основе вторичного семантического признака, который часто не входит в смысловое ядро лексемы на русской почве. Семантическая сторона этимологии в таких случаях оказывается очень шагкой и трудно доказуемой. Возможно, усечение сложных слов при заимствовании является причиной того, что многие лексемы севернорусских говоров, опознаваемые в качестве финно-угорских заимствований, до сих пор не нашли убедительной интерпретации.

3. Заимствования, имеющие в качестве этимонов сложные слова, в большей степени подвержены процессам фонетического преобразования: происходит упрощение стыка двух корней, стяжение формы, неудобной из-за ее многослоговости, усиливается фонетическое варьирование и т. п. (*чимбица*, *мареж*, *выргут* и др.). Это также усложняет возможность поиска этимона.

4. Нередко сложные слова не заимствуются, а калькируются. Результатом могут быть кальки и полукальки. Примером полукальки является *пеноголо́вик* ‘несъедобная речная рыба’ (< приб.-фин., ср. фин. *pieni* ‘маленький’, карел. ливв. *pieni* ‘маленький, небольшой, малый’, люд. *pień* ‘маленький’, вепс. *peń* ‘маленький’; источником полукальки должно быть слово типа карел. ливв. *pienipiähiine* ‘с маленькой головой; с маленькой шляпкой (например, о гвозде)’). Кальками являются, например, *петушкí*, *петушня́к*, *пету́шник*, *петуши́нник*, *петуши́на*, *пету́нник*, *пету́нник*, *пету́шьи ягоды*, *пету́ньи ягоды* и *пету́нье дерево* (зафиксированы наряду с *кúкошкарáндыш*, *кúкакарáндыш*, *кукарáндыш*).

Социальная символика одежды в свете русской языковой традиции

Дериваты от наименований одежды и обуви, а также фразеологизмы, включающие такие наименования, зачастую оказываются связанными с обозначением разного рода социальных отношений. Они могут маркировать материальное положение. Так, названия разных видов одежды и обуви содержат коннотацию богатства (например, *сапоги*) и бедности (*лапти*): омск., тобол., новг. *из лаптей не выходить*, *лаптями трясти* ‘жить в бедности, нужде’, новг. *из сапог в лапти обеднеть*’, новг. *в сапогах* ‘тот, кто имеет деньги, богат, не нуждается’. Критерием разграничения богатых и бедных становится также качество одежды: если бедные слои населения носили одежду из серой, некрашеной ткани (*Мужик хоть и сер, да ум-то у него не черт съел*; *Хоть кафтан и сер, а ум не черт съел*), то состоятельному человеку был доступен кафтан из крашеного сукна – синего или зеленого: *кафтан зелён, да бит ежедён* ‘о щеголе’, *пуст карман, да синь кафтан* ‘то же’; *Каков ни есть, а в синем (кафтани)*. Эти факты проливают свет на внутреннюю форму поговорки *Враг силен, валяет и в синем*, которую В. И. Даль сопровождает комментарием «т. е. в синем кафтане, и богача» [см. об этом: Жуйкова, 2007, 328–331].

Активно используются дериваты от наименований одежды и обуви при обозначении принадлежности к определенному сословию. Это, например, дворянство или непривилегированные классы (ср. формулировки В. И. Даля: *бархатник* ‘кто в шелки одевается, дворянин’, *сермяжник*, *сермяжница* ‘мужик, мужичка, крестьянин’, *блузник* ‘название, данное у нас чужеземной черни, особенно французской, которая обычно ходит в блузах’), военные или канцелярские служащие (*синие мундиры* ‘жандармы в дореволюционной России, носившие форму синего цвета’, *под красной шапкой* ‘в армии (служить, находиться и т. п.)’, *и за светлой пуговицей душа (совесть) живет* ‘о приказных’, т. е. «я у чиновников может быть душа»).

Наименования одежды и обуви имеют также гендерные коннотации: арх. *стунить лаптем (в дом)* ‘родить первой девочку’, арх. *стунить сапогом (в дом)* ‘родить первым мальчика’. Гендерная семантика может получать дополнительную конкретизацию: «одежно-обувной» код используется для обозначения социального поведения мужчин и женщин, ср. коми (рус.) *трясти сарафаном* ‘вести разгульную, распутную жизнь (о женщине)’, простореч. *трясти штанами* ‘вести аморальный образ жизни, распутничать (о мужчинах)’.

Важное место в комплексе семантических дериватов и фразеологизмов, в основании которых лежат наименования одежды и обуви, занимают единицы, связанные с обозначением семейного положения (матримониального статуса). Смена социального статуса может быть выражена метафорой переодевания одежды, ср. перм. *снять девичью рубашку* ‘выйти замуж’. Возможно также переодевание в одежду противоположного пола, ср. новг. выражение *надеть сарафан* ‘насилно

женить'. На первый взгляд, здесь видна связь с новг. *сарафанник* 'парень, которого заставили жениться на опозоренной им девушке', значение которого могло развиться из *сарафанник* 'любитель ухаживать, волочиться за женщинами; волокита'. Однако можно предполагать и другой мотив: в Новгородской губернии отмечена традиция выставлять на всеобщее обозрение парня, пойманного у забеременевшей от него девушки и не желающего на ней жениться, надев на него сарафан.

Доминирующим для обозначения семейного положения является код головных уборов, отражающий, как правило, реальные традиции их ношения: олон., ср.-урал., перм. *снять (отдать) волю* 'о замужестве, выходе замуж' (*воля* – широкая лента, которую невеста дарит одной из свадебных подруг при обряде расплетания косы), костр., яросл. *непокрытая головушка (голова)* 'девушка, живущая с мужчиной без венчания', яросл. 'девушка, не выданная замуж' (головной убор, закрывающий волосы, носит замужняя женщина, девушка может ходить с непокрытой головой). Код головных уборов проявляется чаще всего в лексике свадебного обряда – например, в обозначениях свадебных чинов (новг. *колпачник, колпачный* 'один из участников свадебного обряда, который носит и хранит фуражку или колпак жениха'), элементов ситуации сватовства (пск. *шапку в лохань (выкинуть)* 'об отказе невесты при сватовстве'). Шапка как мужской головной убор может выступать в качестве символической замены жениха: орл. *сватать (засватать), посвататься за шапку* 'сватать кому-л. невесту в отсутствие жениха'; платок же символизирует согласие невесты: твер., влг. *дать плат (платы)* 'дать согласие на брак', онеж. *выручать платки* 'в свадебном обряде: получать обратно подаренный девушкой жениху платок, если она в женихе разочаровалась'.

Особую роль в свадебном обряде играла и обувь. Обувь, которую жених дарил невесте, с одной стороны, служила способом приобщения невесты из «чужой» семьи к «своей»; с другой стороны, она символизировала подчинение женщины мужчине (ср. обычай подносить обувь невесте на блюде, которое она поднимала вверх и ставила на голову в знак подчинения мужу, а также ритуальный отказ надевать обувь, полученную от жениха). Следует напомнить и о брачно-эротической символике обувания: обувь подразумевает женское начало, а нога – мужское (*Жена не сапог, намулит, так с ноги не соймешь*); само обувание обозначает брачную связь (перм. *дорогой обуться* 'забеременеть в девичестве'). Это объясняет семантику обувной метафоры в новг. *как в лапоть готовый вступить* 'удачно выйти замуж, попасть в богатую, хорошую семью', арх. *ступить в красный сапог* 'неудачно выйти замуж'. При этом негативная семантика выражения *ступить в красный сапог* связана, скорее всего, с мотивом подчинения, характерным для языкового образа *сапога*, ср. литер. *жить (находиться, держать)* и т. п. *под сапогом* 'жить, находиться, держать и т. п. в полном подчинении'.

Помимо символики, общей для названий разных видов обуви, у них есть и «индивидуальные» коннотации. Богатым коннотативным фоном обладает слово *лапоть*. Например, в влг. *лапти сплести* 'о невесте: отказать жениху при сватовстве' проявляется, с одной стороны, «индивидуальный» мотив обмана, измены в любви («обманутые ожидания») сватавшегося, а с другой – общая для разных наименований обуви ассоциация лаптя с дорогой, передвижением (невеста отправляет жениха обратно) [подробнее см.: Березович, 2007, 259–262].

Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов'янських мов. Луцьк, 2007.

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007.

С. М. Толстая

Москва

Стереотип и картина мира*

На своем пути от социологии (социальной психологии) к когнитивной лингвистике и этнолингвистике понятие стереотипа претерпело существенные изменения, затронувшие как его содержание, так и форму и объем. В общем виде характер и вектор этих изменений можно определить как расширение границ. Если в социологии понятие стереотипа относилось почти исключительно к этническим, социальным, профессиональным и др. группам людей («Немцы аккуратны», «Китайцы трудолюбивы», «Мать заботлива» и т. п.), то в когнитивной лингвистике и затем в этнолингвистике оно стало применяться по отношению к любым сущностям (предметам, явлениям, событиям, лицам, животным, растениям и т. д.), с которыми человек соприкасается в своей познавательной и практической деятельности и которые получают обозначение в языке (Х. Патнэм, Е. Бартминьский). Если первоначально стереотип понимался как некоторая «субъективная» добавка к «объективному» образу объекта, а языковой стереотип – как коннотативная (оценочная) добавка к лексическому значению слова (аккуратностью не исчерпывается образ немца и значение слова *немец*), отражающая коллективное мнение о соответствующем денотате, то впоследствии стереотип стал трактоваться как целостная «наивная теория» объекта (предмета, лица или явления), включающая не только оценочные (коннотативные, интегральные), но и категориальные (идентифицирующие) признаки («идея о том, как выглядит некий X, как он действует, каков он» – Бартминьский), т. е. в соответствии с широко понимаемым лексическим значением (когнитивной дефиницией) слова.

При узком (социологическом) понимании стереотип имел вид суждения (мнения) о группах лиц или их представителях, стереотип в широком смысле понимается как некая ментальная (семантическая) сущность, которая может получать выражение в разнообразных языковых формах (лексическом значении слова, его словообразовательных и семантических дериватах, сочетаемости, корреляции с другими словами, этимологии, фразеологии, грамматических свойствах). Тем не менее экспликация стереотипа в этнолингвистике (когнитивная дефиниция) представляет собой совокупность суждений о предмете, реконструированных на базе всех языковых данных (например, стереотип солнца может быть представлен суждениями: «Солнце –

*Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

самое яркое светило», «Солнце освещает и согревает землю», «Солнце всходит утром и заходит вечером», «Солнце – источник жизни», «На солнце нельзя показывать пальцем» и т. д.), а языковая картина мира – как «заклоченная в языке интерпретация действительности, которую можно представить в виде комплекса суждений о мире. Это могут быть суждения, либо закрепленные в самом языке, в его грамматических формах, лексике, клишированных текстах (например, пословицах), либо имплицированные формой и текстами языка» (Бартминьский).

Такое (широкое) понимание стереотипа лежит в основе концепции люблинского «Словаря символики и языковых стереотипов», ср. определение, данное автором концепции проф. Е. Бартминьским: «Я понимаю стереотип широко, как субъективно детерминированное представление о предмете, охватывающее как описательные, так и оценочные признаки, а также являющееся результатом интерпретации действительности в рамках социальных познавательных моделей». Первые вышедшие тома словаря включают статьи, посвященные элементам космоса (солнце, луна, звезды, небо и др.) и природным элементам (земля, вода, камень, металлы и др.), они призваны воссоздать соответствующие фрагменты языковой картины мира. В перспективе такие стереотипы, подобно пазлам, должны сложиться в некий целостный образ.

В этнолингвистической концепции Е. Бартминьского подробно разработана методика экспликации стереотипов. Однако в ней, как и в других работах когнитивного направления, речь идет лишь о «предметных сущностях», элементах мира, стереотипы которых реконструируются путем исчисления всех «предикатов» исслеуемого предмета, т. е. его свойств, признаков, действий, состояний, отношений и т. д. Сколь подробно ни были бы исчислены и интерпретированы смысловые параметры каждого «предмета» и сколь полным ни был бы охват (набор) этих «предметов», составленная из их стереотипов картина неизбежно будет страдать неадекватностью – она будет плоской, двумерной, статичной и атомарной.

Для того чтобы картина мира была адекватной нашему восприятию, она должна быть объемной, по крайней мере трехмерной, иерархически упорядоченной, динамичной и системно организованной, а это требует включения в нее не только «предметных», но и «предикатных» сущностей. При «предметном» понимании стереотипов картина мира выглядит плоскостью, заполненной предметами, подобно карте с нанесенными на нее пятнами континентов, океанов и морей. В действительности познающий и категоризирующий мир человек составляет себе представление не только о предметах и явлениях и их свойствах, но и о самих этих свойствах, присущих разным предметам и потому наделенных в определенном смысле систематизирующей (категоризирующей) функцией. Он не только видит, что трава зеленая, а кровь красная, но и делает заключение о том, что такое *зеленый (зелень)* и *красный (краснота)* и какие еще предметы этим свойством обладают; не только знает, что человек и животное рождается и умирает, но и создает некоторый стереотип (образ, концепт) рождения и умирания. В картине мира должен присутствовать образ того, что такое *ходить* или *бежать*, *плавать* и *летать*, что такое *всегда* и *вдруг*, что такое *время* и *пустота* и т. д.

Если образ (стереотип) предмета складывается из совокупности характерных для него свойств (предикатов), то образ (стереотип) предикатных сущностей

(свойств, действий, состояний и т. д.) складывается из их пространственно-временных характеристик и их предметного воплощения или наполнения, т. е. типичных для них субъектов, объектов, адресатов, инструментов, ресурсов и т. д. «Предикатные» стереотипы (включая абстрактные понятия типа «игра», «гнев», «красота» и т. п.) требуют разработки особой методики их экспликации и интерпретации. Некоторый опыт в этом отношении имеется и в лингвистической (московская семантическая школа, лексическая типология), и в этнолингвистической (словарь «Славянские древности») исследовательской практике.

Е. С. Узенева
Москва

К вопросу о терминологии родства в славянской свадьбе: *нанаиш/нанаишка**

Терминология родства составляет одну из значимых лексико-семантических групп терминов, обозначающих свадебных персонажей в славянской традиции, и является источником пополнения свадебной терминологии. Наиболее ярко это группа представлена у южных славян.

Включение терминологии родства в терминосистему свадебного обряда предопределено несколькими причинами: во-первых, это связано с участием реальных родственников новобрачных в ритуале, в частности крестных родителей молодого, во-вторых, обусловлено созданием новых родственных отношений между невестой и семьей жениха и членами обоих родов брачащихся.

В докладе основное внимание сосредоточено на выявлении путей проникновения в обрядовую лексику карпатского региона терминов *нанаиш/нанаишка*, имеющих часто два основных значения: 1) 'посаженый отец/посаженая мать'; 2) 'крестный отец/крестная мать'.

Данная лексема встречается в описаниях свадьбы у гуцулов (*нанаишко/нанаишка*), молдаван (*нанаиш/нанаишка*), украинцев Молдовы (*нанаишул/нанаиша*) [Калашникова, 1980], румын (*nănaș/nanașă, naș/nășă*) и старообрядцев, проживающих в Румынии (*нанаишка*). Этимологические словари указывают на значение 'крестный отец/крестная мать', как первичное. От него, вероятно, развилось вторичное – 'посаженый отец/посаженая мать', поскольку именно крестные родители выполняли на свадьбе эту роль.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Карпатская культурно-языковая общность в балканской перспективе»). Сведения из Молдавии любезно предоставлены Н. Голант, за что выражаю ей особую признательность. Румынские материалы собраны А. А. Плотниковой в экспедициях 2007–2008 гг. Пользуясь случаем, благодарю автора за переданные мне полевые данные.

Наиболее вероятной нам представляется версия заимствования из румынского интересующих нас терминов, в пользу чего свидетельствует ареал распространения данной лексемы: Румыния, Республика Молдова, Украина, в частности Гуцульщина.

Н. М. Калашникова. Путеводитель по экспозиции РЭМ. Л., 1980.

Т. Г. Федотовских
Екатеринбург

Особенности имяобразования ювелирных брендов

Современная экономическая деятельность отличается высоким динамизмом и усилением степени интенсивности конкурентной борьбы. Ежедневно появляются тысячи предприятий и сотни тысяч продуктов и услуг. Новым инструментом конкурентной борьбы становится брендинг. Основным элементом бренда любой компании, товара или услуги является удачное название, так как именно имя запоминается покупателю, именно с ним клиент связывает все свои впечатления от коммуникации с брендом.

Ключевая роль названия товара в бренд-коммуникации обуславливает постоянное обращение специалистов в сфере рекламы и маркетинга к различным аспектам номинации. В третьем тысячелетии имяпорождение (нейминг) становится самостоятельной областью профессиональной деятельности.

Нейминг – это наука, находящаяся на стыке брендинга и ономастики, наука создания рекламного имени. Рекламное имя всегда объединяет прагматическую направленность и принадлежность к языку рекламы и ставит целью сформировать положительный образ в сознании индивида. Поэтому для любого коммерческого названия, в том числе для названия ювелирного бренда, аттрактивная функция является основной, хотя не следует забывать и о таких важных функциях, как идентифицирующая, информативная, коммуникативная, юридическая, рекламная, эстетическая, мифологическая. Отталкиваясь от этих функций, исследователи рекламных имен (в частности, эргонимов, коими являются имена ювелирных брендов) сформировали критерии идеального имени: короткое и со значением, отличное от других, связанное с реальностью, запоминающееся, приятное для глаз и ушей, без негативных ассоциаций, выражающее миссию бизнеса, защищенное от атак конкурентов, способное работать в разных сферах бизнеса. Как показывает практика, достаточно сложно учесть все эти критерии. Самое главное, при создании эргонима следует придерживаться правила умеренной новизны: суметь привлечь внимание клиента, слегка удивить, но не шокировать, добиться адекватного восприятия имени.

В настоящее время на мировом и российском рынках существует множество названий ювелирных торговых марок. Нами проанализировано 110 эргонимов, из них 68 русских названий и 42 – имена, позиционирующие себя как итальянские торговые марки. Анализ данных рекламных имен с точки зрения содержания указывает

на то, что для создания имен ювелирных брендов наиболее часто используются имена с прозрачной внутренней формой. Это обусловлено тем, что данный способ нейминга требует меньших затрат на рекламу имени, так как имена с прозрачным содержанием легче запоминаются и могут вызывать у потребителей положительные эмоции.

Наиболее распространенной техникой нейминга в данной отрасли в России является использование имен, описывающих товарную категорию. Большинство эргонимов данного рода являются названиями драгоценных и полудрагоценных камней, а также словами с корнями *золот-* (*злат-*) или *голд-*: *Агат*, *Изумруд*, *Бриллиант*, *Голдис*, *Златица*, *Золото мира* и др. Среди коммуникативных преимуществ использования этого рода названий следует выделить легкость идентификации клиентом типа продукта. Для итальянских ювелирных торговых марок свойствен особый способ указания на товарную категорию: практически ко всем именам (за редким исключением), создаваемым с помощью различных типов техник, присоединяется слово *gioielli*, в переводе с итальянского означающее 'драгоценность, украшение': *Chiampesan gioielli*, *Comete gioielli*, *Centoventuno gioielli*.

Следует отметить, что для итальянских брендов указание на товарную категорию не является доминирующей техникой создания имени. Наиболее же распространенной техникой создания итальянских неймов является использование имен основателей торговой марки (60 % выборки): *Adriano Facco*, *Enzo Fraccari*, *Marin Antonio*. Столь высокая распространенность данной техники объясняется традицией. Ювелирные компании Италии изначально носили имена мастеров-ювелиров и дизайнеров, передававших секреты мастерства как семейное наследие из поколения в поколение. В свою очередь ни одна из российских ювелирных компаний не носит имя своего создателя. Это можно объяснить тем, что российские ювелирные компании выпускают продукцию массового производства. В России еще не сложилась система эксклюзивного производства ювелирных изделий, для которой важно имя мастера, создающего изделие.

На втором месте по частоте использования среди российских ювелирных брендов находится техника создания имен по географии деятельности. К данной категории можно отнести названия *Ювелиры Урала*, *Бриллианты Костромы*, *Русские самоцветы*, *Сувениры Балтики* и др. Нейминг на основе топонимов используется и при создании итальянских рекламных имен, но значительно реже: *Arezia Oro* («Золото Арезы»), *Arte Orafa Fiorentina* («Ювелирное искусство Флоренции»), *Criso Italia* («Кристаллы Италии»).

На третьем месте по частоте использования среди русских названий находятся две техники: имена, вызывающие благоприятные ассоциации (*Серебряный свет*, *Золотые купола*, *Август*), и имена с непрозрачной внутренней формой (*Имерели*, *Ивена*, *Гиалит*).

Кроме указанных техник, с точки зрения содержательных характеристик имени можно выделить техники создания имен по основному потребительскому преимуществу (*Мастер*), по использованию прецедентных имен (*Ника*, *Гелиос*, *Золотая рыбка*, *Золотой век*).

Итак, повторим: главным отличительным признаком ювелирных брендов в России (в отличие от итальянских брендов) является направленность на товарную

категорию. Из этого следует, что на первый план выходят отнюдь не аттрактивная и даже не рекламная функция, а идентифицирующая и информативная. Действительно, потребитель, впервые встретившийся с такими названиями, как *Агат*, *Аметист*, *Яшма*, *Кристалл*, вряд ли сразу сможет отдать предпочтение одному из них, так как все они созданы по одной не самой оригинальной номинативной модели. Он лишь укажет, что это магазины, где продаются изделия из камня, ювелирные украшения. Поэтому у специалистов по неймингу в этой области открывается широкое поле деятельности.

А. Н. Фендрих
Екатеринбург

Цветок в зеркале русской народной лирической песни

Материалом для работы послужили народные песни, извлеченные из следующих сборников: Лирические песни. М., 1990; Русская народная поэзия. Л., 1984; Русские народные песни. М., 1988. Поскольку тексты песен в сборниках повторяются, то в работе цитаты и статистические данные приводятся по первому сборнику. Использовано 53 текста песен.

В народных песнях лексема *цветок/цветы* используется как в прямом значении, обозначая растение, либо часть растения, так и в переносном, обозначая девушку или молодого человека.

Наиболее распространенным является употребление лексемы *цветок/цветы* в основном значении (50 текстов). Русский народ в песнях демонстрирует свое восприятие цветов на фоне зеленой травы, поэтому часто лексема *цветок/цветы* употребляется вместе с лексемой *трава*, например: *Ты трава ли моя, травенька, / Ты трава ли моя, муравынька! / Еще что же ты, муравынька, / Не цветешь, не лазоревеешь? / Нарву я с травыньки цветов...*

Такое употребление лексем может быть объяснено представлением о цветке как травянистом растении, что поддерживается также и диалектными названиями цветов, образованными с помощью лексемы *трава*, *травка*, *травочка* (бель-трава калуж. 'растение, произрастающее на запущенных местах и лугах, цветущее белым, как снег, цветом' [СРНГ, 2, 235]; белая трава вят. 'растение *Centaurea op marshallianum Spreng.*, сем. сложноцветных'; курск. 'горец щавелелистный'; енис. 'белокудренник (?)' [СРНГ, 2, 231]; золотая трава волог., вят. 'василистник'; урал. 'золотарник, золотая розга' [СРНГ, 11, 333]; золотая травочка 'проломник северный' [Там же], розовая травка ворон. 'герань' [СРНГ, 35, 165]; красная трава влад. 'клевер средний'; ворон. 'ширица метельчатая'; сарат. 'ширица запрокинутая'; перм. 'щавель воробьиный, щавелек' [СРНГ, 15, 192].

Среди зеленой травы цветы выделяются именно окраской своих соцветий. Поэтому в лирических песнях нашло отражение восприятие яркой окраски цветов. Все многообразие цветовых оттенков при этом в песнях сводится к цветам лазоревым/голубым (20 текстов) и к цветам алым/розовым (15 текстов).

Русский народ в своих песнях не конкретизирует виды цветов – как правило, цветы называются просто *цветами*, *цветиками*. Но этому есть некоторые исключения, встречаются и конкретные названия: *василек* (2 текста), *мак* (2 текста), *роза* (1 текст).

Кроме того, в песнях находят также отражение и способность цветов источать аромат: *Расцвели цветы лазоревые, / Пронесли, пронесли духи малиновые, Цвели цветики, цветы лазоревы, / Понесли-то духа, духа анисовы*.

Интересно, что для обозначения запахов, источаемых цветами, используются только «духа анисовые» и «духи малиновые». Связано это с тем, что запахи в народе не дифференцируются. По данным СРНГ *малиновый* – это ‘приятный, душистый (о запахе)’ [СРНГ, 17, 328]. Возможно, в характеристике запаха как малинового отражается целостное восприятие цветущего луга.

В переносном значении лексема *цветок* используется для обозначения чаще всего молодой девушки. Это традиция широко распространена как в русской, так и в мировой поэзии.

Показательно, что с цветком может сравниваться и парень. Молодые люди сравниваются с цветами на основании их красоты и возраста, так как цветок является символом молодости, расцвета.

В народных песнях представлен также и аспект действий с цветами. Девушки собирали цветы, плели из них венки, дарили их милым (8 текстов).

Венок выступает ритуальным предметом, используемым в любовной магии. Эта традиция широко распространена у всех славян. Как известно, в изготовлении венков принимали участие обычно девушки, женщины. Как и многие другие ритуальные предметы, венок подлежал уничтожению, например бросался в воду. В песнях этот ритуал находит отражение: *Нарву я с травоньки цветков, / Совью на головушку венок, / Другой на правую руку, / Пойду с ним на речку, на реку, / Стану я на крутом берегу, / Брошу веночек на воду, / Тонет ли, не тонет ли венок, / Помнит ли, не помнит ли дружок. / Вижу, мой веночек потонул, / Знать, меня милый помянул, / Знать, что я милому мила, / Знать, я на свете дорога!*

Образ цветка в народных песнях лаконичен. Подчеркиваются такие качества, как цвет, аромат, красота. Но общие ощущения при восприятии цветов лишены конкретизации, не дифференцируются цветовые оттенки и запахи. Цветок представлен и как обрядовая реалья, связанная с любовью, замужеством, поэтому начинает выступать как символ влюбленного.

Л. А. Феоктистова
Екатеринбург

Языковой образ и варьирование личного имени

Цель доклада – рассмотреть соотношение разных форм имени собственного в свете реконструкции его языкового образа (под которым понимается комплекс представлений о каком-либо имени и его потенциальном носителе, нашедших от-

ражение в языке и/или порожденных самой языковой системой). Эмпирической базой для исследования стали материалы «Словаря дериватов личных имен в русских говорах», составленного И. В. Родионовой и Л. А. Феоктистовой.

1. Формы одного и того же имени, употребленного в его первичной функции (номинация единичного объекта), отличаются друг от друга прежде всего своей прагматикой: есть узואльно (культурно-языковая традиция) или конвенционально (языковой микросоциум) закрепленные правила употребления, следование которым или нарушение которых сопровождается тем или иным прагматическим эффектом (см., например, тенденцию использовать в деловом общении полную форму имени вместо привычного имени-отчества). Деонимизация усугубляет эти различия, выводя их из области «чистой» прагматики в предметно-понятийную область значения.

Ср., например, ц.-слав. *Мария* и рус. *Марья*. *Мария* отсылает к библейским образам – либо Девы Марии, либо сестры Марфы и Лазаря из Вифании и, соответственно, ассоциируется с духовным началом, поэтизируется (это особо ощутимо на фоне имени *Марфа*, которое может ассоциироваться с телесным, плотским): *Все наше восстание – Мария без Марфы, душа без тела* (Д. С. Мережковский), *Синий цвет подходит к шарфу, И равна в вас благодать, как в одной признавши Марфу, В вас Марии не узнать* (М. Кузмин) [Отин, 224]. Образ *Марьи*, наоборот, приземлен и прозаичен: *Нам с лица не воду пить, / И с корявой можно жить... / Ай да Марья, Марья-клад, / Сватай Марью, Марью, сват* (Н. А. Некрасов). В народной культуре «небесный» образ *Марии* в буквальном смысле помещается на небо: арх., свердл. ‘Утренняя Венера’ (*Утренняя заря – Мария, Вечерняя заря – Анастасия, возьми бессонницу, дай парничку сна*), – а «плотское» начало в образе *Марьи* усиливается: *марья перм., яросл. ‘болезнь малярия’, марья иродовна ‘лихорадка’*.

В процессах деонимизации раскрывается смысловой (когнитивный) потенциал имени как такового, отдельных разрядов имен собственных (например, в «антропоморфных» номинациях, см. выше *марья, марья иродовна*, а также *манька* (р. Урал) ‘корова’) или какого-либо конкретного имени (*мать-и-мария* свердл. ‘травянистое лекарственное растение’). Любые вторичные употребления имени, эксплицируя тот или иной компонент ономастической семантики, воссоздают языковой образ имени.

В какой степени можно говорить о единстве языкового образа варьирующего свою форму имени? Очевидно, что наиболее актуален данный вопрос в отношении личных имен, которые существуют во множестве разнообразных вариантов.

2. Однако при омонимии деминутивов разных личных имен – явлении весьма распространенном – этому вопросу должен предшествовать еще один – о самом имени. С каким личным именем следует соотносить апеллятив, производный от одной из омонимичных уменьшительных форм нескольких имен? Так, например, *агаиша* в перм. *ишиша да агаиша, третья палаиша* ‘незначительные люди’ может быть образовано от деминутива одного из следующих имен, причем как мужских, так и женских: *Аганий/Агания, Агафон/Агафья*, также *Аглая*. Есть ряд критериев (см. ниже), которые в отдельных случаях позволяют атрибутировать производящие основы для деонимизированных слов, но какое-то количество отыменных дериватов так и остаются «неопознанными» (см., например, *агаишка* верх.-волж. ‘рыба бычок, подкаменщик’, калин. ‘небольшой сом’).

В качестве критериев распознавания нарицательных производных от омонимных уменьшительных форм имени можно рассматривать:

а) наличие, наряду с дериватом от уменьшительной формы, соотносящегося с ним производного от других (в первую очередь полной) форм имени. Ср., например, *афанас* и *афонька* арх. 'водящий в игре в прятки'. С формальной точки зрения последнее может быть образовано не только от деминутива мужского имени *Афанас*, но и омонимичного ему варианта имени *Агафон*, но общность семантики позволяет считать *афоньку* деминутивом к *Афанасий*;

б) наличие мотивационных параллелей. Ср., например, *сместиь агаицу* и *сместиь акую* перм. 'говорить вздор': женское имя во втором фразеологизме указывает на женскую же «природу» имени в первом; аналогично *агашка* и *матрёшка* свердл. 'травянистое растение – вид тысячелистника (*Achillea*)';

в) частотность имени для той или иной разновидности языка и, как следствие, его деривационную активность. Очевидно, что *маруся* мурм. 'грузило' [СРГК, 3, 200] соотносится с деминутивом имени *Мария*, а не *Маргарита* и *Марина*, которые имеют омонимичные уменьшительные формы, но находятся на периферии народного именника (*Маргарита* – всего 3 диалектизма, *Марина* – 7 при нескольких десятках производных от *Мария*).

3. Единство и целостность языкового образа имени будут зависеть прежде всего от проецируемости на языковую плоскость тех или иных компонентов иерархической организованной семантики имени [об ономастической семантике см.: Березович, 2007, 51–58; Голомидова, 1998, 16–28]; при развитой отыменной («правой») деривации – от наличия сквозных мотивов в разных денотативных сферах, по которым распределяются отыменные дериваты. В случае отсутствия сквозных мотивов можно говорить о проекциях из разных точек, или – используя термин Е. Бартиньского – разных «профилях» языкового образа.

«Профилирование» (т. е. придание языковому образу (стереотипу) имени определенного профиля) осуществляется прежде всего в рамках той культурно-языковой традиции, в которой функционирует данное имя. Образ *Марии*, одухотворенный и поэтически возвышенный в книжной традиции (см. выше), приобретает черты земной женщины, умудренной житейским опытом *Марьи* в народной культуре (*Не у всякого жена Марья, кому бог дал* (В. И. Даль)), а в жаргоне травествируется и выворачивается наизнанку (*Маша* – ирон. 'женщина, девушка – обычно недалекая, простоватая').

Участие в деривационных процессах разных форм имени само по себе не разрушает единства его языкового образа, следовательно, вопрос в специфике деривации на их основе (см., например, употребление деминутивов в качестве подзывных слов для домашнего скота и птицы: *маша-маша*, *машка-машка*; *дуньки-дуньки* и т. п.).

Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007.

Голомидова М. В. Искусственная номинация в ономастике. Екатеринбург, 1998.

О различии лингвистического и литературоведческого подходов в исследованиях по литературной ономастике

Утверждение о том, что литературная ономастика как дисциплина находится на стыке лингвистики и литературоведения, в настоящее время как будто не вызывает никаких возражений и вообще звучит достаточно тривиально. Действительно, практика научных исследований показывает, что к изучению собственных имен в литературных произведениях часто обращаются и лингвисты, и литературоведы, которые с большей или меньшей степенью убедительности выявляют в своих работах немаловажную роль поэтонимов в формировании различных структур художественного произведения. Как всякая фраза, ставшая привычной и почти дежурной, данное суждение кажется вполне очевидным и вроде бы не предполагает специальной рефлексии над своим содержанием.

Между тем такое определение статуса литературной ономастики оставляет неясными конкретные вопросы, решение которых важно прежде всего в методологическом отношении. Неясным и допускающим различное понимание остается, к примеру, выражение *находится на стыке*: идет ли речь о составной части лингвистики, которая в своих целях использует аппарат литературоведения, или о специфической области литературоведения, где наряду с традиционными литературоведческими применяются лингвистические методы, или же, наконец, об «общей территории» лингвистики и литературоведения, в пределах которой в равной мере допустимы как лингвистические, так и литературоведческие подходы. Литературная ономастика, сформировавшаяся во второй половине XX в. не в последнюю очередь благодаря встречному движению лингвистики и литературоведения (повороту лингвистики от изучения системы языка к стихии речи, в том числе речи художественной, и литературоведения от приоритетного изучения проблем концептуального строя и социального бытия произведения к исследованию эстетической значимости компонентов его структуры), развиваясь, закономерно ставит проблему четкого осмысления своих связей внутри филологической парадигмы.

В рамках этой большой задачи возникает и вопрос о наличии специфики лингвистического и литературоведческого подходов к исследованию собственного имени в литературном произведении. Суть этого вопроса может быть сформулирована примерно так: есть ли значительные содержательные расхождения между лингвистами и литературоведами в подходе к исследованию поэтонимов или эти различия носят преимущественно внешний характер, проявляясь, например, в использовании различной терминологии, в различной стилистике научных работ, в апелляции к другим лингвистическим или литературоведческим работам, авторитетам и т. п.? Иными словами, исследуется ли поэтонимия лингвистами и литературоведами одинаково или все же по-разному? И если верно последнее, то чем различаются доминанты лингвистического и литературоведческого подходов? Речь здесь идет, конечно, не о различиях в подходах тех или иных исследователей в их конкретных работах и не

о четкой демаркационной линии, отграничивающей работы всех лингвистов от работ всех литературоведов (что вряд ли возможно, да и не нужно), а именно об определении доминант во всей совокупности исследований данной научной области.

Так как всякая специфика явлений может быть выделена только на основе обнаруживаемой их общности, следует сначала найти то общее, что сближает литературоведческий и лингвистический подходы к изучению собственного имени в художественном тексте. Таким общим, на наш взгляд, являются объект и предмет исследования. Для любого филолога, работающего в сфере литературной ономастики, объектом исследования является поэтонимия литературного произведения, обращается ли он к анализу одного, нескольких или всех собственных имен этого произведения. Впрочем, данный объект исследования еще не обуславливает принадлежности его работы к сфере литературной ономастики, поскольку к рассмотрению собственных имен могут обращаться специалисты иных научных областей — скажем, истории языка (и просто истории), логического анализа языка, философии, психологии, социологии и т. д. В этом случае художественный текст оказывается просто «поставщиком» необходимого материала для анализа проблем, прямо не связанных с самим художественным произведением. Конституирует существование литературной ономастики как самостоятельного научного направления не объект, а предмет исследования.

Предметом литературной ономастики, по нашему мнению, является смыслообразующий потенциал поэтонима, т. е. совокупность потенциальных по своей сущности смыслов, порождаемых собственным именем в художественном тексте в результате взаимодействия оного с другими структурными элементами произведения и элементами интертекста, в пространстве которого возникает и функционирует произведение. Действительно, любой исследователь, поставивший целью изучить имя в литературном тексте, так или иначе работает с извлекаемыми из произведения смыслами, проявляя в какой-то мере смысловую структуру имени — объекта своего анализа. Легко заметить, что при такой постановке вопроса лингвистономатолог ни в коей мере не отличается от литературоведа, обратившегося к литературной ономастике, поскольку оба изучают один и тот же объект и предмет. Это и неудивительно: оба находятся внутри одной и той же научной области, структурированной заданным предметом исследования. Это позволяет рассматривать литературную ономастику как общефилологическую дисциплину, не привязанную жестко ни к лингвистике, ни к литературоведению. В сущности, литературная ономастика выступает в таком ее понимании в качестве комплексной герменевтической дисциплины, главная цель которой состоит в экспликации структуры смыслов поэтонима.

В то же время смыслы, порождаемые поэтонимом в контексте и интертексте, извлекаются лингвистом и литературоведом с несколько разными целями и проектируются в процессе исследования на разные структуры произведения. Литературоведы чаще всего заинтересованы в выявлении тех или иных смыслов поэтонима для обращения посредством их к надязыковым уровням произведения, и прежде всего к его концептуальному плану. Имя при этом оказывается одним из аргументов или маркеров определенной художественной идеи, воплощенной не только и не столько в ономастике произведения и находящей своё место во взаимодействии

с прочими идеями в авторской (или читательской) концепции действительности. Иначе говоря, литературовед изучает конкретный ономастический факт для глобального осмысления произведения как целого, когда имя становится частным иллюстративным средством для формирования определенной концепции произведения. Таким образом, фокус внимания исследователя-литературоведа сосредоточивается на том, что выражается именем и какое значение это имеет для формирования концепции произведения. Часто литературовед идет еще дальше, перенося фокус внимания на внетекстовые структуры, будь то реконструируемое сознание автора текста или общественное сознание.

Лингвистическая работа чаще фокусирует внимание на том, действие каких текстовых механизмов приводит к формированию тех или иных смыслов поэтонимом. Лингвист в своей работе не может остановиться на констатации наличия данного смысла; он должен объяснить, как и почему этот смысл возникает в тексте. Это, разумеется, не означает, что лингвист-ономастолог должен работать лишь с лингвистическими единицами произведения и вправе игнорировать его образный и концептуальный план. Без понимания произведения как целого невозможен эффективный анализ его ономастических единиц, впрочем, как невозможен и эффективный литературоведческий анализ поэтонима без достаточного внимания к текстовым механизмам реализации данного смысла. Различие между лингвистом и литературоведом проявляется в разной фокусировке исследовательской оптики, в несовпадении целевых доминант исследования. Поэтому приоритетным для лингвистического исследования является внимание непосредственно к тексту произведения, который при таком подходе приобретает известную самодостаточность и независимость от фигуры автора, его установок и суждений.

Из этого следует, что максимально полная, герменевтическая установка на исследование поэтонимии произведения предполагает комбинацию лингвистического и литературоведческого подходов. Более того, чересчур категоричное разграничение этих подходов и игнорирование одного из них при интерпретации смыслов поэтонима одинаково влечет за собой опасность неправильного или произвольного его истолкования. Отсутствие внимания к отношениям поэтонима с другими структурами текста (как языковыми, так и надязыковыми) нередко приводит к тому, что поэтонимические смыслы не извлекаются исследователем из текста, а, наоборот, внедряются, «вчитываются» им в текст, и вдобавок выдаются за авторский «замысел». Такая произвольная интерпретация, основанная на имплицитивном отождествлении исследовательского и авторского сознания и лишенная надежной опоры на текст, в котором функционирует поэтоним, дискредитирует научный труд и превращает его в своеобразную «игру» по угадыванию якобы заложенных автором смыслов.

Библейские антропимы в паремиях

Пословица как минимальный текст, подчиненный ситуации и служащий комментарием к ней или руководством к действию, должна и сама быть значимым текстом, и апеллировать к другим подобным текстам. Поэтому отсылки к Библии в данном жанре вполне оправданы.

Наша цель – выявить закономерности функционирования библейских антропимов в пословице.

Материалом послужили сборники пословиц И. М. Снегирева и В. И. Даля, а также Словарь живого великорусского языка.

Задачи, которые мы ставили перед собой: а) выявить корпус библейских имен в пословицах, б) определить наиболее частотные из них в Ветхом и Новом завете, в) определить книги Священного Писания, послужившие источником цитирования в интересующем нас жанре, г) выявить корпус библейских антропимов в актантных позициях, д) определить, какие предикаты устойчиво приписываются антропимам-субъектам в пословицах, е) определить библейские имена в предикатном употреблении, ж) обнаружить различия характеристик библейских персонажей, отмеченные у Снегирева и Даля.

В сборниках пословиц можно выявить несколько библейских антропимов. У Снегирева это – *Авель, Авессалом, Адам, Авраам, Ависага, Давид, Данила, Ева, Илья, Иона, Иосиф, Иродиада, Каин, Олоферн, Сарра, Соломон, Хам*. В сборнике Даля набор антропимов расширяется, добавляются имена *Иафета* и *Сима*.

Несмотря на совпадение корпуса имен, в данных сборниках актуализируются разные эпизоды текста-источника и, соответственно, разные характеристики библейских персонажей. Если имя *Каин* в обоих сборниках устойчиво связывается с первым убийством, то *Адам* интерпретируется нетождественно. В сборнике Снегирева подчеркнуты древность, греховность, изгнание из рая, смертность, связь *Адама с Евой*. У Даля *Адам*, прежде всего, – божье творение, первый человек, от которого произошли другие люди.

Пословица устанавливает гипертекстуальное тождество двух ветхозаветных персонажей: *Адам да Авраам женами славны: едина смехом, а другая грехом*.

В предикатной позиции употребляются два антропима *Авраам* и *Хам*, при этом выделяется аспект сравнения – старость и поведение, нарушающее установленные социальные нормы общежития: *По бороде – Авраам, а по делам – Хам*. Близкая по семантике позиция имени зафиксирована у Снегирева, так как в пословице употреблено отыменное наречие, характеризующее предикат: *Давидски согрешаем, да не Давидски каемся*.

Источниками библейских имен в пословицах служат Бытие, книги Царств и книга пророка Ионы.

В сборнике Снегирева из новозаветных имен выделяются: *Иисус Христос, Иуда, Петр, Павел*. У Даля – *Христос, Иуда, Петр, Павел, Фома, Ирод*.

Нами не отмечено предикатного употребления новозаветных имен в пословицах. Имя *Бог* является наиболее частотным из имен собственных в пословицах. Однако его употребление отличается рядом особенностей в синтаксическом плане. В качестве устойчивых предикатов, соединяющихся с данным субъектом, отметим выраженные глаголами *любить*, *давать*, *прощать*, *знать*. Предикат, выраженный глаголом *любить*, открывает для имени *Бог* две позиции: субъекта и пациенса: *Кто любит Бога, добра получит много; Любящих и Бог любит*.

Имя Бога устойчиво включается в денотативные тождества с отрицанием, в качестве вторых членов в которых выступают носители нарицательных и собственных имен: *мужик, Никитка, Макешь. Бог не Макешь* (или: *Мокошь*, языческое божество), *чем-нибудь да потешит*.

Отрицание в пословицах с именем *Бог* соединяется с предикатами, характеризующими *Бога* как субъект, и с предикатами, относящимися к «профанному» субъектам: *Бог не убог, милость его не скудна; Как ни живи, только Бога не гневи*.

В Словаре Даля зафиксирована пословица с двойным употреблением имени *Бог*, подлежащая неоднозначной интерпретации: а) как соединение актантного употребления имени собственного и библейского фразеологического оборота, в котором имя *Бог* нереферентно; б) как употребление двух омонимичных онимов *Бог¹* и *Бог²* в актантных позициях, т. е. как выстраивание некоей небесной иерархии: *Дай Бог нашему Богу жить – все живы будем*.

Имя Бога может употребляться и в позиции вокатива: *«Господи, помилуй!» – не грех говорить и не тяжело носить; Батюшка Предтеча, я из Субботников, Павлова сноха, Иванова жена, помилуй ты меня!*

Подводя итоги, скажем, что библейское имя в пословице формирует корпус речений, который функционирует как: а) упрощенное изложение Священного писания или комментариев к Библии, обеспечивающий ее адаптацию к обиходному употреблению; б) библейская гипертекстовая ссылка; в) предикат, называющий постоянное качество.

Э. Хоффманн
Вена (Австрия)

Евразия и экономика в зеркале ономастики

Евразия является своего рода белым пятном в маркетинге транснациональных компаний. Она расположена между регионами Центральной и Восточной Европы, Дальним Востоком и Юго-Восточной Азией. В данной работе исследуются культурологические аспекты вопроса о релевантности статуса Евразии как самостоятельного маркетингового региона. При этом особое внимание будет уделено изучению ономастических процессов.

На основе специального корпуса, составленного на базе российской деловой прессы, заявлений о миссии различных компаний и интервью с предпринимателями,

нами исследуется развитие и расширение концепта «Евразия». Являясь изначально географическим концептом, в течение последних двух столетий он начал постепенно включать в себя философское, политическое и экономическое измерение. Таким образом, в настоящее время «Евразия» в самых различных контекстах включает в себя множество географических, культурных, этнических и политических смыслов.

В данном исследовании осуществляется анализ как лексического значения слова *Евразия*, так и актуальных смыслов этой лексемы и ее производных. Кроме того, анализируется использование концепта «Евразия» в экономическом дискурсе. Результаты проводимых исследований показывают, что исходный топоним переходит в другие классы и разряды онимов (эргонимы, прагматонимы, эвентонимы) и частично уже теряет свой онимический статус. *Евразия* как оним, трансоним и производные аппеллятивы употребляются в экономическом дискурсе в разных контекстах.

Интерпретация результатов проведенных исследований осуществляется с учетом данных опроса населения о статусе России между Востоком и Западом, а также с учетом реальных (гео)политических событий и расстановки политических сил в России.

В итоге получается своеобразная картина концепта «Евразия», оценка значимости которого для маркетинга транснациональных компаний осложняется «неоевразийством» в российском политическом мышлении. Концепт «Евразия» состоит в региональном отношении из концептуального ядра «Россия» и менее стабильных, сосредоточенных, как правило, внутри границ СНГ концентрических слоев, которые меняются в зависимости от политических и экономических интересов.

А. Т. Хроленко
Курск

Эвристический потенциал фольклорной диалектологии

В современной лингвофольклористике актуальной становится проблема регионального своеобразия этнической духовной культуры и ее языка.

Наличие локальных особенностей в народно-поэтическом языке было очевидно и для собирателей устного народного творчества, и для лингвистов-диалектологов, и для основателей нового научного направления – лингвофольклористики. Однако дальше констатации этого факта дело не шло.

С началом серьезной лексикографической работы над фольклорным словом интерес к территориальной дифференциации языка русского фольклора усилился, поскольку системно описывался значительный массив фольклорных текстов – онежские былинны.

Однако выводы, полученные на материале былевого эпоса, носят частный характер, поскольку ограничены особенностями былинного жанра. Былинный текст – произведение конкретного исполнителя, записанное в определенное время и в определенном месте. В тексте присутствует личностное начало, в значительной части

отражающее влияние той или иной исполнительской школы. Идиолектное (индивидуально-речевое) в былинном тексте трудно отделить от диалектного.

Наиболее убедительным является обращение исследователя к текстам народно-песенного фольклора – жанра предельно массового, анонимного и повсеместного, в котором индивидуальное практически отсутствует, а потому любое отличие можно квалифицировать как исключительно территориальное.

Решение проблемы основывается на современных идеях корпусной лингвистики, лексикографизации исследовательских методов и использовании современных информационных технологий в филологических исследованиях.

Эти идеи реализуются в следующем алгоритме поисков фольклорных диалектов и выработке теоретических основ фольклорной диалектологии: 1) определяются регионы, народная лирика которых будет сопоставляться (в нашем случае Курская и Архангельская губернии); в качестве контрольной избрана лирика Олонецкой губернии; 2) из авторитетных собраний русских народных песен XIX в. извлекаются все тексты, зафиксированные на территории трех вышеупомянутых губерний; 3) тексты каждой губернии сводятся в гипертексты, которые с помощью специально разработанных компьютерных программ трансформируются в лексикографические формы – словники, частотные словари и конкордансы; 4) с помощью компьютерной программы производится сопоставление курского материала с архангельским, в результате чего фиксируются и совпадающие, и несовпадающие единицы; 5) при несовпадении анализируются все случаи лакунарности, а при совпадении – все факты количественной и качественной асимметрии. В итоге должны быть выявлены черты сходства и различия северного и южного фольклорных диалектов.

Последующее аналогичное сопоставление двух северных традиций – архангельской и олонечкой – даст ответ на вопрос о наличии своеобразных «народно-поэтических говоров» в пределах установленных фольклорных диалектов.

Описание выявляемых «говоров» и «диалектов», анализ всех черт их сходства и различия ляжет в основу формулируемой теории фольклорной диалектологии.

Эвристические возможности фольклорно-диалектологического вектора научного поиска видятся а) в совершенствовании лингвофольклористического анализа тенденций и определения форм территориальной дифференцированности духовной культуры на базе корпусов фольклорных текстов; б) в создании системы регионально ориентированных лексикографических форм, в частности конкордансов к фольклорным текстам, которыми отечественная и зарубежная наука пока не располагает; в) в разработке новых технологий лингвокультурологического анализа применительно к вербальным жанрам традиционной культуры, в частности к народно-поэтическим текстам; г) во введении в научный обиход массива новых, достоверных, конкретных фактов, идей и наблюдений, полученных в ходе апробации новых технологий лингвокультурологической направленности; д) в формировании основ новой и перспективной научной и учебной дисциплины – фольклорной диалектологии.

«Лунные» номинации в греческом народном языке: корень *φεγγερρ-/φεγγ-**

В греческом языке для обозначения луны используется несколько лексем: *σελήνη* (η), *φέγγος* (ο), *φεγγάρι* (το) (образования с и.-е. корнем **mēns-* *μήνη* (η), *μείς*, *μηρός* (ο) и т. п. вышли из употребления еще в древнегреческом языке). Помимо прямой номинации луны и лунного времени, эти термины используются для обозначения других денотатов.

В современном греческом языке наибольшее распространение получили дериваты от *φεγγάρι* ‘луна’ и *φέγγος* ‘лунный свет’, диал. ‘луна’, используемые

а) для описания настроения/душевного состояния человека: *είνι στα φηγγάρια τ’* («быть в своей луне») ‘злиться’ [Ταστάνη, 1998, 69]; *είναι με τα φεγγαριά του* («быть со своей луной»), *έχει τα φεγγαριά του* («у него своя луна») ‘про того, у которого наблюдаются неожиданные резкие смены настроения (странности и т. п.)’ [ΛΚΝ, 1999, 1419]; *ανάλογα με τα φεγγαριά του* («в зависимости от своей луны»), т. е. в зависимости от настроения [Μπαμπινιώτης, 2002, 1897]; *φεγγαριάτικα* ‘чуждачества, странности’ [Там же], *σήμερα έν’ εις το καλόν του φεγγάριν* («сегодня он в хорошей луне») или *εις το κακόν του φεγγάριν* («в плохой луне») ‘сегодня он веселый, покладистый’ или ‘угрюмый, нервный’ [Σιούτας, 1978, 57]; *καλόφεγγος* (< *καλός* ‘добрый, хороший’ + *φέγγος* ‘луна’) ‘добродушный человек’ [ΚΛ, 1995, 163]; *καλοφεγγίζω* ‘состричься, драться с кем-то’ [Там же];

б) применительно к тем детям, чье здоровье/болезни, удача/незавезение, объясняются временем их рождения (фазой луны в это время): *κακοφεγγίτικα* ‘дети, рожденные на «плохой», т. е. убывающей, луне, которые, как считается, обладают слабым здоровьем’ [Παπαγγέλου, 2001, 384], *χασοφεγγαριάτικα* ‘болезненные, слабые дети, родившиеся на «пропадающей», т. е. убывающей, луне и во время безлунья’ [Οικονομόπουλος, 1999, 259] и др.;

в) в терминологии болезней (желтухи и эпилепсии): *φεγγάριασμα* ‘желтуха’ [Οικονομόπουλος, 1999, 246], *φεγγαριάζζμαι* ‘заболеть желтухой’ [Μέγας, 1941, 144], *φεγγαρόσκονη* («лунная пыль») ‘трава, отваром которой поят больных желтухой’ [Γρηγόρη, 1953–1954, 206], *φεγγάριασμα* ‘эпилепсия’ [Μπαμπινιώτης, 2002, 1897], *φεγγάρκασμαν* ‘эпилепсия, лунатизм’ [Παπαγγέλου, 2001, 1299], *φεγγαριάτικο* ‘эпилепсия’ в выражениях *του ήρθε το φεγγαριάτικο* («нашла на него эпилепсия») [ΚΛ, 1995, 453] и *του έπιασαν τα φεγγαριάτικά του* («схватили его эпилептические припадки») [ΕΠΑΜ, 53, 304], для описания периодического припадка у эпилептиков; *είναι στα φεγγάρια του* («быть в своих месяцах») ‘страдать от сильного приступа эпилепсии’ [ΕΠΑΜ, 53, 304]; *φεγγαριάτικος* ‘эпилептик’ [Μπαμπινιώτης, 2002, 1897], *φεγγα-*

* Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Семантическая реконструкция народной духовной культуры славян»).

ρκασμένος ‘эпилептик, лунатик’ [Παπαγγέλου, 2001, 1299], *φεγγαριάζομαι* ‘страдать эпилепсией’ [Μπαμπινιώτης, 2002, 1897]; *φεγγαρκάζομαι* ‘страдать эпилепсией, лунатизмом’ [Παπαγγέλου, 2001, 1299];

г) в профессиональной лексике виноградарей *φεγγάρισμα* ‘подрезание виноградной лозы, которое следует начинать после появления новой луны’ [Παλαχριστοδοούλος, 1969, 279], *φεγγαριασμένος/αφεγγάριστος* ‘подрезанный/не подрезанный на молодую луну (о лозе)’, *σφογγαριάζω* ‘первый раз подрезать молодую лозу’ < *σφογγάρι* («при луне») ‘при благоприятных обстоятельствах’; *σφογγάρισμα* ‘первое подрезание молодой лозы’ [Там же, 80], *ξεφεγγιάζω* («освещать лунным светом») ‘пробовать на молодую луну фрукты/овощи нового урожая, чтобы иметь их в течение всего года в изобилии’ [Αραβαντιός, 1909, 69];

д) в названиях домашней птицы (цыплят): *μονοφεγγαριάτικα* [Μέγας, 1941, 144], *μονοφέγγαρα* [Παλαχριστοδοούλος, 1969, 279] (букв. «одномесячники») ‘цыплята, выведенные из яиц в течение одного лунного месяца’, *καλοφεντζ’ίτικα* ‘здоровые цыплята, которых вывела курица, посаженная на яйца на «хорошую» луну» [Ξιούτας, 1978, 284];

е) в метеорологической лексике: *φεγγαριάτικη* или *φπх φεγγαριού* («лунный») ‘дождь после новолуния’ [Ψυχογιός, 1989, 118].

Мотивационной основой данных номинаций служат признаки и характеристики, которые приписываются луне народным сознанием, представление о ее «иномирной» природе и связанной с этим способности оказывать влияние на физическое, психическое состояние человека или же на его судьбу. Ср. также отразившиеся в номинациях предписания начинать работу на молодой луне, основанные на магии прибывания и возрастания; приметы, связывающие изменения погоды со сменой лунных фаз, и т. п.

Сходные мотивы обнаруживаются и в традициях балканских славян, но «лунные» номинации относятся в них в основном к другим денотатам: например, серб. *месечар* ‘лунатик, сомнамбула’ [Ђорђевић, 1958, 30], ‘ребенок, который был отлучен от груди на молодом месяце и потому быстро растет’ [Там же, 34], болг. *едномесечета* ‘дети, рожденные в один и тот же лунный месяц, чьи жизни связаны друг с другом’ [ПК, 1986, 295], и др.

- ПК 1986 – Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.
Αραβαντιός Π. Πλειριοτικόν γλωσσάριον. Αθηναι, 1909.
Δελησαββας Μ. Λαογραφικά Μάκρης και Λιβισίου Λυκίας Μικράς Ασίας. Αθηναι, 1988.
Κωστάκης Θ. Λεξικό της Τσακωνικής διαλέκτου. Τ. 3. Αθήναι, 1987.
Μέγας Γ. Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας // Επετηρίς του λαογραφικού αρχείου. Εκδιδόμενη επιμελεία του διευθυντού του αρχείου. Αθηναι, 1941–1943. Τριτο έτος.
Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νεας Ελληνικής γλώσσας. Αθήναι, 2002.
Οικονομόπουλος Χ. Ελληνικό λαογραφικό λεξικό για τη μάνα και το παιδί. Αθήναι, 1999.

Παπαγγέλου Ρ. Το Κυπριακό ιδίωμα. Μέγα Κύπρο-έλληνο-αγγλικό (και με λατινική ορολογία) λέξικο ερμηνευτικό, ετυμολογικό, προφοράς, όρθης γραφής και με πλήρη διαστ-αύρωση. Εκδόσεις Ιωλκός, 2001.

Παπαχριστοδούλος Χ. Λεξικογραφικά και λαογραφικά Ρόδου. Αθήνα, 1969.

Ταστάνη Ν. Λεσβιακή λαογραφία. Λεξικό γλωσσικού ιδιώματος Παρακοίλων. Ιδιωματικές λέξεις, παροιμίες, παροιμιώδεις, φράσεις. Αθήνα, 1998.

Ψυχολίος Ν. Περί γοητείων και μαντείας. Λεχαίνα, 1989.

Ђорђевић Д. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. Београд, 1958.

ПК 1986 – Пловдивски край. Етнографски и езикови проучвания. София, 1986.

Л. Чижмарова

Брно (Чешская Республика)

О методических принципах работы над Словарем микротопонимов Моравии и Силезии*

Целью проекта является создание не только традиционного «бумажного» словаря, но его электронной версии, открывающей более широкие возможности: интерактивный вариант словаря позволит на основе самых разных критериев и требований искать и группировать данные и далее с ними работать. При этом будет создана также основа для классической, текстовой версии словаря, которая, однако, станет только одной из реализаций электронной базы данных микротопонимов. Она будет дополнена интерактивными носителями (CD, DVD), а также, вероятно, веб-страницей, которая поможет лингвистам в дальнейшей работе, а широкому читателю даст возможность поиска самой разнообразной информации, хранящейся в системе.

Обе версии словаря, классическая и электронная, будут иметь текстовую часть, которая в традиционном словаре является основным содержанием, а в электронном будет только основой для дальнейшего поиска информации. Текстовая часть словаря представляет собой словарные статьи, расположенные в алфавитном порядке. Статья будет посвящена каждому слову в составе микротопонима (анойконима). Большинство статей – так называемые простые, или основные, состоящие из списка анойконимов, относящихся к заглавному слову, и толкования. Кроме того, словарь включает составные словарные статьи (объединяющие несколько простых словарных статей), отсылочные (указывающие на близкие простые словарные статьи) и сводные (обобщающие основы многочисленных групп этимологически родственных слов; сводные статьи включают и перечень простых статей, которые отсылают к сводным, поэтому их конечный вид может быть оформлен только тогда, когда будут обработаны все соответствующие простые словарные статьи).

* Работа выполнена при поддержке гранта № 405/08/0703 «Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty)».

На первом этапе создается электронная база словаря и формулируется толковая часть словарной статьи. Оцифровка микропонимического материала Моравии и Силезии начинается с внесения картотечной записи в электронную форму, которую следует заполнить столько раз, сколько слов содержит данный микропоним. Микропоним вводится в трех видах: стандартизованном, лемматизованном (с сохранением диалектной морфологии) и в упрощенной фонетической транскрипции. Далее заполняются рубрики, которые необходимы для автоматического распределения анойконимов в одной словарной статье: рубрика с кодом микропонима, который с помощью комбинации двух или трех букв (a, b, c, d, e) обозначает базовую синтаксическую структуру микропонима; далее следует рубрика, относящая заглавное слово к различным группам в зависимости от того, каким образом это слово выражает посессивность (группы обозначены римскими цифрами I, II, III). Рубрика «мотивация» (комбинация букв А, В или С и порядковых номеров 1–57) позволяет соотносить между собой микропонимы одной части речи со сходной мотивацией или же мотивацию топонима-существительного, являющегося заглавием статьи, с мотивацией подобных по смыслу топонимов-прилагательных – и наоборот (мотивацию заголовочного топонима-прилагательного с мотивацией существительных). В карточке указываются также следующие данные: грамматические категории (часть речи, род и падеж, число); информация о происхождении (отapelллятивном или отыменном) той части топонима, которая соотносится с заглавным словом; далее указывается местоположение объекта, поименованного топонимом, народное объяснение мотивации микропонима и принцип номинации (А – «местоположение», В – «непосредственная связь с объектом», С – «свойства и признаки», D – «посессивность и другой тип связи с человеком»). В рубрике «Примечание» приводятся сведения, которые будут полезны при формулировке объяснительной части словарной статьи.

Хотя перевод материалов картотеки в электронную форму является долговременной и сложной задачей, он имеет одно явное преимущество: регулярно автоматически обновляются первая и вторая часть соответствующей словарной статьи. Если в электронную карточку внесены все анойконимы, соответствующие заглавному слову, мы можем начать формулировать толкование, которому посвящена третья часть словарной статьи. В этом заключается суть работы над словарной статьей. Здесь также подается словообразовательная, ономастическая, синтаксическая, диалектологическая и лингвогеографическая информация об анойконимах; кроме того, даются ссылки на литературу.

Важной частью словаря являются карты. В классической версии словаря статьи будут дополнены схематическими картами. Можно выбрать тип карты (административная, автомобильная, гидрографическая, физическая и т. п.), где с помощью символов обозначены места, в которых были зафиксированы соответствующие топонимы. Кроме того, появится возможность спроецировать на карту больше названий и таким образом сравнить территорию распространения и частотность микропонима. Электронная версия позволит работать с картами, составленными ко всем статьям в словаре. При каждом символе на карте можно прочитать данные о соответствующем топониме, которые совпадают с данными на электронной карточке, и осуществить поиск по выбранному критерию. Онлайн-версия позволит

с любым приближением показать анимационный материал на карте в поисковой системе *Google* (карта сопровождается данными аэрофотосъемки), каждому символу на карте соответствует электронная карточка.

Надеемся, что Словарь микропонимов Моравии и Силезии ознаменует важное начинание в рамках не только чешской, но и общеславянской ономастики.

Е. В. Шабалина
Екатеринбург

Половина и полтора **в русской и польской языковой картине мира**

Числовые показатели 0,5 и 1,5 не вписываются в бытовое представление о «нормальных» числах (к которым относятся, прежде всего, числа натуральные), поэтому соответствующие им дробные числительные рус. *половина*, *полтора* и польск. *połowa*, *półtora* заключают в себе смысловой потенциал «аномальности».

Этот потенциал реализуется в лексемах и фразеологических сочетаниях, в которых числовой показатель не указывает на конкретное количество, а становится показателем оценочного отношения к объекту, ср. рус. литер. *половинчатый* и польск. *na pół* ‘неполный, недостаточный’, рус. амур., брян. *полтора Ивана* ‘об очень высоком человеке’.

Смысловое наполнение, характерное для лексики и фразеологии с компонентом *пол/полтора*, определяется формулой $1 \pm 0,5$, где 1 – это некая нормативная целостность, а 0,5 – тот количественный показатель, который прибавляется к норме или же отнимается от нее. Это приводит к развитию коннотаций недостаточности или избыточности, ср. рус. карел. *и в полуглазе (сна) нет* ‘об отсутствии желания спать’, сиб. *половинкин сын* ‘ребенок, рожденный вне брака’; омск. *на полсохи* ‘мало, недостаточно’; польск. *wyglądać jak półtora nieszczęścia* <выглядеть как полтора несчастья> ‘выглядеть несчастным, нездоровым и т. п.’, *półuczucie* <получувство> ‘смутное чувство, неясное ощущение’: «Tylko zmysły żyją pełnym życiem, a serce zna tylko półuczucia» <Только ум живет полной жизнью, а сердцу знакомы лишь смутные чувства>.

Лексемы и идиомы с компонентом *пол-* могут указывать на аномалии, затрагивающие органы речи и слуха, а также выполняемые ими функции: рус. литер. *слушать вполуха* и польск. *sluchać półuchem* ‘слушать невнимательно, отвлекаясь’; рус. литер. *говорить вполголоса* ‘тихо, не во весь голос’, рус. карел. *говорить с полпротика* ‘то же’; польск. *mówić półgębkiem* («говорить полуртом») ‘говорить осторожно, вполголоса’, ‘неотчетливо, непонятно, отрывочно’, ‘несмело’; польск. *półgłówek* («полуголовок») ‘дурак, полоумный’; рус. сарат., иркут., пенз. *полоручий* ‘о неловком человеке, ничего не умеющем делать; криворукий’, костр. *полоручье* ‘о человеке, у которого все валится из рук’. Как видим, «неполноценность» органа или недостаточное его функционирование приобретает статус оценочной

характеристики человека. В некоторых из русских примеров (типа *полорукий*) возможна контаминация корней *полу-* и *поло-* на основании общей семантики каритивности: как *половина*, так и *полюй* способны транслировать представление о неполноте и ущербности объекта.

В отдельную группу выделяется лексика и фразеология, описывающая интеллектуальные качества человека. В данном случае дробный числовой показатель становится маркером умственной неполноценности, ср. рус. арх. *половинный дурак*, *половина дурака* 'о глупом человеке', яросл., костр., волог. *полубелый* 'глупый': «Полубелый, половины ума нет», арх. с *полупёхом* 'о человеке со странностями', *полдичь* 'придурь'; литер. *полоумный* 'о глупом, недалеком человеке'; польск. *pólhetkowy*, *głowa półhetkowa* 'о глупом человеке' (*het* 'очень давно'; 'очень далеко'), *półwariat* 'об умственно неполноценном человеке' (*wariat* 'сумасшедший').

Кроме того, корень *пол-* может наделяться семантикой переходности, промежуточности, ср. рус. новосиб. *половинная ягода* 'недозревшая ягода', литер. *полуцукта* и польск. *półzartem* 'с оттенком шутки', *półuśmiech* 'полуулыбка', *półbabe* 'женщина, приближающаяся к зрелому возрасту'. Затем такого рода переходность получает оценочное наполнение и интерпретируется как неполноценность, фиктивность, ср. рус. литер. *полуграмотный* и польск. *pólanalfabeta* 'малограмотный человек', рус. литер. *работать вполсилы* 'работать слабее, менее эффективно, чем можно было бы', *полусвет* 'среда женщин легкого поведения, подражающих жизни высшего общества, света', *дама полусвета* и польск. *dama z półświatka* 'женщина легкого поведения, проститутка'; *półcnota* («полудобродетель») 'добродетель незначительная или подозрительная; (перен.) недостаточно добродетельная женщина'; рус. нижегор. *продавать (скот) вполовину* 'продавать (скот) с хитростью, так, чтобы новые хозяева не получали пользы от скотины'.

Следует отметить, что в русском языке слово *половина* может выступать как эвфемистический заместитель обозначения объекта: рус. пск. *нечистая половина*, *нелёгкая половина* 'о человеке, вызывающем раздражение, гнев'. Такого рода идиоматические сочетания поддерживают представление о дуалистическом устройстве мира, при котором два объекта рассматриваются как различные (нередко противопоставленные друг другу) составляющие единого целого: рус. олон. *другая половина* 'домовой (в суеверных представлениях)', пск. *войти в ту половику* 'умереть' (как видим, идея дуальности распространяется также на сферу традиционных культурных представлений). Думается, что сходная идея просматривается в рус. литер. (*вторая*) *половина*, *половинка* и польск. *połowica* 'о жене/муже, возлюбленной/возлюбленном'.

Говоря о числительном *полтора*, следует отметить, что оно способно выражать две противоположные идеи – избыточность и недостаток – в зависимости от тех денотативных сфер, в которых функционирует, ср. рус. литер. *полтора человека*, *полторы калеки* 'о ничтожном количестве людей', соликам. *полторы-тарары* 'очень мало', рус. фольк. *полтора ведра* 'о большом количестве какого-л. питья': «...Наливай-ко чашу зелена вина. Ты не в малую стопу – да полтора ведра».

В идиомах, описывающих внешний вид человека, числительное *полтора* приобретает семантику телесной избыточности: рус. горьк. *полторы Татьяны* 'о толстой

неповоротливой женщине», *полтора Степана, полторы Матрёны* 'о человеке высокого роста': «У тебя Иван, рост как раз полторы Матрены будет»; «Сын был молод, а вытянулся, что полторы Матрены».

Идея полнотности как телесной избыточности обладает потенциальной возможностью перехода из сферы физической в сферу ментальную и духовную. Ср. в идиолекте Анны Ахматовой: выражение *полтора кота*, по воспоминаниям А. Наймана, употреблялось Ахматовой применительно к Иосифу Бродскому и подчеркивало богатство его духовного мира.

Т. В. Шалаева

Москва

К этимологии русского *лнить*

Для русского глагола *лнить* и его соответствий в славянских языках предлагаются различные этимологии. Большинство ученых склонно видеть в них продолжение индоевропейского корня **lei-* 'слизистый; гладкий' [ЭССЯ, 15, 110 – с литературой] или **lei-* 'уходить, исчезать; никнуть, вянуть' [ЭССЯ, 14, 202–203 – с литературой].

Ж. Ж. Варбот высказывает гипотезу о его возможных собственно славянских истоках. Она развивает мысль С. Младенова о вероятном родстве слав. **lin-* с и.-е. **lei-* 'лить' и полагает, что этот корень мог появиться в результате переразложения в основе праслав. **linoti*. Возникновение значения она связывает с представлением о линьке как о выпадении, осыпании волос [Варбот, 1972, 153–155].

Ниже предлагаются дополнительные аргументы в поддержку этой версии. В славянских языках производные от глагола **liti* имеют значение 'сыпать(ся)': ср. рус. диал. *луть* 'сыпать' [СРГК, 3, 131], польск. *zalić, zalewać* 'засыпать, забрасывать' [Warsz., 8, 145–146], с.-хорв. *próliti* 'просыпать' [RJA, 52, 344]. Та же семантика известна и лексемам, принадлежащим к синонимичным словообразовательным гнездам:

**tekti* – рус. диал. южн., тамб. *точить* 'сыпать, просыпать' [Даль, 4, 422], укр. *текти* 'сыпаться (о хлебе на корню)' [СУМ, 10, 59], блр. *точыцца* 'сыпаться исподволь' [Носович, 638], польск. *wytoczyć* 'высыпать (зерно)' [Warsz., 7, 1081], с.-хорв. *rasteći se* 'рассыпаться' [RJA, 56, 283];

**plyti* – рус. диал. краснояр. *плывиться* 'сыпаться' [СРГСК, 230], блр. диал. *паплыць* 'осыпаться, начать осыпаться' [Юрчанка, М–Р, 208], сербохорв. *plivati* 'рассыпаться (о волосах)' [RJA, 43, 68–69];

Среди них обнаруживаются лексемы со значениями, напрямую связанными с выпадением волос, шерсти, облезанием кожи и т. д. Ср. рус. диал. *сплыть* 'вылезти, вылинять' [СРГК, 6, 258], волог. *вытечь* 'вылезть, выпасть' [СГРС, 2, 265].

Что касается структурной составляющей этимологии Ж. Ж. Варбот, то общее и праславянское происхождение **linoti* доказано [ЭССЯ, 15, 112], к тому же в славянских языках есть глаголы вторичного происхождения, образованные от этой формы с переразложением в основе: с.-хорв. диал. *лньати, льнати* 'лить, течь,

вытекать (о крови) [ЭССЯ, 15, 109], *лѣнѣти* – форма несовершенного вида от *лѣнути* ‘долить немного жидкости’ [Војвод., 4, 266], ст.-рус. *линять* ‘марать, пятнать’ [ЭССЯ, 15, 110]. Но корень **lin-* ‘линять’ имеет вариант **lmi-* (например, чеш. диал. *lětau*’, укр. *лїнѣтися*), а древность формы **lmi-* необходима для признания его родства с гнездом **liti* представляется исследователям весьма гипотетической [ЭССЯ, 14, 202]. Но, думается, что все-таки есть основания предполагать ее былое существование: ср. приводимые Ж. Ж. Варбот рус. диал. *лїнуть* (*ленѣть*), а также рус. диал. волог. *зблѣнь* ‘сильный дождь, ливень’ [КСГРС], твер. *лїна* ‘вода’ [СРНГ, 16, 351], болг. диал. *сул’енїцѣ* ‘дождь, который идет с востока и от которого портятся посевы’ [БД, VII, 137].

БД VII – *Петко Ив. Петков*. Еленски речник // Българска диалектология: Прочувание и материли. Кн. 7. София, 1974. С. 3–175.

Варбот Ж. Ж. Некоторые случаи морфологического переразложения в славянских глаголах и отглагольных именах и этимологический анализ // *Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes*. Leipzig, 1972. Bautzen, 1975. С. 148–162.

В. В. Шаповал
Москва

Критерии разграничения цыганских заимствований и вкраплений в русском языке: производные от корня *(p)ром-* ‘цыган’

Уже несколько столетий цыгане живут в России. При этом литературные источники дают довольно мало цыганских заимствований. Сфера же устного общения вообще слабо документирована.

Важно, из какого цыганского диалекта пришло слово. Так, название газеты «*Рром п-о дром*» (латиницей – «*Rrom p-o drom*» – «Цыгане в дороге») и пример «жили *ле рром* на слиянии двух рек» [Марчук, 2005, 8] указывают на влашскую группу с начальным горловым [pp]. Как и пример «цыгане обыкновенно называют себя... “ром” (т. е. люди)...» [Пыляев, 1889, 421], где [pp] не обозначен, но отсутствие окончания во мн. ч. симптоматично. На остальные группы с переднеязычным [p] указывает *ромá*: «Цыгане называют себя *ромá*» [Ром-Лебедев, 1990, 177].

Есть и другие параметры междиалектной вариативности, например, редукция безударного [о]: «И была одна Румны <цыганка>, ходила по домам...» [2003]. В данном случае это отражение смоленского цыганского диалекта, но признак очень распространен, поэтому не показателен [см.: Сергиевский, 1929, 98].

Этот материал не содержит признаков морфологической адаптации, следовательно, это иноязычные вкрапления.

В последние десятилетия цыганские экзотизмы входят в европейские языки. В частности, политкорректный термин *ром* – цыган, известный и ранее: «Иди со своими

ро́мами в очередь», – говорит милиционер многолетней цыганке в фильме «Карнавал» (1981). Здесь уже налицо морфологическая адаптация. Правда, из-за двуязычия цыган нет полной ясности, как разграничить оформленное по-русски цыганское слово в речи цыган и уже состоявшееся заимствование.

Проникнув в русский язык, цыганизмы постепенно вписываются в систему русского языка. Так, обращение к цыганам *ромáлэ* переживает несколько этапов адаптации: а) «Завтра долгая дорога, ромалы <цыгане>» (обращение, мн. ч.); б) «Гордые ромáлы руки не марают» (им. пад. мн. ч.); в) «...милиция с нарушителями-ромáлами особо не церемонилась» [Романов, 2005, 244] (появляются другие формы мн. ч.); г) «Устраивает все один ромáл – Николай...» [Медведева] (появляется форма ед. ч. вместо *ром*) и т. д.

На основе того же обращения возникают в устной речи производные по русским моделям: *ромáла* – цыган, *ромалёнок* – цыганёнок, *ромáлочка* – цыганочка, *ромáловский* – цыганский, уменьшит. *ромалу́шки*. Этот перспективный ряд остается по большей части известным лишь людям, так или иначе заинтересованным цыганской темой. Все эти производные возникают уже собственно в русском языке.

Другой ряд производных возникает от названия театра «Ромэн» (в одной из разновидностей московско-цыганского диалекта этот вин. п. мн. ч. выполняет и функции род. п., по образцу русского языка, то есть: *театр «Ромэн»* = театр [чей?] цыган). Отсюда: «– Вы что, цыганка? Похожи. – *Ромена*-цыганка, я таборная, свободная» [Палий]; «...мы – *ромены* <цыгане>, лошади нас уважают» [Кудрявцев]. Есть ощущение, что эти дериваты возникли вне зоны влияния цыганского языка. Авторы воспоминаний лишь пытаются говорить так, как, по их мнению, говорили с ними в прошлом цыгане.

Еще более продвинутый этап адаптации заимствований из цыганского, вполне освоенный и двуязычными цыганами, это народноэтимологические трансформации производных от корня *ром*, например: «Слышала я от “ромáшек” про гаджé <нецыгана>, который кочевал с нами» [Друц, 1998, 199]. *Ромашки* – цыгане, в данном случае слово оформлено так же, как русский омоним. Это довольно интересный прием (ср., *балáнс* ‘сало’ – от цыг. *балавáс*, *лавáнда* ‘деньги’ – от цыг. *ловá*). Если о связи с цыганским нет сведений, то определить причину семантического переноса уже невозможно.

Итак, сегодня многие производные от цыганского автоэтнонима *ром* заметны в русском языке. Не все они являются освоенными заимствованиями. Критерии адаптированности, предложенные выше, не являются абсолютными. Это только попытка определиться в материале, насчитывающем более 2 000 цыганизмов, извлеченных из русских текстов.

Друц Е. Цыганские романы. М., 1998.

Кудрявцев Ф. Ф. Цыганская ремонтная команда // [Электронный ресурс:] <http://ziganе.pp.ru/literatura15.htm>.

Марчук Е. Кхангэри (церковь). Ровно, 2005.

Медведева О. Русские цыгане живут без криминала // [Электронный ресурс:] <http://fontanka.webmaster.spb.ru>.

Палий П. Н. Записки пленного офицера // [Электронный ресурс:] http://militera.lib.ru/memo/russian/paliy_pn/01.html.

- Пыляев М. И.* Старый Петербург. СПб., 1889.
Романов С. А. Воры-карманники. От ширмача до щипача. М., 2005.
Ром-Лебедев И. И. От цыганского хора к театру «Ромэн». М., 1990.
Сергиевский М. В. Из области языка русских цыган // Уч. зап. Рос. Ассоциации НИИ Обществ. наук. Т. 3. Лингвистическая секция. М., 1929. С. 88–112.

А. К. Шапошников
Коктебель (Украина) – Москва

Семиотический метод описания языкового знака в практике этимологии и ономастики

Семиотический метод описания любого языкового знака в практике этимологической и ономастической лексикографии представляется наиболее комплексным, необходимым и достаточным. Если язык в целом есть знаковая система, то ономастическая подсистема языка также есть знаковая система. Следовательно, не только лексический (апеллятивный) уровень языковой системы, но и ономастическая подсистема могут и должны быть описаны как системы знаковые (семиотические).

В практическом применении семиотического метода в этимологической и ономастической лексикографии я опираюсь на главное положение семиотики. Семиотика учитывает четыре фактора: 1) знак – символ; 2) понятие (мысленные образы) – денотат; 3) объект отражения – десигнат; 4) люди и их сознание – социум.

По отношению к предмету нашего исследования соответственно: 1) апеллатив/топоним (слово); 2) семантика (значение и значимость); 3) десигнат (объект, субъект, этнос, географический объект и т. п.); 4) языковой коллектив, производящий номинацию объектов любого вида.

Разнообразные взаимосвязи этих факторов являются предметом изучения четырех разделов семиотики: 1) синтактика имеет своим предметом отношение типа «знак → знак»; 2) семантика – отношение типа «знак → значение»; 3) сигматика – отношение типа «знак → объект (означаемое)»; 4) прагматика – отношение типа «знак → социум (означающее)» [Зегет, 1985, 25–26].

Семиотическая синтактика абстрагируется от всех фактов, за исключением знаков. Она исследует связи между знаками в цепи знаков некоторого языка. Синтактика устанавливает правила построения составных знаков из более простых, например, морфем из фонем, слов из морфем, словосочетаний из слов и т. д. Она создает критерии определения принадлежности данного ряда знаков к определенному языку. В практическом плане наиболее удобными методиками синтактического анализа являются обратные словари (в том числе топонимов), формантные классификации, морфологические оппозиции.

В применении к нашему исследованию синтактика предполагает наличие в реконструируемом этимоне (в том числе субстратных топонимах) информации о фонологии языка (субстрата): о звуках, звукосочетаниях, фонеморфологии: о типах слогов, о продуктивных суффиксах (формантах), о типах основ, о корнях языка,

некоторую информацию о морфологии языка – парадигмы словоизменения. Все это позволяет определять тип языка, его генетические связи.

Семиотическая семантика исследует отношения между словами и соответствующими им понятиями. В лексикографической практике это отражается в виде этимологизации заимствованных слов и субстратных топонимов. Специфичным тут является то, что субстратные языки являются мертвыми на данной территории и значение данного субстратного слова (корня) устанавливается по аналогии со значением соответствующего слова в близкородственном живом или хорошо изученном мертвом языке.

Семиотическая сигматика изучает отношения между знаком и объектом обозначения, т. е. между словом и десигнатом. На практике сигматика помогает проверить правильность этимологии экстралингвистическими реалиями, адекватно локализовать топонимы, восстановить по возможности ситуацию номинации, прояснить мотивы номинации, уточнить время появления того или иного субстратного топонима.

Наконец, семиотическая прагматика исследует связи между знаками языка и людьми, которые их создают или воспринимают их. Этот раздел семиотики нередко помогает определить хозяйственно-культурный тип населения (носителей субстратного языка), сделать выводы об этнической принадлежности его, дает возможность привлечь исторические свидетельства и лингвострановедческие данные.

Так, в ходе исследования субстратной ономастической (топонимической) системы согласно этой схеме мы ожидаем извлечь из субстратных топонимов следующую информацию: о субстратных языках, их типологии, генетических связях, о значении субстратных географических названий; внеязыковую информацию о характере, признаках географических объектов, их локализации, хозяйственном освоении, хозяйственно-культурных типах данного ареала, об этнической, экономической, политической, религиозной истории ареалов.

Остается добавить, что расшифровать закодированную в апеллятиве или топониме (а тем более субстратном) информацию полностью может только лингвист, этимолог.

Таким образом, основным методом интегрального описания языкового знака в этимологической и ономастической лексикографии, по моему мнению, должен быть семиотический метод толкования языковых знаков всех видов (и нарицательных слов, и имен собственных). Необходимые и достаточные разделы такого толкования: последовательно излагаемые синтаксическое, семантическое, сигматическое и прагматическое описания языкового знака.

Zegem В. Элементарная логика / Пер. с нем. М., 1985.

**Диалектный этимологический словарь
как источник изучения культуры региона
(на материале «Историко-этимологического словаря
русских говоров Алтая»)***

С учетом предшествующего опыта создания этимологических и историко-этимологических словарей русского языка (в том числе его диалектов) нами разработаны принципы составления «Историко-этимологического словаря русских говоров Алтая», который по своему типу является региональным. В нем объясняются происхождение и история диалектных слов, зафиксированных на Алтае в речи современных его жителей (лексический материал собирался, в основном, в 1970–90-е гг. и отражен в четырехтомном «Словаре русских говоров Алтая» [СРГА]).

На сегодняшний день в соответствии с разработанными принципами авторским коллективом предложена историко-этимологическая интерпретация около 3 000 диалектных слов на буквы А–З (*абáбки – загáнуть*), отмеченных на территории Алтая: представлены соответствия объясняемым словам в других русских говорах, функционирующих на территории бывшего Советского Союза; дана историческая информация о словах (указано время их древнейшей фиксации в памятниках письменности – вхождения в письменный узус); приведены славянские языковые параллели, способствующие выявлению лексических связей исследуемых говоров с другими славянскими языками и диалектами и (на этой основе) определению места русских говоров Алтая в славянском языковом пространстве; обобщены (на основе существующих этимологических источников) версии о происхождении слов; предложены в ряде случаев оригинальные этимологические решения. Таким образом, содержание словарной статьи дает исследователю материал для реконструкции истории диалектного слова от праславянского этимона до современного функционирования слова в пространстве региона.

Создаваемый «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» можно рассматривать как разновидность «алтайского текста», поскольку он обобщает и фиксирует наши знания не только о языке, но и о культуре региона в его прошлом и настоящем. Историко-этимологический анализ выступает в данном случае как прием декодирования содержащейся в слове культурной информации. Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие данную мысль.

В селе Талица Усть-Канского района записаны (с пометой «устар.») слова: *барантá* ‘вражда соседних селений’ и *барантовáть* ‘враждовать’ [СРГА, 1, 42]. По данным «Словаря русских говоров Сибири», слово *барантá* в значении ‘разбойничьи набеги, главным образом с целью угона скота’ (тоже как «устар.») зафиксировано в Кяхтинском районе Бурятии [СРГС 1/1, 46]. В некоторых сибирских

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 09-04-60401 а/Г).

говорах встречается ещё *барантáч* ‘разбойник, грабитель (о киргизах)’ [СРНГ, 2, 107]. *Баранта (боранта)* впервые фиксируется в Актах Астраханской воеводской избы в 1650 г. в значении ‘месть за угон скота, захват людей, ограбление’ [СлРЯ XI–XVII, 1, 73]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля содержится следующее объяснение энциклопедического характера: «Баранта. У азиатских пограничных народов, а более у кочевых, самоуправная месть по междоусобиям; набег, грабёж; отгон скота, разор аулов, захват людей. Баранта тем отличается от военных набегов, что нападающие, из опасения кровомести, идут без огнестрельного и даже без острого оружия, а берут ожоги, вместо копий, обух и нагайку» [Даль, 1, 47]. С этимологической точки зрения слово *барантá* и его производное *барантовáть* являются заимствованиями из тюркских языков, ср. чагат. *baranta*, казах. *barunta* ‘разбойничий набег’, которые объясняются из монг. *barimta* ‘налет, нападение’. Такое объяснение даёт в своём словаре М. Фасмер с ссылкой на «Опыт словаря тюркских наречий» В. Радлова [Фасмер, 1, 124]. В «Этимологическом словаре русских диалектов Сибири...» А. Е. Аникина приводится основа (этимон) монгольского существительного – *bari-* ‘держать, брать, хватать» [Аникин, 35]. Характерно, что память о прошлом увековечена в Усть-Канском районе нынешней Республики Алтай в микротопонимах: названиях долины (*Барантóва долина*) и лога (*Барантóво*) [СРГА, 1, 42].

В селе Сорочий Лог Первомайского района встретилось слово *дерёвка* в значении ‘деревня’: *Заняли немцы деревки* [СРГА, 2, 1, 22]. Считаем несомненной связь этого слова с отмеченной в других говорах (Европейской части России) формой *деревкí* ‘расчищенное под пашню место в лесу; подсека’ (Ряз.) [СРНГ, 8, 12]. Данные факты подтверждают предположение этимологов об этапах семантической эволюции общерусского слова *дерёвня*: 1) ‘очищенное (букв. выдрванное) от леса и зарослей место для нивы’; 2) ‘пахотное поле’; 3) ‘двор, т. е. хутор с участком земли’; 4) ‘селение, село, деревня’ [Фасмер, 1, 501]. В подтверждение этой версии можно привести ещё сущ. *дор* < праслав. *dorъ* от **dъrati* [ЭССЯ, 5, 80], зафиксированное в русских диалектах в нескольких значениях, в том числе: 1. Вновь расчищенное место; земля, расчищенная из-под леса (Арх., Волог., Север., Пск.); 2. Новое селение на чистом возвышенном месте, на дору (Арх., Север., Волог.) [СРНГ, 8, 129; Даль, 1, 475]. Таким образом, в записанном на Алтае слове *дерёвка* можно видеть отголосок старины, когда «расчистка земли от деревьев была частью подсеочно-огневой системы земледелия в лесной местности, а тем самым – экономической основой земледельческого образа жизни» [Кретов, 2000, 63].

Осуществление проекта «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» в полном объеме (до буквы *Я*) даст возможность воссоздать историю языка и культуры одного из уникальных регионов Сибири.

Кретов А. А. О вторичности значения «дерево» в индоевропейском праязыке // *Этимология.* 1997–1999. М., 2000.

К вопросу о наличии германских заимствований в языках создателей топонимии Заволочья

А. К. Матвеев указал, что при стратификации субстратных топонимов Русского Севера (РС) помощь может оказать изучение заимствованных элементов в топонимии – русских, скандинавских, германских, балтийских [Матвеев, 2004, 277]. Такие разыскания могут способствовать выработке дополнительных критериев для этимологизации топонимов: допустимо ли привлекать не только исконную, но и заимствованную лексику прибалтийско-финских (ПФ) и саамского языков. Мы ограничимся лексикой германского происхождения (позднепрагерманской и древнескандинавской). Конечно, собственно германских топонимов на РС ждать не приходится [см.: Шилов, 1999; Матвеев, 2000, 15–20]. Речь может идти лишь о германизмах финно-угорских (ФУ) языков, бытовавших здесь.

Потенциально ПФ германизмы тут возможны, если учесть широкое распространение относительно поздних ПФ топонимов на РС [см.: Матвеев, 2004, карта 32]. Проблема в том, что эти топонимы подчас невозможно отграничить от тех, что созданы носителями вымерших ПФ языков РС, которые могли не испытать германского влияния, вернее, не должны были его испытать. Мы не видим здесь топонимов, содержащих такие яркие германизмы, как *kari* ‘мелкий порог, каменистая отмель’ [см.: Матвеев, 2001, 236] и *kallio* ‘скала’ (единичный пример в [Матвеев, 2004, 117] относится к низовьям Онеги). Я. Саарикиви, впрочем, пишет о распространении топонимов, основанных на германских заимствованиях в Архангельской области и о заимствовании финских германизмов в язык коми [см.: Saarikivi, 2006, 295], но без указания примеров. Он также предлагает этимологию локального (восток РС) *койдома* ‘поляна в лесу; луг на заболоченном участке реки’ из **kaita-mV* при фин. *kaita* ‘пространство меж двух рек’, считающегося германизмом [см.: Saarikivi, 2004, 195]. Но *койдома* имеет и ФУ этимологию (ср. фин. *koito maa* ‘убогая земля’ [см.: Матвеев, 1970, 116]); не очевидно и германское происхождение ПФ *kaita* [см.: Шилов, 1997, 10]; наконец, термин, являющийся наследием какого-то чудского языка, может вовсе не иметь аналогов в лексике современных ФУ языков.

Добавим, что отдельные топонимы, которые формально могут объясняться на основе ПФ германизмов, неизменно получают альтернативные объяснения. Так название р. *Холмога* басс. Моши (ср. фин., кар. *holma* ‘подводный камень, остров’ < др.-сканд. *holmr*) могло возникнуть на русской почве из исходного **Kolmejogi* (при ПФ *kolme* ‘три’), ср. *Холмогоры* при исходном *Колмогоры*. Можно было бы указать на многочисленные топонимы с элементами *Ранд-* и *-ранда* [см.: Матвеев, 2001, 212–213; Матвеев, 2004, 62, карта 9], избегающие областей плотной саамской и севернофинской топонимии. Они явно связаны с ПФ *ranta, rand(a)* ‘берег’, возводимым к герм. *strand*. Но решение это не единственно, ср. *ranta* с лит. *krantas* [Terent’ev]. В топонимии РС частотен еще ПФ термин *peldo* ‘поле’, выводимый из германского (протогерм. **felþo-* [SKES]). Но и эта этимология встречает некото-

рые препятствия, ибо на РС есть топонимы с элементом *палда* (соответствующим ПФ *peldo*), созданные носителями древних диалектов ПФ типа, в которых *a* первого слога отвечает ПФ *e* [см.: Матвеев, 2004, 205–209, карта 25]. Трудно поверить, что и эти языки испытали германское влияние.

Перейдем к германизмам саамских диалектов. Из прасаамских реконструкций [YS] мы выбрали те, для которых указывалось германское (скандинавское) происхождение, и отобрали из них топонимически активные лексемы, отразившиеся в топонимии Кольского п-ва, Карелии и Вепсского Межозерья. Из рассмотрения были исключены лексемы, имеющие ПФ аналоги того же происхождения, и те, что могли образовать топонимы, которые получают неоднозначную трактовку: **mājnē* ‘шишка’, **mānō* ‘змея’, **vārō* ‘путь’ и др. Окончательный список: **āpē* ‘море, большое болото’, **källēs* ‘старик’, **kältijä* ‘родник’, **māvē* ‘малый’, **mällē* ‘береговая круча’, **ponnē* ‘угол залива’, **vānē* ‘младший, меньший’, **viǰdēs* ‘широкий’.

На территории РС надежных примеров топонимов с этими основами мы не обнаружили, что не стало неожиданностью. Ведь иное предполагало контакты предков создателей севернофинской и саамской топонимии РС с германцами близ рубежа нашей эры в окрестностях Финского залива, что представляется маловероятным (иное дело балты: их контакты с финно-уграми разворачивались в течение длительного времени на пространствах от юго-восточной Прибалтики до Верхневолжья). В свете сказанного, рассмотрим предложенные этимологии для некоторых гидронимов РС.

Вовданга > Юрманга > Кулой > Вага, ср. ПС *vōntē* ‘лес’, якобы из германского [см.: Матвеев, 2007, 64]. Но наличие наряду с саамским словом марийского *oto* ‘лес на возвышенности’, *ata*, *oto* ‘куст, роща, мелкий частый лес’ [Шилов, 1997, 18] сильно ослабляет надежность германской этимологии. Словари [SKES, YS] вовсе не апеллируют к германским источникам саамского слова. Что до словаря [SSA], то его «новые» (по сравнению со SKES) германские этимологии финских слов в лучшем случае сомнительны. Для терминов северного ландшафта (приоритет саамов над германцами в Фенноскандии неоспорим) можно вообще ставить вопрос о направлении заимствования.

Воченга, ср. ПС **vuočō* ‘длинное узкое болото’ < герм. [Матвеев, 2007, 67]. В [YS] слово не отмечено (известно в диалектах: северном, Инари и Колтта; имеются ПФ параллели; германская этимология спорна). Можно предложить иную этимологию топонима, ср. мар. *wočo* ‘намокшее дерево (топляк)’.

Калчуг, ср. ПС **kälčō* ‘раковина, моллюск’ < сканд. [Матвеев, 2007, 78]. Подобная семантика нехарактерна для потамонима. Возможен субстратный источник, ср. неизвестного происхождения *калтус* ‘вид болота’ с интересными восточными параллелями.

Мильюг, ср. ПС **mällē* ‘береговая круча’ < сканд. [Матвеев, 2007, 105]. Топонимы Карелии, в основе которых предполагается данный термин, имеют в первом слоге не *и*, но *е*: *Мелозеро*, *Мелой-зуба* и др. Потому данное сравнение спорно.

Пуйдуга, ср. ПС *pōite* ‘жир’ < герм. [Матвеев, 2007, 126]. Но сам А. К. Матвеев приводит альтернативную этимологию – ПС *pōjtek* ‘горноста́й’.

Соденьга, *Содонга*, ср. ПС *sōtte* ‘вкусный, сладкий’ < сканд. [Матвеев, 2007, 139]. При этом А. К. Матвеев указывает как альтернативу коми *сьōд* ‘черный, темный’, что семантически более ожидаемо в составе гидронимов.

Итак, для топонимов РС, которые формально могут быть истолкованы через саамские германизмы, обязательна проверка: может ли топоним быть истолкован иначе; не является ли ошибочной сама германская этимология саамского слова; может ли быть принято обратное направление заимствования. Пока же для привлечения ФУ германизмов при трактовке субстратной топонимии РС мы не видим надежных оснований.

Матвеев А. К. Типы бытования географических терминов в субстратной микропонимии Русского Севера // *Вопр. географии.* Вып. 81. М., 1970.

Матвеев А. К. Топономические поиски. I // *Финно-угорское наследие в русском языке.* Вып. 1. Екатеринбург, 2000.

Матвеев А. К. Субстратная топонимия Русского Севера. Ч. 1. Екатеринбург, 2001. Ч. 2. Екатеринбург, 2004. Ч. 3. Екатеринбург, 2007.

Шилов А. Л. Ареальные связи топонимии Заволочья и географическая терминология Заволочской Чуди // *Вопр. языкознания.* 1997. № 6.

Шилов А. Л. Есть ли скандинавская топонимия в Карелии? // *Вопр. языкознания.* 1999. № 3.

Saarikivi J. Is there Palaeo-European substratum interference in western branches of Uralic // *Journal de la Société Finno-Ourgrienne.* V. 90. Helsinki, 2004.

Saarikivi J. Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu, 2006.

Terent'ev V. A. Corrections to the «Suomen kielen etymologinen sanakirja» concerning germanic, baltic and slavc loanwords // *Uralo-Indogermanica.* II. Москва, 1990.

М. Шипкова

Брно (Чешская Республика)

Словарь микропонимов Моравии и Силезии: теоретический и интерпретационный аспекты*

Чешская Республика состоит из трех исторических территорий – Чехии (Богемии), Моравии и чешской части Силезии. В настоящее время она делится уже не на эти исторические зоны, а на 14 новых областей. Традиционное деление на исторические зоны, однако, живо до сих пор, и многие научные проекты его учитывают. Это касается и Словаря микропонимов Моравии и Силезии, который создается в диалектологическом отделении Института чешского языка Академии наук Чешской Республики в Брно – центре территории, называемой Моравия. С лингвистической точки зрения важно, что регионы Моравии и Силезии сохранили значительные диалектные различия. Эта ситуация отразилась в языковой форме топонимов (анойконимов). На территории Богемии ярко выраженные диалектные черты сохранились только на окраинах.

* Статья написана при поддержке гранта № 405/08/0703 «Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (teoretické a interpretační aspekty)».

Словарь начал создаваться в 2005 г., после завершения самого важного на тот момент дела чешской диалектологии – пятитомного Чешского лексического атласа (1992–2005; шестой том, содержащий дополнения, в печати), который на 1 600 картах, сопровождаемых обстоятельными комментариями, дает полную картину географической дифференциации чешского национального языка.

Важным стимулом для начала работы над Словарем микропонимов Моравии и Силезии стал для нас тот факт, что аналогичный словарь создается в Праге (Словарь микропонимов Чехии. Вып. 1–3–, 2005–2007–.) и в соседней Словакии.

Преимущество нашего словаря состоит, с одной стороны, в уникальном, относительно полном материале (собранном в 1965–1989 гг., включающем приблизительно четверть миллиона карточек, около 96 % исследованной территории), с другой стороны, в теоретической и методологической концепции, которая представляет чешскую ономастическую школу (В. Шмилауэр, Р. Шпрамек, И. Люттерер, Я. Плескалова, Л. Оливова-Незбедова, М. Гарвалик). В чешской ономастике есть лексикографически обработанный материал как в области ойконимии (Профоус, Хосак – Шпрамек), так и в области антропонимии (Бенеш, Свобода, Плескалова); следовательно, остается лексикографически обработать третий класс имен, т. е. названия ненаселенных объектов (анойконимы). В чешской ономастике они называются *podmístní jména*, в соответствии с терминологией, установленной терминологической комиссией Международного комитета по славянской ономастике (*Osnoven system i terminologija na slovenskata onomastika*, 1983) или *anoikonyma*, их ядро образует то, чему в традиционной ономастике соответствуют *микротопонимы*, *nazwy geograficzne*, *minor place-names*, *field names*, *Flurnamen* и т. д.

Ономастическая интерпретация анойконимов не ограничена этимологией и словообразованием; цель словаря – показать изменяемость анойконимов, их лингвогеографическую дифференциацию, структуру, отношение к объекту и мотивационные аспекты номинативного процесса. Словарь, таким образом, представляет новый тип анойконимического (микротопонимического) словаря, в котором преобладает лингвистическая интерпретация материала. В связи с глубокими диалектными различиями Моравии и Силезии особое внимание уделяется учету диалектных вариантов микропонимов и степени их лемматизации. Многие лексические единицы, которые распространены за пределами Чехии, на территории Польши и Словакии, придают нашему словарю межславянский, центральноевропейский статус; наличие множества лексических единиц немецкого происхождения отражает языковой и общекультурный контакт с немецкой средой. В словаре, таким образом, фиксируются анойконимы с немецкими корнями (основами), например *acker(l)-*, *acht(el)-*, *-bach/-pach-*, *-berg/-berk/-perk-*, *breit-*, *-brenn/-brannt/-brand-*, *burg/-burk/-purg/-purk-*, *-dorf-*, *eich(el)*, *-eis-*, *end(e)-*, *-engel-*, *-erb-* и т. п. Обработка моравских и силезских анойконимов может стать методологической основой обработки анойконимов (микротопонимов) для Славянского ономастического атласа.

Цель словаря – комплексно представить анойконимический материал с восточной части территории Чешской Республики и таким образом способствовать созданию синхронной системной картины анойконимов Моравии и Силезии второй половины XX в.

Словарь первоначально создавался как электронный; сейчас на его основе планируется традиционный «бумажный» словарь (подробнее см. публикацию Л. Чижмаровой).

Названия разработанных под угодя лесных участков в микротопонимии одного региона

Образование микротопонимов конкретного региона всегда обусловлено особенностями распространенных на данной территории говоров. В частности, это касается образующих основ названий мелких географических объектов, в роли которых выступают диалектные лексемы (апеллятивы и онимы).

Довольно продуктивными в процессе образования микротопонимов являются субстантивы, обозначающие результаты человеческой деятельности. Об этом свидетельствуют как отдельные работы, посвященные характеристике названий мелких географических объектов [Емельянович, 1982; Иванова, 1986; Прышчэпчык, 1970], так и анализ ономастических словарей [АСГ, МБ, СММ].

Не могла не отобразиться в микротопонимах и сельскохозяйственная терминология, в частности названия разработанных под угодя лесных участков. Для обозначения таких мест в белорусских говорах употребляется ряд апеллятивов: *пáсека*, *ляда*, *навіна*, образования с корнями *-цераб-* и *-дзер-* [ЛАБНГ, 2, карта № 124].

Отмеченные лексемы являются старинными терминами подсечно-огневого земледелия и, по свидетельству белорусских топонимистов, широко представлены в ойконимии и микротопонимии Белоруссии. Причем апеллятивы *ляда* и *пáсека* образуют на территории страны два ареала – восточный и западный соответственно, которые примерно совпадают с двумя топонимическими ареалами: восточным – *Ляда* и западным – *Пáсека* [Лемцюгова, 1970, 74].

Уникальной в этом отношении является микротопонимия пограничья случких и мозырских говоров юго-западного диалекта: Любанский (Люб.), Слуцкий (Слucz.), Солигорский (Солиг.) и Стародорожский (Ст.-дор.) районы Минской области; Глусский (Глус.) район Могилевской области; Житковичский (Житк.), Октябрьский (Окт.) и Петриковский (Петр.) районы Гомельской области. В зафиксированных на данной территории названиях мелких географических объектов представлены все отмеченные выше термины. В то же время такие микротопонимы распределены по указанному региону неравномерно.

Так, однословные наименования, соотносящиеся с термином *пáсека*, распространены, как правило, на Случчине: *Пáсека*, лес (Буда Окт.), поле (Рожанов Окт., Смольгово Люб.), ур. (Славковичи Глус.), часть леса (Пузичи Солиг.), *Пáсеки*, поле (Теребуты Ст.-дор.). На Мозырщине от данного апеллятива образовано только название урочища *Посéки* (Залесье Петр.).

Простые микротопонимы, соотносящиеся с термином *ляда*, наоборот, отмечены преимущественно на территории распространения мозырских говоров: *Ляда*, ур. (Вилья Житк., Великие Селютичи Петр., Ясковичи Солиг.), *Лядо*, лес (Атирки Петр.), поле (Секеричи Петр.), *Подледзéи 'е*, лес (Постолы Житк.). В окрестностях Слуцка такие наименования представлены единичными образованиями: *Лядки*, лес (Щитковичи Ст.-дор.), *Пáлядзі*, ур. (Весеча Слucz.).

Термин *навiна* и образования с корнем *-цераб-* нашли отражение в однословных микропонимах, зафиксированных в пределах ареала слущких говоров: *Навіны*, ур. (Шипиловичи Люб.), *Нóвіны*, поле (Макаричи Ст.-дор.), *Наві́нкі*, поле (Заболотье Окт., Межилесье Ст.-дор.), *Навінішча*, поле (Рубежи Ст.-дор.); *Поцераб*, бол. (Репин Окт.), ур. (Чабусы Люб.), *Поцэрóб'е*, ур. (Домановичи Солиг.), *Працэрóп*, ур. (Беличи Слуц.), *Расцярóбы*, лес (Глуск Глус.), *Церабéха*, сенокос (Селище Слуц.). На Мозырщине отмечены только три подобных названия: *Навіна́*, ур. (Хвойня Петр.), *Нóвіны*, поле (Лучицы Петр.), *Церэбéнь*, сенокос (Белановичи Петр.).

Многочисленные образования с корнем *-дзер-* представлены в микропонимии всего пограничья слущких и мозырских говоров юго-западного диалекта: *Адзёркі*, лес (Подлуг Люб.), *Вúдзерок*, лес (Великие Селютичи Петр.), *Дзёрці*, лес (Кармазы Ст.-дор.), ур. (Пасека Ст.-дор.), *Дзерць* ур. (Холопеничи Глус., Березняки Житк.), *Дзёркі*, ур. (Загалье Люб.), *Дзёртка*, поле (Залесье Петр.), *Заподзёр*, лес (Подлуг Люб.), *Падзёра*, лес (Проходы Петр.), лес, поле (Старые Фаличи Ст.-дор.), *Роздзёры*, луг (Лясковичи Петр.), *Удзёркі*, ур. (Иёвичи Житк.).

Таким образом, микропонимы, соотносящиеся с названиями разработанных под угоды лесных участков, не только дают представление о распространенных в тех или иных говорах лексемах, но и позволяют уточнить ареалы этих слов. Использование микропонимического материала в процессе исследования диалектной лексики особенно актуально в случаях несовпадения сетей опорных населенных пунктов, в которых проводился сбор фактического материала для изучения местных апеллятивов и онимов.

Емельянович В. М. Микропонимия северо-западной части Брестской области: Дис. ...канд. филол. наук. Минск, 1982.

Иванова А. А. Микропонимия Мозырского Полесья: Дис. ...канд. филол. наук. Минск, 1986.

Лемцюгова В. П. Назвы зямельных участкаў як крыніца беларускай тапаніміі // Пытанні беларускай тапанімікі: Матэрыялы Першай беларускай тапанімічнай канферэнцыі (1–3 снежня 1967 г.). Мінск, 1970. С. 71–82.

Прышчэпчык А. М. Мікратапанімія Стаўбцоўшчыны: Дис. ...канд. филол. наук. Минск, 1970.

С. В. Шойбонова
Улан-Удэ

Ономастикон монгольских романов (этнолингвистический аспект)

Известно, что данные ономастики служат ценным источником для целостной реконструкции общей картины формирования этносов, миграционных процессов, восстановления этнической картины региона, определения специфики поликонфессиональной среды, выявления генетического родства и этнокультурных связей.

Онимическая лексика как важный компонент художественного текста подчиняется общеязыковым закономерностям. Но имена собственные образуют особую подсистему языка, отмеченную экстралингвистическими свойствами, поэтому оправдано исследование поэтонимов в гармоничном единстве с историей, этнографией, логикой. Обращение к данным экстралингвистического плана при анализе поэтонимов позволяет прийти к выводам весьма любопытным не только для лингвистики, но и для других отраслей знаний.

Материалом нашего исследования явились романы монгольских писателей: Ч. Лодойдамба «Тунгалаг Тамир» («Прозрачный Тамир»), Д. Намдаг «Цаг төрийн үймээн» («Смутное время»), Ж. Пурэв «Гурван зангилаа» («Три узла»), Л. Тудэв «Уулын үер» («Горный поток»), С. Удвал «Их хувь заяа» («Великая судьба»).

Проведенный этнолингвистический анализ поэтонимов позволяет выявить ряд особенностей ономастикона монгольских романов. К числу таковых относим:

1. Наличие имен-прозвищ, наглядно демонстрирующих своеобразие мышления кочевников

В изучаемых романах нами зафиксированы такие прозвища, как *Догшин сахиус* «Грозный дух» (так прозвали бедные скотоводы местного богача Пурэва за его жестокий нрав); *Бичээч Эрдэни* «Писарь Эрдэни» (герой был обучен грамоте), *өндөр ах* «Высокий дядя» (монг. *ах* – уважительное обращение к старшему брату, дяде); *Дэвхрэг Итгэлт* «Кузнечик Итгэлт» (герой ходит проворно, как бы прыжками, напоминая кузнечика). *Улаан модон гэртэй, усан будаан хоолтой* (прозвище послушников монастыря) – «В красном доме на воде и каше живущие». Действительно, из романа мы узнаем, что послушники монастыря постоянно голодали, так как все продукты, отправляемые родителями из деревень, доставались монахам. Поскольку монгольские монастыри были единственным образовательным центром в тот период времени, ученики лам-монахов были вынуждены терпеть все: и голод, и холод. Деревенских ребят послушники в свою очередь прозвали *Хөдөний хөдсөн дээлт, хөх мантуу* – «Синие лепешки в овчинных дэли» (*хөдсөн дээлт* ‘монгольский овчинный тулуп’; заимст. из кит. *мантуу* ‘лепешка, испеченная на пару’).

Большой интерес вызывают прозвища *Хялгасан хуурт бадарчин*, *Салга чөтгөр*, *Солгой Дорж*, *Засагт ханы цахиур Төмөр*. Представленные онимы, на наш взгляд, наглядно демонстрируют тесную связь языка и этноса. Рассмотрим указанные имена собственные в контексте.

а. «Таны алдар хэн гэдэг вэ? – Миний нэр *Насан-Өлзий* гэдэг. “*Хялгасан хуурт бадарчин*” гэж Ховд Урианхайнхан хэлдэг болсон. Бас зарим газар “*Салга чөтгөр*” ч гэдэг дээ. Энэний аль аль нь муухай нэр биш шүү. Хуур хөгжим хурим найр л элбэг байдаг. Муу үйлээр хурим найр болдоггүй биз дээ?» (Три узла, 17) – «Как вас величать? – Меня зовут Насан-Өлзий. Сплетники-урянкайцы прозвали “Странствующим монахом с хууром”. В некоторых местах про меня говорят “Трясущийся черт”. И то, и это плохие имена. На свадьбах, праздниках всегда звучит мелодия хуура. Праздники отмечаем всегда по хорошему поводу. Правда же?».

Обратимся к прозвищу *Хялгасан хуурт бадарчин*. Лексема *бадарчин* ‘странствующий монах, сборщик пожертвований’ относится к словам, обозначающим отвлеченные буддийские понятия (образовано от *бадар* со значением ‘подавание, приношение, подношение, милостыня’; х.-монг. *бадар*, стп.-м. *badir* ‘чашка, жерт-

венная чаша'). Исследователи считают, что данный буддийский термин проник из санскрита (*pātra* – 'чашка'). Согласно легенде, Будда Шакьямуни велел каждому последователю его учения иметь чашку для жертвований.

Как известно, монголоязычные народы имели самобытную культуру, в которой важное место занимало инструментальное музицирование. Любимым инструментом кочевников являлся смычковый инструмент хуур. В качестве материала для струн этого инструмента использовались конские волосы – *хялгасан*.

б. Не менее оригинальное имя-прозвище находим в романе «Прозрачный Тамир»: «*Дорж* гэдэг. *Солгой Дорж* ч гэдэг, урьд барилдахдаа солгой тонгордог байсан. Тэгээд л солгой нэртэй болчихсон» – «Зовут меня *Дорж*. Некоторые называют *Левша Дорж*. Меня прозвали так потому, что во время борьбы я бросаю противника через левое бедро». Мотивом подобного именнаяречения, как видим, явились именно особенности приема национальной борьбы (*бөх барилдах*). В Монголии борьба является одним из трех национальных видов спорта и имеет особые этнические традиции проведения (специальная борцовская форма, имитация полета мифической птицы Гаруды). Соревнования обычно проходят в рамках празднования Наадама (или *Эрийн гурван наадам* «Три игрища мужей»).

в. «Арван зургаан насандаа шилийн сайн эрчүүдтэй нийлж удалгүй эрмэг зориг, эр чадал ухаан санаагаар гайхагдсан “*Засагт ханы цахиур Төмөр*” гэж алдаршин халх дйрвйн аймаг, шавь тавд домог мэт яригддаг болжээ (Прозрачный Тамир, 7) – «Төмөр шестнадцати лет попал к сайнэрам. За силу и лихость народ прозвал его “Зацагтханским кремнем Төмөр»». По сюжету романа Төмөр является одним из известных сайнэров (досл. «хороший мужчина»). Так монголы называли тех, кто не выдержав притеснения князей, уходил в горы и боролся против власть имущих. Имя персонажа подтверждает его героизм и силу (монг. *төмөр* ‘железо’). Во время пытки надзиратель от бессилия закричал: «Чи чинь чулуу юм уу, хүн юм уу?!» (20) – «Ты железо или человек?!»

2. Табуирование имен.

В нашем материале наблюдается такое явление, как *нэр цээрлэх* (запрет, табу). Это обычай, по которому монголы воздерживаются от произнесения имен родителей и старших родственников, товарищей. Обратимся к примерам.

а. «*Магсаржав, Тогоог Боогоо* гэж нэр цээрлэх болсон юм» (Великая судьба, 39) – «Магсаржав решил, что будет называть друга не Тогоо, а Боогоо, чтобы уберечь его от сглаза».

б. «Миний нэрийг *Чулуун* гэдэг. Уг язгуур ард богоод шавь нар та бүхэн багш миний нэрийн цээрлэхийн учир намайг *багш* гэж болох ажээ гэлээ» (Прозрачный Тамир, 341) – «Меня зовут Чулун, но вы не должны называть меня по имени, вы обязаны называть меня просто учителем».

3. Наличие антропонимических формул, в составе которых религиозные и потомственные титулы, звания, характеризующие социальное положение персонажей.

Известно, что среди монголов имела распространение тибетская форма буддизма, элементы которого, безусловно, отразились в языке. Наш материал доказывает это положение, ср.: *Богд хаан*, *Богдо-гэгээн* (высший духовный и светский иерарх в старой Монголии, с 1911 г. являлся также ханом, главой государства); *Чойндон аграмба* (х.-монг. *аграмба* < тиб. *sngags-rams-pa* ‘степень (школа чжуд)’; *Уваа гавж* (х.-монг. *гавж* < тиб. *dka-bcu* ‘звание ламы (5 ступеней цанита)’); *Жа лам*

(х.-монг. *лам* < тиб. *bla-ma* ‘лама, буддийский монах’). Кроме того, нами обнаружен поэтоним *Санжаа бөө* (х.-монг. *бөө* ‘шаман’).

В анализируемых источниках зафиксированы многочисленные имена, указывающие на социальный статус героя: *Очир бээс*, *Лантуу баян*, *Доной тайжа*, *Ганжуржав гүн*, *Хасбаатар*, *Сүхбаатар*, *Хатанбаатар Магсаржав*, *Манлай баатар Дамдинсүрэн* (*бээс*, *тайжа*, *гүн* ‘степени княжеского достоинства в старой Монголии’; монг. *баатар* ‘богатырь, герой, витязь’).

4. Использование теонимов.

Монголоязычные народы с большим уважением относятся к божествам, духам гор, местностей. Указанная особенность проявилась и в романах монгольских авторов. В исследуемом материале имеют место буддийские имена, обозначающие дни недели и планет. К примеру, *Ням* ‘Солнце, воскресенье’; *Пүрэв* ‘Юпитер, четверг’.

5. Использование топонимов, отражающих национальный колорит.

«Образ горы у всех монголоязычных народов связан с анимистическими представлениями о ней как покровительнице рода» [Хонинов, 2008, 132–133]. «Горы были главными ориентирами на местности как в географическом, так и сакральном смысле» [Жуковская, 2002, 28]. В этой связи можно привести такие примеры, как *Алтан Богдын шил* ‘Затылок золотого Богдо’, *Булган уул* ‘Соболиная гора’, *Говь Гурван сайхан уул* ‘Три красавицы Гоби’.

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют заключить, что ономастикон изученных романов отражает особенности уникальной культуры монголов, выявляет своеобразие кочевого образа жизни, географических реалий, растительного и животного мира.

Жуковская Н. Л. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика М., 2002.

Хонинов В. Н. Отражение религиозных воззрений калмыков в топонимии // Имя. Социум. Культура: Материалы II Байкальской междунар. ономаст. конф. (4–6 сентября 2008 г.). Улан-Удэ, 2008. С. 131–133.

О. Г. Щитова
Томск

Прием семантической типологии в процессе этимологизации заимствований: тканеобозначение *фарабат*

Начальный этап формирования русских говоров Среднего Приобья относится к XVII в. Источником для изучения данных раннепереселенческих говоров являются деловые документы данного хронотопа. Обращение к местным памятникам письменности позволило обнаружить лексические единицы, не зафиксированные в лексикографических источниках. Этимологизация заимствований производится с учетом типологии семантических преобразований, актуальной для единиц определенной лексико-тематической группы. Обратимся к этимологии одного тканеобозначения.

В томских памятниках деловой письменности XVII в. употребляется номинация шелковой ткани *фарабат*: «Шелку фарабату тритцат половинок летчинных малых четыре половинки амбурских меншия земли...», Томск, 1652 г. [РГАДА, ф. 214, кн. 305, л. 2]; «Сто крашенин портищныхъ пять фунтовъ шолку *фарабату* два пуда укладу железнаго... пять киндяков арапских...», Томск, 1658 г. [РГАДА, ф. 214, кн. 359, л. 10]. Каково происхождение слова *фарабат*? Оно отсутствует в этимологических и историко-этимологических словарях, а также в работах В. Клейна и П. Савваитова и др.

По материалам Картотеки СлРЯ XI–XVII, данная лексема впервые отмечена в 1620 г. в документах о торговле Московского государства со Средней Азией: «Отпущен до Нижнево тезик Кызылбашские земли Маметко Мамарифов а с ним товару 200 ансырей шолку *фарабату* 120 ансырей шолку арясково...», 1620 г. [Гр. Хив. Бух., 134].

В данном контексте представлен способ и путь доставки ткани, обозначаемой словом *фарабат*. Эта ткань попадала на русский рынок через *тезики*, таджикских купцов, таджиков, по сведениям М. П. Алексеева, торговавших с Тобольском в начале XVII в., а по данным Русско-английского словаря-дневника Ричарда Джемса 1618–1619 гг., «так называют персов возле Астрахани». *Тезик* – обычное для XVII в. название среднеазиатских купцов [Аникин, 544].

В документе есть конкретное указание на место вывоза ткани: *Кызылбашские земли. Кизилбаши* – общее название для Персии [Клейн, 1925, 61].

Из приведенных выше материалов о торговле Средней Азии с Московским государством видно, что вместе с фарабатом в торговые центры Руси доставлялся шелк *аряский*. Атрибутив *аряский* является одним из вариантов прилагательного *ряский*. *Шелк ряский* – сорт шелка восточного происхождения (по названию города Раш в Малой Азии) [СлРЯ XI–XVII, 22, 292]. Возможно, и ткань *фарабат* имеет азиатское происхождение, а само наименование *фарабат* восходит к персидскому языку, в котором топонимы типа *Фаррухабад*, *Ферахабад* являются названиями городов в иранском регионе XVII в.

Топоним *Фарабат* зафиксирован в документах по торговле Московского государства со Средней Азией в XVI–XVII вв.: «По шахову де указу в *Фарабате* и в Ашрефе и во всей Мазодранской земле ныне начальник мурза Касим». 1647 г. [Гр. Хив. Бух., 320 – КСлРЯ XI–XVII. Для подтверждения персидского происхождения названия города Фарабат обратимся к «Отписке русского посланника Анисима Грибова с товарищами из *Фарабата* в Персии ц. Алексею Михайловичу в Посольский приказ с подробным описанием происходивших в Бухаре, Балхе и Хиве политических событий, препятствующих им проехать в эти страны» от 27 января 1647 г. (выделено нами. – О. Щ.).

Персидский язык является источником заимствования многих номинаций шелковых тканей, зафиксированных в томских деловых документах XVII в.: *дороги* (*дараги*), *камка*, *тафта*. Рефлексов слова *фарабат* в тюркских языках обнаружить не удалось.

Таким образом, процесс семантической ассимиляции заимствования *фарабат*, источником которого является персидский топоним, идет по пути метонимического переноса наименования с места происхождения ткани на саму ткань.

Данная модель семантической трансформации характерна и для других наименований ткани, имеющих в денотативном компоненте своего лексического значения семантический маркер, указывающий на иностранное происхождение материи. Например, обозначение хлопчатобумажной (или шелковой) ткани восточного происхождения *зендень* восходит в конечном счете к персидскому топониму *Zandane* [Аникин, 212]. Приведенные неисконные номинации являются фрагментом лексико-семантической группы названий тканей, выявленной на материале текстов деловой письменности Среднего Приобья XVII в.

Итак, исследование типологии семантических преобразований, возможных в процессе семантической ассимиляции заимствований, в процессе перехода лексического материала из одной языковой системы в другую, а также исследование заимствования на фоне лексико-тематической группы и вместе с семантически близкими словами помогает выявить происхождение слова *фарабат*, не зафиксированного в этимологических и историко-этимологических словарях русского языка.

Гр. Хив. Бух. – Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР: Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии в XVI–XVII вв. Ч. 1. Л., 1933.

Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII века, и их терминология. М., 1925.

А. В. Юдин
Гент (Бельгия)

Образ святого Петра в украинских колядках: этнолингвистическая дефиниция

Образ святого Петра в украинских колядках принадлежит к числу весьма ярких, выразительно представляющих определенный фрагмент народного мировидения, преломленного в отдельном фольклорном жанре. Святой Петр в колядных текстах (в докладе рассматриваются исключительно так называемые «народные», нецерковные колядки) – гость хозяина дома, пахарь, который ходит за волами на хозяйском поле, или погонщик этих волов, а также жнец, собирающий урожай, и святой ключник (общехристианское представление, восходящее к евангельскому тексту и известное и другим славянам), выпускающий вместе с почти неотделимым от него Павлом грешные души из ада. Петр плачет за столом вместе с Господом, спорит с Ним, что больше – небо или земля. Его имя ангелы (святые и др.) предлагают для новорожденного Спаса, но Богородица не соглашается на это.

Апостол Павел в колядках (да и вообще в восточнославянском народном христианстве) выступает чаще всего как несколько более «бледный» двойник святого Петра, почти без индивидуальных функций. В докладе представлен один из способов описания образа и функций фольклорного персонажа в рамках одного жанра –

так называемая этнолингвистическая дефиниция, структурированная согласно стандартным рубрикам («фасетам» или «тезаурусным функциям») и документированная выписками из всех рассмотренных текстов, которые классифицируются согласно представленным мотивам.

Т. Б. Юмсунова (Моррис)
Портланд (США)

Речевой портрет староверов Орегона младшего поколения

В основу доклада положены систематические наблюдения за языком староверов младшего поколения штата Орегон (США). Это первое поколение староверов американского происхождения.

С декабря 2007 г. я по просьбе группы староверок начала обучать их детей русскому языку. В отличие от других русских иммигрантов, староверы стараются сохранить русский язык. Среди них устойчиво мнение, что детей нужно учить русскому языку уже для того, чтобы они лучше понимали церковнославянский язык – язык их церковной службы.

Ученики почти ничего не знают о России, поэтому мы с Ричардом Моррисом стараемся пробудить интерес учеников к богатой истории и культуре России.

Моих учеников можно поделить на тех, кто при бытовом общении в основном говорит по-русски, и на тех, кто что-то понимает по-русски, но уже практически не говорит. Почти все дети думают по-английски – «как быстрее». Учатся они либо в публичной американской школе, либо на дому (*Home Schooling*). Староверы предпочитают домашнее обучение, поскольку это защищает их детей от контактов с другими людьми, помогает сохранить веру и дисциплину, хотя при этом учителями выступают матери, не имеющие для этого специальной подготовки. Многие родители считают, что по христианской традиции достаточно минимального образования: научить детей писать, читать и считать.

Однако некоторые старшие дети хотят получить эквивалент среднего образования в вечерней школе, отдельные из них даже поступают в колледжи и в университеты. В университетах они учатся на практических специальностях – бизнес, медицина, служба в офисах.

Староверы стараются соблюдать в домах строгий порядок. Их дети очень рано начинают работать по дому. Уже пятилетние дети выходят вместе с матерью на поле собирать *ожину* (ежевика) и имеют свою «норму». Летом все заняты: мальчики-подростки помогают отцам в строительстве домов или выезжают с отцами рыбачить на Аляску, подростки девочки помогают матерям убирать (*чистить*) дома. Свободного времени у детей староверов мало.

Сейчас во многих домах молодых староверов есть телевизор, но на просмотр передач существует строгий лимит. В отдельных семьях появились компьютеры.

В моей школе учатся преимущественно дети синьцзянцев (как известно, в начале 1960-х гг. в Орегон съехались староверы из трех разных мест мира: из провинции Синьцзян и из деревень в окрестностях Харбина Китая и из Турции. Свои названия староверы получили соответственно по названию тех мест, откуда приехали в Америку). Их фамилии – Ефимова, Зенюхины, Матвеевы, Савельевы, Чернышовы. Есть также дети от смешанных браков синьцзянцев с харбинцами (Басаргина, Ревтовы) и турчанами (Кямы), харбинцев с турчанами (Алогоз). Ученики носят имена, данные им при крещении по Святым или по Прологу: *Демьян, Иван, Семён* и др.; *Гликерия, Иуния, Киликия, Улиния, Феофания* и др. Учатся староверы семьями, каждая семья по 2–4 часа в неделю с перерывами во время их религиозных праздников и летом во время сбора ягод. На уроках часто присутствуют матери, иногда дедушки и бабушки учеников.

В основе языка детей староверов лежит один из диалектов среднерусского или севернорусского происхождения, который испытывает воздействие соседних говоров (например, синьцзянцы в окружении харбинцев и турчан), воздействие церковнославянского языка и мощное влияние английского языка. С русским литературным языком ученики соприкасаются впервые.

В докладе приводятся основные диалектные черты их говоров на всех языковых уровнях: фонетическом (например, прогрессивное ассимилятивное смягчение всех заднеязычных согласных: *тихó[н'к']я, зá[]к']ю, лиси́[ч'к']я*), лексическом, грамматическом (например, стяжение гласных в результате выпадения *j* между гласными и их ассимиляция в формах прилагательных и глаголов: *зелёна, сине, богаты; знашь, работат, кушам*; употребление вопросительного местоименного наречия *зачем* вместо литературного *почему*; употребление на месте союза *чтобы* диалектных союзов *штобыт, штобут, штобыть*; употребление на месте местоимения *который* местоимения *котóрот*).

Отмечается влияние на речь учеников церковнославянского языка. Те, кто прилежно учат молитвы, быстрее заучивают наизусть и светские тексты, поскольку имеют тренированную память.

Особое внимание в докладе уделяется проблемам интерференции, которая затронула все стороны языка детей староверов, ср. смешение букв русского и английского алфавитов и соответствующие фонетические явления (например, произношение твердых согласных на месте мягких: *бó[л]шой ма[л]чик, малé[н]ко* ‘немного’); образование формы мн. числа: *волк – волк(с)*; образование будущего времени глаголов (*Старик будет идти на море*).

В русской речи учеников наблюдается большое количество заимствований из английского языка, которые подчиняются нормам русского языка: *Мы на филу́ с 6 утра работали. По 12 часов на филáх сидели; У меня цело фили́ще ожины* (ср. англ. *field* ‘поле’); *Мой тятя в гараже кар фиксиует* (ср. англ. *My papa is in the garage fixing the car*).

Впервые на языковом материале раскрывается картина мира русских староверов США, особенности их менталитета.

Дети староверов Орегона хотят учить русский язык, они с желанием посещают, как они говорят, «русскую школу».

Формирование этнической модели региона (на материале Среднего Прииртышья)

Среднее Прииртышье – регион «смешанного типа» с точки зрения населения, этнического состава и культуры. Это общее пространство, которое создавалось в несколько этапов. По данным переписи 2002 г. в нем русское население составляет 83,5 %. Также в регионе проживают лица более 120 национальностей, поэтому в границах региона наблюдается этническое, этнокультурное, лингвоэтническое взаимодействие «неславянских» и «славянских» групп населения.

Анализ языкового пространства позволил выделить несколько структурных уровней: топонимический, контактологический (ранний и поздний), русскоязычный.

Источники формирования гидронимии Среднего Прииртышья «нерусского» слоя различны. Это: 1) автохтонные элементы; 2) а) ранние тюркские названия поселений, рек, озер, болот и т. п.; б) поздние тюркские (казахские) названия; в) «перенесенные» названия поволжских (казанских) татар и т. п.

Со временем часть тюркских гидронимов начинает вытесняться, а оставшиеся подвергаются фонетическим изменениям, морфологической модификации, семантической адаптации. Сосуществуют также «двойные» названия: тюркские и русские.

В топонимическом пространстве региона представлен ряд старожильческих и переселенческих названий населенных пунктов. Это: 1) антропотопонимы – консерванты имен и реалий начального периода освоения региона; 2) топонимы – характеристики ландшафта; 3) топонимы религиозного характера; 4) перенесенные названия (так называемые топонимы-дублиеты) и т. п. Отмеченные названия населенных пунктов и природных объектов сосуществуют одновременно в пространстве региона.

Другим результатом лингвоэтнического взаимодействия является вхождение в русскую речь ряда единиц и элементов из контактирующих языков. Так, в «Словаре русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья» можно обнаружить такие заимствования из обско-угорских языков, как: *аллэн* ‘приспособление для ловли птиц’ [1, 17], *кабитуха* ‘плетенная из ивы ловушка для рыбы’ [2, 19], *норило* ‘шест, которым под водой проталкивают невод’ [2, 192], *черкэн* ‘ловушка для ловли мелкого зверя’ [3, 305], *чумдишук* ‘сосуд из бересты’ [3, 321] и т. п.

Тюрко-русское взаимодействие имеет отражение в данном Словаре и в его Дополнениях: *абыз* ‘плакса’, *абызить* ‘плакать [1, 13], *арба* ‘длинная телега’ [1, 19], *баишлык* ‘староста, старшина рыбаков’ [1, 35], *каркаль* ‘водоплавающая птица из семейства утиных’ [2, 27], *тайгыс* ‘лесная дорога’ [3, 219], *арман/урман* [1, 19; 3, 218] ‘тайга’, *якчей* ‘лучше’ [Д, 1, 152] и т. п.

В Словаре представлен ряд заимствований из «славянского» фонда: а) из польского языка (*андарак* устар. ‘холщовая или шерстяная юбка’ [1, 18], *бзыкнуть* ‘лягнуть’ [1, 47], *клямка* ‘щеколда’ [2, 41], *хуста, хустка* ‘платок, косынка’ [3, 282] и т. п.); б) из украинского языка (*гмыря* ‘плакса’ [Д, 2, 35], *дымка* ‘редкая (грубая) ткань’

[1, 200], *жури́ться* ‘стесняться’ [1, 214], *ма́цать* ‘трогать, хватать грязными руками’ [Д, 2, 87], *ха́та, хатка, хатушка* ‘дом’ [3, 266–267], *ховать* ‘хоронить’ [3, 271] и т. п.); в) из белорусского языка (*бура́к*, чаще *бураки́* ‘свекла’ [1, 76], *дра́ник*, чаще *дра́ники* ‘олады из тертого картофеля’ [1, 190], *ка́хать* ‘кашлять’ [2, 88], *за́ва* ‘больное место’ [Д, 1, 38] (ср. белор. *кульгавый* ‘хромой’) и т. п.). «Проявляются» единицы из регионального полиэтнического фонда в речи жителей г. Омска.

С другой стороны, в границах региона формируется ряд этнолектов (русской речи различных этногрупп). Это связано с тем, что, во-первых, русские были основным этническим партнером для других национальностей и «управляющей» нацией, во-вторых, русский язык был языком официального общения, наконец, родной язык использовался в качестве средства внутрисемейного общения.

С точки зрения существования русского языка в отрыве от основного массива в границах региона можно выделить несколько уровней. Это: 1) старожильческие говоры, формирующиеся с 1594 г. на основе «материнских» европейских говоров северо-востока и Приуралья; 2) переселенческие говоры раннего периода (старосельские), возникающие на северорусской основе со второй половины XVIII в., так как крестьяне, переселяющиеся из уральских и сибирских населенных пунктов, чаще всего были носителями данного типа речи. Переселенческие говоры позднего периода (так называемого первичного типа) формируются до конца первой половины XIX в. за счет речи выходцев из различных губерний России. Хотя они селились отдельно от старожилов, создавая поселки, со временем произошла «интеграция» говоров с разной диалектной основой» [Харламова, 2007, 135], что привело к созданию одного типа речи. Это подтверждает тезис о том, что омские говоры имеют монодиалектную основу – севернорусскую [см., например: Баранникова, 1975; и др.]; 3) поздние переселенческие говоры (вторичного типа), которые начинают создаваться с конца XIX – начала XX вв.; 4) новосельские говоры, складывающиеся с 20-х гг. XX в. В настоящее время в границах региона до сих сохраняется противопоставление говоров раннего и позднего образования: старожильческие, первопереселенческие → позднепереселенческие и новосельские.

Итак, с одной стороны, произошло расширение православного культурно-исторического ареала за Урал. С другой стороны, сформировалось общее полиэтничное пространство на русской «основе».

Баранникова Л. И. Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации // *Вопр. языкознания.* 1975. № 2. С. 22–31.

Харламова М. А. Своеобразие фонетических систем новосельских говоров Среднего Прииртышья // *Фонетика и письмо как непрерывно развивающиеся явления.* Омск, 2007. С. 134–138.

М. Якубович
Краков (Польша)

Из наблюдений над семантической мотивацией (на материале славянских прилагательных)

Исследования семантической мотивации тесно связаны с изменениями значений. Типы этих изменений, например метафора, метонимия, сужение и расширение значений, проявляются с неоднаковой частотностью для разных частей речи. В то время как для существительных основным типом является метафора и метонимия, среди прилагательных метонимия уже не встречается. Это вполне обосновано дис-трибуцией определенных частей речи.

Главными типами семантических изменений в классе прилагательных являются сужение и расширение. Для прилагательных, характеризующих человека, возможны и метафорические изменения.

Наиболее типичной чертой семантической мотивации характеристик человека оказывается мотивация психических свойств физическими. Это видно на примере слов, касающихся умственных способностей. Прилагательные, которые называют способность быстро и легко понимать, регулярно мотивируются названиями, связанными со скоростью и с действием хватания.

Общей проблемой, касающейся мотивации прилагательных, является вопрос, на каком уровне в данном случае возникла мотивировка. Можно ли в случае девербативных и десубстантивных прилагательных говорить о мотивации прилагательного? Ситуация не всегда является очевидной. Бывают такие случаи, когда между значениями производящего существительного или глагола и производного прилагательного нет звеньев, обосновывающих переход от старого значения к новому. Поэтому всегда важно ответить на вопрос, что с точки зрения семантики является ближайшим предшественником анализируемого прилагательного.

Вышесказанное кажется самой общей, но, конечно, не самой главной проблемой, связанной с семантической мотивацией прилагательных. Другие проблемы зависят от принадлежности к определенному семантическому кругу. В докладе они будут проанализированы на примере лексем, характеризующих человека.

Лексическое выражение семантики вращения в сербском языке*

Лексико-семантическое поле вращения в сербском литературном языке включает глаголы, относящиеся к двадцати словообразовательным гнездам: *окретати (се)*, *вртети (се)*, *обртати (се)*, *освртати се*, *ваљати (се)*, *котурати (се)*, *кружити*, *обилазити*, *мотати (се)*, *вити (се)*, *вијугати (се)*, *коврцати се*, *колутати (се)*, *котрљати (се)*, *колаати*, *ковитлати (се)*, *витлати (се)*, *врзмати се*, *тумбати (се)*, *мувати се* и др. Большая часть глаголов восходит к праславянским этимологическим гнездам со значением (кругового) движения: **kręti-*, **vьrt-*, **val-*, **krōg-*, **vi-*, **kol-*, **mot-*. Ядром поля вращения в современном сербском является глагол *окретати*. Серб. *кретати (се)*, продолжение **kręti (sie)*, содержащего в себе семантику кругового движения [ЭССЯ, 12, 145], в современном языке обозначает движение вообще и никогда не указывает на вращательное движение. В глаголе *окретати* значение вращения, по всей видимости, вторично и возникло на базе семантики универсального движения (привнесено префиксом *о-*). Особенностью поля является большое число образований с префиксом *ко-*, возникших как в перечисленных гнездах, так и в гнездах с исходно иной семантикой: *котурати*, *котрљати*, *ковитлати*, *кобацати се*, *комешати се*, *колебати*, *кобельати*, *комотати се*, *комизати се* (выделение префикса *ко-* в данных лексемах согласно [Бјелетић, 2006]). Часть глаголов в современном языке не имеет физической семантики вращения, но выражает лишь вторичные значения, свойственные этому полю (*врзмати се* 'постоянно находиться около чего-л.').

Большинство глаголов выражают как переходную ('вращать'), так и непереходную семантику ('вращаться'). В тезисах мы охарактеризуем способы лексического выражения непереходного значения. Сербские глаголы с семантикой вращательного и кругового движения противопоставляются по следующим основным признакам:

– поступательное движение – любое движение: *ваљати се*, *котурати се*, *колутати*, *котрљати (се)*, *тумбати се* 'кататься, катиться' – *окретати се*, *вртети се*, *обртати се* 'поворачиваться, вращаться, вертеться, крутиться', *кружити*, *колаати* 'кружить';

– движение с любой скоростью и любым количеством оборотов (*окретати се*, *обртати се* 'поворачиваться') – быстрое движение с большим числом оборотов (*вртети се* 'вертеться'). Данные глаголы безразличны к характеру оси и среды, в которой осуществляется движение. Они имеют самую широкую дистрибуцию из всех принадлежащих к полю глаголов. Производственную семантику (ср. 'прикрутить, закрутить') выражает только глагол *вртети* (и его дериваты);

* Работа выполнена при поддержке гранта № НШ-943.2008.6.

– поступательное движение, сопровождающееся вращением вокруг своей оси (*ваљати се, котурати се, колутати, котрљати (се)*) – движение, сопровождающееся вращением вокруг внешней оси (*кружити, колати*);

– вращение по твердой поверхности (*кружити, колати, ваљати се, котурати се, колутати, котрљати (се)*) – в воздушной или водной среде (*кружити, витлати се, ковитлати се*);

– разнонаправленное движение (*ваљати се*) – однонаправленное движение: *котурати се, колутати, котрљати (се)*.

В области вторичной номинации для перечисленных глаголов характерны значения:

– беспорядочного и/или быстрого движения (*вртети се, врзмати се, мотати се, мувати се* ‘двигаться туда-сюда; постоянно находиться в движении около какого-то объекта’, *витлати се* ‘быстро двигаться, летать, бегать’, *ковитлати се* ‘быстро двигаться’);

– распространения информационных объектов (слухов и пр.): *кружити, колати*;

– мышления (ср. *крутится мысль*): *врзмати се, ковитлати се*;

– речи: *котрљати, ваљати* (обычно о праздных и глупых словах);

– торговли: *ваљати*;

– хода событий: *котрљати, ваљати*.

И. Янышкова

Брно (Чешская Республика)

Вацлав Махек – основоположник брненской этимологической школы

Вацлав Махек известен в Чешской Республике и за ее пределами как выдающийся индоевропеист, славист, балтист, этимолог, автор обширного этимологического словаря чешского языка, нескольких монографий и ряда этимологических этюдов, статей, рецензий и др. Профессор Махек был связан большей частью своей жизни с Брно, с философским факультетом Брненского университета и позже также с этимологическим сектором Института славистики Чехословацкой академии наук (сегодня – отдел этимологии Института чешского языка АН ЧР). В 1952 г. Махеку было поручено вести в только что учрежденном секторе этимологии подготовительную работу по созданию Этимологического словаря славянских языков. Сюда он привел также свою студентку (позже ассистентку) Еву Гавлову, которая воспитана в «махековском» духе новое поколение этимологов и приложила все силы, чтобы брненский отдел этимологии мог продолжать реализацию методов этимологической работы Махека (имеется в виду, например, основательная комплексная обработка целого этимологического гнезда; с другой стороны, мы не перенимаем от Махека его великую веру в факультативные фонетические изменения).

Осенью нынешнего года исполнится 115 лет со дня рождения Вацлава Махека (08.11.1894), весной следующего года – 45 лет со дня его смерти (26.05.1965).

Отдел этимологии, возникновению которого способствовал проф. Махек, подготавливает – не только в связи с этими «полукруглыми» годовщинами – издание полного собрания его сочинений. Дело в том, что многие из его трудов разбросаны в разных журналах, в отечественных и иностранных сборниках, в газетах – и мало доступны научной общественности. Труднодоступны даже те работы, которые публиковались в нашей стране, прежде всего в лингвистических журналах и сборниках, чаще всего естественно-научного направления. Изданием собрания сочинений Вацлава Махека мы хотим облегчить иностранным и отечественным лингвистам и всем, кто интересуется этимологией, доступ к обширному научному наследию Махека и одновременно продемонстрировать широту и значительность его научных интересов, выходящих за рамки языкознания.

В собрание сочинений включены все публикации автора – этюды, статьи, рецензии, сообщения, некрологи, заметки в разных журналах и сборниках, статьи в энциклопедиях, популяризаторские статьи в газетах и др., за исключением его монографий «Studie o tvoreni výrazů expresivních» (1930), «Recherches dans le domaine du lexique balto-slave» (1934), «Česká a slovenská jména rostlin» (1954) и словарей «Etymologický slovník jazyka českého a slovenského» (1957), «Etymologický slovník jazyka českého» (1968, стереотипные издания 1971 и 1997). Включена также до сих пор не публиковавшаяся лекция Махека «Studium indoevropské slovní zásoby» (1961–1962 гг.), которая, по нашему мнению, может быть интересной и полезной для современников. В то же время она дает нам возможность представить себе Махека как преподавателя, лекции которого на философском факультете принадлежали в те времена к числу самых популярных (кстати, они никогда раньше не публиковались). В собрании сочинений приведен также подробный список научных трудов Вацлава Махека, обзор его редакционной работы, список его лекций и семинаров в философском факультете, список трудов разных авторов, касающихся Махека. Публикацию дополняют указатель слов, предметный и именной указатель.

Из богатого списка трудов Вацлава Махека (свыше 400) видно, что в центре его внимания всегда была славянская и индоевропейская этимология. Его толкования слов непременно учитывали развитие значения и опирались на знание обозначаемых вещей. Проследивание семантического развития слова, последовательное применение метода «Wörter und Sachen» относятся – вместе с изучением диалектного материала, консервирующего множество архаизмов, не засвидетельствованных в литературном языке – к основным приемам этимологической работы проф. Махека. Блестящие познания автора в области материальной и духовной культуры древних славян и индоевропейцев продемонстрированы в его статьях о славянской и индоевропейской мифологии, в этнографических этюдах (он писал, например, об этномикологии, изучающей место и роль грибов в истории культуры), в статьях, посвященных названиям растений, птиц и др. Косвенно Махек обращал внимание на объяснение собственных имен, ср., например, его работы о названиях *Olotous*, *Кремль* и *Волга*.

Надеемся, что собрание сочинений Вацлава Махека будет полезно не только для лингвистов разного направления, но и для этнографов, природоведов, археологов, культурологов и всех тех, кого интересует слово и его история. Даже спустя много лет методы этимологической работы Махека продолжают быть вдохновляющими для нас, этимологов.

СЛОВАРИ И ИСТОЧНИКИ (с принятыми сокращениями)

Аникин – *Аникин А. Е.* Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М.; Новосибирск, 2000.

АОС – Архангельский областной словарь. М., 1980–... . Вып. 1–... .

АС – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь). Пермь, 1984–... . Вып. 1–... .

АСГ – *Ламака В. М.* Анамастычны слоўнік Гродзеншчыны. У 2 ч. Ч. 1. Мікра-тапонімы. Гродна, 2005.

БЕР – Български етимологичен речник. София, 1962–... . Т. 1–... .

БТДК – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003.

Будагов – *Будагов Л. З.* Сравнительный словарь турецко-татарских наречий с включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом их на русский язык: В 2 т. СПб., 1869–1871.

Војвод. – Речник српских говора Војводине. Нови Сад, 2000–... . Св. 1–... .

Ганцовская – *Ганцовская Н. С.* Живое поунженское слово. Словарь народно-разговорного языка Е. В. Честнякова. Кострома, 2007.

Геров – *Геров Н.* Речник на български език. София, 1975–1978. Ч. 1-5.

Гиганов – *Гиганов И.* Словарь российско-татарский, собранный в Тобольском главном народном училище учителем татарского языка священником Иосифом Гигановым и муллами юртовскими свидетельствованный. СПб., 1804.

Гринченко – *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка. Киев, 1907–1909.

ГСБМ – Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1982–2000. Вып. 1–17.

Даль – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. СПб.; М., 1880–1882 (1955). Т. 1–4.

Деул. сл. – Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969.

ЕРСЈ – Етимолошки речник српског језика. Београд, 2003–... . Св. 1–... .

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови. Київ, 1982–... . Т. 1–... .

Живковић – *Живковић Н.* Речник пиротског говора. Пирот, 1987.

Златановић – *Златановић М.* Речник говора Јужне Србије. Врање, 1998.

КПОС – картотека Псковского областного словаря (см. ПОС).

КРС – *Безносикова Л. М., Айбабина Е. А., Коснырева Р. И.* Коми-русский словарь. Сыктывкар, 2000.

КСГРС – картотека Словаря говоров Русского Севера (см. СГРС).

КСлРЯ XI–XVII – картотека Словаря русского языка XI–XVII вв. (см. СлРЯ XI–XVII).

КСРГК – картотека Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей (см. СРГК).

ЛАБНГ – Лексічны атлас беларускіх народных гаворак: У 5 т. Мінск, 1993–1998.

Лисенко – *Лисенко П. С.* Словник поліських говорів. Київ, 1974.

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энцикл., 1990.

МБ – Мікратапанімія Беларусі. Матэрыялы. Мінск, 1974.

МИСНФ – *Сергеева Л. Н.* Материалы для идеографического словаря новгородских фразеологизмов. Великий Новгород, 2004.

Мокиенко – *Мокиенко В. М.* Почему так говорят? От Авося до Ятя: Историко-этимологический справочник по русской фразеологии. СПб., 2003.

Мурзаев – *Мурзаев Э. М.* Словарь народных географических терминов. М., 1984.

НОС – Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–1995. Вып. 1–12.

Носович – *Носович И. И.* Словарь бѣлорускага нарѣчя. СПб., 1970.

Ожегов – *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. Изд. 18-е, стереотип. М., 1986.

Онишкевич – *Онишкевич М. Й.* Словник бойківських говірок: У 2 т. Київ, 1984.

Отин – *Отин Е. С.* Словарь коннотативных собственных имен. Донецк, 2004.

Панин – *Панин Л. Г.* Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII–XVIII вв. Новосибирск, 1991.

Полякова – *Полякова Е. Н.* Словарь географических терминов в русской речи Пермского края. Пермь, 2007.

ПОС – Псковский областной словарь. Л., 1967–... . Вып. 1–... .

Радлов – *Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. В 4 т. СПб., 1893–1911.

РАС – *Караулов Ю. Н., Черкасова Г. А., Уфимцева Н. В., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф.* Русский ассоциативный словарь: В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции. Т. 2. От реакции к стимулу. М., 2002.

РСА – Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1959–... . Књ. 1–... .

САТГ-ИС – Словарь автобиографической трилогии М. Горького: Имена собственные / Сост. А. В. Федоров, О. И. Фоянова. Л., 1975.

СВГ – Словарь вологодских говоров. В 12 т. Вологда, 1983–2007.

СВЯ – *Зайцева М. И., Муллонен М. И.* Словарь вепского языка. Л., 1972.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург, 2001–... . Т. 1–... .

СГСЗ – Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1999.

СГСРПО – Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Сост. О. П. Беляева. Пермь, 1973.

СД – Славянские древности: Этнолингвистический словарь в 5-ти томах. М., 1995–... . Т. 1–... .

Селигер – Селигер: Материалы по русской диалектологии. СПб., 2003–... . Вып. 1–... .

СлРЯ – Словарь русского языка: В 4 т. М., 1982–1984.

СлРЯ XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–... . Вып. 1–... .

- СлРЯ XVIII – Словарь русского языка XVIII в. Л.; СПб., 1984–... . Вып. 1–... .
- СММ – Слоўнік мікратапонімаў Магілёўшчыны / Склад.: С. В. Клімуць, В. І. Рагаўцоў, С. У. Шакура і інш. Магілёў, 2004.
- СОРЯМР XVI–XVII – Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI– XVII вв. СПб., 2005–... . Т. 1–... .
- СПГ – Словарь пермских говоров. Пермь, 1999–2002. Вып. 1–2.
- СПЗБ – Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі: у 5 т. / Рэдкал.: Ю.Ф. Мацкевіч і інш. Мн., 1979–1986.
- СППП – Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001.
- СРГА – Словарь русских говоров Алтая. Барнаул, 1993–1997. Т. 1–4.
- СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–2005. Вып. 1–6.
- СРГС – Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1999–2006. Т. 1–5.
- СРГСК – Словарь русских говоров северных районов Красноярского края. Красноярск, 1992.
- СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала Свердловск, 1964–1987. Т. 1–7.
- СРГСУ-Д – Словарь русских говоров Среднего Урала. Дополнения. Екатеринбург, 1996.
- Срезневский – *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893–1903. Т. 1–3.
- СРЛИ – *Суперанская А. В.* Словарь русских личных имен. М., 1998.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–... . Вып. 1–... .
- СРСГСП – Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Томск, 1992–1996. Т. 1–3.
- СРСГСП-Д – Словарь русских старожильческих говоров Среднего Прииртышья. Дополнения. Омск, 1998. Вып. 1.
- СлРЯ 1913 - Словарь русского языка. СПб., 1913.
- Станий - *Станий М.* Усочки речник. Београд, 1990. Књ. 1–2.
- СТГ – Словарь тамбовских говоров: (Духовная и материальная культура) / С. В. Пискунова, Т. В. Махрачёва, В. В. Губарева. Тамбов, 2002.
- СУМ – Словник української мови. Київ, 1970–1980. Т. 1–11.
- ТК ТЭУрГУ – топонимическая картотека Топонимической экспедиции Уральского государственного университета (Екатеринбург, кафедра русского языка и общего языкознания УрГУ).
- Тумашева, Насибуллина – *Тумашева Д. Г., Насибуллина А. Х.* Словарь диалектной лексики татарских говоров Тюменской области. Тюмень, 2000.
- Ушаков – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940.
- Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. М., 1964–1973. Т. 1–4.
- ФСРГС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1983.
- ФСРГРК – *И. А. Кобелева.* Фразеологический словарь русских говоров Республики Коми. Сыктывкар, 2004.
- ХРС – Словарь хантыйско-русский и русско-хантыйский / С. П. Молданова, Е. А. Нёмысова, В. Н. Ремезанова. Л., 1988.

Цаболов – Цаболов Р.Л. Этимологический словарь курдского языка. М., 2001. Т. 1.
ЧРДФ – Алексеевко М. А., Белоусова Т. П., Литвинникова О. И. Человек
в русской диалектной фразеологии: Словарь. М., 2004.

ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1978–... . Т. 1–... .

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. М., 1974–... . Вып. 1–... .

Юрчанка – Г. Ф. Юрчанка. Народнае выборнае слова. 3 говаркі
Мсціслоўшчыны. М–Р. Мінск, 1983.

ЯОС – Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981–1991. Вып. 1–10.

ЯРФС – Якутско-русский фразеологический словарь: В 2 т. Новосибирск, 1998.

Яшкін – Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх мясцовых геаграфічных тэрмінаў:
Тапаграфія. Гідралогія. Мн., 2005.

Bezljaj – Bezljaj F. Etimolosaki slovar slovenskega jezika. Knj. I–IV. Ljubljana, 1977–2005.

Brückner – Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927.

DEWOS – Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der
ostjakischen Sprache. Bearbeiter: Gert Sauer. Berlin: Akademie-Verlag, 1966–1993.
Lfg. 1–15.

ΕΠΑΜΤ 53 – Εγκυκλοπαιδεία Παπυρος Λαρούς Μπριτάνικα. Τ.53.

Holub – Kopečný – Holub J., Kopečný F. Etymologický slovník jazyka českého.
Praha, 1952.

ΚΛ 1995 – Κυθηραϊκό λεξικό. Συλλογή 10.000 λέξεων του Κυθηραϊκού γλωσσικού
ιδιώματος / επιμ. Δημ. Α. Κομη. Αθίνα, 1995.

Kranzmayer – Kranzmayer E. Ortsnamenbuch von Kärnten. Klagenfurt, 1956–
1958. T. I–II.

Linde – Linde S. B. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1994–1995. T. I–VI.

ΛΚΝ 1999 – Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Αριστοτελείο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών [ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]. Θεσσαλονίκη, 1999.

Profous – Profous A. Místní jména v Čechach. Jejich vznik, původní význam a
změny. D. 1–4. Praha, 1947–1957.

RJA – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika / Na svijet izdaje Jugoslavenska
akademija znanosti in umjetnosti. Zagreb, 1880–1976. Sv. 1–23.

Schuster-Šewc – Schuster-Šewc H. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober-
und niedersorbischen Sprachen. B. I–IV (Lf. 1–24). Bautzen, 1978–1989.

SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Osa 1-6. Helsinki, 1955-1978.

Skok – Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971–1974.
Knj. I–IV.

Sławski – Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952–1983.
T. I–V.

Smoczyński – Smoczyński W. Słownik etymologiczny języka litewskiego. Wilno, 2007.

SP – Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc., 1974–... .
T. 1–... .

Spólnik – Spólnik A. Nazwy polskich roślin do XVIII wieku. Wrocław, Warszawa,
Kraków, Gdańsk, Łódź, 1990.

SSA – Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja. Osa 1–3. Helsinki, 1992–2000.

- SSiSL – Słownik stereotypów i symboli ludowych. Lublin, 1996–... . T. I, cz. 1–... .
- VWSS – *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wiesbaden, 1963–1970. Bd. I.
- Warsz. – *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. Ò. 1–8. Warszawa, 1900–1927 (= 1952–1953).
- YS – *Lehtiranta J.* Yhteissaamelainen sanasto // Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. 200. Helsinki, 1989.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ЭТНОЛИНГВИСТИКА

Коды традиционной культуры

Володина Т. В.
Добровольская В. Е.
Королева Е. Е.
Колосова В. Б.
Кривошапова Ю. А.
Крылова О. Н.
Лоскутова Д. Н.
Мороз А. Б.

Лексика и фразеология в зеркале этнолингвистики

Березович Е. Л., Седакова И. А.
Бунчук Т. Н.
Дарбанова Н. А.
Добровольская В. Е.
Едалина А. А.
Качинская И. Б.
Климова К. А.
Колосова В. Б.
Леонтьева Т. В.
Пашина О. А.
Пинжакова Ю. В.
Плотникова А. А.
Руденко Е.
Русинова И. И.
Тихомирова А. А.
Узенева Е. С.
Шабалина Е. В.

Общие вопросы этнолингвистики

Мечковская Н. Б.
Небжеговска-Бартминьска С.
Никитина С. Е.
Толстая С. М.
Хроленко А. Т.

Текст в зеркале этнолингвистики

Ильина Ю. Н.
Кожина А. А.
Колесник Н. С.
Кречмер А. Г.
Попова Е. В.
Сиднева С. А.
Фендрих А. Н.
Юдин А. В.

Ценности и стереотипы в языке и культуре

Бартминьский Е.
Белова О. В.
Кожина А. А.
Кречмер А. Г.
Никитина С. Е.
Сиднева С. А.
Толстая С. М.
Хоффманн Э.

Этнолингвистика и диалектология

Бунчук Т. Н.
Ганцовская Н. С.

Гусева Л. Г.
Зверева Ю. В.
Казакова Е. Д.
Качинская И. Б.
Кобелева И. А.
Коган Е. С.
Леонтьева Т. В.

Этнолингвистика и сопоставительная лексикология

Ланда Ю. А.
Могила О. А.
Плотникова А. А.
Шабалина Е. В.

Этнолингвистика и социоллингвистика

Никитина С. Е.
Юмсунова (Моррис) Т. Б.
Юнаковская А. А.

Этнолингвистические аспекты этимологии

Антропов Н. П.
Гура А. В.
Иваненко А. В.

Кобелева И. А.
Куркина Л. В.
Непоп-Айдачич Л. В.
Чёха О. В.
Шелепова Л. И.

Этнолингвистические и лингвокультурологические аспекты ономастики

Алпатов В. В.
Атрошенко О. В.
Бугаева И. В.
Гулиева Л. Г.
Калуцков В. Н.
Климова К. А.
Колесник Н. С.
Матвеев А. К.
Мороз А. Б.
Попов С. А.
Постникова О. А.
Разумова И. А.
Сироткина Т. А.
Феоктистова Л. А.
Фролова О. Е.
Юдин А. В.

ОНОМАСТИКА

Деривация в ономастике

Васильев В. Л.
Карпова Л. Л.
Колосько Е. В.
Мордвинова Н. Г.
Феоктистова Л. А.

Имя собственное в тексте

Анциферова О. Н.
Бардакова В. В.
Карпова Л. Л.
Доровских Л. В.
Костылев Ю. С.
Крюкова И. В.
Неганова Г. Д.
Фомин А. А.

Фролова О. Е.
Шойбонова С. В.

Новые процессы в ономастике

Ахметова М. В., Кулешов Е. В.
Беликов В. И.
Голованова Е. И.
Голомидова М. В.
Горяев С. О., Пестерева Е. Д.
Крюкова И. В.
Мордвинова Н. Г.
Напольских В. В.
Пьянкова Д. В.
Хоффманн Э.

Ономастика и когнитивная лингвистика

Васильева Н. В.
Голев Н. Д.
Голомидова М. В.
Гридина Т. А.
Дмитриева Л. М.
Николаева Т. М.

Ономастика и языковые контакты

Анциферова О. Н.
Багомедов М. Р.
Жамсаранова Р. Г.
Карпова Л. Л.
Напольских В. В.
Намиитокова Р. Ю., Нефляшева И. А.
Палинчуц Е.
Шилов А. Л.

Ономастическая лексикография и картография

Воронцова Ю. Б.
Ивашова Н. М.
Макарова А. А.
Молчанова О. Т.
Муллонен И. И.
Рут М. Э.
Чижмарова Л.
Шипкова М.

Разряды имен собственных

Антропонимия

Воронцова Ю. Б.
Голованова Е. И.
Дмитриева Т. Н.
Палинчуц Е.
Пашаева Ф. Ш.
Пирожкова Е. А., Галинова Н. В.
Постникова О. А.
Раемгужина З. М.
Супрун В. И.
Фролова О. Е.

Историческая антропонимия

Анциферова О. Н.
Богачева М. В.
Иванова Евг. Н.

Ефименко И. В.
Комлева Н. В.
Кюршунова И. А.
Магда-Чекай М.
Полякова Е. Н.

Зоонимия

Варникова Е. Н.

Прагматонимия

Мордвинова Н. Г.
Федотовских Т. Г.

Топонимия

Алпатов В. В.
Дмитриева Л. М.
Жамсаранова Р. Г.
Иванова Е. Э.
Ивашова Н. М.
Калуцков В. Н.
Карпова Л. Л.
Макарова А. А.
Намиитокова Р. Ю., Нефляшева И. А.
Попов С. А.
Приображенский А. В.
Разумова И. А.
Шилов А. Л.
Шклярник В. А.

Историческая топонимия

Горлова Т. В.
Иванова Ел. Н.
Молчанова О. Т.

Гидронимия

Беляев А. Н.

Ойконимия

Багомедов М. Р.
Богачева М. В.
Ковалева Е. В.

Урбанонимия

Ахметова М. В., Кулешов Е. В.
Беликов В. И.
Доровских Л. В.
Разумов Р. В.

Рузаев С. В., Костылев Ю. С.
Соколова Т. П.

Хрономимия

Атрошенко О. В.

Эргонимия

Романова Т. П.
Смирнова О. С.

Этнонимия

Сироткина Т. А.

Региональная ономастика

Горлова Т. В.
Карпова Л. Л.
Комлева Н. В.
Неганова Г. Д.
Полякова Е. Н.
Попов С. А.
Шклярник В. А.

Рекламное имя собственное

Голомидова М. В.
Горяев С. О., Пестерева Е. Д.
Романова Т. П.
Федотовских Т. Г.

**Реконструкция лексического состава
языка по данным ономастики**

Богачева М. В.
Иванова Е. Э.
Кюршунова И. А.
Приображенный А. В.
Шклярник В. А.

Семантика имени собственного

Васильева Н. В.
Дмитриева Л. М.
Казакова Е. Д.
Николаева Т. М.
Постникова О. А.
Смольников С. Н.
Супрун В. И.
Феоктистова Л.А.

Этимология имен собственных –

см. ЭТИМОЛОГИЯ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Этнолингвистические и лингвокультурологические аспекты ономастики –

см. ЭТНОЛИНГВИСТИКА

**ЭТИМОЛОГИЯ
И СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ**

Методика этимологических исследований

Беляев А. Н.
Михайлова Л. П.
Петрович С.
Шапошников А. К.

Персоналии

Янышкова И.

Проблемы семантической реконструкции

Варбот Ж. Ж.
Дронова Л. П.

Калезич М.
Куркина Л. В.
Мельникова С. А.
Островский Б.
Пьянкова К. В.
Чёха О. В.
Якубович М.
Якушкина Е. И.

Этимология и взаимодействие языков

Аникин А. Е.
Кабинина Н. В.
Михайлова Л. П.
Мищенко О. В.

Мызников С. А.
Панченко С. В.
Петрович С.
Теуш О. А.
Шаповал В. В.
Щитова О. Г.

Этимология имен собственных

Беляев А. Н.
Дмитриева Т. Н.
Ефименко И. В.
Лабунец Н. В.
Лома А.
Пашаева Ф. Ш.
Шапошников А. К.
Шилов А. Л.

Этимология лексики исконного фонда

Аникин А. Е.
Варбот Ж. Ж.
Белетич М.
Иваненко А. В.
Кругликова Л. Е.
Петлева И. П.
Шалаева И. В.

Этимология отдельных групп лексики

Влаич-Попович Я.
Калезич М.
Куркина Л. В.
Непоп-Айдачич Л.
Островский Б.

**Этнолингвистические аспекты
этимологии – см. ЭТНОЛИНГВИСТИКА**

Научное издание

ЭТНОЛИНГВИСТИКА. ОНОМАСТИКА. ЭТИМОЛОГИЯ

Материалы
международной научной конференции

Екатеринбург, 8–12 сентября 2009 г.

Редактор *Е. Ф. Васюта*
Корректор *Л. А. Феоктистова*
Компьютерная верстка *К. В. Пьянкова*

Подписано в печать 31.07.2009. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.
Уч.-изд. л. 23,29. Усл. печ. л. 18,59. Бумага офсетная.

Гарнитура Times New Roman.

Тираж 250 экз. Заказ

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ «Издательство УрГУ».
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.